

Ли́на Кертман

ВОЗДУХ ТРАГЕДИИ

главы ненаписанного
романа

Ли́на Кертман

ВОЗДУХ ТРАГЕДИИ

главы ненаписанного романа



*Светлой памяти родителей
Льва Ефимовича Кермана и
Сарры Яковлевны Фрадкиной,
рано ушедших
мужа Михаила Копысова
и сына Кости — посвящаю.*



Е. Кругликова. Портрет М. Цветаевой. 1920 г.

ЛИНА КЕРТМАН

ВОЗДУХ ТРАГЕДИИ

*Главы ненаписанного
романа*

«Геликон Плюс»
Санкт-Петербург
2014

УДК 84.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

К 36

Кертман Лина Львовна.

К 36 Воздух трагедии. — главы ненаписанного романа. — Санкт-Петербург, «Геликон Плюс», 2014. — 484 с.

ISBN 978-5-93682-969-7

Книга Лины Кертман «Воздух трагедии» посвящена семье Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Она подробно представляет Сергея Эфрона и их детей - Ариадну и Георгия - как литераторов, при этом обнаруживаются важные переклички написанного ими со многими мыслями и чувствами, мощно звучащими в поэзии, прозе, записных книжках и письмах Марины Цветаевой. Это бросает во многом новый свет на их взаимоотношения. Погружение в их тексты помогает «изнутри» почувствовать самых близких её людей – героев «ненаписанного романа». Всё это создает неповторимую картину времени, его трагедии и Рока, тяготевшего над семьей.

УДК 84.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-93682-969-7



9 785936 829697 >

© Кертман Л. текст, 2014

© «Геликон Плюс», макет, 2014

Выпуская в свет эту книгу, выражаю огромную благодарность родным и друзьям, которые самоотверженно поддерживали меня в самые тяжелые годы моей жизни — без них она не могла бы родиться.

Путь этой книги к читателям был долг и тернист. За это время, к глубокому моему прискорбию, ушли из жизни многие дорогие люди: мой муж Михаил Копысов, с которым мы в давние годы часто обсуждали многие сюжеты этой ещё не родившейся книги; друг моей студенческой юности Игорь Ивакин и близкие мне люди из поколения родителей — Валентина Ефимовна Шура-Бура, моя тётя Лидия Михайловна Герчикова и Зинаида Васильевна Станкеева, много лет преподававшая на филологическом факультете Пермского университета. Светлая им память и вечная моя благодарность.

Сердечно благодарю Льва Панеяха и всю большую «родственную колонию» в Петербурге, отдельная благодарность Полине Заславской за помощь в издании этой книги; родных киевлянок Номи Дайч и Джемму Гринберг; моего брата Григория Кертмана; друзей юности в Перми — Надежду Гашеву, Нину Горланову и ее мужа Вячеслава Букура, Авенира Юшкова, Татьяну Тихоновец и Владимира Винниченко, нашу преподавательницу Нину Евгеньевну Васильеву; историков — учениц моего отца Марию Лаптеву, Валентину Земенко и Марину Оболонкову, с которыми мы немало говорили о героях этой книги; близких друзей, живущих в Москве — Лену и Анатолия Золиных, Маргариту Берсеневу.

Особую признательность выражаю Гашевым (Надежде и ее дочери Ксении) за вечера и бессонные ночи нашего вдохновенного погружения в мир Марины Цветаевой, за бурные наши споры, переживания и открытия, а в следующие годы — за поэтапное чтение моей рукописи, за то, как «болели» они за мою книгу, наконец — за высокопрофессиональное редактирование Надежды Гашевой.

Благодарю работников музея Цветаевой в Болшеве за их постоянную моральную поддержку, московский Дом — Музей Марины Цветаевой за предоставленные ценные фотографии.

Благодарно помню всегдашнюю дружескую помощь Александра Гордона — друга моего киевского детства, с 1979 года живущего в Израиле — он энергично «подтолкнул» меня к превращению рукописи в Книгу.

Самую нежную благодарность выражаю Равилю Муртазину — самому родному человеку, который помог мне обрести в жизни «второе дыхание».

От редактора

«Воздух трагедии» — слова самой Марины Цветаевой. Так она могла бы назвать роман о времени, который хотела написать, — и не написала, потому что задохнулась от его тяжести.

Семья Цветаевых подарила России великого поэта — Марину, зоркого прозаика — Анастасию, их «мраморного братца» — Музей изобразительных искусств в Москве. Талантом были отмечены дети Марины Цветаевой и Сергея Эфрона — Ариадна и Георгий. Все они любили родину. Она была жестока к ним.

Но роман о времени и удивительной семье всё же написан. Его создали сами герои романа. Он соткан из стихов, прозы, дневников, заметок в записных книжках, из писем и воспоминаний. Весь этот мир мысли, слова и страсти надо было сложить в единый сюжет, сложить бережно, с любовью. Это сделала автор книги — Лина Кертман. Она с юных лет проникается поэзией, прозой, жизнью и судьбой Марины Цветаевой и её близких, её друзей и корреспондентов. Лина Кертман — филолог, участница Международных научных конференций, посвящённых творчеству великого поэта. Но пишет она не научные литературоведческие статьи. Она погружается в текст — и открывает его глубины, тайные смыслы, неожиданные переклички.

Как определить жанр этой книги? — Так же необычно, как необычны её герои. Марина Цветаева нашла точное слово — проникновение. В своей статье «Несколько писем. Райнер Мария Рильке» Цветаева писала: «Вскрыть сущность нельзя, подходя со стороны. Сущность вскрывается только сущностью, изнутри — внутрь, не исследование, а проникновение. Взаимопроникновение. Дать вещи проникнуть в себя — и тем — проникнуть в неё».

Лина Кертман смело и бережно входит в заповедный мир — духовный космос Марины Цветаевой, творческое наследие её близких, её круга. И всё это переплетается в книге, всё освещено любовью. У автора нет, разумеется, желания кого-то «разоблачить»

или «уличить». Есть лишь благородное и вдумчивое проникновение — в судьбы, в дух времени, в текст.

Опять же — по слову Марины Цветаевой: «Как река вливается в реку, как рука в руке, но еще больше: как река в реке».

Надежда Гашева

Вступление

«— Надо писать роман, настоящий большой роман. У Вас есть наблюдательность и любовь, и Вы очень умны. После Толстого и Достоевского у нас же не было романа.

— Я ещё слишком молода, я много об этом думала, мне надо ещё откипеть...

— Нет, у Вас идут лучшие годы. Роман или автобиографию <...> как «Детство и отрочество». Я хочу от Вас — самого большого.

— Мне ещё рано — я не ошибаюсь — я пока ещё вижу только себя и своё в мире, мне ещё многое мешает. <...>

— Если писать, то писать большое. Я призываю Вас не к маленьким холмикам, а к снеговым вершинам».

Такой разговор с Вячеславом Ивановым случился у Марины Цветаевой в её московском доме в Борисоглебском переулке «19-го русского мая 1920-го года», как обозначено в её записной книжке. В тот же вечер Марина Цветаева записала этот диалог. Слова Вячеслава Иванова прозвучали для её слуха почти как завещание. Этот человек сумел увидеть и почувствовать в ней очень важное и далеко не очевидное тогда людям, даже любящим и понимающим её стихи.

Предрасположенность к большому роману, не всегда свойственная лирическим поэтам, действительно жила в ней уже в молодости. «Мне необходимо — необходимо — необходимо — роковым образом — на роду написано — написать роман — или пьесу — “Бабушка”, где я не стесняюсь, смогу выпустить на волю всё своё знание жизни...» — такая запись появляется в записной книжке в 1918 году.

Сколько сюжетов, явно предназначенных для объёмного разворачивания, погребено в тетрадях и письмах Марины Цветаевой! В них оживает Москва 1918—1922 годов: заговорившие улицы (прежде, как Маяковский сказал, «безъязыкие»), разрушенный старый быт и новые нравы, театральные студии, сохраняющие еще прежний богемный стиль жизни, новые чиновники, врывающиеся

в дома «уполномоченные» в папах и юные красноармейцы, смущающиеся порой от напористой жестокости новой власти, страшные детские приюты и смертельный голод. Оживает история гибели царской семьи, жизни и гибели дома историка Иловайского (в переписке с Верой Буниной история эта предстаёт с большими фактическими и психологическими подробностями, чем в ограниченном по объёму «Доме у Старого Пимена»).

Готовясь к работе над «Поэмой о Царской Семье» (к сожалению, пропавшей — до нас дошло лишь несколько небольших отрывков), Марина Цветаева тщательно изучала разнообразные исторические источники и внимательно сопоставляла их. Она даже жаловалась, что в ней постоянно борются историк и поэт и что в данном случае историк «забил» поэта. Радуюсь малейшей возможности уточнить подробности у очевидцев и участников тех трагических событий, Марина Цветаева всегда выделяла и укрупняла в них наиболее волнующее её — то, о чём в памятном разговоре с В. Ивановым было сказано: «Я больше всего на свете люблю человека, живого человека, человеческую душу...»

Какие тончайшие психологические нюансы она подмечала! Так, после мимолётного, казалось бы, касающегося только уточнения конкретных фактов разговора с А. Ф. Керенским после его доклада в Париже в 1936 году «О гибели Царской Семьи», Марина Цветаева писала: «Руку на сердце положи, скажу: невинен. По существу — невинен. Это не эгоист, а эгоцентрик, всегда живущий своим данным <...> Открыла одну вещь: Керенский Царём был очарован <...> и Царь Керенским был очарован, ему — поверил. Царицы Керенский недопонял: тогда — совсем не понял: сразу оттолкнулся (как почти все!), теперь — пытается, но до сих пор претывается о её гордость — чисто династическую, которую, как либерал, понимает с трудом.

Мой вывод: за 20 лет — вырос, помягчал, стал человеком. <...> сердце — хорошее». (А. Тесковой. 1936, 19 марта).

И любой сюжет цветаевской прозы, в том числе эпистолярной, касается ли он чтения страниц Пушкина, Диккенса, Достоевского, или живых встреч с самыми разными людьми, или бесед с маленькой дочкой, или воспоминаний о детстве, её романов в письмах или

земной страстной любви, — всё обретает под её пером новые и часто неожиданные смыслы и углубляет традиционно сложившиеся представления. И как многого ещё она не досказала! Как не случаен вырвавшийся у неё однажды возглас: «Когда я гляжу на свои словари и тетради, мне хочется расположиться на этом свете ещё на сто с лишним лет». (Записная книжка. 1919).

Всё это убеждает, что если бы, вняв её мольбе, Бог послал ей «сад на старость лет», Марина Цветаева непременно написала бы свой роман о Поэте и Времени, о судьбах России и о любви, как успел это сделать её «брат в четвёртом измерении» — Борис Пастернак. К нашему общему горю, этого не случилось.

Но КОНСПЕКТ РОМАНА создан, и есть в его создании что-то от чуда. Сила притяжения личности Марины Цветаевой оказалась настолько мощной, что вместе с ней его писали многие связанные с нею жизнью и судьбой люди — самые далёкие и самые близкие. И получился «конспект» романа-воспоминания и романа в письмах, романа психологического и философского, временами достигающий такого трагического накала, что многие перипетии его были бы под силу разве что перу Достоевского...

Та трещина мира, о которой Генрих Гейне, всю жизнь любимый Мариной Цветаевой, сказал, что она всегда проходит через сердце поэта, в этом «романе» прошла и через сердце семьи. В семье гениального поэта Марины Цветаевой — редкий случай! — и муж, и дочь, и сын были людьми литературно одарёнными и о многом поведали на достойном уровне. «Семья наша из литературы не выходит», — писала Ариадна Эфрон младшему брату Георгию, подомашнему — Муру. (Г. Эфрону. 1941, 4 апреля).

Жизнь семьи — эмоциональная, интеллектуальная, творческая — предстаёт в написанном ими. Предстаёт с самого создания семьи в 10-е годы, когда ещё не начался «не календарный / Настоящий Двадцатый Век», как сказала о том времени Анна Ахматова; в последующие 20-е, когда после Гражданской войны и долгой разлуки Марина Цветаева и её муж Сергей Эфрон встретились уже в эмиграции, далеко от России; и в 30-е, когда «век-волкодав» (определение Осипа Мандельштама) со всей страшной силой кидался на их плечи. Жизнь эта отражена

в разных «зеркала». И в счастье, особенно в ранних стихах Марины Цветаевой, и в повести Сергея Эфрона «Детство», сохранившей живой облик юной Марины. И в испытаниях разлукой — в «Записках добровольца» Сергея Эфрона, в посвящённых ему в эти годы стихах Марины Цветаевой, в её записных книжках. И в горе — в письмах Сергея и Марины, в её прозе 30-х годов, где звучат мука отчуждения и резкое несогласие с выбранным им путём. Но вопреки всему и над всем этим — глубокая болевая привязанность. И ещё целый пласт — то, что оставили нам дети Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Но о детях — разговор особый...

«Мы бесспорно встретимся — для меня это ясно так же, как и для тебя. Насчёт книги о маме я уже думал давно, и мы напишем её вдвоём», — так писал Георгий Эфрон (Мур) в лагерь своей сестре (А. Эфрон. 1942, 7 сентября). Так он заклинал судьбу, после трагической смерти матери забросившую его в чужой далёкий Ташкент.

Аля была арестована летом 1939 года, отбыла в лагерях первый срок (8 лет), и после короткой передышки была вновь арестована 22 февраля 1949 года, и приговорена к бессрочной ссылке в Туруханский край. Освобождение пришло к ней только в середине 1950-х годов, когда ни отца, ни матери, ни брата уже не было в живых. Мур погиб на фронте летом 1944 года.

Брат и сестра больше никогда не встретились. Нет их общей книги о матери, о которой так мечтали оба, но есть воспоминания и письма взрослой Ариадны Сергеевны, есть уникальные записи маленькой Али, бережно сохранённые Мариной Ивановной, привезённые ею из Москвы в эмиграцию, а через 17 лет — обратно в Москву, где они чудом сохранились в страшные годы, есть письма и дневники Мура. Сохранилась переписка каждого из героев этой книги не только друг с другом, но и с близкими людьми, с друзьями и знакомыми. И это тоже часть «романа».

Роман в письмах — об этом необходимо сказать особо.

Уважение к частной жизни человека и семьи, к жизни души, вольно открывающейся в письмах, — знак тех времён, когда ветер истории ещё не врывается так жестоко в дома и верилось в их защищённость и прочность. Письма — эпически повествовательные

(впрочем, эпических писем в мире Марины Цветаевой немного) или исповедальные, горячо эмоциональные или аналитически осмысляющие переживаемое — были для людей их круга, ещё глубоко связанных с уходящей культурой, не только наиболее привычным способом общения, но и значительной, очень для них органичной частью жизни, естественным продолжением и воплощением её. Не включить их в книгу о «трудах и днях» этих людей было бы противоестественно — это чувствуют все пишущие о Марине Цветаевой.

«Мы нескромно читаем письма давно умерших людей, и вот мы вошли в чужую семью, узнали их дела и характеры. Что же? ведь нет дурного в том, чтобы узнать и полюбить. И застали мы их в дни скорби <...> тут-то и легко рождается сердечное участие к людям. А с ними мы выходим на широкую арену истории <...> потому что их семейные невзгоды, в которых мы их застаём, так непосредственно связаны с историей эпохи, <...> что вмешательство общих сил в жизнь личную становится здесь особенно наглядным», — так размышлял о письмах людей ушедшего XIX века автор книги «Грибоедовская Москва» М. Гершензон. Речь в его книге идёт о войне 1812 года, но слова о «вмешательстве общих сил в жизнь личную» и о «днях скорби», с этим связанных, применимы, разумеется, и к историям жизни многих семей века двадцатого, а в жизнь семьи Марины Цветаевой и Сергея Эфрона эти «общие силы» ворвались с обнажённой жестокостью.

Сохранённые и дошедшие до далёких потомков письма людей другого века М. Гершензон ощущал как чудо, требующее не равнодушного, трепетного к себе отношения: «И вот всё, что осталось от её земного существа, один этот листок! Но в нём она ещё и теперь жива, в нём не остыла живая теплота её чувства. Разве это не чудо? Каждое чувство человека и каждая мысль есть в своем воплощении как бы дивный организм, и этот организм бессмертен; время может разбить только его материальную форму, но не властно расторгнуть или сделать не бывшим неповторимый строй чувств и идей, который мгновенно и раз навсегда возник в душе человека. Поэтому всё золото, какое есть на земле, не может уравновесить цену этого бедного листка почтовой бумаги, бережно несущего чрез века бессмертную жизнь сознания».

Как близок Марине Цветаевой этот взгляд! Ей всегда было очень важно сохранить, спасти от забвения «бессмертную жизнь сознания» и «живую теплоту чувства».

Наша книга состоит из трёх частей: «Марина и Сергей», «Мать и сын», «Мать и дочь». В каждой из этих линий жизни Марины Цветаевой, важных, сокровенных, болевых, во всей противоречивости отразился век головокружительных надежд и страшных разочарований, его идеализм и цинизм, ослепление толп и провидческая зоркость немногих, «соблазны кровавой эпохи» (Наум Коржавин) и тяжёлое отрезвление от них.

Глава «Мать и дочь» завершает книгу. Голос сына, так много обещавший, оборвался слишком рано... Дочь — последняя из семьи, оставшаяся в живых после гибели брата в 1944 году, посвятила все отпущенные ей судьбой после тяжелейших испытаний годы памяти матери. Говоря словами, сказанными самой Мариной Цветаевой (по другому поводу), Ариадна Эфрон сделала всё, чтобы сохранить живую жизнь их семьи на земле — то, что «кончилось, сгорело дотла, затонуло до дна» — поднять со дна собственной памяти и ВОСКРЕСИТЬ.

Семья Марины Цветаевой и Сергея Эфрона собрана здесь «под одной обложкой», разумеется, не в полном объёме — это было бы просто физически невозможно, и какой-то отбор был необходим, но их внутренние переключки и расхождения, их чувства на одной волне и на волнах несовместимо разных, их спонтанные отклики на события и аналитические размышления о них, их суждения о времени, о России, о прошлом, настоящем и будущем, о нравственных постулатах и возможности или невозможности их пересмотра — предстанут здесь как ПОПЫТКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ (по фрагментам) романа о земном доме поэта на ветру времени. Нужно только прочесть его...

Роман этот назван словами самой Марины Цветаевой — «Воздух трагедии».

Марина и Сергей

«Читающие теперь стихи зрелой Марины Цветаевой уносят с её страниц трагический образ поэта и женщины, не нашедшей себе в жизни счастья», — так Анастасия Цветаева начала одну из глав своей большой книги «Воспоминания» («Марина, Серёжа и Аля. Дневники Марины»).

В самом деле, многие строки цветаевской ранящей лирики потрясают именно трагедийным накалом. ...

...Расставание — не по-русски!
Не по-женски! Не по-мужски!
Не по-божески!..

...О вопль женщин всех времён:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
И слёзы ей — вода, и кровь —
Вода, — в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха — Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.

...Гора горевала о том, что врзсь нам
Вниз, по такой грязи...

...Я не более чем животное,
Кем-то раненное в живот...

Очень неожиданно прозвучало после всего этого страстное опровержение Анастасии Цветаевой, идущее сразу за процитированными её словами:

«И никто, кроме меня, её полу-близнеца, не помнит тех лет её жизни, которые это оспаривают. Но я их помню, и я говорю: Марина была счастлива с её удивительным мужем, с её изумительной

маленькой дочкой — в те предвоенные годы. Марина была счастлива».

Имя Сергея Эфрона впервые прозвучало в легальной советской печати, когда были опубликованы мемуары Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» — эта книга вызвала в годы хрущёвской оттепели огромный интерес. Эренбург сказал о муже Марины Цветаевой всего несколько слов: тихий, скромный, приветливый юноша с огромными добрыми глазами... Такой отзыв о человеке, с которым Марина Цветаева прожила всю отпущенную им судьбой жизнь — с венчания в январе 1912 года до ареста Сергея Эфрона в 1939 году (27 лет) — очень поразил меня тогда явным несовпадением с образами адресатов многих её лирических стихов:

Было дружбой, стало службой.
Бог с тобою, брат мой волк!

Или

...Тяжело ступаешь и трудно пьёшь,
И торопится от тебя прохожий.
Не в таких ли пальцах садовый нож
Зажимал Рогожин?

Совсем другие характеры... Эти стихи мы узнали гораздо раньше, чем стихи, посвящённые Сергею Эфрону. С ними нас первая познакомила Анастасия Цветаева в своих «Воспоминаниях».

Мне говорят — ты странный человек —
Другим на диво!
Быть, несмотря на наш двадцатый век,
Такой счастливой!
Не слушая о тайном сходстве душ
И всех тому подобных басен,
Всем говорить, что у меня есть муж.
Что он — прекрасен!
Я с вызовом ношу его кольцо
— Да, в Вечности жена — не на бумаге!

Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови. <...>
В его лице я рыцарству верна.
— Всем вам, кто жил и умирал без страха. —
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.

3 мая 1914

...Анастасия Цветаева дала нам почувствовать редкую атмосферу отношений юных Марины и Сергея в первые годы их любви: «Волнение её счастья передавалось мне за неё, радостью! за неё, которая никогда с детства не была счастлива, всегда одинока, всегда — в тоске».

Всю свою долгую жизнь (Анастасия Ивановна прожила 98 лет) остро и ярко помнила она Марину — такой:

«Я никогда во всю жизнь не видела такой метаморфозы в наружности человека, какая происходила и произошла в Марине: она становилась красавицей. Всё в ней менялось, как только бывает во сне. Кудри вскоре легли кольцами. Глаза стали широкими, вокруг них легла тёмная тень. Марина, должно быть, ещё росла? И худела. Ни в одной иллюстрации к книге сказок я не встретила такого сочетания юношеской и девической красоты. <...> Я никогда не была красавицей, а Марина была ею лет с девятнадцати до двадцати шести, лет пять-шесть. До разлуки, разрухи, голода».

Анастасия Ивановна считала очень важным, чтобы любящие Марину Цветаеву люди узнали о ней и это.

«Не помню, как в первый раз <...> мне сказала Марина о том, кем стал ей Серёжа Эфрон и она ему. Мы стояли — Марина и я — под шатром южных звёзд <...>, и её слова, как волны о чёрный берег, луной или фосфором под водой бились о моё одинокое без неё сердце:

— Он чудный, Серёжа... Ты поймёшь. Мы вечером будем у меня — приходи! Втроём. Ты увидишь! Сёстры еле отходили его, когда он узнал о самоубийстве матери и брата. Котик, в четырнадцать лет... Они обожали мать. Она не перенесла. Серёжа и Котик росли вместе, как мы. Тоже два года разницы. Он болен, Серёжа, — туберкулёз. Мы, может быть, скоро уедем отсюда, он не переносит жару... «Мы». Значит, конечно моё «мы» с Мариной <...> если бы я могла так подумать, я бы сказала: меж Мариной и мной встал Серёжа. Но я не могла сказать так. Серёжу любила Марина — и он любил её ответной любовью, и Марина была счастлива <...>

Серёжа полулежит на ковре, тонкая, чуть смуглая, — болея, он не загорает! — рука привычно отводит со лба тёмную прядь, и улыбаясь глубокой своей, впитывающей нас улыбкой, радостной, как всё, что делает, пьёт глотками маленькую чашечку кофе. У него узкое лицо, тёмный разлёт бровей и под ними такие огромные, совершенно невероятные по красоте и величине глаза. Они серозеленоватые и сияют добротой и счастьем — быть так любимым, так ценимым, быть сейчас с нами! Его радости хватает и на меня — он и меня в себя принял, он — наш, и мы обе — его, и как совершенно чудесно, что он мне — брат без малейшей смуты. Когда он начинает рассказывать о своём, о матери, брате, с которым рос, как Марина и я и о другом брате, ещё прежде умершем, — я проваливаюсь в это детство — с головой <...>

Силы Марининой юности, без меры печальной, все сны её одинокой дремоты, всё собралось воедино: поднять его на руки, победить в нём гнувшую его утрату, дать ему жизнь! Она не сводила с него глаз. Каждый миг с ним было познание и любованье, всё более глубокое погружение в эту душу, самую дорогую из всех. Драгоценную, ни с чем не сравнимую. Это сердце, эта жизнь брала все её силы, нацело её поглотив. В его взгляде, на неё устремлённом, было всё её будущее. Он никого ещё не любил. Он пошёл в её руки, как голубь. Он был тих. Он был отдан мечте, как она. Как она, он любил своё детство. Он утратил мать, как мы. Он рос с братом, как Марина со мной. Он родился в день её рожденья, когда ей исполнился один год.

В её стихах он понимал каждую строку, каждый образ. Было совсем непонятно, как они жили врозь до сих пор...».

Этот рассказ сестры Марины Цветаевой глубоко взволновал нас, многое мы увидели по-новому. Говорю о тех нас («про ту средь»), как сказал об определённом круге своего поколения Борис Пастернак), в чью жизнь в 1960-е годы так бурно ворвались цветаевские стихи.

Чуть позднее мы прочли в воспоминаниях Ариадны Эфрон:

«... Они встретились — семнадцатилетний и восемнадцатилетняя — 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей — красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался весёлым, точнее: радостным!) — с поразительными, огромными, в пол-лица, глазами; заглянув в них и всё прочтя наперёд, Марина загадала: если он найдёт и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашёл тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от её зелёных,— и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещённый, который она хранила всю жизнь, который уцелел и по сей день...»

Но как было совместить это новое знание с такими строками, как:

... Гора говорила, что быть с другими
Нам (не завидую тем другим!)

Или:

... Как живётся, милый? Тяжче ли? —
Так же ли — как мне с другим?

«С другим» — это о её Серёже? После всего? Как совместить это с неизбежными жалобами её на внутреннее одиночество, с признаниями в собственной неспособности «жить дома — душой» (в письмах Борису Пастернаку), с горьким лирическим отступлением в «Моём Пушкине»:

«... многое предопределил во мне «Евгений Онегин»<...> и если я <...> когда уходили (всегда — уходили), не только не

протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей».

«Всегда уходили...» — сказать такое, когда всю жизнь был рядом с ней преданный и понимающий её человек?

«Серёжа остался верен ей до конца жизни», — написала Анастасия Цветаева.

Как совместить всё это с ещё более горестной «попыткой завещания»:

«Мне все эти дни хочется написать своё завещание. <...> что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: разъяснение. Свести счёты <...> Я дожила до сорока лет, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. Это я бы хотела выяснить. У меня не было верного человека. Почему? У всех есть...» (А. Тесковой. 1934, 21 ноября).

Это письмо надолго повергло меня в тяжёлое недоумение — поразило вопиющей, как мне виделось, несправедливостью (особенно остро — в первом чтении). После всего сказанного ею о «чуде встречи», после восторженных писем о Серёже и стихов, ему посвящённых, после его писем к ней, после его многолетней преданности — «не было верного человека»? И ещё — «у всех есть»... Неужели Марина Цветаева в самом деле верила в это? А писалось это одинокой женщине (Анна Антоновна Тескова никогда не была замужем).

Очень трудно, даже при всём знании происходящего с ними обоими в драматичной «совместности» (особенно в 1930-е годы), воспринять и осмыслить такую двухполюсность:

«... Серёжу я люблю бесконечно и навеки <...> Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша! <...>. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменялась, — люблю всё то же и живу всё так же, как в 17 лет. Мы никогда не расстаёмся. Наша встреча — чудо. Пишу Вам всё это, чтобы Вы не думали о нём, как о чужом. Он — мой самый родной на всю жизнь» (В. Розанову. 1914, 7 марта).

А годы спустя: «У меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете <...> У меня не было верного человека».

Тяжело размышляя над этим противоречием и в очередной раз перечитывая это письмо, я вдруг увидела в нём то, чего долго не замечала, точнее, не обращала пристального внимания, необходимого в этом случае. В том же письме Анне Тесковой после слов о том, что у неё «не было верного человека», Марина Цветаева в сущности сама признаёт несправедливость только что сказанного:

«Подымаю глаза, совершенно горящие от слёз (целые дни!), и сквозь слёзную завесу вижу лицо Сигрид Унсет из серебряной рамки: недоумевающее, укоризненное, не узнающее (меня)».

Сигрид Унсет — любимая писательница Марины Цветаевой, её роман «Кристин, дочь Лавранса» занимал огромное место в её жизни (см. об этом в моей книге «Душа, родившаяся где-то. Марина Цветаева и Кристин, дочь Лавранса». М., 2000). Имя Сигрид Унсет в её восприятии — символ достойного, вызывающего глубокое уважение женского мужества и высокого благородства. Укоризненное выражение, прочитанное Мариной Цветаевой на ее лице в эту тяжёлую минуту нервного срыва, говорит об острых угрызениях совести, испытанных Мариной, когда у нее невольно вырвались слова вопиюще несправедливые (не только по отношению к мужу, но и к самой себе!), упрощающие трагическую историю их отношений.

Знаменитый постулат Льва Толстого — «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» — явно не годится для постижения истории любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Их семья и в счастье, и в несчастье не была похожа ни на какую другую.

Есть рассказ Анастасии Цветаевой о начале их любви, есть воспоминания Ариадны Эфрон об атмосфере жизни семьи в Чехии. Есть много мемуаров людей, в разные годы знакомых с их семьёй и очень по-разному воспринимающих их отношения. Мне придётся не раз обратиться к ним по ходу осмысления этого сюжета. Я остро ощутила явную лакуну: для понимания всего происходившего

в семье Марины Цветаевой и Сергея Эфрона в разные годы очень не хватало живого голоса самого Сергея.

Одной из первых заговорила об этом Мария Белкина: «... при всех её падениях и взлётах, при всех разочарованиях и увлечениях всегда присутствует Сергей Яковлевич... Он прошёл тенью через всю её жизнь, и мы почти что ничего о нём не знаем». («Скрещение судеб». М., 1992).

Публикация «Записок добровольца» Сергея Эфрона в России до 1990-х годов была невозможна. Его юношеская повесть «Детство», о которой с таким восторгом отзывалась Анастасия Цветаева, хоть и была написана до 1917 года, хоть и не содержала (и, естественно, не могла содержать) никаких запретных политических взглядов, тем не менее оставалась почти недоступной. Не публиковались и его письма. История запрета на объективный рассказ о его жизненном пути трагически парадоксальна. Сначала такой рассказ о Сергее Эфроне был запрещен из-за его белогвардейского прошлого (точнее — разрешалось лишь сказать, что он раскаялся в нём, признав ошибки и вину перед Родиной, но никак не углубляться в его мысли и чувства до этого раскаяния, когда он ещё верил в правоту и благородство белой идеи). Позднее, когда вся российская жизнь так кардинально изменилась, что в осмыслении многих и разных (почти всех!) исторических событий и участников их поменялись плюсы на минусы и наоборот, имя Сергея Эфрона стало «сомнительным» по прямо противоположной причине — из-за его связей с ГПУ — НКВД. На смену многолетнему замалчиванию пришли статьи скандально разоблачительного жанра.

Впрочем, в книгах Виктории Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой», Анны Саакянц «Твой миг, твой день, твой век. Жизнь Марины Цветаевой» и особенно в нескольких книгах Ирмы Кудровой — «Вёрсты, дали... Марина Цветаева: 1922—1939», «После России. Марина Цветаева. Годы чужбины», «Путь комет» — рассказано о многом, прежде замалчиваемом. Да и той же Марии Белкиной в книге «Скрещение судеб» (очень ценной как личное свидетельство), несмотря на то, что книга в основном посвящена

Марине Ивановне и её детям, с которыми она была знакома (с Сергеем Эфроном — не была), всё же удалось в значительной степени заполнить эту лауну.

Я ни в коем случае не претендую на «первооткрывательство», но просто хочу сказать, что сейчас, когда и голос Сергея Эфрона зазвучал в полной мере, мне открылось много нового не столько в фактическом, сколько в психологическом плане. После того как были опубликованы главы из его повести «Детство», его очерки под общим названием «Записки добровольца» и множество писем, а также записные книжки Марины Цветаевой, в которых зафиксированы их живые диалоги, споры и размышления, я была поражена разнообразием, многоцветностью, иногда неожиданностью обсуждаемых тем (особенно в юности Марины и Сергея) и тональностью общения. Открылся целый новый пласт, во многом, как мне видится, недооценённый исследователями, делающими эмоциональное ударение на последнем — трагическом — этапе жизни Сергея Эфрона и на происходящем в их отношениях тогда. При таком ударе последние годы как бы бросают тень на все предшествующие, заставляя видеть и их преимущественно в мрачном свете. Между тем более психологически подробное представление о начале их отношений (даваемое сравнительно недавно опубликованными цветаевскими записями) открывает нам возможность увидеть и дальнейшее в какой-то степени в новом, не столь упрощённом, свете. А главное — даёт редкую возможность «выслушать обе стороны», услышать через всю их жизнь проходящий диалог, осознать, что диалог этот — был. Мне он открыл и удивительную их «голосов переключку» в первые годы, и резкие разногласия позднее, и всегда ощущаемую в этом диалоге глубокую внутреннюю связь и большую эмоциональную зависимость друг от друга — такую, какая бывает только у очень близких людей. И мне захотелось вновь как можно внимательнее вслушаться в диалог с самого начала.

Встречу свою на берегу Чёрного моря в Коктебеле под крылом Макса Волошина юные Марина и Сергей восприняли как чудо,

по-новому осветившее всю жизнь. Каждый из них пришёл к этой, оказавшейся во многом роковой для обоих, «несчастно — счастливой» встрече — из своего детства. Известные слова Экзюпери — «Я родом из детства» — мог бы с глубоким основанием — с большим, чем многие другие молодые люди, не так больно и резко со своим детством расставшиеся, — сказать каждый из них.

В это время Марина уже написала много стихов о рано умершей матери — о памяти, о том, что оставила она дочерям.

MAME

В старом вальсе штраусовском впервые
Мы услышали твой тихий зов,
С той поры нам чужды все живые
И отраден беглый бой часов.

Мы, как ты, приветствуем закаты,
Упиваясь близостью конца.
Всё, чем в лучший вечер мы богаты,
Нам тобою вложено в сердца.

К детским снам клонясь неутомимо,
(Без тебя лишь месяц в них глядел!)
Ты вела своих малюток мимо
Горькой жизни помыслов и дел.

С ранних лет нам близок, кто печален,
Скучен смех и чужд домашний кров...
Наш корабль не в добрый миг отчален
И плывёт по воле всех ветров!

Всё бледней лазурный остров — детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно, грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!

1907—1910

Об отце Марина Цветаева никогда не писала стихов. Она «воскресила» его в прозе, и случилось это гораздо позднее, когда на-

ступило время осмысления его личности и его огромной (может быть, в юности недооценённой) роли в ее жизни и судьбе. Многое важное и в отце (не только в матери) Марина Цветаева почувствовала в юности. Правда, как слишком часто с какой-то горькой закономерностью происходит в жизни, случилось это уже после его смерти. Она и в годы своего счастья много и углублённо думала о рано ушедших родителях, о судьбах их и отношениях.

«... Милый Василий Васильевич,

...Пишу Вам о папе. Он нас очень любил, считал нас «талантливыми, способными, развитыми», но ужасался нашей лени, самостоятельности, дерзости, любви к тому, что он называл «эксцентричностью»<...> Мама умерла 5-го июля 1906 г. в Тарусе Калужской губернии, где мы всё детство жили по летам. Смерть она свою предвидела ясно. — «Теперь начинается агония». За день до смерти она говорила нам с Асей: «И подумать, что какие угодно дураки вас увидят взрослыми, а я...» И потом: “Мне жаль только музыки и солнца!”<...>Мамина юность, как детство, была одинокой, болезненной, мятежной, глубоко-скрытой <...>. Весь дух воспитания — германский. Упоение музыкой, громадный талант (такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу!), способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью. Гордость, часто принимаемая за сухость, стыдливость, сдержанность, неласковость (внешняя), безумие в музыке, тоска <...>. Мама и папа были люди совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы — музыка, стихи, тоска. У папы — наука. Жизни шли рядом, не сливаясь. Но они очень любили друг друга. Мама умерла 37-ми лет, неудовлетворённая, непримирённая, не позвав священника, хотя явно ничего не отрицала и даже любила обряды. Её измученная душа живет в нас, — только мы открываем то, что она скрывала. Её мятеж, её безумие, её жажда дошли в нас до крика.

Папа нас очень любил. Нам было 12 и 14 лет, когда умерла мама. С 14-ти до 16-ти лет я бредила революцией, 16-ти лет безумно любила Наполеона I и Наполеона II, целый год жила без людей, одна в своей маленькой комнатке, в своём огромном мире.

Напишу Вам о папе.

Он умер 30-го августа 1913 г., от старческой болезни сердца, появившейся в последние годы. Самый последний год он чувствовал нашу любовь, раньше очень страдал от нас, совсем не зная, что с нами делать. Когда мы вышли замуж, он очень за нас беспокоился. Ни Серёжи, ни Бориса (первого мужа Анастасии Цветаевой. — Л. К.) он не знал. Серёжу он потом полюбил, поверив в его желание высшего образования — это для него было главное. Как людей он не знал ни Серёжи, ни Бориса, совсем не знал, кто те, кого мы любим. Алю и Андриюшу он очень любил, очень им радовался и как потом мы узнали, всем о них рассказывал. Но он видел их совсем маленькими, до года. Это ужасно жаль!<...> Как странно! Я Вам это расскажу.

Я приехала в Москву числа 15-го августа, сдавать дом (наш дом с Серёжей). Папа был в имении около Клина, где всё лето прожил в прекрасных условиях. Числа 22-го мы с ним увидались в Трёхпрудном, 23-го поехали вместе к Мюру (Мюр и Мерилиз — магазин в Москве, названный по фамилии владельцев; теперь в этом здании ГУМ. — Л. К.) — он хотел мне что-нибудь подарить. Я выбрала маленький плюшевый плед — с одной стороны коричневый, с другой золотой. Папа был необычайно мил и ласков. Когда мы проходили по Театральной площади, сверкавшей цветами, он вдруг остановился и показав рукой на группу мальв, редко-грустно сказал: “А помнишь, у нас на даче были мальвы?” У меня сжалось сердце. Я хотела проводить его на вокзал, но он не согласился: “Зачем? Зачем? Я еще должен в Музей”.

“Господи, а вдруг это в последний раз?” — подумала я и чтобы не поверить себе, назначила день — 29-ое — когда мы с Асей к нему приедем на дачу. Господи, у меня сердце сжимается! — 27-го ночью его привезли с дачи почти умирающего. <...> За день — меньше! — до смерти он спросил меня: “А как... твой... этот... плед?” Господи!

Последний день он был почти без памяти. Умер он в 13/4 ч. дня. Мы с Андреем были в его комнате. <...> Умер без священника. Поэтому мы думаем, что он действительно не видел, что умирает, — он был религиозен. — Нет, это тайна. Теперь уже никогда не

узнаем, чувствовал он смерть или нет. Его кончина для меня совершенно поразительна: тихий героизм, — такой скромный! Господи, мне плакать хочется!

Мы все: Валерия, Андрей (дети Ивана Владимировича от первого брака. — Л. К.), Ася и я были с ним в последние дни каким-то чудом: Валерия случайно приехала из-за границы, я случайно из Коктебеля (сдавать дом), Ася случайно из Воронежской губернии, Андрей случайно с охоты.

У папы в гробу было прекрасное светлое лицо...» (В. Розанову. 1914, 8 апреля).

Анастасия Цветаева писала: «Утрата отца, как утрата матери за семь лет до того, легла на дно сердца, влилась в кровь, стала частью нас, жила с нами — и так это продолжалось, не изменяясь, всю нашу жизнь. Во все дни и годы жизненных испытаний память о таком отце, о такой матери говорила в нас полным голосом. Их свойства, их стойкость, их доблесть остались опорой как Марине, так и мне во всём, что пришлось пережить».

А Марина Цветаева писала: ««Трёхпрудный» — в моих вещах — Трёхпрудный переулок, где стоял наш дом, но это был целый мир, вроде имения <...>, и целый психический мир — не меньше, а м. б. и больше дома Ростовых, ибо дом Ростовых плюс ещё сто лет» (А. Тесковой. 1936, 20 января).

Ты, чьи сны еще непробудны,
Чьи движенья ещё тихи,
В переулок сходи Трёхпрудный,
Если любишь мои стихи.

О, как солнечно и как звёздно
Начат жизненный первый том,
Умоляю — пока не поздно,
Приходи посмотреть наш дом!

Будет скоро тот мир погублен,
Погляди на него тайком,
Пока тополь ещё не срублен
И не продан ещё наш дом.

Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций
Цвета пепла и серебра.

Этот мир невозвратно-чудный
Ты застанешь ещё, спеши!
В переулок сходи Трёхпрудный,
В эту душу моей души.

1913

Сергей Эфрон тоже глубоко грустил по утерянному дому своего детства. Он не писал стихов, но грусть эта прорвалась даже в официальном документе — в автобиографии, которую полагалось приложить к заявлению и другим бумагам, подающимся для сдачи экзаменов на аттестат зрелости экстерном (они были поданы им в 1914 году — в гимназию в Феодосии). С первой же фразы автобиография эта явно не соответствует традиционным канонам жанра, никак не предполагающего такой лирической исповедальности. Начало её очень напоминает первые строки старинного романа:

«Первые детские воспоминания мои связаны со старинным барским особняком в одном из тихих переулков Арбата <...>. Это было настоящее дворянское гнездо <...>.

Всё это принадлежало милому, волшебному, теперь уже далёкому прошлому.

При доме был сад с пышными кустами сирени и жасмина, искусственным гротом и беседкой, в разноцветные окна которой весело било солнце. Чуть только начинала зеленеть трава, я убегал на волю, унося с собою то сказки Андерсена, то “Детские годы Багрова-внука”, а позднее какой-нибудь томик Пушкина в старинном кожаном переплёте. Я помню огромное впечатление от стихотворения “К морю”. Никогда ещё не виденное море вставало передо мной из прекрасных строк поэта, — то тихое и голубое, то бурное.

Я бредил им и всем существом стремился наконец узнать “его берега, его заливы, и блеск, и шум, и говор волн”.

Моим чтением руководила мать. Часто по вечерам она читала мне вслух. Так я впервые познакомился с “Вечерами на хуторе близ Диканьки”, “Повестями Белкина”, “Капитанской дочкой”, “Записками охотника” и другими доступными моему возрасту образцовыми произведениями русской литературы.

Десяти лет я поступил в 1-й класс частной гимназии Поливанова. Этим заканчивается моё раннее детство <...>. В гимназии Поливанова я пробыл пять лет, переболев за это время почти всеми детскими болезнями. Внезапная и почти одновременная утрата родителей окончательно расшатала моё здоровье. Дом продали, — прежняя жизнь рушилась. Разбитый и усталый я выехал в Петербург. Вся моя последующая жизнь — непрерывное лечение. Обнаруженный у меня петербургскими докторами туберкулёз лёгких требовал немедленного и строжайшего санаторского режима. Начались скитания по русским и заграничным санаториям.

С утра до вечера, лёжа на chaise longue (шезлонг), я читал, думал и главное — вспоминал. Мелькали лица, звенели голоса, из отдельных слов слагались фразы, воскресали целые беседы; вставляли сцены недавнего милого прошлого. Понемногу я стал их записывать. Из этих приведённых в порядок воспоминаний составила книга рассказов “Детство”, вышедшая из печати, когда мне исполнилось 18 лет.

За четыре года моей болезни я читал и перечитывал Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Л. Толстого и иностранных классиков. Из русских поэтов моим любимым оставался Пушкин — “России первая любовь”, как сказал о нём Тютчев (у Тютчева: “Тебя, как первую любовь, / России сердце не забудет”. — Л. К.). Из прозаиков больше всего волновали меня Достоевский и Толстой, связанные друг с другом самыми драгоценными свойствами — глубиной и полной искренностью.

С 17 лет я понемногу принялся за подготовку к экзаменам на аттестат зрелости, которые думал держать прошлой весной при Московском Лазаревском Институте Восточных Языков. За месяц

до экзаменов мне, однако, по болезни пришлось уехать в Крым. После курса лечения в Ялтинской санатории Александра III и удачно перенесённой операции аппендицита на туберкулёзной почве я в настоящее время заканчиваю подготовку на аттестат зрелости».

Как не похоже всё это на сухой язык документа! Эти несколько страниц скорее напоминают лирическое эссе: жизнь души, уединённой, пылкой, ранимой, много страдающей, раскрывается здесь так доверчиво, как могло бы быть в письме к близкому человеку. Невольно вспоминается в этой связи сказанное Мариной Цветаевой много лет спустя по другому поводу (в статье о книге С. М. Волконского):

«Личность — то, чего не скроешь даже в приходе-расходной книге».

В каком-то смысле, видимо, Сергей Эфрон отнёсся к написанию автобиографии как к литературному заданию.

Близость мира его чувств и воспоминаний миру юной Марины Цветаевой несомненна: те же любимые с детства книги (много лет спустя Марина Цветаева расскажет о своём восприятии пушкинского «К морю» и Пугачёва «Капитанской дочки», не раз перечитываемых ею в «досемилетие»); та же склонность к уединению, мечтательность, тайный жар души и острая тоска по навсегда ушедшему и навсегда оставшемуся в памяти опозитизированному миру своего детства; то же узнавание любимых книг — с голоса матери.

Ощутимо, правда, и существенное различие: маленькому Серёже мать читала, как принято было тогда в российских интеллигентных семьях, «доступные его возрасту образцовые произведения русской литературы» — у неё не было лихорадочной, обгоняющей возраст маленьких дочек, торопливости матери Марины Цветаевой:

«О как мать торопилась, с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джэн Эйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним — без всех, точно знала, что не успеет, всё равно не успеет всего, всё рав-

но ничего не успеет, так вот — хотя бы это, и хотя бы ещё это, и ещё это, и это ещё... Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить — на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала, — и даже давила! — не давая улечься, умяться (нам — успокоиться), заливала и забивала с верхом — впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание — как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь — самое ценное — для долгией сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «всё продано», и за последним — нырок в сундук, где, оказывается, ещё — всё. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало <...>. Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики <...>. После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом». («Мать и музыка»).

Провидчески ощущая ограниченность отпущенного ей срока, мать Марины и Анастасии спешила дать дочерям многое на будущую жизнь «про запас». Такого трагического предвидения своей судьбы у матери Сергея Эфрона, видимо, не было, но трагедия — свершилась. Близость судеб юных Марины и Сергея с первых дней встречи потрясла обоих: навсегда ранила их души ранняя утрата матерей, разрушенные дома детства и трудное прощание с ними.

Анастасия Цветаева пересказала со слов Сергея Эфрона историю его семьи:

«Мать Серёжи, Лили и Веры (у них есть ещё сестра Нютя, в Петербурге, старшая, и брат Петя, в Париже, актёр) была из рода Дурново, старых дворян. Она ушла из дома семнадцати лет — в революцию.

Партийная кличка её была “Лиза большая”. Она была членом “Народной воли” и “Чёрного передела” <...>. Она была талантлива, образованна, хороша собой. Порвала с семьёй по идейным причинам. Встретила прекрасного человека, революционера. У них было много детей, младший из них был Котик, с которым Серёжа рос, как росли Маруся (так, а иногда — Муся называли Марину Цветаеву дома в детстве. — Л. К.) и я. И за год с небольшим до встречи

с Мариной Серёжа пережил непоправимое горе: трагически погибли Котик и мать, в один день. (Котик в 14 лет покончил с собой, мать покончила самоубийством в тот же день. — *Л. К.*)

На Серёжу было нельзя смотреть. Мы не смотрели. Марина, как он, была — живая рана. И страстная тоска по ушедшей — поклонение, трепет, присяга верности его жизни сносила её».

Острая тоска по прошлому, по ушедшему — в том возрасте, когда совсем не многие молодые люди с такой ностальгией оглядываются назад — очень сближала их. «Всё это принадлежало милому, волшебному, теперь уже далёкому прошлому», — на такой ноте идёт всё воспоминание Сергея Эфрона о родительском доме, где, по его словам, протекала «сказочная, несколько замкнутая жизнь».

В очень близкой тональности тосковали по каждому ушедшему мигу — даже ещё при жизни матери, вместе с ней (и тем более — потом) — сёстры Цветаевы. «И всегдашнее наше, с ранних лет — а помнишь?» (Анастасия Цветаева).

Пожизненность этой раны — потери матери, страшной смерти её и любимого брата, утраты дома своего детства — остро ощутима в письмах Сергея Эфрона гораздо более позднего времени.

С правдой фактов, однако, в тексте автобиографии С. Эфрона дело обстоит иначе (именно потому, что он всё же помнит, что это официальный документ). О многом он умалчивает, оставляя не заполненными даже такие традиционно требуемые в подобных документах графы, как профессия родителей. В написанных десятилетия спустя, когда Сергея Эфрона уже давно не было на свете, воспоминаниях Ариадны Эфрон косвенно проясняется причина этих таинственных умолчаний и открывается гораздо более суровая правда:

«Политические взгляды Елизаветы Петровны (матери Сергея Эфрона. — *Л. К.*), которой довелось сыграть немаловажную роль в революционно-демократическом движении своего времени, сложились под влиянием П. А. Кропоткина. Благодаря ему она ста-

ла — ещё в ранней юности — членом I Интернационала и твёрдо определила свой жизненный путь. Кропоткин гордился своей ученицей, принимал живое участие в её судьбе. Дружбу между ними прервала лишь смерть <...>. В июле 1880-го года Елизавета Петровна была арестована при перевозке из Москвы в Петербург нелегальной литературы и станка для подпольной типографии и заключена в Петропавловскую крепость. Арест дочери был страшным ударом для ничего не подозревавшего отца, ударом и по родительским его чувствам, и по незыблемым его монархическим убеждениям. Благодаря своим обширным связям он сумел взять дочь на поруки; ей удалось бежать за границу; туда за ней последовал Яков Константинович, там они обвенчались и провели долгие семь лет. Первые их дети — Анна, Пётр и Елизавета — родились в эмиграции.

По возвращении в Россию жизнь Эфронов сложилась нелегко <...>. Состоявший под гласным надзором полиции, Яков Константинович имел право на должность страхового агента — не более <...> малый оклад едва позволял содержать — кормить, одевать, учить, лечить — всё прибавлявшуюся семью <...>.

В конце 90-х годов Елизавета Петровна вновь возвращается к революционной деятельности. С ней вместе этим же путём пойдут и старшие дети. Яков Константинович всё той же работой, всё в том же страховом обществе продолжает служить опорой своему “гнезду революционеров”. В часто меняющихся квартирах, снимаемых им, собираются и старые товарищи родителей, и друзья молодёжи — курсистки, студенты, гимназисты; на даче в Быкове печатают прокламации, изготавливают взрывчатку, скрывают оружие. Политическая активность Елизаветы Петровны и её детей-соратников достигла своей вершины и своего предела в революцию 1905 года <...>. В лихорадке обысков, арестов, следственных и пересыльных тюрем, побегов, смертельной тревоги каждого за всех и всех за каждого Яков Константинович вызволяет из Бутырок Елизавету Петровну, которой угрожает каторга, вносит с помощью друзей разорительный залог и переправляет жену, больную и измученную, за границу, откуда ей не суждено вернуться.

В эмиграции она лишь ненадолго переживёт мужа и только на один день — последовавшего за ней в изгнание младшего сына, последнюю опору своей души.

В пору первой русской революции Серёже исполнилось всего 12 лет; непосредственного участия в ней он принимать не мог, ловя лишь отголоски событий, сознавая, что помощь его старшим, делу старших — ничтожна, и мучаясь этим <...>; жажда подвига и служения обуревали его, и как же неспособно было утолить её обыкновенное учение в обыкновенной гимназии! К тому же и учение, и само существование Серёжи утратили с отъездом Елизаветы Петровны и ритм и устойчивость; жить приходилось то под одним, то под другим кровом, применяясь к тревожным обстоятельствам, а не подчиняясь родному с колыбели порядку; правда, одно, показавшееся мальчику безмятежным, лето он провёл вместе с другими членами семьи около матери, в Швейцарии, в местах, напомнивших ей молодость и первую эмиграцию.

Подростком Серёжа заболел туберкулёзом; болезнь и тоска по матери сжигали его; смерть её долго скрывали от него, боясь взрыва отчаянья; узнав — он смолчал. Горе было больше слёз и слов.

В годы своего отроческого и юношеского становления он, будучи, казалось бы, общительным и открытым, оставался внутренне глубоко смятённым и глубоко одиноким. Одиночество это разомкнула только Марина».

Эта часть воспоминаний Ариадны Эфрон написана со слов сестры отца Елизаветы Яковлевны (Лили), многое рассказавшей племяннице и подробно ответившей на её вопросы. (Но в 1914 году Сергей Эфрон, видимо, не счёл возможным официально оглашать сведения о членстве родителей в таких организациях, как «Земля и воля» и «Чёрный передел», а также о бегстве матери за границу после выкупа её из тюрьмы под залог. Умолчал он не только об этом: ни словом не обмолвился о том, что у него, ещё не кончившего гимназию, уже есть жена и маленькая дочь!)

Всё это побуждает задуматься об огромной разнице семей Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Иван Владимирович Цвета-

ев — сын священника, глубоко верующий человек, законопослушный, верноподданный. Правда, по-новому задумавшись об отце во взрослые свои годы, Марина внесла в этот как бы само собой разумеющийся для знающих его людей психологический портрет существенные коррективы:

«Если мой отец был верноподданный, то <...> пассивно, традиционно, от прирождённого смирения <...> и безразличия: безостановочной поглощённости другим: одним. Да и можно ли назвать верноподданным того, кто если и надевал свои ордена, то исключительно чтобы просить за какого-нибудь забранного на сходке студента, которого он и в глаза не видел <...>. Такой “монархист” <...> прежде всего — человек. И — только человек!» («Дом у Старого Пимена»).

Безостановочная поглощённость отца совсем другим служением во многом и определила атмосферу дома детства Марины Цветаевой. Тихий, строгий профессорский дом, подвижническая преданность Ивана Владимировича науке (бессонные ночи за письменным столом); долгие трудные годы, самоотверженно посвящённые делу воплощения в жизнь заветной мечты о создании в Москве Музея изящных искусств — для просвещения российской молодёжи, особенно для бедных студентов, не имеющих возможности ездить за границу. Ради этой цели он отказался от спокойной и благополучной научной карьеры. И Музей был построен вопреки всем препятствиям — ценой здоровья Ивана Владимировича и, может быть, в конечном итоге — преждевременной его смерти.

Через много лет по-настоящему оценит Марина масштаб личности отца и посвятит его памяти очерки «Отец и его музей», «Открытие музея», «Лавровый венок», «Музей Александра III».

И как же далёк этот мир от революционного подполья, где долгие годы шла лихорадочная, полная опасностей жизнь родителей Сергея Эфрона, особенно матери, преданной идеалам революции более фанатично, чем отец, который постепенно погрузился

в заботы о содержании всё увеличивающейся семьи. Какими разными были темы разговоров и споров родителей Сергея и Марины, какие разные страсти обуревали их, как различны были их нравственные установки!

Возможно, что это стало одной из причин беспокойства, с каким Макс Волошин наблюдал быстрое сближение Марины и Сергея и глубокую их с первого часа знакомства эмоциональную захваченность друг другом. Максимилиан Волошин был прежде хорошо знаком с матерью Сергея Эфрона и ясно представлял себе этот контраст.

Не он один, впрочем, был удивлён выбором Марины. Удивлялись, что она нашла в таком юном мальчишке, недоучившемся гимназисте, и другие её знакомые: известный поэт Лев Эллис (влюблённый в Марину и делавший ей предложение), филолог Владимир Нилендер (ему посвящён первый цветаевский сборник «Вечерний альбом»). Её же, в свою очередь, удивляла сама постановка вопроса: «точно я выбирала!» — воскликнула она в письме В. Розанову.

Младшая сестра Марины Ася ничуть не была удивлена этим выбором — в те годы она понимала сестру лучше и глубже всех. Кроме того, она лучше многих поняла и оценила Сергея. Она знала, как душно и тоскливо бывало Марине в академической тишине родительского дома, как рвалась из этой тишины её мятущаяся душа, какими бунтарскими порывами бывала она охвачена. Это потом, годы спустя, пронзительно любя весь тот безвозвратно ушедший мир, Марина так тепло писала о нём...

Ася хорошо помнила короткое, но бурное увлечение Марины настроениями молодых революционеров, встреченных в Ялте во время революции 1905 года:

«Но было одно, что уже начало разъединять Марусю и маму: революция. В то время, как мама, прислушиваясь и задумываясь, старалась в этом хаосе высказываний найти то, что ей всего ближе (кровь её отвращала), Маруся рвалась к по-новому, ей теперь, в тринадцать лет, звучащему — зрелее, чем в её нервийскую зиму (во время лечения Марии Александровны в Италии, в Нер-

ви, она и ее маленькие дочки познакомились с революционерами-эмигрантами. — *Л. К.*) революционному движению <...>. Над нами жили какие-то люди, фамилия их была Никоновы. Мы не знали их. Там был юноша революционер и мать его (ходил слух) — тоже революционерка! У них бывают собрания... Марина рвалась к ним, я это знала и не выдавала её. <...> Кумиры Маруси множились. Лейтенант Шмидт! Как звучало его имя в тот год! Как пылали сердца о черноморском броненосце “Потёмкин”, как гулко неслась весть о гибели людей, шедших на смерть! В хаосе споров о том, не за призрак ли бьются люди, не зря ли кладут свои головы, возможен ли переворот в России, возможен ли он и к чему приведёт в такой отсталой стране, царской, — как во тьме черноморской ночи, над тьмой смертного приговора светлели в душу Маруси глаза героя, обречённого лейтенанта Шмидта <...>.

Неуловимая чуждость начинала реять между мамой и Марусей. Слушая мамины утверждения, что наилучшей платформой является платформа конституционалистов-демократов, умеренная, бескровная, Марина только крепче сжимала недобрые сейчас губы, и в глазах их затаивалась тень насмешки. Там, наверху, не о том говорили! <...> Новые друзья появились у Маруси <...>. Маруся стала ходить к ним, читать им свои стихи. Фоссы были революционеры. Маруся ходила меж нас, детей, как ходит раненый зверь. Озираясь, таясь. События прошедшей зимы — Гапон и расстрел рабочих, мирно шедших к царю с иконами (!) и петицией, восстание, судьба Марии Спиридоновой, казнь Шмидта — вошли в неё ранами. Закусив губы, со свойственной ей в случаях увлечения или страдания мало сказать “замкнутостью”, она сторонилась всех движением затравленного. Брезгливо и гневно она подозревала всех (особенно близких — маму, меня и тех, что садились с нами за стол) <...> — в желании вмешаться в её мучения о героях, кумирах, в её страсть к революции, к её будущему. В эти часы она отдалялась от мамы <...> от всего, что веяло детством <...> никогда она ещё не была так неровна и резка, как в ту зиму. А вокруг только и слышно, что: забастовка — расстрелы, каторга — “долой царя”, “долой самодержавие”, “провокатор”, “шпик”, “охранка”, “казнь” и “долой смертную

казнь”, и перекрывая маминых Шопена, Шумана, Шуберта, Грига, Моцарта и Бетховена, с детства знакомый хор из “Жизнь за царя”, несутся звуки “Варшавянки”, “Марсельезы” и по-русски:

Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног...»

Лишь годы спустя будет вспоминать Марина Цветаева очищенную от «шума времени» музыку матери...

Когда в стране наступило относительное затишье, она, казалось бы, отошла от этих увлечений: кумиров 1905 года в её душе на много лет сменили новые — Наполеон и сын его — «Орлёнок». Больше года она увлечённо занималась переводом пьесы в стихах Эдмона Ростана «Орлёнок». Отголоски этого увлечения слышны в повести Сергея Эфрона «Детство». Он тогда «всем собой» слушал рассказы Марины о том, что было в разные годы детства и отрочества важно для неё. Сестра Ася, которой Марина читала отрывки своего перевода пьесы, помнит своё потрясение мощной талантливостью их. Этот перевод, к сожалению, не сохранился — Марина уничтожила его, с болью и ревностью узнав, что существует уже перевод Щепкиной-Куперник. Другой её кумир тех лет — Мария Башкирцева — русская художница, умершая от туберкулёза в Париже в 24 года. Гораздо больше, чем картинами, она прославилась своим знаменитым тогда дневником. «Дневник Марии Башкирцевой» был в отрочестве одной из любимых книг Марины Цветаевой.

Но в нескольких её письмах 1908 года ещё слышатся отголоски душевных бурь, которые могут удивить всех знающих высказывания и письма зрелой Цветаевой — настолько неожиданными, так не похожими на неё могут показаться настроения, в них высказанные.

В своём письме В. Розанову в 1914 году Марина Цветаева упоминает о том, что она «с 14-ти до 16-ти лет <...> бредила революцией», но это признание ещё не даёт полного представления о характере этого «бреда». Гораздо более близкое представление даёт её письмо того времени:

«Единственно ради чего стоит жить — революция. Именно возможность близкой революции удерживает меня от самоубийства. Подумайте: флаги, Похоронный марш, толпа, смелые лица — какая великолепная картина. Если б знать, что революции не будет, — не трудно было бы уйти из жизни. Поглядите на окружающих <...> ну скажите, неужели это люди? <...> Где же красота, геройство, подвиг? Куда девались герои?» (П. Юркевичу. 1908, 22 июня).

Встреча с Сергеем Эфроном могла всколыхнуть в её душе, оживить настроения тех лет. В том же письме Марины Цветаевой В. Розанову о Сергее Эфроне звучит восторженное: «А мать его была красавицей и героиней!» О кровавой стороне этого героизма Марина пока что не задумывается. Это ещё настигнет её годы спустя...

Одиночество трагически осиротевшего Сергея, по словам Ариадны Эфрон, «разомкнула только Марина». Но и одиночество Марины тоже разомкнулось после их встречи.

Они оба пришли к этому счастью из глубокого горя и потому знали ему цену. Они нежно и восторженно радовались друг другу и раскованно делились этой радостью. В стихию счастья Марина Цветаева погружалась с той же страстной безоглядностью, что и в стихию горя:

«... моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне <...>. В Серёже соединены — блестяще соединены — две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарён, умён, благороден. Душой, манерами, лицом — весь в мать <...> Серёжу я люблю бесконечно и навеки ...» (В. Розанову. 1914, 6 марта).

При чтении «Войны и мира», очарованная поэзией глав о юности Наташи Ростовской, Марина Цветаева была возмущена и даже оскорблена «превращением» толстовской героини, утратившей в финале всю поэтичность. Она называла это «злым чудом». Как бесконечно важно было для неё, что в их с Серёжей семье в те годы всё

по — другому: «Только при нём я могу жить так, как живу — совершенно свободная» (Там же).

Такая Марина — совершенно свободная — живёт на страницах юношеской повести Сергея Эфрона «Детство». Впервые я узнала об этой книге из «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой.

«Я помню своё впечатление об этой в 1912-м году вышедшей книге, которое и до сих пор не изменилось <...> рассказы талантливы, ярки, остры по наблюдательности и памяти; детская психология передана с огромным теплом, умиляет и восхищает. Детство в старой Москве дано отлично. В рассказе “Волшебница” автор, 18-летний юноша, дал образ Марины. С нежным тонким юмором подмечены её характерные, странные в быту черты. <...> Я восхищалась и до сих пор восхищена его проникновением в душу Марины, так недавно ему встретившуюся, неподражаемой правдой его психологического анализа — в самом жару его любви к ней».

Я очень помню, как меня взволновал тогда (при чтении воспоминаний Анастасии Цветаевой в 70-е годы) сам этот факт: существует, оказывается, «образ молодой Марины», созданный 18-летним Сергеем Эфроном! И так захотелось скорее прочитать повесть мужа Марины Цветаевой, таким симпатичным человеком представляющим в воспоминаниях её сестры, услышать его живой голос. Но в середине 1970-х годов это было совсем не просто. Книга Сергея Эфрона «Детство» вышла всего один раз — в 1912 году, очень небольшим тиражом, и с тех пор полностью ни разу не переиздавалась. Только в 1992 году в журнале «Юность» мне удалось опубликовать (со своим предисловием и комментариями) талантливее всего написанную главу этой повести «Волшебница». Позднее она включалась в несколько сборников воспоминаний о Марине Цветаевой. А в конце 1970-х годов, в один из своих приездов из Перми, где тогда жила, в Москву, мне удалось (отнюдь не с первой попытки) добиться, чтобы книгу подняли из хранилища Ленинской библиотеки. Помню волнение, с каким взяла её в руки. На обложке — сказочное название издательства — «Оле-Лукойе». Это была общая

идея Марины и Серёжи — назвать мифическое, придуманное ими издательство именем персонажа Андерсена. Само имя Оле-Лукойе напоминает об уюте раннего детства (что-то с ним связанное изображено и на обложке), когда любящие взрослые читали детям вслух эти сказки.

«Посвящаю эту книгу Марине Цветаевой», — сказано на первой странице книги. Там же — эпитафия:

Дети — это мира нежные загадки,
Только в них спасенье, только в них ответ!

Марина Цветаева. «Вечерний альбом».

Я прочла тогда взахлёб всю книгу, где и другие главы по-своему симпатичны, хоть их уровень и не сопоставим с последней. Обаятельны образы двух маленьких братьев, их забавные и психологически любопытные, с живым юмором поданные беседы на самые разные темы (эта атмосфера ощутима и в начале «Волшебницы»), их нежная привязанность друг к другу, их отношения со старшими сёстрами, считающими себя взрослыми барышнями и пытающимися строго воспитывать мальчиков, чему те, не соглашаясь признать авторитет сестёр равным родительскому, не поддаются. Вообще атмосфера московского интеллигентного дома начала XX века, мира большой многодетной семьи — всё это написано талантливо. Сказочным духом веет от названий многих глав: «Почему мы не сделали ангелами», «Сюрприз», «Дама с медальоном», наконец, «Волшебница». В ней сказочность и волшебство уже совсем открыто обозначены. Весь рассказ ведётся от лица мальчика, который легко верит разным фантазиям, охотно их подхватывает и развивает.

Я тогда целый день переписывала в свою тетрадку эту главу и отрывки из других (тетрадка сохранилась), а потом читала друзьям в Перми и в других городах. Некоторые строки (думаю, читатель этой книги тоже почувствует, какие именно) читались и слушались с особым волнением, с чувством приобщения к сокровенному. Эта книга была дорога молодой Марине как память об их счастливом начале... И представление о том их времени не может быть полным

без этой повести, где звучит голос того Сергея Эфрона, которого нежно и горячо любила молодая Марина Цветаева. И хотя бы отрывки из неё здесь необходимо привести.

В доме ожидается гостя — подруга старшей сестры мальчиков.

«... весь дом уже знал, что завтра, с вечерним поездом, приезжает из Петербурга её бывшая гимназическая подруга Мара.

Каждый отнесся к этому известию по-разному: мама — спокойно, Люся — радостно, Андрей — насмешливо (“какая такая Мара?”), мы — с любопытством, папа — довольно недоброжелательно.

— Она какая-то сумасшедшая, твоя Мара, — сказал он в ответ на Ленино известие. — Ни в одной гимназии не ужилась, из последнего класса вышла. Что она теперь делает?

— В предпоследнем письме она писала, что выходит замуж, но теперь всё расстроилось.

Оказалось, что жених выдавал ей чужие стихи за свои.

— Она увлекается стихами?

— Она сама пишет! — гордо ответила Лена.

— А сколько ей лет?

— Семнадцать.

<...>Взволнованные предстоящей встречей и собственными догадками, мы так и прилипли к стеклу <...>. В передней Ленин голос:

— Раздевайся скорей, ты, наверное, совсем замёрзла.

— Совсем не замёрзла, мне всегда жарко!

Она! Сумасшедшим всегда жарко.

Мы берёмся за руки. Я как старший, делаю шаг вперёд <...>. Большая девочка в синей матроске. Короткие светлые волосы, круглое лицо, зелёные глаза, прямо смотрящие в мои...

<...> В столовой сидели папа, сёстры, Андрей и Мара. Последняя, впрочем, не сидела, а стояла, прислонившись к печке. Люся разливала чай.

— Вам, Мара, какого? Крепкого, среднего или слабого?

— Чёрного, как кофе.

— Ведь это очень вредно...

— Страшно действует на нервы, отравляет весь организм, лишает сна, — скороговоркой продолжила Мара.

— Зачем же вы его пьёте?

— Мне необходим подъём, только в волнении я настоящая.

— Вы слишком дорого оплачиваете это волнение. Подумайте, что с вами будет через два-три года, — сказала Люся.

Мара нетерпеливо замотала головой.

— Через три года мне будет двадцать лет, — это пока ясно и несомненно. И ещё ясно, что я не хочу и не могу жить долго.

Мы с интересом следили за её ответами. Не хочет и не может жить долго? Наверное, она боится, что ещё больше сойдет с ума и её запрут в клетку. Бедная!

Папа предложил ей сесть.

— Благодарю вас, я никогда не сижу, я терпеть не могу сидеть.

— Неужели вечное стояние вас не утомляет?

— Я ведь не целый день стою — хожу или, когда устану, лежу.

— Вы, кажется, горячий противник гигиены?

— Люди, слишком занятые своим здоровьем, мне противны.

Слишком здоровое тело всегда в ущерб духу. Изречение “в здоровом теле — здоровая душа” вполне верно, — потому я и не хочу здорового тела.

Папа отодвинул чашку.

— Так здоровая душа, по-вашему...

— Груба, глуха и слепа. Возьмите одного и того же человека здоровым и больным. Какие миры открыты ему, больному! Впрочем, всё это давно известно!

Она вздохнула.

— Вы, наверное, много читаете?

— Можно мне закончить вашу мысль?

— Пожалуйста.

— Вы сейчас смотрите на меня и думаете: “Тебе семнадцать лет, ты ещё ничего не видела от жизни и считаешь себя умной, потому что много читала для своих семнадцати лет”. — Так ведь? Я действительно считаю себя умной. Умной — да, по сравнению с другими. Но главное, что я ценю в себе, — не ум.

Она внезапно опустила глаза.

— А что же, можно спросить? — сказал папа.

— Вам, наверное, странно, что я так говорю с вами, — как равная с равным. Не беспокойтесь, никто больше меня не уважает старости.

Тут папа улыбнулся.

— Я хочу дать вам верное понятие о себе. Если бы я сейчас замолчала, вы бы сочли меня за рисующуюся, самовлюблённую девочку. Но я не такова, потому продолжаю. Мы говорили о главном, что я ценю в себе. Это главное, пожалуй, можно назвать воображением. Мне многого не дано: я не умею доказывать, не умею жить, но воображение никогда мне не изменяло и не изменит.

— Мара, ты, наверное, устала с дороги, пойдём спать, — сказала Лена, вставая.

— Пойдём, но не спать! Я тебе ужасно много должна рассказать! — весело воскликнула Мара.

Напряжённое выражение на её лице сменилось новым, детски-лукавым и нежным. Простившись со всеми взрослыми — с папой особенно вежливо, — она подошла к нам:

— Вам скучно было всё это слушать?

— Совсем нет! — в один голос ответили мы.

— Ну-с скажи, Женя, что ты понял из моих слов? Я между прочим, уверена, что ты всё великолепно понял.

— Что вы не хотите долго жить, что вы умная...

— Bravo! Ещё?

— Что вы боитесь... — Женя замялся.

— Чего боюсь?

— Что вас посадят в клетку.

Лена сильно дёрнула его сзади за рукав.

— Идём. Мара, детям спать пора. Видишь, Женя уже бредит!

— Нет, это интересно!

— Идём, — повторила Лена, делая в нашу сторону большие глаза.

— Завтра вечером ты мне это объяснишь, Женя, хорошо? Желаю вам чудных снов, мальчики.

Странные сны нам снились в эту ночь <...>

— Мальчики вы спите?

— Нет, не спим.

— Я пришла поговорить с вами.

Пахнуло дымом. На пороге тёмная, тонкая фигура Мары...

<...>Твоя девочка (в сказке, сочинённой мальчиком. — Л. К.)

очень похожа на меня — я тоже никого не слушаюсь и тоже не сплю по ночам.

— Что же ты делаешь?

— Читаю, пишу, курю, хожу по комнате.

— А тебе не страшно ночью?

— Иногда страшно — когда я забываю о своем сердечке. Это мой талисман. Мне его подарил один человек, когда мне было одиннадцать лет. С тех пор я с ним не расстаюсь.

— Что это — талисман?

— Вещь, которая бережёт от несчастья. Пока на тебе талисман, ты не утонешь, не наделаешь глупостей <...>.

—... Интересно на корабле. Ты когда-нибудь ездила на корабле?

— На воздушном.

— Разве есть воздушные корабли?

— Конечно, есть. Мы ещё с вами поедem!

— Правда? Когда?

— Как-нибудь вечером. Послезавтра, кажется, будет новолуние — это лучшее время для такой поездки.

— Ты нарочно это говоришь?

Сердце мое забилося.

— Я говорю вполне серьёзно. Царь луны, мальчик-месяц, мой большой друг. У него много воздушных кораблей, и он с удовольствием даст мне один.

— Он добрый?

— Очень добрый. Послезавтра вы о нём узнаете.

Комната мало-помалу наполнялась дымом. Мара курила не переставая. То и дело трещал, открываясь и закрываясь, металлический портсигар, то и дело чиркала спичка.

Окружённая облаком дыма и сиянием коротких пышных кудрей, это была уже не Ленина подруга Мара, которая утром краснела и за обедом спорила с папой...» .

...Мальчик и его младший брат — одни в целом свете! — догадались о тайне этой «большой девочки в синей матроске»: «Ты — волшебница... Ты так легко ходишь... У тебя такие глаза и такие волосы... Ты такая чудная!»

Волшебница... А вышедший в этом же году второй сборник стихов Марины Цветаевой назывался «Волшебный фонарь»... И разве эти детские слова в повести Сергея Эфрона — не о любви?

Писалось всё это влюблённым юношей накануне венчания. Но почему 18-летний Сергей Эфрон перенёс в своё детство взрослую (во всяком случае, уже расставшуюся с детством) Марину, а сам на страницах своей повести живёт в образе маленького мальчика, с детским восхищением любующегося «волшебницей»? В этом, думается, открывается тонкое своеобразие их отношений.

Старшая сестра Сергея (Анна Сергеевна, по-домашнему — Нютя) вспоминала, что когда она, испуганная решением брата так рано жениться, стала расспрашивать его о невесте, он ответил: «это — самая великая поэтесса в мире, зовут её Марина Цветаева». Разве не слышится в этих словах взрослого юноши что-то пронзительно детское — та самая догадка «о тайне Марины», о которой ещё почти никто на свете не знает?

В повести мальчик очень внимательно и доверчиво слушает странную (особенно с точки зрения разумных взрослых, чьи реакции остроумно и талантливо запечатлены юным автором) девушку, тонко понимает и сочувственно откликается на самые необычные её чувства и рассуждения.

С первой встречи потрясённо ощутив незаурядность личности Марины, Сергей радостно принял её духовное старшинство — на долгие годы вперёд. Он увлечённо и самозабвенно погрузился в её мир, вместе с ней любя её детство, многие эпизоды которого запомнил и воспроизвёл явно с её голоса, чутко уловив все оттенки и

интонации. Марина и Ася любили подробно вспоминать своё детство, и, радуясь такой полноте эмоционального отклика, Марина не раз рассказывала Сергею и о «вечно плачущей» маленькой Асе, и о своих ранних мучениях за роялем, и о забавной истории со своим выступлением на концерте, когда она от волнения начала громко вслух отсчитывать такты. Об этом случае вспоминает в своей книге и Анастасия Цветаева. Марина рассказала Сергею о своём первом слове — «гамма», так обрадовавшем мать, мечтавшую увидеть дочь музыкантшей. Годы спустя в своей прозе «Мать и музыка» Марина Цветаева более углублённо и драматично осмыслит эту коллизию, в повести Сергея Эфрона поданную веселее и легкомысленнее. Рассказывала Марина Сергею и о шутках директора гимназии, и о старшекласснице Жене Брусовой (позднее «расшифрованной» в ее прозе как сестра поэта Валерия Брюсова). Эта Женя пыталась однажды спасти маленькую Марину от гнева матери (любопытно, что в «Моём Пушкине» этот эпизод происходит после потрясения шестилетней Марины Онегиным и Татьяной в сцене объяснения, а не после её выступления в концерте). Конечно, говорила Марина и о своём увлечении Наполеоном. Обо всём этом в повести Сергея Эфрона семнадцатилетняя «волшебница» Мара рассказывает мальчикам.

Но не следует, разумеется, искать в повести документальной точности и буквальных соответствий всех эпизодов реальным ситуациям жизни. Так, история возмущённого разрыва Мары с женихом, выдававшим талантливые стихи друга за свои, — остроумный вымысел Сергея Эфрона, обнаруживший глубокое и тонкое проникновение в самую суть характера прототипа. Возможная реакция Марины Цветаевой в подобной ситуации очень правдоподобна. Да и сами эти фантастические беседы семнадцатилетней героини с «маленькими волшебными мальчиками», благодарно слушающими и понимающими её, — тоже вымысел, но очень близкий к сути характеров. Пройдёт совсем немного лет, и что-то похожее будет звучать в беседах Марины с Алей, их с Сергеем «сказочной» дочкой.

Сергею стало бесконечно важно и дорого всё в её жизни: и память её о детстве, и её размышления и фантазии, многие

из которых — о молодости и старости, о «вреде физического здоровья» для творческого человека, о «глупостях умных людей» — он воспроизвёл в повести с обаятельным нежным юмором. Очень естественно вошли в повесть Сергея Эфрона горячо любимые им стихи молодой Марины, позднее так же органично войдут в его «Записки добровольца» её стихи из «Лебединого Стана».

Её интонации он схватывал с внимательностью любящего и глубоко понимающего человека, чувствующего самое главное и сокровенное в ней. Так, ответ Мары на вопрос «Ты её и теперь любишь?» (о старшекласснице Жене Брусовой) — «Да, как всё прошлое!» — явно был списан с натуры не равнодушной рукой...

И об этом его отношении — не просто о влюблённости в неё, но о бережной любви к её миру, ко всему, что ей дорого на свете, — Марина Цветаева будет вспоминать в тяжёлые 1918—1921 годы, во время их долгой разлуки, как о редком подарке судьбы, давшем праздничный отдых её душе, так часто страдавшей от непонимания, от душевной вялости и скупости окружающих.

«У меня только одно СЕРЬЁЗНОЕ отношение: к своей душе. И этого мне люди не прощают, не видя, что это “к своей душе” опять-таки — к их душам. (Ибо что моя душа — без любви?)», — запишет она в дневнике. И — после этой горечи — внезапный свет: «Я всё это знала очень давно, но 10 лет счастливой жизни (успеха своей души!) научили меня улыбаться и смеяться»... (Из записных книжек).

И ещё: «чувство невинности — почти детства! доверия — успокоения в чужой душе» (Е. Ланну.1921, 22 января).

Речь идёт о десяти годах жизни с Сергеем Эфроном, о котором давно нет известий.

Атмосфера именно таких отношений очень живёт в его повести «Детство». И может быть, в полной мере — так, как сказано об этом в приведённых словах дневниковой записи и письма — сама Марина Цветаева оценила эту уникальную особенность их отношений позднее, именно через годы разлуки, после других встреч и отношений, более взрослых и менее сокровенных...

Очень важное в психологическом плане свидетельство оставила в своих воспоминаниях Наталья Резникова, в девичестве Чернова, дочь Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой. С ней Марина Цветаева подружилась уже за границей, в Чехии, а после отъезда Ольги Елисеевны в Париж интенсивно переписывалась и какое-то время после своего переезда в Париж жила со своей семьёй в их доме.

«Марина Ивановна и Сергей Яковлевич были удивительными рассказчиками. Говорили о её молодости и детстве, о её замечательной семье. Сама она много помнила из своего детства. Прочитанные в детстве книги жили с нею». (Н. Резникова. «Всё в ней было непомерно, как её талант»).

Значит, и годы спустя, уже за границей, они *вместе* интересно рассказывали о её детстве, что подтверждает степень посвящённости Сергея Эфрона в эти сюжеты.

Огромной частью его внутреннего мира станет всё, что связано с Мариной, это будет для него в роковые времена революции и Гражданской войны нравственным ориентиром.

«... Последние годы мои, которые прошли на твоих глазах, я жил, м. б., более всего Мариной. Я так сильно, и прямолинейно, и незыблемо любил её, что боялся лишь её смерти. Марина сделалась такой неотъемлемой частью меня...».

Эти слова Сергей Эфрон напишет в 1923 году одному из самых близких людей — Максиму Волошину, на глазах которого начинался их роман.

Тот факт, что Марина действительно долгие годы была его «неотъемлемой частью», скажется на многих страницах прозы Сергея Эфрона, последовавшей за его первой юношеской повестью: в очерках из цикла «Записки добровольца», особенно в рассказе «Тиф», на тех страницах, где речь как раз идёт о его мучительном страхе за её жизнь.

Но это тоже случится позднее. Их счастливая юная семья с самого начала была «счастлива по-своему», и именно тонкое своеобразие их отношений правдиво отразилось в ещё по-детски откровенной повести Сергея Эфрона.

Анастасия Цветаева вспоминает атмосферу дома Марины и Сергея в их первые годы.

Он входил в комнату, «всё исправляя, освещая, точно в сумерках зажжённая лампа с порога — Серёжа! Высокий, узколицый, родной, добрый, радостный <...> — Мариночка!»

Но звучат на страницах этих воспоминаний и тревожащие резким контрастом слова:

«И была наша молодость, заменив детство, — радость и мощь нам принадлежащего будущего! Так казалось нам. Кто же умеет видеть будущее? Он (Сергей Эфрон. — Л. К.) уже входил с чёрного хода, высокий, весёлый, всё знающий, радостный, — в нём она могла утопить каждый свой вздох. Кто поверил бы тогда в грядущие *катастрофы сознания* (курс. мой. — Л. К.), способные — разлучить?»

«Катастрофой сознания» назвала сестра Марины кардинальную перемену взглядов Сергея Эфрона в 1930-е годы, когда он до фанатизма поверил в Советскую Россию.

Холодное дуновение из будущего времени... Но пока Сергей Эфрон — поистине романтический герой лирики Марины Цветаевой. В одном из стихов, правда, прозвучали уже тогда странные и, если вдуматься, тоже тревожащие ноты.

СЕРГЕЮ ЭФРОН-ДУРНОВО

Есть такие голоса,
Что смолкаешь, им не вторя,
Что предвидишь чудеса.
Есть огромные глаза
Цвета моря.
Вот он встал перед тобой:
Посмотри на лоб и брови
И сравни его с собой!
То усталость голубой,
Ветхой крови.
Торжествует синева
Каждой благородной веной.

Жест царевича и льва
Повторяют кружева
Белой пеной.
Вашего полка — драгун,
Декабристы и версальцы!
И не знаешь — так он юн —
Кисти, шпаги или струн
Просят пальцы.

Коктебель, 19 июля 1913

Ноты трагического предвестия, тогда скорее всего не осознанного ею, да и сейчас, если не знать будущего, читатель вполне может не обратить на них внимания, поражают в этом романтическом портрете, если читать, уже зная, что было дальше.

«Декабристы и версальцы»... Декабристы, выступившие против царя, и версальцы, защищавшие своего короля от мятежников, — люди противостоящих полюсов: на Сенатской площади Петербурга версальцы выстроились бы напротив — против! — декабристов. Как один и тот же человек может быть верным «драгуном полка» и тех, и других? Знала ли Марина Цветаева тогда то, что позднее утверждала как непреложную истину, — что «в стихах всё сбывается»?

По мысли (русские классики называли такое «чувствуемыми мыслями»), по страстно чувствуемой мысли Марины Цветаевой «декабристов и версальцев» объединяет то, что для неё всегда было важнее политических убеждений — благородство, верность слову, честь, душевная чистота, самоотверженность. Всё это она продолжала видеть и воспевать в своём молодом муже и в начале Первой мировой войны, когда он был медбратом в санитарном поезде, и во время войны Гражданской, когда он сражался в рядах Добровольческой армии на Дону.

«Лицо единственное и незабвенное...», — писала в дневнике Марина Цветаева, пытаясь вообразить будущие воспоминания их маленькой дочки о молодых родителях:

«Отцу 21 год (говорю о будущей зиме, когда уже Аля сможет кое-что помнить, — ей пойдёт третий год).

Красавец. Громадный рост; стройная, хрупкая фигура; руки со старинной гравюры; длинное, узкое, ярко-бледное лицо, на котором горят и сияют огромные глаза — не то зелёные, не то серые, не то синие, — и зелёные, и серые, и синие. Крупный изогнутый рот. Лицо единственное и незабвенное под волной тёмных, с тёмно-золотым отливом, пышных, густых волос. Я не сказала о крутом, высоком, ослепительно-белом лбе, в котором сосредоточились весь ум и всё благородство мира, как в глазах — вся грусть.

А этот голос — глубокий, мягкий, нежный, этот голос, сразу покоряющий всех. А смех его — такой светлый, детский, неотразимый! А эти ослепительные зубы меж полосок изогнутых губ! А жесты принца!»

Как любитесь она его красотой (это любование очень ощутимо и в стихах), как переполнена восхищением! Оно чувствовалось в те годы и в каждом слове Сергея о ней. Сколько раз воспевала она его в прозе (в основном эпистолярной) и в стихах («Всем говорить, что у меня есть муж,/Что он прекрасен!»). Но здесь необходимо задуматься.

«Случай» Марины Цветаевой и Сергея Эфрона в определённом смысле резко выбивается из многовековой мировой поэтической традиции. Прежде, как известно, всё было наоборот: полагалось поэтам-мужчинам воспевать женскую красоту. Некоторые исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой усмотрели в этой ситуации неожиданную аналогию (на поверхностный взгляд, не лишённую некоторых оснований, но на глубокий — грубо искажающую самую суть их отношений). Особенно обидно, что невольный повод к этому подала своим будущим исследователям сама Марина Цветаева, категорично сформулировав свое видение причин тяги Пушкина к Наталье Гончаровой: «Было в ней одно: красавица. Только — красавица, просто — красавица, без корректива ума, души, сердца, дара» («Наталья Гончарова»). (Правда, за прошедшие с тех пор десятилетия пушкинисты обнаружили прежде

не известные письма Натальи Гончаровой брату и рассказы о ней в письмах современников — Вяземского, Карамзиных, Нащокина. И там она предстаёт далеко не столь однолинейной натурой. Но об этом Марина Цветаева так никогда и не узнала и была убеждена в точности своего видения).

«Тяга Пушкина к Гончаровой <...> — тяга гения — переполненности — к пустому месту. <...> Он хотел — нуль, ибо сам был — всё» (Там же).

И вот, явно и резко не симпатизируя Сергею Эфрону (на что, естественно, каждый человек — и исследователь, и просто читатель имеет право, но эта нелюбовь не даёт права на элементарное незнание), некоторые исследователи позволили себе бестактно прочесть эти слова как чуть ли не косвенное признание самой Марины Цветаевой, якобы «бессознательно проговорившейся» о её тяге к красавцу Эфрону, чья красота будто бы тоже «без корректива ума, сердца, дара». Невозможно представить себе более чуждое Марине Цветаевой прочтение главного сюжета её жизни! Такая вопиющая нравственная и эстетическая глухота, на мой взгляд, безусловно, оскорбила бы её и за себя, и за мужа.

С не меньшей внимательностью, чем Сергей Эфрон слушал Марину (а у него в юности был этот особый талант — умение слушать и слышать), слушала и Марина его в те их первые годы. В отличие от одного из героев «Повести о Сонечке» — «холодного красавца» Юры З., которому часто просто нечего сказать, Сергею Эфрону всегда было что сказать ей. И Марине интересны и дороги необычные повороты его мыслей, порой наивные, порой полные неожиданных прозрений. С уважением прислушиваясь к его словам, Марина записывала их, иногда сразу, иногда какое-то время спустя, после того, как его неожиданные прозрения подтверждались.

И такие записи (как все цветаевские записные книжки в целом), по моему глубокому убеждению, требуют внимательного чтения. Они приоткрывают те скрытые «семь восьмых айсберга», что обычно остаются в тайне, под водой. Для Марины Цветаевой понимание всегда было «важнее любви» (как сама она уточняла,

для неё «это и было любовью»). Понимания она страстно хотела и от своих корреспондентов, и от читателей. Она сама просила будущих читателей:

«Вы — через сто лет! — любите и моего Серёжу, и мою Асю, и мою Алю, и мою Сонечку!»

Это сказано ею задолго до создания «Повести о Сонечке» и подтверждает другие очень важные слова Марины Цветаевой. Однажды она призналась (в письме В. Розанову), что не делает «никакой разницы между книгой и человеком» и «всё, что любит — любит одной любовью».

Дневниковые записи, относящиеся к первым годам жизни семьи, буквально вводят читателя в их дом, в их жизнь и свидетельствуют, что был у них тогда свой общий мир, в котором обоим было не только душевно тепло, уютно и надёжно, не только влюблённо-радостно, но и интересно друг с другом! Это всегда как-то недооценивалось или преуменьшалось в книгах о них. Думается, что справедливо оценить значимость этого факта мешала «аксиома» о несоизмеримости масштабов личностей гения и «просто человека», из которой на самом деле вовсе не вытекает, что гениальному человеку не может быть интересно общение с не гением (скорее даже наоборот).

Прочитую запись Марины Цветаевой — краткий диалог с Сергеем о гении.

« (Начало теоремы: допустим, что Брюсов — Сальери...)»

Сергей Эфрон:

— Знаете, кто настоящий Моцарт — Брюсова?

Я:

— Бальмонт?

Сергей Эфрон:

— Пушкин».

Думается, надо иметь некий навык постановки таких отвлечённых вопросов, иметь привычку размышлять о таких вещах, чтобы в 18—20 лет понять, кто есть кто. Эта глубокая мысль Сергея — не

случайно Марине так захотелось не забыть её — подтверждает их жизнь в общем мире в те годы.

Естественно, не все мысли юного Сергея Эфрона так мудры и тонки — есть и поверхностные, и весьма спорные:

«Мне сейчас вспоминается одно слово Серёжи о Наташе Ростовой: “Наташа Ростова, вырастая (*так!* — Л. К.), это Настасья Филипповна” (героиня романа Достоевского «Идиот»)).

Случались, вероятно, между ними и горячие споры, но и не соглашаться можно, говоря на одном языке, хорошо понимая, о чём в прямом тексте или в подтексте говорит каждый и чего, может быть, недоговаривает. И общий язык у них тогда был: понимание с полуслова, свои «пароли», свои, только им двоим понятные шутки, строки любимых поэтов, любимые книги, близкие круги размышлений, общая любовь к Москве, общая грусть и роднящее веселье. Это очень ощутимо и в первом после войны и разлуки, после долгой мучительной неизвестности друг о друге письме Сергея Эфрона. Письмо будет еще цитироваться далее (с небольшими сокращениями), но здесь хочется обратить внимание на сравнительно мимолётную реплику:

«Перечитайте Пьера Лоти. В последнее время он стал мне особенно понятен. Вы поймете — почему». (Речь о «Книге милосердия и смерти» французского писателя Пьера Лоти (1850—1923)).

Марине Цветаевой важно было сберечь его слова. Самые разные, в том числе и такие пронзительные, из глубины души вырывающиеся:

«Ещё две строки С., тоже обо мне. “На руке её кольца — много колец. Они будут, а её уже не будет. Боже, как страшно!”».

Эти строки Марина, видимо, случайно прочитала в его записях. Поразительно! Нельзя забывать, что это пишет мальчик, так страшно потерявший мать и любимого брата, мучительно остро чувствующий хрупкость всего живого и дорогого. Даже в первые годы счастья с Мариной Сергей во многом продолжал оставаться болезненно впечатлительным осиротевшим мальчиком.

«Лиленька, если бы ты знала, какая здесь есть девочка. Ей семь лет. Родители: скушные (так — Л. К.), жалкие, больные — чиновник с женой. А она, наверное, обречена на смерть. Ручки и ножки — одни кости. Всего боится. Некрасивая. Никто с ней не играет. А глаза, как у Глеба (Глеб — рано умерший брат Сергея. — Л. К.). <...> Она абсолютно одна. А в ней ужас, который только во сне может привидеться <...> Я пробую с ней заговаривать. Меня теперь она встречает улыбкой, но такой жалкой <...>. М. б. она самое печальное, что я видел в жизни. <...> Главное, что её всё пугает. Она шарахается от прохожих, собак, даже от шумящих деревьев. От всех она ждёт злого умысла <...>. Каждый раз, как я её встречаю, я чувствую сильнейшую боль. Она как предостережение мне. И эта <...> испуганная улыбка, если бы ты её только видела...», — так писал Сергей старшей сестре Лиле из Коктебеля в Москву. (Е. Эфрон. 1916, июнь).

Читать это мучительно тяжело — как самые страшные страницы романов Достоевского (их напоминает и сам сюжет письма). И здесь очень ощутима душевная незаурядность Сергея Эфрона — многие ли молодые люди так обратят внимание на несчастного ребёнка?

Николай Еленёв, познакомившийся с Сергеем Эфроном ещё до революции (в Чехии их знакомство продолжилось), оставил потрясающее воспоминание о своём первом впечатлении от него. Они встретились на вечере в честь Мариуса Петипа в Камерном театре в Москве.

«Меня поразило лицо одного из спутников Марины — высокого bruneta со скорбно сдвинутыми бровями, серыми глазами <...>. Это был С. Я. Эфрон, муж Цветаевой. Привычным движением, которое позже я наблюдал неоднократно, в беседе он часто заслонял кистью руки глаза, как бы защищаясь от чего-то <...>. За тридцать лет до своего расстрела Эфрон подсознательно искал защиты. В жизни он чувствовал себя пасынком. Гетто своего “я” Эфрон никогда и ни в каком окружении не изжил». (Н. Еленёв. «Кем была Марина Цветаева?»)

Много страшного ждало Сергея Эфрона впереди, но и пережить к этому времени было уже немало, и при всей спасительности «чуда встречи» с Мариной он продолжал жить с тяжело раненной душой и оставался человеком обострённой впечатлительности.

«... в поношенной шинели, грязной офицерской фуражке, с печально-тревожными глазами в ожидании какой-нибудь беды», — таким увидел и запомнил его Н. Еленёв в 1921 году, когда они оба долго ехали в холодном вагоне из Константинополя в Чехию.

«Меня, очевидно, могут любить только мальчики без матери, безумно любившие мать — и потерянные в мире», — напишет Марина Цветаева в дневнике и в одном из писем поэту Евгению Ланну в том же 1921 году, ещё не получив известия о том, что Сергей жив...

Без множества этих записей, и весёлых, и грустных, трудно представить атмосферу живого общения юных Марины и Сергея. Если знать, как это и было до опубликования в 2001 году записных книжек Марины Цветаевой, только романтические описания молодого мужа в её стихах и дневниковой прозе и несколько их писем друг другу после долгой разлуки и неизвестности, сложится далеко не полное, даже превратное представление об их земной повседневности. Без этих «земных примет» действительно искажалось читательское восприятие их отношений, очень живых и естественных, порой с горячими, часто ещё детски наивными спорами.

«Феодосия, 11 марта 1914 года.

...Серёжа глубоко и горячо возмущён моим частым сниманием Али.

“Меня бы совершенно удовлетворила Алина карточка с пальчиком, все остальные я свободно мог бы выбросить”.

“Ну хорошо, и оставайтесь с этой одной, а я останусь с целым альбомом”, — полусерьёзно ответила я».

Любопытна мимолётная реплика в одном из цветаевских писем из пригорода Праги в Париж. Радостно поражает естественность

и даже гармоничность описываемых отношений и главное, восприятие их Мариной — с юмором, без нагнетания.

«Серёжа неровен, очень устаёт от Праги, когда умилителен — умиляюсь, когда взыскателен — гневаюсь». (О. Колбасиной-Черновой. 1924, 2 ноября).

И ещё: «Серёжа трогателен, подарил мне на свой редакторский гонорар чудную неопрокидывающуюся стеклянную чернильницу (Ваша поганая сова (прежняя чернильница — Л. К.) загаживала весь стол!), записную книжку, дегтярное мыло, сушёных винных ягод и 1 коробку баррана (марка папиросных гильз — Л. К.). И вот уже 10 дней содержит табак» (Ей же. 1924, 3 декабря).

«Серёжа неровен...» Когда Сергей Эфрон бывал, при всей мягкости его характера, «взыскателен» (капризен?), он умел искренне раскаиваться: в одной из цветаевских тетрадок московских лет сохранилась его полушутливая записка: «Всё, что Вы делаете, — прекрасно. Правда. А я, когда я... я нехороший. Простите!»

А вот две по-разному эмоционально окрашенные записи. В одной — общая боль и грусть, общее потрясение: «13-го июня я узнала о смерти Ямбо. Я лежала на постели у Серёжи, в Феодосии.

— Я Вам лучше не буду рассказывать. Вы не сможете слушать.

— Нет, расскажите!

— Ему выбили глаза...

— А-ах!

Что-то ударило меня в грудь, я задохнулась, и в одну секунду всё лицо залилось нестерпимыми слезами. Такого ужаса я ещё никогда не испытывала. Такой боли! Такой жалости! Такой жажды мести!

Ямбо! Прекрасный, умный слон, расстрелянный 230 разрывными пулями! Ямбо, никому не делавший зла! <...> Ямбо, которого расстреляли хамы из Охотничьего клуба, позорно скрывшие свои имена! Ямбо! Ты моя вечная рана!» (1914).

Между тем оставалось всего два с половиной месяца до начала Первой мировой войны.

В другой записи — беззаботное молодое веселье:

«Коктебель, 19 июня 1914 г., четверг.

Серёжа кончил экзамены. В местной газете “Южный Край” такая заметка: “Из экстернов феодосийской мужской гимназии уцелел один г-н Эфрон”. В его экзаменационной судьбе принимал участие весь город.

Хочется записать одну часть его ответа по истории: “Клавдий должен был быть великим императором, но к несчастью помешала семейная жизнь: он был женат два раза, — первый на Мессалине, второй — на Агриппине, и обе страшно ему изменяли”.

Это всё, что он знал о Клавдии. Экзаменаторы кусали губы».

И далее: «Экзамен по Закону (Божию) — 12-го июня 1914 г.

Священник: «Как отнеслись стражи к Воскресению Христову?»

Серёжа: «Пали ниц».

Священник: «А потом? «

Серёжа: «Пришли в себя»».

Марина Цветаева, естественно, не присутствовала на этом экзамене, и такие подробности экзаменационного диалога она могла узнать только из артистичного, полного весёлой самоиронии рассказа самого Сергея. Отголоски молодого веселья, атмосферы розыгрышей, шуток, мистификаций в волошинском Коктебеле, где они встретились, иногда ещё слышатся и в трудной жизни первых лет в Чехии.

Они оба слушали доклад Рудольфа Штейнера — основателя и теоретика религиозно-мистического учения антропософии о проникновении в «потустороннее» и в духовную сущность человека.

Марина Цветаева записала:

«30 апреля 1923 года. Переписка с С. Эфроном.

Ц: 1) Как в церкви. 2) Посрамляет естественные науки. 3) Скоро уйдём. 4) Совсем не постарел с 1919 г.

Э: Лев распластан, ибо полагает, что этот ersatz (эрзац). Лёва его посрамляет сплошными Grossartig'ами (великолепиями).

Ц: Терпи. Накормлю яичницей. Бедный Утапе! Ты настоящий (рисунок головы льва). Если Штейнер не чувствует, что я (Психея!!!) в зале — он не ясновидящий.

Э: Бюллетени о состоянии Льва: Успокоился. Обнаружил трёх львов на стене. (видимо, рисунки). К Псевдо-Льву своё отношение определил: “Злая Сила!”

Ц: Жалею Льва. Этот похож на Чтеца-декламатора.

Э: Для меня — на иностранном, незнакомом языке.

Ц: 1) Он обращается исключительно к дамам. 2) Простая, элементарная пропаганда антропософии. 3) Будет ли перерыв?

Э: Сам жду. Вдруг нет? Вдруг до утра? А?! Лев».

Это напоминает студенческую переписку на скучной лекции. Таких Марину и Сергея — в их общем мире — почти не знали новые пражские знакомые, многим из которых казалось, что они не очень внутренне близки, что у каждого своя жизнь. Исключение — Валентин Булгаков, оставивший глубокие и тонкие воспоминания о них. Ариадна Эфрон была очень благодарна этому человеку, тон её писем к нему отличается особой теплотой. Такими их ещё иногда видела в первые «после России» годы маленькая дочка:

«Однажды Серёжа достал «Детство» Горького, необычайное, не схожее ни с чьим, ранее читанным и сопережитым детством, и Марина, которой случалось чутко задрёмывать с иголкой в руке под наизусть знакомую ей гоголевскую чертовщину или диккенсову трогательность, — эту книгу слушала по-особому, иногда прерывая чтение краткими восклицаниями одобрения.

Случалось Серёже читать и по-французски, по программе изучавшегося им в университете языка, — какие-то отрывки, рассказы, которые он тут же на ощупь переводил на русский. Марина жёстко, как деревенский костоправ — вывихи, ставила ему произношение и подсказывала значение непонятных слов. Однажды и она стала в тупик перед словом «defroque» (хлам, ветошь), неожиданно и как-то некстати возникшим среди гладкого и даже сладкого текста; пришлось обратиться к словарю старого издания, многоглагольному, но беспомощному. «Де — дед — дес — деф, — бормотал папа, водя пальцем по мелким строчкам. — <...> вот! <...> — пожитки мёртвого монаха. Гм... Странно! Причём тут монахи? Тут про барышню, про молодого человека, про весну...

Странно!» — «И — выразительно! — подхватила мама. — Какая в этом печаль, отринутость, нищета... Что может быть нищее мёртвого монаха? Кстати: какие у монаха, да ещё мёртвого, могут быть пожитки? Спал на голых досках, хлебал из монастырской миски, похоронен в собственной рясе... Власянице». — «Ну, может быть, ложка осталась? — неуверенно предположил папа, уже смеясь глазами. — Кипарисовая, с крестиком?» — «Ложка! Ложка — не пожитки. Пожитки — это всякая дребедень, барахло, вот как у нас. Да, но причём всё же монах?» — «Мёртвый! Мёртвый монах! — с жаром ввязалась я. — Наверное, в нём всё и дело. Остальное — для отвода глаз. Может быть, он упырь и оборотень и теперь прикидывается молодым человеком? Как у Жуковского? Как у Вас, Марина, в “Молодце”»? Тут уж и Марина засмеялась, и “в этот вечер больше не читали”, по крайней мере по-французски» (Ариадна Эфрон. «Страницы былого»).

И ещё один любопытный нюанс (в переписке на докладе Р. Штейнера): «Терпи. Накормлю яичницей!» Думается, как ни рвалась Марина Цветаева из дома, утверждая невозможность для себя «жить дома — душой» — такое за долгие годы семейной жизни было для неё той «другой песней — всей другой...», без которой она давно уже себя не мыслила, и, может быть, в глубине души не хотела бы жить совсем по-другому, ни о ком не заботясь.

Понимание еще долго оставалось у них и не в самые гармоничные периоды.

Август 1913 года. Деловая страничка дневника Марины — записи для памяти текущих забот и дел, среди них: «... достать портрет Серёжи... покрыть Серёжин стол линолеумом». И на этой страничке — рукой С. Эфрона:

...Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям...

Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прошлом слова
О друг заботливый, больнова
В его дремоте не тревожь...

Сергей Эфрон неточно процитировал строки из стихотворения Е. Баратынского «Разуверение». (У Баратынского — не «О прошлом», а «О прежнем», не «О друг заботливый, а «И, друг заботливый...»). Что же касается «не грамотного», с точки зрения современных норм, слова — «больнова», тут Сергей в точности последовал за «первоисточником»). Он вписал их в её тетрадку явно в трудный момент отношений. И далее: «Милая, дорогая Марина — я Ваш (рисунок головы льва). Преданный. Прощайте.

Прощайте. Прощайте».

Грустный подтекст этой записи трудно поддаётся расшифровке, если верить дате. Но, может быть, Сергей Эфрон вписал это не в тот день, которым обозначена страница цветаевской тетради, а позднее, просто на свободном месте почему-либо открытой тетрадки? Ни о каких кризисах их отношений в 1913 году ничего не известно, позднее же подобная запись могла возникнуть не раз. Могла — во время увлечения Марины Софьей Парнок, известной тогда поэтессой, резко ворвавшейся осенью 1914 года в их жизнь и на какое-то время сильно отравившей её. Об этой печальной главе в жизни Марины Цветаевой написано много, и ее невозможно обойти исследователям, пишущим хронологически последовательную историю жизни и творчества Цветаевой. Софье Парнок посвящён большой цикл стихов, а в жизни Марины Цветаевой это был острый кризисный период. Большая глава посвящена этой истории в уже упоминавшейся книге Виктории Швейцер. Но я пишу «свою» Марину Цветаеву, и потому считаю себя вправе не останавливаться на этом сюжете, омрачившем её жизнь и всегда казавшемся мне глубинно чуждым её натуре. Эта моя интуитивная догадка подтвердилась долго остававшейся неизвестной записью в её тетрадке:

«Читаю стихи К. Павловой к гр. Ростопчиной:

...Красавица и жоржсандистка...

И голова туманится, сердце в горле, дыханья нет. <...> Но — оговорка: не люблю женской любви, здесь переступлены какие-то пределы, — Сафо — да — но это затеряно в веках и Сафо — одна.

Нет, пусть лучше — исступлённая дружба, обожествление души друг друга — и у каждой по любовнику».

Грустная запись Сергея Эфрона могла бы относиться и к моменту краткого, но, видимо, сильного увлечения Марины Цветаевой Осипом Мандельштамом в ответ на его бурное увлечение ею, однако это относится к 1916 году. После приезда Марины Цветаевой в Петербург и чтения стихов о Москве перед петербургскими поэтами Осип Мандельштам был настолько потрясён и очарован ею, что чуть ли не на следующий день после её отъезда бросился в Москву и в последующие полгода приезжал много раз, буквально метался между городами. Их встречаем той поры и долгим прогулкам, когда Марина Цветаева дарила ему, насквозь петербургскому поэту, названному ею «молодым Державиным», свою Москву, посвящены её стихи «Никто ничего не отнял...» и «Ты запрокидываешь голову...».

Но эти кризисы они с Сергеем преодолевали ещё сравнительно легко, при выходе из них всё глубже осознавая единственность своих отношений.

Пронзительно вспоминает Марина в годы долгой разлуки во время Гражданской войны многое сказанное Сергеем на самые разные темы.

«Я знаю душу Москвы, но не знаю её тела. Я вообще склонна к этому, но сейчас — по отношению к Москве — это грех. <...> вспоминаю Серёжу, как он называл мне все дома в переулках (дом Герцена, дома, где бывал Пушкин, и т. д.), и все церкви в Кремле — и Замоскворечье, вспоминаю его высокое плечо над моим правым плечом (правым, п. ч. ему нужно было отдавать честь) и бледную, несмотря на загар, прелестно впалую благородную щеку, и голос: «Мариночка...»».

«Напрасно начинаю писать о нём в книжке» (23 июля, 1919). Такие суеверные оговорки, связанные со страхом за жизнь Сергея, встречаются в её записях не раз.

«Читаю «Коринну» (роман Жермены де'Сталь). Ослепительная книга, куда больше, чем Ж. Занд. Большая душа и большой ум. И моя вечная привычка надо всем (человеческим!) задумываться. И глубокое равнодушие ко всему, что вне (грудной клетки!) человека.

Рим для неё — развалины человеческих страстей, огромное кладбище — пепелище.

Это напоминает мне слова Серёжи — «Меня тянет в Европу, потому что в ней каждый кусочек земли освящён миллиардами человеческих жизней. Мне не нужно диких островов»».

С особым волнением вспомнила она в 1919-м страшном году пророчески прозвучавшие слова, сказанные Сергеем Эфроном в 1913-м о танго: «Такой танец возможен только накануне мировой катастрофы».

...Уже два года шла Первая мировая война, уже много молодых людей разных стран пало на полях сражений, и фронтовики всё больше осознавали трагическую бессмысленность этой кровавой мясорубки — то, что великому поэту было ясно с самого начала («Не надо людям с людьми на земле бороться...»), — писала Марина Цветаева ещё в 1915 году). Давно схлынул искусственно нагнетаемый патриотический подъём первых месяцев войны, но Сергей Эфрон рвался на фронт — он не может спокойно жить, когда каждый день гибнут его ровесники. Медики признали его негодным (туберкулёз), но он всё равно едет на фронт медбратом в санитарном поезде.

В стихах Марины Цветаевой зазвучали новые ноты.

Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов — за белой стеною — погост.
И на песке вереница соломенных чучел
Под перекладами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд...
Старая баба — посыпанный крупною солью
Чёрный ломоть у калитки жуёт и жуёт.

Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошёл и завыл, и завывали солдаты,
И запыхал, запыхал отступающий путь...

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!

3 июля 1916

В 1917 году, возвращаясь поездом из Крыма, куда ездила одна — навестить Макса Волошина с матерью, Марина Цветаева узнаёт из купленных на станции газет о боях на улицах Москвы. И потрясённо пишет «Письмо в тетрадку». Оно сохранилось в дневниковых записях и позднее в чуть отредактированном виде вошло в позднее написанный очерк «Октябрь в вагоне».

«Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться — слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла “Южный Край”. 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас — но тут следуют слова, которых я не могу написать. Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы — есть, раз я Вам пишу! А потом — ах! — 56 запасной полк. Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?) А главное, главное, главное — Вы, Вы сам. Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что “я” для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала! Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака. <...> Я сейчас не даю

себе воли писать, но тысячи раз видела, как я вхожу в дом. Можно будет проникнуть в город? <...>

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше».

Далее — из очерка «Октябрь в вагоне»:

«<...> Десять минут до Москвы. Уже чуть-чуть светлеет, — или просто небо? Глаза к темноте привыкли? Боюсь дороги, часа на извозчике, надвигающегося дома (смерти, ибо — если убит, умру). Боюсь услышать...

Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но все равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика). Беру извозчика. <...> Заставы чуть громыхают: кто-то не сдается.

Ни разу — о детях. Если Сережи нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без Сережи.

Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская. Сворачиваем в переулок — наш, Борисоглебский. <...> Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном. Подходят. “Мы домовая охрана. Что вам угодно?” — “Я такая-то и здесь живу”. — “Никого по ночам пускать не велено”. — “Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей квартиры”. (Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают). “Мы вам не слуги”. — “Я заплачу”.

Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно долго.

— Да что ж барышня, отпустите или нет? Мне еще на Покровскую надо.

— Прибавлю.

Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, последняя жизнь до... Однако, спустив вещи, раскрываю сумку: три, десять, двенадцать, семнадцать... нужно пятьдесят... Где же возьму, если...

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.

Я, не давая сказать:

— Вы новая прислуга?

— Да.

— Барин убит?

— Жив.

— Ранен?

— Нет.

— То есть как? Где же он был все время?

— А в Александровском, с юнкерами, — уж мы страху натерпелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы... Все здоровы, благополучны, только вас ждут...

<...> Стучу. Открывают.

— Сережа спит? Где его комната?

И через секунду, с порога:

— Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу — ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли Вы здесь или нет?

В комнате темно. И удостоверившись:

— Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы — ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугачевым. Сереженька, Вы живы — и...

В вечер того же дня уезжаем: Сережа, его друг Гольцев и я в Крым».

О том, как прошёл у него тот роковой день, когда Марина не находила себе места в поезде, медленно, нестерпимо долго идущем в Москву, не зная, жив ли он, Сергей Эфрон подробно поведал в первом очерке «Записок добровольца». Он писал их уже в эмиграции, в Чехии, в начале 1920-х годов, но опирался на подробные дневниковые записи.

«Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть его у меня украли с вещами) — Вы будете всё знать...», — писал он Марине после четырёхлетней разлуки.

Эти старые тетрадки, потрёпанные в Ледовом походе, пройденном Сергеем Эфроном от первого до последнего дня, Марина

Цветаева берегла даже тогда, когда сам он охладел к себе прежнему. Она опиралась на них в работе над своей поэмой «Перекоп».

Их диалог продолжался и в разлуке. Если внимательно читать эфроновские «Записки добровольца», нельзя не услышать на многих страницах явную переключку с цветаевскими записными книжками тех лет. Часто ощутима редкая корневая близость тех исходных оснований, из которых проистекали и отношение их к разным событиям, и оценки поведения людей в них, и часто импульсивные отклики на всё происходящее.

«Это было утром 26 октября. Помню, как нехотя я, садясь за чай, развернул “Русские Ведомости” или “Русское Слово”, не ожидая, после провала Корниловского выступления, ничего доброго. На первой странице бросилась в глаза напечатанная жирным шрифтом строчка:

— Переворот в Петрограде. Арест членов Временного правительства. Бои на улицах города.

Кровь бросилась в голову. То, что должно было произойти со дня на день, и мысль о чем так старательно отгонялась всеми — свершилось.

Предупредив сестру (жена в это время находилась в Крыму), я быстро оделся, захватил в боковой карман шинели револьвер Ивер и Джонсон и полетел в полк, где, конечно, должны были собраться офицеры, чтобы сговориться о ближайших действиях.

Я знал наверное, что Москва без борьбы большевикам не достанется. <...> Мальчишеский задор, соединенный с долго накапливаемой и сдерживаемой энергией, давали себя чувствовать так сильно, что я не мог побороть лихорадочной дрожи.

Ехать в полк надо было к Покровским воротам трамваем. Газетчики поминутно вскакивали в вагон, выкрикивая страшную весть. Газеты рвались нарасхват. С жадностью всматривался я в лица, стараясь прочесть в них, как встречается москвичами полученное известие. Замечалось лишь скрытое волнение. Обычно столь легко выявляющие свои чувства — москвичи на этот раз как бы боялись выказать то или иное отношение к случившемуся. В вагоне царило молчание, нарушаемое лишь шелестом перелистываемых газет.

Я не выдержал. Нарочно вынул из кармана газету, сделал вид, что впервые читаю её и, пробежав несколько строчек, проговорил громче, чем собирался:

— Посмотрим. Москва — не Петроград. То, что легко было в Петрограде, на том в Москве сломают зубы.

Сидящий против меня господин улыбнулся и тихо ответил:

— Дай Бог!

Остальные пассажиры хранили молчание. Молчание не иначе мыслящих, а просто не желающих высказаться. Знаменательность этого молчания я оценил лишь впоследствии».

Когда душу охватывает возмущение трусостью окружающих, равнодушием и бесчестным попустительством злу, поведение Сергея Эфрона и Марины Цветаевой поразительно «рифмуется». Полгода спустя на тех же московских улицах она столкнулась с похожим молчанием в опасной ситуации — и отреагировала с той же безоглядной смелостью:

«Возвращаемся с Алей с каких-то продовольственных мытарств унылыми, унылыми, унылыми проездами пустынных бульваров. Витрина — жалкое окошко часовщика. Среди грошовых мелочей огромный серебряный перстень с гербом.

Потом какая-то площадь. Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:

— Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза — куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил — знает):

— Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души! И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: “Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу”»).

Марину и Сергея очень роднила внутренняя невозможность промолчать, когда, как бы это ни было опасно, честь требует определённых действий и слов.

И эта «переключка» убедительно опровергает ещё одно несправедливое утверждение, ставшее едва ли не стереотипным за последние годы: якобы Сергей Эфрон с самого начала был, как и другие герои и адресаты её лирических стихов, «придуман» Мариной Цветаевой, и на волне молодой влюблённости они просто не заметили, что с самого начала были несовместимо разными людьми. Эта грубая психологическая ошибка порождена, думается, тем, что многие исследователи подсознательно ведут отсчёт с 1930-х годов, с последнего десятилетия их общей жизни, когда сознанием Сергея Эфрона овладели наивные, ни на миг не разделяемые Мариной Цветаевой иллюзии относительно якобы счастливой жизни народа в советской стране и он сделал свой трагический выбор, что породило в их отношениях тяжёлое отчуждение. Всё это бросает (в восприятии многих об этом знающих) тень на весь их прежний долгий совместный путь, а в тени перестаёт видаться всё ценное, что навсегда связало их.

Но вот звучит живой голос Сергея Эфрона, в который необходимо вслушаться. Та же невозможность промолчать ощутима в крайне рискованном поведении его самого и его молодого спутника.

«... Я вышел из казарм вместе с очень молодым и восторженным юношей — прапорщиком М., после собрания пришедшим в возбужденно-воинственное состояние.

— Ах, дорогой С. Я., если бы вы знали, до чего мне хочется поскорее начать наступление. А потом, отдавая должное старшим, я чувствую, что мы, молодежь, временами бываем гораздо мудрее их. Пока старики будут раздумывать, по семи раз примеривая, всё не решаясь отмерить — большевики начнут действовать и застанут нас врасплох. Вы идёте к себе на Поварскую?

— Да.

— Если вы не торопитесь — пройдемте через город и посмотрим, что там делается.

Я охотно согласился. Наш путь лежал через центральные улицы Москвы. Пройдя несколько кварталов, мы заметили на одном из углов группу прохожих, читавших какое-то объявление. Ускоряем шаги.

Подходим. Свежее приклеенное воззвание Совдепа. Читаем приблизительно следующее:

“Товарищи и граждане!

Налетел девятый вал революции. В Петрограде пролетариат разрушил последний оплот контрреволюции. Буржуазное Временное правительство, защищавшее интересы капиталистов и помещиков, арестовано. Керенский бежал. Мы обращаемся к вам, сознательные рабочие, солдаты и крестьяне Москвы, с призывом довершить дело. Очередь за вами. Остатки Правительства скрываются в Москве. Все с оружием в руках — на Скобелевскую площадь к Совету Р. С. и Кр. Деп. Каждый получит определённую задачу. Ц. И. К. М. С. Р. С. и К. Д.”

Читают молча. Некоторые качают головой. Чувствуется подавленное недоброжелательство и, вместе с тем, нежелание даже жестом проявить свое отношение.

— Чорт знает что такое! Негодяи! Что я вам говорил, С. Я.? Они уже начали действовать!

И не ожидая моего ответа, пр. М. срывает воззвание.

— Вот это правильно сделано, — раздаётся голос позади нас.

Оглядываемся, — здоровенный дворник, в белом фартуке, с метлой в руках, улыбка во всё лицо.

— А то все читают да головами только качают. Руку протянуть, сорвать эту дрянь — боятся.

— Да как же не бояться, — говорит один из читавших с обидой.

— Мы что? Махнёт раз и нет нас. Господа офицеры — дело другое — у них оружие. Как что — сейчас за шашку. Им и слово сказать побоятся.

— Вы ошибаетесь, — отвечаю я. — Если, не дай Бог, нам придётся применить наше оружие для самозащиты, поверьте мне, и наших костей не соберут!

Мой спутник М. пришел в неистовый боевой восторг. Очевидно, ему показалось, что наступил момент открыть военные

действия. Он обратился к собравшимся с целой речью, которая заканчивалась призывом — каждому проявить величайшую сопротивляемость “немецким наймитам — большевикам”. А в данный час эта сопротивляемость должна была выразиться в дружном и повсеместном срывании большевицких воззваний. Говорил он с воодушевлением искренности и потому убедительно. Его слова были встречены общим, теперь уже нескрываемым, сочувствием.

— Это правильно. Что и говорить!

...Наша группа стала обрастать. Я еле вытянул М., который готов был разразиться новой речью.

— Знаете, С. Я., — мы теперь будем идти и по дороге все объявления их срывать! — объявил он мне с горящими глазами.

<...> Мы с М. не пропустили ни одного воззвания.

<...> На углу Тверской и Охотного ряда группа солдат, человек в десять, остановилась перед злополучным воззванием. Один из них громко читает его вслух.

— С. Я., это-то воззвание мы должны сорвать!

Слова эти были так произнесены, что я не посмел возразить, хотя и почувствовал, что сейчас мы совершим вещь бесполезную и непоправимую.

<...> На этот раз протягиваю руку я. И сейчас ясно помню холодок в спине и пронзительную мысль: это — самоубийство. Но мною уже владеет не мысль, а протянутая рука.

Раз! Комкаю бумагу, бросаю и медленно выхожу из круга, глядя через головы солдат. Рядом — звонкие шаги М., позади — тишина. Тишина, от которой сердце сжалось. Знаю, что позади много солдатских голов смотрят нам вслед и что через мгновение начнется страшное и неминуемое. Помогите, Господи!»

Такое безрассудство было близко и понятно душе Марины: она тоже с гибельным восторгом бросала в лицо комиссару (Луначарскому) монолог дворянина Лозена: «Так вам и надо за тройную ложь / Свободы, равенства и братства!» или читала перед полным залом красноармейцев стихи, славящие белого офицера.

Далее — и в сценах, неожиданно благополучно завершивших этот эпизод, который вполне мог закончиться гибелью, и в других сценах очерка «Октябрь. 1917 г.» — на улице и в зале Александровского училища, где проходило решающее офицерское собрание и где затем пришлось обороняться, Сергей Эфрон очень живо, ярко, талантливо запечатлел Москву того рокового дня. Если этот очерк поместить под одной обложкой с цветаевскими «Земными приметами» — книгой, составленной ею на основе московских дневниковых записей 1918—1921 годов — получилась бы последовательная широкая картина происходящего в их любимой, так быстро и резко изменившейся с начала переворота Москве. Позднее Марина Цветаева мечтала издать такую книгу.

Быстрая смена кадров в очерке С. Эфрона соответствует ритму тех «потрясших мир» московских дней. Ненадёжность шатающейся и легко поддающейся самым разным лозунгам толпы — и благородство отдельных не утративших нормальности людей, потрясения мрачные и светлые... В московском Совете, куда привела Сергея Эфрона и его спутника жаждущая крови, обуреваемая классово-ненавистью толпа, им фантастически повезло — они встретили человека своего круга:

«... Подымает голову. Лицо интеллигентное, мягкое. Удивленно смотрит на нас.

— В чем дело?

— Мы, товарищ, к вам арестованных офицеров привели. Ваши объявления срывали. Про царя говорили. А дорогой, как вели, сопротивление оказали — бежать хотели.

— Пустили в ход оружие? — хмурится член И. К.

— Никак нет. Роту свою встретили, уговаривали освободить их. <...>

— Что же мне теперь с вами делать? — обращается к нам с улыбкой член комитета по прочтении моего показания. — Скажу вам правду. Я не вижу в вашем проступке причин к аресту. Мы ещё не победители, а потому не являемся носителями власти. Борьба ещё впереди. Я сам недавно, подобно вам, срывал воззвания Корнилова. Сейчас вы

срывали наши. Но, — он с минутку помолчал, — у нас есть исполнительный орган — «семерка», которая настроена далеко не так, как я. И если вы попадете в её руки — вам уже отсюда не выбраться.

Я не верил ушам своим. <...>

— Можно быть Александрями Македонскими, но зачем же наши воззвания срывать?

Я не могу удержать улыбки.

Мы идём мимо тверской гауптвахты к трамваю. На остановке прощаемся с нашим провожатым.

— Благодарите Бога, что всё так кончилось, — говорит он нам. — Но я вас буду просить об одном: не срывайте наших объявлений. Этим вы ничего, кроме дурного, не достигнете. Воззваний у нас хватит. А офицерам вы сегодня очень повредили. Солдаты, что вас задержали, теперь ищут случая, чтобы придраться к кому-нибудь из носящих золотые погоны.

Приближался трамвай. Я пожал его руку.

— Мне трудно благодарить вас, — проговорил я торопливо. — Если бы все большевики были такими, — словом... Мне хотелось бы когда-нибудь помочь вам в той же мере. Назовите мне вашу фамилию. Он назвал, и мы расстались».

Потрясающий эпизод! Общение с порядочным человеком, пусть поклоняющимся другим знамёнам — общение «поверх барьеров», как это было у Марины с Луначарским, с коммунистом Заксом.

И Сергей Эфрон вернул долг — если не этому человеку, то спасая от смерти других: позднее, во время уже разгоревшейся свирепой Гражданской войны, он не только сам не расстрелял ни одного пленного красноармейца, но помогал им спастись. Такое поведение изначально было естественно для него, но, может быть, свою роль сыграла и благодарная память о той встрече, о том чудесном спасении.

«В трамвае то же, что сегодня утром. Тишина. Будничные лица.

Во все время нашей истории я старался не смотреть на М. Тут впервые посмотрел ему прямо в глаза. Он покраснел, улыбнулся и

вдруг рассмеялся. Смеётся и остановиться не может. Начинаю смеяться и я».

Что-то очень молодое и одновременно «старинное» слышится и в смехе этом, и во вдохновенной безудержности прапорщика М. — «очень молодого и восторженного юноши», и в настроении двенадцатилетних гимназистов, пришедших записываться в ряды защитников Москвы. Так столетие назад рвался в бой мальчик Петя Ростов:

«...всё равно, я не могу ничему учиться теперь, когда ... — Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: — когда Отечество в опасности», — так убеждает он «папеньку» отпустить его на фронт. «Я... я... я поеду с вами... Вы мне поручите что-нибудь? Пожалуйста, ради Бога!» — так умоляет он взрослого офицера взять его с собой в разведку.

Таким мальчишеским задором и особым, порой приходящим именно в «минуты роковые» весельем, охвачены многие молодые герои «Войны и мира» Льва Толстого: «Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздадут оружие <...> , что вообще происходит что-то необычайное, что всегда радостно для молодого человека».

При чтении «Записок добровольца» чувствуется, что в отрочестве, за четыре года своей болезни, Сергей Эфрон действительно не раз перечитывал Толстого, который, наряду с Достоевским, «больше всех прозаиков» волновал его «глубиной и искренностью». Речь здесь, разумеется, не об отвлечённом от жизни академическом литературном влиянии.

Просто, как и тогда, в 1812 году, молодые люди вдруг ощутили, что настает в русской истории «минуты роковые» и им суждено принять активное участие в волнующих событиях, и им — пока что — весело от этого...

Очень похожий взрыв молодого смеха не раз встречаем и в московских тетрадках Марины Цветаевой. Особенно яркий пример —

когда она после изнурительно хлопотливого дня уподобила себя «всему семейству Микобер» из романа Диккенса «Давид Копперфильд» и бурно развеселилась. Об особой природе такого — вопреки всему — веселья есть в её Записных книжках 1918—1921 годов потрясающая запись: после подробного описания загромождённого тяжелейшим бытом дня в разрухе, холоде и голоде — вдруг: «Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, радости от малейшей удачи...»

Так продолжалась их «голосов переключка»...

«Ко мне подходит прап. Гольцев. Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно.

— Ну что, Серёжа, на Дон?

— На Дон, — отвечаю я.

Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием, самым крепким рукопожатием за мою жизнь. Впереди был Дон...»

Так заканчивается московский очерк Сергея Эфрона — первый в книге «Записки добровольца».

Как спрессовались события в те роковые дни! И проза Сергея Эфрона тоже становится энергичной и быстрой — для лирики теперь почти нет времени и места. Столько людей теснятся на этих страницах, так запоминаются даже мимолётно промелькнувшие. Такое ощущение, что автор лихорадочно стремится всё зафиксировать, и быстро сменяющиеся кинокадры — Борисоглебский, Арбатская площадь, Никитская, Консерватория, Большая Дмитровка, Александровское училище, Охотный Ряд, Тверская, Кремль, Почтамт, Лубянская Площадь — создают для увлечённого и даже, по любимому выражению Марины Цветаевой, «вовлечённого» читателя волнующий «эффект присутствия», потому что это взгляд изнутри. Такого подробного и честного свидетельства активного участника событий тех московских дней никто больше не оставил.

Эти дни стали последним воспоминанием Сергея Эфрона о Москве, по которой он будет тосковать в Праге и Париже. Он не уви-

дит любимых с детства мест ровно 20 лет. Точнее, он приедет сюда ещё один раз — в январе 1918 года — на несколько дней в тайную командировку с Дона. Он рассказал в очерке «1917 год. Декабрь», как возникла идея этой поездки; рассказал, как долго и трудно добирался до Москвы — в очерке «Тиф», но о нескольких днях пребывания в Москве — ни слова.

Вернётся Сергей Эфрон через 20 лет в другую страну, в совсем другой город. Какая милость Судьбы — жить свою жизнь, не зная будущего...

Итак, Сергей Эфрон едет на Дон и вступает в Добровольческую армию, проходит с ней весь тяжёлый путь. Очень долго Марина ничего не знает о нём: редкие весточки приходили с большим опозданием (легальным путём невозможно было писать в красную Москву), и в момент их прихода судьба воюющего человека вновь оставалась неизвестной.

В 1917 году родилась вторая дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона — Ирина. Аля — их первый ребёнок — родилась в 1912 году, и её самое раннее детство прошло ещё в прежней благополучной жизни. Не прожив и трёх лет, Ирина умерла от голода в 1920 году в приюте для детей красноармейцев. Марина, оставшись одна с двумя детьми, в это тяжёлое время боролась за их жизнь и, почувствовав, что не в силах их прокормить, отдала в приют Алю и Ирину в надежде на спасение (ей сказали, что там хорошо кормят). Но детей там почти не кормили — обворовывали. Аля тяжело заболела. Марина забрала её, завернула в шубу и долго несла на руках. Алю она спасла. Ирину, в тот момент показавшуюся более здоровой, она оставила в приюте — она и физически не смогла бы дотащить двоих, а помощников не было. Младшую дочь спасти не удалось.

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.

Но обеими — зажатыми —
Яростными — как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.

Две руки — ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной ещё совсем не понято,
Что дитя мое в земле.

Пасхальная неделя. 1920.

Через три года, уже за границей, Марина Цветаева пыталась издать книгу «Земные приметы» по дневниковым записям тех страшных лет. Ей отказывали. Она с возмущением писала: «ПОЛИТИКИ в книге нет: есть страстная правда: пристрастная правда холода, голода, гнева, Года! У меня младшая девочка умерла с голоду в приюте, — это тоже “политика” (приют большевистский)». (Р. Гулю. 1923, 5—6 марта).

Долгие годы страстного моления за всех сражающихся в белой армии, за их дело... Марина Цветаева была единственным поэтом, ТАК сказавшим о белой гвардии.

Из цикла «ДОН»

Кто уцелел — умрёт, кто мёртв — воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
— Где были *вы*? — Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: — На Дону!
— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.

И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

30 марта 1918

В 1920 году Марина Цветаева написала дерзкое стихотворение.

Есть в стане моём — офицерская прямота,
Есть в рёбрах моих — офицерская честь.
На всякую муку иду не упрямясь:
Терпенье солдатское есть!

Как будто когда-то прикладом и сталью
Мне выправили этот шаг.
Недаром, недаром черкесская талья
И тесный ременный кушак.

А зóрю заслышу — Отец ты мой рóдный! —
Хоть райские — штурмом — врата!
Как будто нарочно для сумки походной —
Раскинутых плеч широта.

Всё может — какой инвалид ошалелый
Над люлькой мне песенку спел...
И что-то от этого дня — уцелело:
Я слово беру — на прицел!

И так моё сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром
Скрежещет — корми — не корми! —
Как будто сама я была офицером
В Октябрьские смертные дни.

Сентябрь 1920

После этих стихов в «Лебедином Стане» идёт важное цветаевское пояснение (в скобках): «(Эти стихи в Москве назывались «про красного офицера», и я полтора года с неизменным громким успехом читала их на каждом выступлении по неизменному вызову курсантов)». Она с юмором комментировала эти повторяющиеся эпизоды: курсанты откликались на общий благородный пафос, не понимая «на слух» смысла (на чьей она стороне).

Своё неразрывное родство с Сергеем Эфроном Марина Цветаева обозначила в те годы бескомпромиссно:

С.Э.

Как по тем донским боям, —
В серединку самую,
По заморским городам
Всё с тобой мечта моя.

Со стены сниму кивот
За труху бумажную.
Всё продажное, а вот
Память не продажная.

Нет сосны такой прямой
Во зелёном ельнике.
Оттого что мы с тобой —
Одноколыбельники.

Не для тысячи судеб —
Для единой родимся.
Ближе, чем с ладонью хлеб —
Так с тобою сходимся.

Не унёс пожар-потоп
Перстенька червонного!
Ближе, чем с ладонью лоб,
В те часы бессонные.

Не возьмёт мое вдовство
Ни муки, ни мельника...
Нерушимое родство:
Одноколыбельники.

Знай, в груди моей часы,
Как завёл — не ржавели.
Знай, на красной на Руси
Всё ж самодержавие!

Пусть весь свет идёт к концу —
Достою у всенощной!
Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке.

— Ну-кошь, до меня охоч!
Не зевай, брательники!
Так вдвоём и канем в ночь:
Одноколыбельники.

13 декабря 1921

«Всё с тобой — мечта моя...» Эта мысль не покидала Марину Цветаеву в холодное и голодное время 1918—1920 годов в Москве. Об этом знали все близкие ей в то время люди (даже «коммунист Закс», даже красноармеец Борис Бессарабов). Умолчание о своём Серёже она сочла бы предательством. В памятном разговоре с Вячеславом Ивановым, зафиксированном в записной книжке, это тоже прозвучало.

«19-го русского мая 1920 г.

— Вы давно разошлись с мужем?

— Скоро три года. — Революция разлучила.

— Т. е.?

— А так...

(Рассказываю).

— А я думал, что Вы с ним разошлись.

— О нет! — Господи!!! — Вся мечта моя: с ним встретиться!»

Шли долгие годы мучительной ежедневной тревоги за мужа и моления за его жизнь:

С. Э.

Сижу без света, и без хлеба,

И без воды.

Затем и насылает беды

Бог, что живой меня на небо
Взять замышляет за труды.
Сижу, — с утра ни корки чёрствой —
Мечту такую полюбя,
Что — может — всем своим покорством
— Мой Воин! — выкуплю тебя.

16 мая 1920

Давно ничего не зная друг о друге, Марина и Сергей продолжают жить на одной волне. Ещё не читая этих её стихов, ещё не получив первого после разлуки письма Марины, зная только, что оно есть, что она жива (письмо отвёз в 1921 году Илья Эренбург, он помог им найтись и встретиться), Сергей Эфрон в своём письме 1921 года сказал о том же самом, о чём Марина Цветаева — пронзительными словами: «нерушимое родство — одноколыбельники».

Прочитую письмо Сергея Эфрона.

«Мой милый друг — Мариночка, сегодня я получил письмо от Ильи Григорьевича, что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. — До этого я имел об Вас кое-какие вести от Константина Дмитриевича (К. Д. Бальмонта. — *Л. К.*), но вести эти относились к осени, а минувшая зима была такой трудной. Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего не буду от Вас требовать — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Остальное — я это твёрдо знаю — будет. Об этом и говорить не нужно, потому что я знаю — всё, что чувствую я, не можете не чувствовать Вы. Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю — сердце замирает — страшно — ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждёт. Но я суеверен — не буду об этом. Все годы нашей разлуки — каждый день, каждый час — Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать. Радость моя, за всё это время

ничего более страшного (а мне много страшного пришлось видеть), чем постоянная тревога за Вас, я не испытал. Теперь будет гораздо легче — в марте Вы были живы. О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами — прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части — на “до” и “после”. “До” — явь, “после” — жуткий сон, хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю — явь вернётся. Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть дневника у меня украли с вещами) — Вы будете всё знать, а пока знайте, что я жив, что я все свои силы приложу, чтобы остаться живым, и знаю, что буду жив. Только сберегите Вы себя и Алю ...» (1921, 28 июня).

«Все годы нашей разлуки — каждый день, каждый час, — Вы были со мной, во мне...». На высочайшем накале сказано об этом в рассказе Сергея Эфрона о времени добровольчества — «Тиф». Марина Цветаева назвала этот рассказ (в ответах на вопросы анкеты, уже в эмиграции) лучшим из прозы молодых писателей, опубликованной в зарубежных русскоязычных журналах в 1925 году.

В конце 1917 года Сергей Эфрон добрался до Новочеркасска. Придя в ужас от всего, что увидел там, прежде всего от состояния армии, морального и материального, он предложил изменить способ организации армии (в поданной в штаб «Записке»).

Об этом он подробно рассказал в очерке «Декабрь. 1917 г.» :

«Моя мысль сводилась к тому, что успех дела будет зависеть, главным образом, от кровной связи со всей Россией. Для установления этой связи я полагал необходимым формировать полки, батальоны, отряды, давая им наименования крупных городов России (Московский, Петроградский, Киевский, Харьковский и т. д.) с тем, чтобы эти отряды или полки пополнялись не только добровольцами, но и средствами из этих городов. Таким образом, с самого начала создавалась бы кровная связь со всей остальной Россией. В Москве, например, знали бы, что существует московский полк, или отряд, или дивизия, поставившая себе целью свержение большевиков и спасение Родины. Тяга в такой полк была бы гораздо острее, чем в туманную Добровольческую Армию. Собирать средства для

такого полка было бы гораздо легче <...>. Я до сих пор полагаю, что мысль моя, для того времени и при тех обстоятельствах, была жизненной».

Командование заинтересовалось этим проектом, и Сергей Эфрон был отправлен в тайную командировку в красную Москву, чтобы достать для московского полка денег и, по возможности, пополнить личный состав («Вы ведь коренной москвич, и связи у вас там широкие?»).

Он приезжал в Москву в январе 1918 года — тогда была последняя перед долгой разлукой их встреча с Мариной. В её записях тех лет есть туманные слова, что в последний раз она видела Сергея 18 января 1918 года, что когда-нибудь расскажет, где, когда, при каких обстоятельствах, но «сейчас — духу не хватает...»

Из Москвы Эфрон отбыл в Ростов, откуда в ночь с 9 на 10 февраля Добровольческая армия выступила в первый Кубанский поход под командованием генерала Л. Г. Корнилова.

Во время тайной командировки его дорога в Москву очень затянулась.

И вот — разговор в вагоне поезда. Опять в вагоне — как у Марины полгода назад — в том мучительно медленно подходящем к Москве поезде. И в этом совпадении сказалась атмосфера неспокойного времени, когда всё в России сдвинулось со своих мест.

Сравним тексты: отрывки из мемуарной прозы М. Цветаевой «Октябрь в вагоне. 1917 г. » и рассказа С. Эфрона «Тиф», события которого относятся к 1918 году.

В поезде к Марине Цветаевой подсаживается толстый военный. «... круглое лицо, усы, лет пятьдесят, пошловат, фатоват. — “У меня сын в 56-м полку! Ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелёгкая понесла”. (Почему-то сразу успокаиваюсь)... “Впрочем, он у меня не дурак: охота самому в пекло лезть!” (Успокоение мгновенно проходит)... “Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, всё равно для кого строить: царю ли, республике ли, — лишь бы выдержали!”

Я не выдерживая: “А у меня муж в 56-ом”. — “Му-уж? Вы за мужем? Скажите! Никогда бы не подумал! Я думал барышня, гимназию кончаете. Стало быть, в 56-ом? Вы, верно, тоже очень беспокоитесь?” — “Не знаю, как доеду”. — “Доедете! И свидитесь! Да помилуйте, имея такую жену — идти под пули! Ваш супруг себе не враг! Он, верно, тоже очень молод?” — “Двадцать три”. — “Ну, видите! А вы ещё волнуетесь! Да будь мне двадцать три года и имей я такую жену... Да я и в свои пятьдесят три года и имея вовсе не такую жену...” (Я мысленно: “в том-то и дело!”)»

«В том-то и дело!» Её герой — тот, о ком в такие ещё недавние и такие уже далёкие мирные дни она писала: «В его лице я рыцарству верна!»; тот, кому сейчас, только что, в этом вагоне, из последних сил стараясь верить, что он не погиб в боях на улицах Москвы, она написала: «... главное — Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других...» — именно «имея такую жену», может жить только так — не изменяя рыцарскому началу в себе. И её внутренняя реакция на слова толстого военного только подчёркивает, как чужды ей люди золотой середины. В её мире, как и в мире Сергея Эфрона, действуют совсем иные законы.

Их мир — тот, что живёт в её стихах, в его первой повести, в их письмах, в рассказе Сергея Эфрона «Тиф»... Им обоим чужды спокойные, внутренне благополучные, здраво и гладко рассуждающие люди, которые не способны эмоционально откликнуться на роковые минуты истории.

В других очерках «Записок добровольца» Сергей Эфрон выступает под своим именем, но в рассказе «Тиф» он дал герою другое имя. Это явно уже не мемуарная проза, а попытка художественного решения.

«С ним в этот день творилось странное. От солнца ли, или от полубессонной и бредовой ночи, но всё вокруг сегодня ему восторженно нравилось. Мастеровой, простоволосая Маруся, бак

с кипятком, стук колёс, холод, Розовый, иней — все и всё казалось прекрасным. <...>.

— Ну да, о судьбах. Мы говорили о том, что человек с двумя судьбами рождается. Одна, задуманная творцом, другая — свершающаяся в жизни. Розовый глаза раскрыл и потер лоб недоуменно.

— И что же? — спросила дама.

— И вот для одних судьба первая, главная, остаётся скрытой до могилы. Изживают они свою вторую, ненужную, суетную. А другие, меньшинство, к тайной, скрытой, задуманной судьбе прислушиваются <...>. В отдельных жизнях, и у народов тоже, бывает такое, когда он, человек, или он, народ, сказать про себя может — началось. Главное началось. До этого не жил, а предчувствовал жизнь. До этого кануны, а теперь — свершения. До этого глаза чуть открытые, щёлкой на мир, а теперь настезь, в упор и прямо в солнце. До этого дорог тысячи и все чужие, а тут для каждого своя. До этого и люди и вещи — ну как воздух, что постоянно одним давлением неприметно давит, а тут — всё по-новому, словно весь мир первозданным на тебя навалился. До этого все цвета в мире тусклы, а здесь ни одного полутона — словно жизнь как луч солнечный через призму пропустили, и она радугой засверкала. Ну, как в детстве и солнце, и небо, и дождь, и города, и каждый встречный, всё, всё — становится важным, громадным, в глаза лезущим, в сердце вонзающимся. Отсюда-то наша страсть к кровопролитиям, Атиллам, войнам, революциям... Понимаете? понимаете?

Розовый улыбаясь качал головой.

— Не понимаю и не пойму. Пугачёв, Разин, Атилла — Богом задуманы? Так, что ли?

— Нет, нет. Ах, Господи! Не в Боге тут дело. Может, дьяволом. Но горят-то они огнём последним. Ни стихов им не нужно, ни песен, ни романов, ни театра, ни всего искусства. Они сами стихи, сами песня, сами роман, сами искусство. Потом о них писать и петь начнут, а сами они ни в чём не нуждаются, кроме огня собственно. Их огнём питаться будут потомки. Вычеркните из истории войны, революции, Пугачёвых, бунтарей и завоевателей — захватчиков и защитников — о чём писать тогда, что любить? Понимаете?

Он посмотрел беспомощно сперва на Розового, потом на даму. Розовый продолжал улыбаться, а дама, — он не ошибся, нет, не ошибся, — дама поняла. Обрадовавшись и осмелев, он заторопился дальше:

— Я ведь не фантазирую. Я по себе сужу, по тому, что со мной произошло. Не знаю, было у вас такое раньше, — у меня вот всегда было. Главное что-то прийти должно, а пока неглавное, преддверие, сплошное “пока”. И вот “пока” кончилось. Началось подлинное, сущее, бытие что ли, не знаю, как сказать. Вот жена моя, любил я её раньше? Скажете — да? Нет, нет, нет. Только теперь полюбил. *В вечность, в бесконечность, до смерти и после смерти. Только теперь чувствую её постоянно рядом, не рядом, внутри, в себе, вокруг, всюду*». (курс. мой. — Л. К.)

Годы спустя, уже после Гражданской войны, в эмиграции, отвечая на письмо доверившегося ему мало знакомого корреспондента, Сергей Эфрон писал: «То, что Вы пишете о своём чувстве к жене, очень хорошо знаю. Разлука — маленькая смерть: всё

большое встаёт в свой подлинный рост, всё маленькое отпадает. Но это чувство болевое и тяжёлое, хотя и плодоносное».

Постоянная память о Марине, о её мире, эмоциональная близость к нему ощутимы едва ли не на каждой странице рассказа «Тиф». Тут и размышления о Пугачёве, с детства горячо и тайно любимом Мариной (правда, любила она Пугачёва «Капитанской дочки», противопоставленного в её работе «Пушкин и Пугачёв» историческому), тут и контраст между героем рассказа, живущим на высокой ноте, и его приземлённым собеседником, и ещё многое...

«Он даже задыхаться стал, так торопился. А Розовый:

— Итак, по-вашему, Василий Иванович, чтобы полюбить настоящему и чтобы землю почувствовать, нужна революция, или война, или ещё что, кровавое и разрушительное?

Говорит и пломбой добродушно посверкивает.

— Да нет же. Это для слабых нужно. Это и без революций с другими случается. А иным и революция не поможет. *Дети, не все правда, и поэты рождаются такими...*» (курс. мой. — Л. К.).

Конечно, автор рассказа думает о Марине: «И поэты рождаются такими...» — без революций! Это звучит в лихорадочном монологе заболевшего тифом героя, сразу после слов его о необычайном времени, выпавшем на его молодость, и это признание бесконечно важно для него. «Это и без революций с другими случается»...

Очень похоже говорит о восприятии жизни людьми их породы героиня романа Пастернака «Доктор Живаго» Лара — над гробом Юрия: «Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала <...>. Опять что-то крупное, неотменимое. *Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части...*» (курс мой. — Л. К.).

Выделенные курсивом слова очень близки многому, что сказано в письмах Марины Цветаевой, в том числе в письмах Борису Пастернаку. Эта близость глубоко не случайна. Имя Бориса Пастернака ещё не раз встретится на страницах этой книги — он занимал огромное место в жизни Марины Цветаевой и многое значил для её мужа и дочери. В его жизни Марина Цветаева тоже очень многое значила, и во время работы над романом он, безусловно, часто думал о ней. (Подробнее речь об этом пойдёт в главе об Ариадне Эфрон, долгие годы своей «голгофы» переписывавшейся с Борисом Леонидовичем).

«Это не по нашей части...» В 1938 году Марина Цветаева будет убеждённо оспаривать известные слова Тютчева, на долю которого достались гораздо более спокойные времена: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» — «Вот уж не блажен!»

Любовь к жене герой (и автор) рассказа «Тиф» обозначил так: «в вечность, в бесконечность, до смерти и после смерти». Марина Цветаева ещё в 1914 году сказала в посвящённых Сергею стихах: «Я в вечности жена, не на бумаге!»

Всё это Сергей Эфрон мучительно помнит, он постоянно боится за её жизнь, как и она — за его. В одном из горячечных видений герой рассказа «Тиф» видит переулок, где их дом: «Московский переулок, кривой, узкий, вензелем выгнулся <...>. Он под фонарём тусклым. Крыльцо, дверь войлоком обитая. Под воротами ночной сторож в тулупе спит. Разбудить бы, узнать, как дома. И вдруг сердце жалось, дышать нечем. Умерла, умерла, умерла, если окно не освещено. Заглянуть надо <...>. Окно без стекла, без рамы. Почему? Может, переехала...» Это описание Борисоглебского переулочка, графически точное. Там стоял их дом.

Запредельное волнение, когда «сердце сжимается и дышать нечем», испытывала и Марина Цветаева, подъезжая к Москве в октябрьском вагоне, потом — на извозчике к тому самому Борисоглебскому, «кривому, узкому переулочку». В другой момент герою рассказа Сергея Эфрона видится в стенке ножом вырезанная надпись: «Маруся. Моя Любовь. Май 11 год» — дата их первой встречи.

Очень многое они чувствовали в те годы похоже. Хотя не всё в романтическом монологе героя рассказа «Тиф» близко Марине Цветаевой, есть в нём и глубоко чуждые ей мысли, особенно, думается, вот эта:

«... словно жизнь как луч солнечный через призму пропустили, и она радугой засверкала. Ну, как в детстве и солнце, и небо, и дождь, и города, и каждый встречный, всё, всё — становится важным, громадным, в глаза лезущим, в сердце вонзающимся. Отсюда-то наша страсть к кровопролитиям, Атиллам, войнам, революциям (курс. мой. — Л. К.)... Понимаете? понимаете?»

Этого — что мир тускл без таких катаклизмов, а во время них начинает сиять особым светом, тем более другой мысли героя рассказа: «Вычеркните из истории войны, революции, Пугачёвых, бунтарей и завоевателей — захватчиков и защитников — о чём писать тогда, что любить?» — она никогда (после недолгого подросткового всплеска в 16 лет) не поймёт, не примет.

Но пока что Марина Цветаева не зафиксировала внимания на таком важном различии — оно трагически обнажится позже.

Можно ли романтизировать «русский бунт — бессмысленный и беспощадный», как давно сказано Пушкиным?

И всё же немало сокровенно близких ей мыслей высказано героем рассказа «Тиф». Например, вот эта:

«... другие (меньшинство) к тайной, скрытой, задуманной Судьбе прислушиваются».

Оба они были из прислушивающихся к тайной, ещё не выявленной судьбе...

«Любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители» (из размышлений Цветаевой в «Земных приметах»).

Именно здесь, пусть очень сильно забегая вперёд, хочется ещё раз сказать: как бы ни изменил позднее слух Сергею Эфрону, трагически сбившемуся с Богом задуманного пути воплощения своей незаурядной личности, многолетним спутником Марины Цветаевой был в самом деле глубоко родной ей человек.

«Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали, поэтому не знаю, что думать о Вас. Я знаю, что у меня есть судьба. — Это страшно. — Если Богу нужно от меня покорности — есть, смирения — есть, — перед всем и каждым! — но отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь». Это строки из письма Марины Цветаевой Сергею Эфрону.

Её письмо весной 1921 года увёз за границу Илья Эренбург.

На кортике своём: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

Москва, 18 января 1918

Как напряжённно ждала она известий! Из записных книжек тех лет:

«Опыт этой зимы: я никому на свете, кроме Али и Серёжи (если он жив), не нужна». «Начала ходить в огромных Серёжиных высоких сапогах. Ношу их с двойной нежностью: Серёжины — и греют».

«Я почти не пишу в этой книжке о Серёже. Я даже его имя боюсь писать. Вот что мне свято здесь, на земле».

«Не плачу при всех. Экспансивна — только в радости, и то не в большой. Если бы, например, Серёжа вернулся, я бы — внешне — не сходила с ума».

1 июля 1921 года Марина получила письмо от Сергея (оно уже цитировалось здесь перед рассказом «Тиф») — первое после более чем двухлетнего молчания, мучительной неизвестности и страшных мыслей.

«Радость моя, за все это время ничего более страшного (а мне много страшного пришлось видеть), чем постоянная тревога за Вас, я не испытал. Теперь будет гораздо легче — в марте Вы были живы. — О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами — прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части — на “до” и “после”. “До” — явь, “после” — жуткий сон, хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю — явь вернется. <...> Надеюсь, что Илья Григорьевич (Эренбург. — Л. К.) вышлет мне Ваши новые стихи. Он пишет, что Вы много работаете, а я ничего из Ваших последних стихов не знаю. Простите, радость моя, за смятенность письма. Вокруг невероятный галдёж. Сейчас бегу на почту. Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля — последнее и самое дорогое, что у меня есть.

Храни Вас Бог.

Ваш С.

Что мне Вам написать о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый день отвоёвывается, каждый день приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу».

«С этого дня — жизнь», — записала Марина в своей тетради, где вслед за этой записью идёт черновик — начало её ответного письма.

«Мой Серёженька! Если от счастья не умирают, то — во всяком случае — каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. Последние вести о Вас: Ваше письмо к Максу. Потом пустота. Не знаю, с чего начать... Нет — знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам...»

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

С. Э.

В сокровищницу
Полунощных глубин
Недрогнувшую
Опускаю ладонь.
Меж водорослей —
Ни приметы его!
Сокровища нету
В морях — моего!
В заоблачную
Песнопенную высь —
Двумолнием
Осмеливаюсь — и вот
Мне жаворонок
Обронил с высоты —
Что за морем ты,
Не за облаком ты!

15 июля 1921

Жив и здоров!
Громче громов —
Как топором —
Радость!
<...>
Стало быть, жив?
Веки смежив,

Дышишь, зовут —
Слышишь?

<...>

Мёртв — и воскрес?!
Вздоху в обрез,
Камнем с небес,
Ломом

По голове, —
Нет, по эфес
Шпагою в грудь —
Радость!

16 июля 1921

«Единственное моё живое (болевое) место — это Серёжа. (Аля — тот же Серёжа). <...> Люблю только 1911 год, и сейчас, 1920 год (тоску по Серёже — весть — всю эпопею!) <...> Но Серёжу мне необходимо увидеть, просто войти, чтоб видел, чтоб видела <...> Спасибо тебе, Макс, за Серёжу — за 1911 год и 1920 год». (М. Волошину. 1921, 7 ноября).

С. Э.

Не похорошела за годы разлуки!
Не будешь сердиться на грубые руки,
Хватающиеся за хлеб и за соль?
— Товарищества трудовая мозоль!
О, не прихорашивается для встречи
Любовь. — Не прогневайся на просторечье
Речей, — не советовала б пренебречь:
То летописи огнестрельная речь.
Разочаровался? Скажи без боязни!
То — выкорчеванный от дружб и приятней
Дух. — В путаницу якорей и надежд
Прозрения непоправимая брешь!

23 января 1922

«Серёжу мне необходимо увидеть...» Но до этого прошёл ещё целый год — не так-то просто было выбраться из красной Москвы. И вот — лето 1922 года. Вокзал в Берлине. Год назад Сергей Эфрон в письме сказал: «... ещё бóльшим чудом будет наша встреча грядущая <...> ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждёт». И вот — сбылось!

«— Марина! Мариночка! Откуда-то с другого конца площади бежал, маша нам рукой, высокий худой человек, и я, уже зная, что это — папа, ещё не узнавала его, потому что была совсем маленькой, когда мы расстались, и помнила его другим, вернее, иным, и пока тот образ — моего младенческого восприятия — пытался совпасть с образом этого, движущегося к нам человека, Серёжа уже добежал до нас, с искажённым от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие. Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щёки, мокрые от слёз...». (Из воспоминаний Ариадны Эфрон).

На страницах этих воспоминаний мы узнаём того самого, в главном не изменившегося, воспетого и в воспоминаниях Анастасии Цветаевой Сергея Эфрона. Так прошла первая, самая высокая и счастливая, минута их жизни «после России» — на чужбине. Помню, как мы с друзьями, глубоко взволнованные, впервые читали это вслух в начале 1970-х годов.

С тех пор эта сцена стала «классикой» — волнующей, незабываемой сценой из «романа» о жизни Марины и Сергея. К ней обращаются все пишущие о судьбе и творчестве Марины Цветаевой. По силе эмоционального воздействия она сопоставима с великой сценой мировой литературы — в романе «Война и мир», когда после всех тяжёлых и страшных испытаний, потерь близких, незнания друг о друге, живы ли, — происходит встреча Наташи Ростовской и Пьера Безухова. И на лице потрясённой Наташи «с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь», появляется улыбка.

Но вскоре, по воспоминаниям Ариадны Эфрон, раздался первый «тревожный звонок». «Помню один разговор между родителями вскоре после нашего с матерью приезда за границу: "... И все же это было совсем не так, Мариночка", — сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах, выслушав несколько стихотворений из "Лебединого стана". "Что же — было?" — "Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не мы, а — лучшие из нас"».

В этих словах Сергея Эфрона о горьких итогах Белого движения — его зоркость. Тем более поражает полное его ослепление позже, когда он оказался по другую сторону баррикад...

««Но как же Вы — Вы, Сереженька...» — «А вот так: представьте себе вокзал военного времени — большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею, — все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга... Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается — минутное облегчение, — слава тебе, Господи! — но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал — впрочем, вместе со многими и многими! — не в тот поезд... Что твой состав ушёл с другого пути, что обратного хода нет — рельсы разобраны. Обрато, Мариночка, можно только пешком — по шпалам — всю жизнь «...»

«После этого разговора, — продолжает Ариадна Эфрон свой рассказ, — был написан Маринин «Рассвет на рельсах»».

РАССВЕТ НА РЕЛЬСАХ

Покамест день не встал
С его страстями стравленными,
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю.

Из сырости — и свай,
Из сырости — и серости.
Покамест день не встал
И не вмешался стрелочник.

Туман ещё шадит,
Ещё в холсты запахнутый
Спит ломовой гранит,
Полей не видно шахматных...

Из сырости — и стай...
Ещё вестями шальными
Лжёт вороная сталь -
Ещё Москва за шпалами!

Так, под упорством глаз —
Владением бесплотнейшим
Какая разлилась
Россия — в три полотнища!

И — шире раскручу!
Невидимыми рельсами
По сырости пуцу
Вагоны с погорельцами:

С пропавшими навек
Для Бога и людей!
(Знак: сорок человек
И восемь лошадей).

Так, посредине шпал,
Где даль шлагбаумом выросла,
Из сырости и шпал,
Из сырости — и сирости,

Покамест день не встал
С его страстями стравленными —
Во всю горизонталь
Россию восстанавливаю!

Без низости, без лжи:
Даль — да две рельсы синие...
Эй, вот она! — Держи!
По линиям, по линиям...

12 октября 1922

Можно представить, с каким волнением ждала Марина Цветаева той минуты их встречи, когда будет читать мужу стихи из «Лебединого Стана», как предвкушала она высокое потрясение, горячую благодарность Сергея... Она имела все основания ждать этого — ведь в прежней жизни его отклик на всё ею сказанное и написанное всегда бывал, говоря её языком, равен оклику. Тем больнее ей было услышать такую неожиданную реакцию именно на эти, так много значившие для неё (и, как верила она до этого момента, для него, для них обоих вместе) стихи — ответ, подвергающий сомнению всё, чем так страстно, самоотверженно и героически жила она в годы разлуки. Но оба они были ещё далеки от предчувствия того пути, к какому приведут его эти начавшиеся сомнения, и той пропасти, какая разверзнется между ними в будущем.

Есть, впрочем, и совсем другие воспоминания о Сергее Эфроне в то лето 1922 года в Берлине.

«С Мариной Ивановной отношения у нас сложились сразу дружеские. Говорить с ней было интересно обо всём: о жизни, о литературе, о пустяках. В ней чувствовался и настоящий, и большой, и талантливый, и глубоко чувствующий человек. Да и говорила она как-то интересно-странно, словно какой-то стихотворной прозой, что ли, каким-то “белым стихом”. Помню, она позвала меня к себе, сказав, что хочет познакомить с только что приехавшим в Берлин её мужем Сергеем Эфроном. Я пришёл. Эфрон был высокий, худой блондин, довольно красивый, с правильными чертами лица и голубыми глазами. Отец его был русский еврей, мать — русская дворянка Дурново. В нём чувствовалось хорошее воспитание, хорошие манеры. Разговор с Эфроном я хорошо помню. Эфрон весь

был ещё охвачен белой идеей, он служил, не помню уж в каком полку, в Добровольческой армии, кажется, в чине поручика, был до конца на Перекопе. Разговор двух бывших добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что всё было неправильно зачато, вожди армии не сумели сделать её народной и потому белые и проиграли. Теперь я был сторонником замирения России. Он — наоборот, никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасла честь России, против чего я не возражал: сам участвовал в спасении чести. Но конечной целью войны должно было быть ведь не спасение чести, а — победа. Её не было. Эфрон возражал очень страстно, как истый рыцарь Белой идеи. Марина Ивановна почти не говорила, больше молчала. Но была, конечно, не со мной, а с Эфроном, с побеждёнными белыми. В это время у неё уже был готов сборник “Лебединый Стан”:

...Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает...
Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

И как это ни странно, но всем известно, чем кончил апологет Белой идеи Сергей Эфрон в эмиграции. Вскоре он стал левым евразийцем (не с мировоззренческим, а политическим уклоном <...> , потом — председатель просоветского “Союза возвращения на Родину” и ультра-советский патриот...) (Роман Гуль. Из книги «Я унёс Россию»).

На первый взгляд, воспоминания Романа Гуля дают основания подвергнуть сомнению точность памяти Ариадны Эфрон, которой было тогда всего 10 лет, но известно, каким необыкновенным ребёнком была маленькая Аля (об этом пойдёт подробная речь в посвящённой ей главе). Многие её детские записи свидетельствуют как раз о пристальности и точности её памяти, тонкости восприятия многого в жизни взрослых -характеров, отношений, мыслей,

споров. К сожалению, разговор родителей с Романом Гулем не зафиксирован в её детской тетрадке.

Впрочем, если глубже вчитаться в её и Романа Гуля воспоминания, можно увидеть, что они не настолько взаимоисключающи, как на первый взгляд кажется. Предположим, что Роман Гуль, давно разочаровавшийся в Белом движении, говорил о нём слишком резко и уничижительно, и в этом случае слова его могли быть восприняты Сергеем Эфроном как оскорбительные, не благородно звучащие по отношению к памяти погибших товарищей.

Это вполне могло заставить его пылко выступить в защиту проигранного дела и не соглашаться даже с теми мыслями Романа Гуля, которые начинали мучить и его самого.

С Мариной же Сергей мог откровенно и безбоязненно поделиться своим разочарованием, зная, что она, так высоко воспевавшая и оплакавшая «лебединый стан», никогда не оскорбит его чувства. Правда, о невольном оскорблении её чувств он не подумал. Ему скорее казалось важным открыть ей глаза на жестокую правду.

Он ещё долго, мучительно и диалектично будет размышлять о горьких итогах Белого движения, о светлых и тёмных его сторонах, ещё посвятит этому несколько больших статей. Это произойдёт позднее.

Пока что им необходимо было решать более земные вопросы, и прежде всего — где жить? Сергей подробно рассказал Марине о своей жизни в Чехии, которую успел благодарно полюбить. «И Маринино удалое: «Горы? холмы? музыка? — едем в Чехию!» (Из воспоминаний Ариадны Эфрон).

В Прагу Сергей Эфрон приехал из Турции. Он пережил там очень тяжёлый год: приплыл на одном из последних кораблей с войсками Белой армии, потерпевшей окончательное поражение. В Галлиполи под Константинополем, на продуваемом всеми ветрами пустыре, был разбит палаточный лагерь. Зимой там было особенно невыносимо: холод, голод, невозможность подать о себе весть в Советскую Россию (это подвергло бы опасности его близких), мучительная неизвестность о Марине, о дочках (он ещё не знал о смерти Ирины), о сёстрах... В 1921 году ему удалось перебраться в Чехию.

После такого ада первое время в Праге казалось Сергею Эфрону чуть ли не сказочным сном.

«Отношение чехов к нам удивительно радушно — ничего подобного я не ожидал. Любовь к России и к русским здесь воспитывалась веками. Местное лучшее общество всё говорит по-русски — говорить по-русски считается хорошим тоном. То же, что было у нас с французским языком в былое время. Всюду — в университете, на улицах, в магазинах, в трамвае каждый русский окружён ласковой предупредительностью... Живём мы здесь в снятом для нас рабочем доме. У каждого маленькая комнатка в 10 кв. аршин, очень чистая и светлая, напоминающая пароходную каюту. Меблировка состоит из кровати и табуретки. Кажется, ещё будет выдано по маленькому столику...». Так писал он фронтовым друзьям Богенгардтам в 1921 году.

Чешское правительство, во главе которого в то время стоял президент Масарик, с удивительно доброй заботой отнеслось к русским эмигрантам, оказавшимся в Чехии после Гражданской войны и превратностей Судьбы, с той страшной войной связанных: многим писателям выплачивалось ежемесячное пособие, без которого им трудно было бы выжить (Марина Цветаева получала его долгие годы, даже после переезда семьи во Францию), к студентам, многие из которых воевали в Белой Армии и вынуждены были надолго прервать учёбу. Им была предоставлена возможность закончить учёбу в Карловом университете в Праге: лекции русских профессоров — эмигрантов, стипендии и жильё.

Сколь бы скромными и даже бедными ни были комнатки того общежития («Свободарна»), после Ледового и затем всего Добровольческого похода и страшного года в Галлиполи Сергей Эфрон жил «с оттаявшей душой», не замечая сравнительно мелких (после всего пережитого) бытовых неудобств. Он прожил там год до приезда Марины с десятилетней Алей, но оставаться в студенческом общежитии с семьёй было невозможно и, так как жильё в Праге было очень дорогим, они поселились за городом. В те годы в пражских пригородах жили многие российские семьи, в том числе и студенческие.

Летом 1922 года началась их жизнь в чешском пригороде — та, о которой годы спустя Марина Цветаева вспоминала с пронзительной ностальгией.

«... вспоминаю Вшеноры, нашу чудную печку, которую топила своим, добытым хворостом. И ранние ночи с лампой, и поздние приходы занесённого снегом, голодного С. Я., и Алю с косами, такую преданную и весёлую и добрую — где всё это? Куда — ушло?» (А. Тесковой. 1938, 26 декабря).

Но и тогда, когда эта жизнь ещё не ушла, шла день за днём, о ней писалось лирически и заклинающе: «Вы спрашиваете о моей жизни здесь — могу ответить только одно: молю Бога, чтоб вечно так шло, как сейчас...» (М. Цетлиной. 1923, 9 января).

Тогда же: «Молю Бога всегда так жить, как живу: колодец часовенкой, грохот ручьев, моя собственная скала, козы, все породы деревьев, тетради, не говоря уж о С. и Але, единственных, кроме Вас и князя С. Волконского, мне дорогих» (Б. Пастернаку. 1923, 10 февраля).

Иногда, правда, это заклинание окрашено иронией: «Я стала похожей на Руссо: только деревья. Мокропсы — прекрасное место для спасения души: никаких соблазнов <...>. Таскаем с Алей из лесу хворост, ходим на колодец “по воду”. Серёжа весь день в Праге (университет и библиотека), видимся только вечером. — Вот и вся моя жизнь. — Другой не хочу» (М. Цетлиной. 1923, 31 января).

Об этом же писал тогда Сергей Эфрон далёкому Максиму Волошину:

«Марина проводит дни как отшельник. Очень много работает, часами бродит одна в лесу, бормоча под нос отрывки стихотворных строк. В Берлине вышли её четыре книги, скоро выйдет пятая».

Золото моих волос
Тихо переходит в седость.
— Не жалейте! Всё сбылось,
Всё в груди слилось и спелось.
Спелось — как вся даль слилась
В стонущей трубе крайны.

Господи! Душа сбылась:
Умысел твой самый тайный

Несгорающую соль
Дум моих — ужели пепел
Фениксов отдам за смоль
Временных великолепий?

Да и ты посеребрел,
Спутник мой! К громам и дымам,
К молодым сединам *дел* -
Дум моих причти седины.

Горделивый златоцвет,
Роскошью своей не чванствуй:
Молодым сединам *бед*
Лавр пристал — и дуб гражданский.

Между 17 и 23 сентября 1922

Они наконец рядом. Вместе. Закончилась изнуряющая неизвестность разлуки, в которой было постоянное напряжение, постоянная молитва за его жизнь. Но закончились и прежние, воспевающие её «ангела и воина», стихи к нему. Тут, конечно, сыграло роль потрясение от его слов о разочаровании в Белом движении, резко охладившее её, и, при всей радости нового обретения друг друга, совместность видится как испытание. В ней обнаруживается драматизм:

Но тесна вдвоём
Даже радость утр.
Оттолкнувшись лбом
И подавшись внутрь,

(Ибо странник — Дух,
И идёт один),

До начальных глин
Потупляя слух —
Над источником,
Слушай-слушай, Адам,
Что проточные
Жилы рек — берегам:
— Ты и путь и цель,
Ты и след и дом.
Никаких земель
Не открыть вдвоём...

«Никаких земель не открыть вдвоём...» За эти годы Марина Цветаева гораздо острее осознала своё назначение на земле, свой дар — как долг перед Создателем, которому обязана воздать не «счётом ложек».

Сергей Эфрон в это время напряжённо преодолевает трудности, связанные с долгим отрывом от занятий, живёт активной студенческой жизнью, участвует в семинарах и научных кружках, издаёт журнал «Своими путями» и безотказно несёт многочисленные нагрузки, на него взваливаемые, и у него почти нет времени спокойно побыть с семьёй.

Он, правда, и прежде занимался так, не щадя себя, без отдыха, забывая о еде и сне, и с самого начала их общей жизни это вызывало у Марины серьёзное беспокойство.

«Серёжа занимается с 7-ми часов утра до 12-ти ночи, — что-то невероятное. Очень худ и слаб, выглядит отвратительно», — писала она его сёстрам ещё в 1914 году, когда Сергей в Феодосии готовился сдавать экзамены на аттестат зрелости. (Е. и В. Эфрон. 1914, 28 февраля).

Марина Цветаева и потом не раз будет писать о Сергее Эфроне как о человеке напряжённого труда, и нет никаких оснований не доверять этому свидетельству хотя бы потому, что она каждый раз пишет о конкретной ситуации, об определённых фактах.

«Серёжа во главе студенческого демократического союза — хороший союз, если, вообще есть хорошие...» (Р. Гулю. 1924, 30 марта).

«Серёжа завален делами, явно добрыми, т. е. бессеребреными: кроме редактирования журнала <...> прибавилась ещё работа в правлении нашего союза, куда он подал прошение о зачислении его в члены. Не только зачислили, но тут же выбрали в правление, а сейчас нагружают на него ещё и казначейство. Ничуть не дивлюсь, — даровые руки всегда приятны, — и худшие, чем Серёжины. А кроме вышеназванного университетская работа, лютая в этом году, необходимость не сегодня-завтра приступить к докторскому сочинению, все эти концы из Вшенор на Смихов и от станции на станцию».(О. Колбасиной-Черновой. 1924, 25 ноября).

Такой напряжённый ритм его жизни тревожил Марину Цветаеву. Она никогда не забывала о тяжёлой и опасной болезни мужа — слишком много смертей от туберкулёза пришлось ей увидеть и пережить ещё в детстве (ранняя смерть матери; ещё более раннее — Нади и Серёжи Иловайских, взволнованным воспоминаниям о которых посвящено значительное место в её «Доме у Старого Пимена»; наконец, в юности — смерть Петра Эфрона, старшего брата Серёжи — эта смерть была глубоко пережита Мариной).

Через годы — и какие годы! — война, Добровольческий поход, гибель многих друзей, долгая разлука с Мариной, рождение и смерть второй дочки, эмиграция, тоска по Родине, приезд Марины и Али — вновь удивительно похожая картина. Она предстаёт даже не в воспоминаниях, в которых при самой точной и блестящей памяти мемуаристов прошлое всё же восстанавливается ретроспективно, а из записи в дневнике маленькой Али.

«Серёжа обыкновенно четыре дня живёт в Праге, в «Свободарне», занимается очень много. На остальные дни приезжает сюда <...>. После завтрака он садится на свою серую кровать и обкладывается книгами или ходит взад и вперёд по комнате и учит наизусть записанное в тетрадке. После обеда отказывается гулять, и

напрасно Марина ему говорит: “Идём, Серёженька, ну в лес, ну во Вшеноры, ну на скалы!” — “Ну пойдём, папа! Ну пожалуйста!” — “Мариночка, я не могу, мне нужно ещё порядочно подготовиться к экзаменам. Начинается осенний ряд экзаменов, а провалиться я не хочу”. — “Ну, неужели не можете?” — “Нет, Мариночка!” — “Ну хоть полежите тогда, хоть немного!” — “Хорошо, хорошо, полежу”. И мы с Мариной уходим».

Поразительно, как умудряются не испытывающие симпатий к Сергею Эфрону исследователи не замечать всего этого — и писать о нём как о ленивом бездельнике! Думается, что одна из причин этого вопиюще несправедливого искажения образа в элементарном смещении понятий — «работать» и «зарабатывать». Работал Сергей Эфрон очень много — об этом свидетельствуют письма (его — к сестре в Москву и Марины — к самым разным людям), где речь идёт об их повседневности, в частности о том, как проходят его дни:

«Всё это время снимался в кино — вставал в 5, приходил в 8. А вечером ещё уроки. (Имеются в виду уроки русского языка, которые Сергей Яковлевич давал для заработка. — *Л. К.*) Теперь съёмки кончились — ищу новых» (Е. Эфрон. 1927, 9 ноября).

И год спустя:

«Нужно написать тебе о нашей жизни. Я получил скромное место, которое берёт у меня всё время с раннего утра до позднего вечера. Надеюсь отработать на няню» (1928, 1 апреля).

«Что же тебе написать о себе? Я работаю там же (в редакции еженедельника «Евразия». — *Л. К.*) и столько же. Часто ложусь в три часа ночи. Очень устал. На себя не остаётся ни одной минуты. М. б. это и хорошо, но временами бывает непереносимо». (1929, 7 марта).

Это писалось уже из Парижа, куда семья переехала в 1925 году. Но и в Праге он почти всегда был напряжённо занят — экзаменами или подготовкой к докторскому сочинению (так, видимо, назывались в Карловом университете студенческие дипломные работы), работой в Союзе писателей, репетициями в драмкружке и работой в

журнале «Своими путями». Замысел создателей этого литературно-художественного и общественно-политического журнала был — «воздвигнуть духовный памятник павшим в войне и революции, поколению, жертвовавшему своей жизнью».

Марина Цветаева писала о нём:

«Серёжин журнал вышел, — по-моему, хорошо — «Своими путями». — Громить будут и правые, и левые» (О. Е. Колбасиной-Черновой. 1924, 17 ноября).

Вышло всего 13 номеров. Сергей Эфрон занимался созданием и редактированием газеты и журнала в Париже, учился на курсах кинооператоров, в надежде заработать пытался овладеть этой профессией, был статистом на киносъёмках.

Он много работал. А вот зарабатывать у него почти никогда не получалось, хотя он всегда надеялся на это, принимаясь за новое дело, часто — с единомышленниками, разделявшими эти надежды.

Многие его замыслы «лопались», надежды не оправдывались, на это были как объективные причины (мировой кризис, положение эмигранта), так и субъективные (непрактичность, отсутствие деловой хватки, иногда — прожектёрство). Всё это он тяжело переживал.

Мне неприятно читать многочисленные недобрые комментарии, в которых Сергея Эфрона называют хроническим неудачником. Справедливо ли судить человека из иных времен только по результатам, не видя и не ценя сумму усилий? На эту тему — вне связи с Эфроном — есть в одном из цветаевских писем интересное рассуждение: Марина Ивановна говорит о том, что ей совершенно не важно, сколько человек может поднять, сколько сил дано ему природой — важна и ценна сумма усилий. Из того факта, что у Сергея Эфрона не получилось прочно наладить издание журнала, иметь постоянный редакторский заработок, стать кинооператором или кинокритиком (может быть, совмещать), вовсе не следует, что и не могло получиться. Ведь в замыслы верили и его единомышленники, и часто всё начиналось на подъёме, и поначалу хорошо

шло! И можно горько пожалеть, что слишком многое с таким энтузиазмом задумываемое — не складывалось. Пожалеть, но не обвинять!

Скажу, впрочем, ещё одну вещь, хотя она и будет, к сожалению, в какой-то степени противоречить моему пафосу защиты. Было во всём этом (разумеется, до заключительного трагического этапа истории С. Эфрона в 1930-е годы) что-то от истории одного из любимых комических героев Марины Цветаевой — наивного фантазёра из диккенсовского «Давида Копперфильда» — мистера Микобера, о котором она часто вспоминала в минуты собственных трагикомических неудач в Москве 1918—1920 годов.

Вспоминала ли она когда-нибудь в этой связи — уже в Чехии — трогательно комическую миссис Микобер? Эта дама, встречаясь с Давидом Копперфильдом после больших перерывов длиной в годы, за которые прибавлялось и количество детей в семействе Микоберов, и количество преследующих их неудач, каждый раз патетически восклицала: «О я никогда, никогда не покину мистера Микобера!»

Марина Цветаева и Сергей Эфрон были лишены деловой хватки, но, честно говоря, как-то трудно представить многолетним спутником Марины Цветаевой делового человека. Что же касается моего невольного противоречия самой себе — всё-таки и после этого сравнения я не присоединяюсь к обвинителям: тут ведь дело ещё и в тоне...

В «их Чехии» ещё были уютные семейные вечера. Ариадна Эфрон вспоминала:

«Счастьем были вечера, которые иногда проводили мы вместе, у стола, освобождённого от еды и посуды, весело протёртого мокрой тряпкой, уютно и торжественно возглавленного керосиновой лампой с блестящим стеклом и круглым жестяным щитком-рефлектором; Серёжа читал нам вслух привозимые им из Праги книги; Марина и я слушаю, штопали, чинили, латали. С тех пор и навсегда весь Гоголь, диккенсовы “Домби и сын” и “Крошка Доррит”

слышатся мне с отцовского голоса и чуть припахивают керосином и вытопленной хворостом печкой».

Взрослая Аля вспоминала, что в первые годы жизни в Чехии отец и мать ещё бодро переносили тяготы быта: «это была весёлая бедность», — утверждает она.

Многое подтверждает эти слова. В частности — весёлый и доброжелательный тон Марины в письмах о театральные приключениях Сергея, у которого, при всей занятости и трудной жизни, ещё оставались силы на театральные увлечения. (Может быть, он ностальгически вспоминал свою московскую юность, когда играл на сцене в разных студиях, какое-то время — даже у Таирова).

«Серёжа с Исцеленовым (и Брэйем, Вы его не знаете — англичанин-режиссёр — блестящ) — затеяли студию. Ставят “Царя Максимилиана” (народное, по Ремизову. Серёжа играет царского сына) <...>. Что выйдет — не знаю. Дело в хороших руках, есть актёры, — но будут ли деньги? Пока у них небольшое помещение, репетиции идут. Серёжа очень увлечён. Как-то приводил сюда своего Брэйя: небольшой быстрый рыжий человек, горящий и не гаснущий, с лучше чем вкусом: нюхом. Страстно любит Пастернака. Сошлись» (О. Колбасиной-Черновой. 1924, 27 декабря).

Марина ещё с удовольствием, а иногда с юмором, пишет о занятиях Сергея, она ещё вполне в курсе его дел и увлечений. (Отстранение наступит гораздо позже...) Вместе с подрастающей Алей она дружески болеет за него перед спектаклями:

«Да! Самое главное: 20-го, на 2-й день Пасхи, было Серёжино выступление в “Грозе”. Играл очень хорошо: благородно, мягко, — себя. Роль безнадёжная (герой — слюня и макарона!), а он сделал её обаятельной. За одно место я трепетала: “... загнан, забит, да ещё сдуру влюбиться вздумал!”... и вот, каждый раз, без промаху: “загнан, забит, да ещё в дуру влюбиться вздумал!” Это в Катерину-то! В Коваленскую-то! (prima Александринского театра, очень дарови-

тая). И вот подходит место. Трепещу. Наконец, роковое: “загнан, забит, да ещё...” (пауза)... Пауза, ясно, для того, чтобы проглотить дуру. Зал не знал, знали Аля и я. И Коваленская (!) <...> Был он в иждивенческом костюме: в русской рубашке и сапогах <...>. Фуражку всё время держал в руке, — вроде как от почтительности, на самом деле — оттого, что не налезала» (А. Черновой. 1925, 25 апреля).

«Иждивенческий костюм» — купленный на стипендию, выплачиваемую в Чехии бывшим солдатам и офицерам Белой армии, ставшим здесь студентами. Другого костюма на неё не купишь. Такой мягкий, мирный, немного грустный «диккенсовский» юмор... В воспоминаниях Ариадны Эфрон семейному чтению Диккенса посвящены лирические страницы. Можно представить, как весело вспоминали они дома после спектакля разные забавные подробности. Это была атмосфера тонкого, доброго юмора, сближающего душевно родных людей, умеющих и так называемые недостатки друг друга воспринимать весело и артистично.

«Рассказы Марины и Эфрона даже о событиях, в которых я сама принимала участие, были так талантливо, что я смеясь, замечала: “Не знала, что это было так интересно”» — так вспоминает Екатерина Рейтлингер («В Чехии»). «Катя Р.» - это имя часто встречается в цветаевских письмах той поры. Она была близким другом их семьи и пылкой поклонницей цветаевской поэзии, много помогала Марине: сопровождала её, плохо ориентировавшуюся, по городу во время редких приездов из пригорода в Прагу, нянчилась с маленьким Муром.

При всём горестном глубинном осознании-переживании, проравшемся в цветаевской лирике, где, по её словам, «ничего не скрыть», — что «никаких земель не открыть вдвоём», на поверхности живой жизни внутренний диалог Марины и Сергея ещё долго полнокровно продолжается. Они вместе увлечённо принимают участие в делах Пражского Союза русских писателей.

Марина, ждущая сына, — она была уверена, что будет именно сын, — не могла часто ездить из пригорода в Прагу, и Сергей передавал соредакторам готовящегося тогда сборника произведений русских литераторов, живущих в Чехии, («Ковчег») её письма и отредактированные ею тексты.

Валентин Фёдорович Булгаков — литератор, мемуарист, последний секретарь Льва Толстого в Ясной Поляне, работал в Праге библиотекарем и в Союзе русских писателей, — оставил полные уважения и нежности воспоминания о том периоде их жизни. Никто из друзей и знакомых Марины Цветаевой и Сергея Эфрона — ни в Чехии, ни во Франции — не сказал так об их любви:

«Супруги любили друг друга, жили общими интересами, были неразрывны, — и таким образом Марина Ивановна невольно “вводила” своего мужа во всякое общество, в каком принимали её, а её принимали охотно и с почётом во всяком обществе. Наше знакомство началось с того, что М. И. Цветаева была избрана вместе со мною и проф. Завадским в состав редакционного комитета задуманного Союзом русских зарубежных писателей литературного сборника. Поэтому, приступив к своей работе в Союзе в качестве его председателя, я сталкивался столько же с её мужем, членом правления, как и с нею самой, так что и говорить о них обоих мне удобнее и сподручнее совместно. Должен сказать, что я очень с этой парой подружился. Молодость ли обоих Эфронов, или их литературное развитие, или вольный, смелый полёт их мысли, ещё не связанной по рукам и ногам принадлежностью к какому-нибудь ограничившемуся в самом себе, как в крепости, мировоззрению меня привлекали, — тогда я не задумывался об этом. Но мне с Эфроном и Цветаевой всегда было хорошо, весело, интересно и свободно. Гений Марины (как называл свою жену Сергей Яковлевич) блистал не только в стихах, но и в беседе и в личном общении с людьми. <...>. В совместной работе — общественной с Эфроном, и литературной — с Мариной Ивановной, мы понимали друг друга с полуслова. Может быть, понемногу преклонение моё перед Мариной Ивановной как выдающейся поэтессой и блестяще образован-

ной, острого, мужского ума женщиной (Сафо! Жорж Санд! София Ковалевская!) окрасилось и восполнилось изнутри, незаметно и незнаемо для меня самого, примесью чувства более нежного, более личного, более интимного — не могу отрицать. Но если и так, то не могло быть привязанности более духовной, более целомудренной, более любовно-бескорыстной, чем эта привязанность моя к необыкновенной женщине. Не знаю, чувствовала ли она её. Может быть, нет. Но не ошибусь, если скажу, что муж поэтессы внутренне ценил моё отношение к ней, тем более что среди русской пражской грубо-бесцеремонной и “праздно болтающей” толпы ему — если не прямо, то косвенно — приходилось то и дело встречаться с нелепыми, предубеждёнными, поверхностными или завистливо-недоброжелательными отзывами о его жене — писательнице. Они говорили между собой на “вы”: “вы — Серёжа”, “вы — Марина”. Кому это нравилось, кому — нет. Во мне этот своеобразный обычай вызывал почтение. “... День, в который я Вас не видал, день, который я провёл не вместе с Вами, я считаю потерянным”, — писал временно уехавший из дому Сергей Марине. Эту, и только эту фразу я совершенно случайно прочёл в одном письме Сергея Яковлевича к Марине Ивановне, подняв это письмо на полу кладовой чужой квартиры, откуда я должен был, по просьбе Эфронов, тогда уже переехавших в Париж, выслать им из Чехии чемодан с их вещами...» (Валентин Булгаков. «Как прожита жизнь»).

В. Булгаков писал и отдельно о Сергее: «В Правлении Союза С. Я. Эфрон был очень приятен и полезен. Скромный, тактичный, тонкий, хорошо разбирающийся в людях, он подавал, бывало, мнения, ничуть не менее рассудительные и достойные, чем мнения наших стариков. Во всех предприятиях Союза можно было считаться с его добросовестно и охотно предлагаемой помощью».

В цветаевских письмах чешских лет часто рассказывается о событиях в Союзе писателей, иногда о конфликтных ситуациях, о бурных собраниях, о порой резких принципиальных выступлениях Сергея Эфрона, всегда ею одобряемых. «Серёжа кругом прав!» —

писала она об одном конфликте с Марком Слонимом, подробно аргументируя своё убеждение.

Но больше всего сближала Марину и Сергея в те первые годы вне России сокровенная задача — поведать настоящую правду о роковых годах российской истории, о жизни в красной Москве, о событиях Гражданской войны.

Сергей Эфрон в это время работает над «Записками добровольца».

«Я уже писал тебе, что работаю над книгой. Это не литература. Часть ее (первая глава, а глав 15) скоро будет напечатана. А осенью, надеюсь, и вся она появится целиком. Ты многое из нее обо мне узнаешь. Книга о прошлом, о мертвых» (Е. Эфрон. 1924, 6 апреля).

«Работаю сейчас над рассказами о «белых» и «белом». Я один из немногих уцелевших с глазами и ушами. На эти темы пишут черт знает что. Сплошная дешевая тенденция. Сахарный героизм с одной стороны, зверства и тупость с другой. <...> Очень трудно здесь печатать из-за монополии маститых. Но кой-что удаётся» (Ей же. 1925, 3 ноября).

Он честно ищет и напряжённо отстаивает объективную, не искажённую «дешёвой тенденцией» правду, резко отталкиваясь от догматизма и упрощенчества обеих сторон (якобы по одну сторону — сплошной героизм, по другую — зверства). Эта позиция близка Марине Цветаевой — очень похоже писала она о причинах трудности публикации своей книги «Земные приметы»:

«Это книга живой жизни и правды политически (т. е. под углом лжи!) заведомо проваливается! В ней есть очаровательные коммунисты и безупречные белогвардейцы, первые увидят только последних, и последние — только первых» (Р. Гулю. 1923, 27 мая).

И судьба «Записок добровольца» очень волновала Марину Цветаеву — она воспринимала их тоже как «книгу живой жизни и правды», как свидетельство честного и талантливого человека, умеющего видеть и слышать. Много раз с горячей заинтересованностью она писала об этом разным людям.

«Серёжа <...> пишет большую книгу о всём, что видел за четыре года революции, — книга прекрасна, радуюсь ей едва ли не больше, чем собственным» (М. Цетлиной. 1923, 9 января).

«На днях Серёжа вышлет вам №“Своих путей” <...>. В следующей книге “На чуждой стороне” выйдет его “Октябрь”. Я очень рада — оправдательный документ добровольчества» (О. Колбасиной-Черновой. 1925, 12 апреля).

Марине Цветаевой очень нравилось название журнала — «Своими путями», и она с гордостью писала в нескольких письмах разным людям, что её доброволец ходит «своими», а не «чужими», банальными, исхоженными путями.

В письме к Роману Гулю от 27 июня 1923 года — деловая просьба: «В следующем № “Русской Книги” поместите, пожалуйста, если не поздно:

Подготовлена к печати книга:

СЕРГЕЙ ЭФРОН — “ПОБЕЖДЁННЫЕ” (С МОСКОВСКОГО
ОКТЯБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ — ПО ГАЛЛИПОЛИ.

ЗАПИСКИ ДОБРОВОЛЬЦА).

МАРИНА ЦВЕТАЕВА — “ЗЕМНЫЕ ПРИМЕТЫ” Т. 1

(МОСКВА, МАРТ 1917 г. — ОКТЯБРЬ 1919 г.

ЗАПИСИ.)

— “МОЛОДЕЦ” ПРАГА, 1923 г. ПОЭМА-
СКАЗКА.)

— “ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН” (МОСКВА,

МАРТ 1917 г. — ДЕКАБРЬ 1920 г.

БЕЛЫЕ СТИХИ)».

Марина хотела бы издать две книги под одной обложкой или в двух томах. Если бы это осуществилось, получилась бы единая книга «живой жизни и правды».

Это письмо, как и письма Сергея Эфрона сестре на эту тему, вызывает у исследователей множество вопросов, на которые до сих пор не получены ясные ответы. Были ли эти книги сданы в печать? Если да, почему не были опубликованы, кто отказал?

Роман Гуль в своих воспоминаниях совсем не касается этой темы. Если «Записки добровольца» так и не были отосланы — что побудило Сергея Эфрона изменить твёрдое, судя по этому письму, решение? И существовала ли в готовом виде рукопись этой, по словам Марины, большой книги? Сергей Эфрон пишет сестре весной 1924 года, что в ней 15 глав и что он надеется увидеть её полностью опубликованной к осени, а в письме Марины Цветаевой — ещё в июне 1923 года — говорится о полной готовности книги.

Опубликовано, однако, было не очень многое. Впрочем, если перечислить всё, обнаружится, что написано Сергеем Эфроном за сравнительно короткий период немало: очерк «Октябрь. 1917 г.» — в 1925 году в Праге в историко-литературном сборнике «На чужой стороне»; рассказы: «Тиф» — в 1926 году в Праге в сборнике «Ковчег»; «Тыл» — в 1926 году в журнале русской литературной культуры «Благонамеренный»; «Видовая» — в 1926 году в Праге в журнале «Своими путями»; очерки «О добровольчестве» — в 1924 году в Париже в журнале «Современные записки», известном в широких эмигрантских русскоязычных кругах во многих странах; «Церковные люди и современность» — в 1925 году в журнале «Своими путями»; там же — «О путях к России» и «Эмиграция» в 1925 году.

Но обещанные в письме сестре Лиле 15 глав нигде не обнаружены, хотя написано было явно больше, чем появилось тогда в печати. Об этом свидетельствует и письмо Сергея друзьям — Всеволоду Богенгардту и его жене, где он рассказывает:

«Есть там кой-что и о Всеволоде. Описываю нашу встречу под Екатеринодаром, когда он весёлый и худой сидел на подводе с простреленным животом» (1924, апрель).

Однако и этот отрывок не найден.

Остаётся только предполагать.

Возможно, рукопись была конфискована французской полицией в 1937 году, когда Сергей Эфрон был вынужден тайно бежать из Франции (об этих событиях речь пойдёт далее). Тогда в доме Эфронов, а также в Союзе Возвращения на Родину, где он активно ра-

ботал, были произведены обыски. Если рукопись осталась в архиве полиции, она могла пропасть во время Второй мировой войны. Если рукопись осталась в обширнейшем архиве Марины Цветаевой, она сама могла перед отъездом в Россию в 1939 году передать ее на хранение кому-то из друзей вместе с той частью собственного архива, которую она оставляла за границей.

Её заграничный архив, как известно, был разделён на несколько частей и роздан разным людям, в разные места. В результате многое сохранилось, но часть архива погибла во время бомбёжек. 15 глав большой книги Сергея Эфрона могли оказаться именно в той части архива, где была и пропавшая «Поэма о царской семье» Марины Цветаевой. Возможно, Марина могла из предосторожности разделить рукопись Сергея на несколько частей и раздать их в разные места.

Последнее предположение косвенно подтверждается тем фактом, что рукопись главы «Декабрь. 1917 г.», которая при жизни Сергея Эфрона никогда не публиковалась, обнаружена в составе архива Марины Цветаевой, сохранившегося в библиотеке Базельского университета в Швейцарии. Эту главу впервые опубликовали только в 1992 году в журнале «Звезда», посвящённом 100-летию со дня рождения М. И. Цветаевой. Она была переписана самой Мариной на больших тетрадных листах, и рядом с заглавием — её почерком: «А переписывала — я». Так самоотверженно и терпеливо она переписывала многое дорогое ей в жизни: мемуары Сергея Михайловича Волконского — набело, для отправления в печать, письма Пастернака и Рильке — в свою тетрадь, а свои разнообразные записи — в сводную тетрадь. Это свидетельство того, как дорого ей было, даже после тяжёлого отчуждения, даже после того, как сам Сергей охладел к этой книге, их общее прошлое.

В какой-то момент мне даже подумалось: а не мог ли сам Сергей Эфрон, когда стал по-другому мыслить и чувствовать, уничтожить рукопись, которая могла скомпрометировать его перед людьми, от которых теперь зависело, разрешить ему возвращение в СССР или отказать. Но я быстро отбросила это предположение. Не уничтожил

же он свои дневниковые тетради времён Гражданской войны, а в них были не менее, если не более компрометирующие вещи, чем в сохранившихся и ставших известными уже тогда «Записках добровольца». События на Перекопе, описанные глазами человека с той стороны! Да и вообще в их доме не принято было уничтожать рукописи...

Ни одно из этих предположений документально не подтверждено, но и не опровергнуто. Может быть, нас ещё ждут неожиданные находки, как не раз уже случилось с письмами Марины Цветаевой и воспоминаниями о ней.

Статьи Сергея Эфрона написаны совсем по-иному, чем очерки «Октябрь. 1917 г.», «Декабрь. 1917 г.». Там была быстрота, динамика, эмоциональная захваченность происходящим, требующая мгновенного включения, — всё это вовлекает читателя в бурный ход событий и читается на одном дыхании.

Здесь — эмоциональное последствие прошедшего, когда участник бурных событий ощущает, что он «на берег выброшен грозой» и имеет возможность «остановиться, оглянуться — и подумать». Эти статьи требуют совсем иного, медленного, с остановками чтения. И — ответного, часто горького, соразмышления человека XXI века, которому уже открыто многое из того, над чем билась мысль человека, жившего в 1920—1930-е годы. Аналитизм эфроновских статей, разумеется, меньше всего кабинетно-академический — слишком жива и горяча в них память о пережитом:

«Я был добровольцем с первого дня, и если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 17 года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем. Позвольте же мне — добровольцу, на вопрос “где правда?”, дать попытку ответа.

Как зародилось добровольчество?

Незабываемая осень 17-го года. Думаю, вряд ли в истории России был год страшнее. Не по физическим испытаниям (тогда ещё только начинались), а по непередаваемому чувству распада, расползания, гниения, которое охватило нас всех <...>. В ушах — грохот,

визг, вопли, перед глазами — ураган, обернувшийся каруселью, а в сердце — смертное томление: не умираю, а умирает.

Это и было началом. Десятки, потом сотни, впоследствии тысячи с переполнившим душу “не могу”, решили взять в руки меч. Это “не могу” и было истоком, основой нарождающегося добровольчества).

И далее с предельной жёсткостью и чёткостью поставлен вопрос:

«Кто же они или, вернее, кем были — героями-подвижниками или разбойниками-душегубами? Одни называют их “Георгиями”, другие — “Жоржиками”...»

Когда речь идёт не о чём-то книжно-отвлечённом, а о кровно и болево собственной жизни касающихся вещах, для такой постановки вопроса требуется определённое мужество. «Цепь подвигов и подвижничеств и... “белогвардейщина” <...> погромы, расстрелы, сожжённые деревни, грабежи, мародёрство».

Первая попытка его ответа — романтическая:

«Мой ответ — “Георгий” продвинул Добровольческую Армию до Орла, “Жоржик” <...> разложил и оттянул её до Крыма и дальше; “Георгий” похоронен в русских степях и полях, “положив душу свою за други своя”; “Жоржик” жив, здравствует, политиканствует, проповедует злобу и мщение <...>, стреляет в Милюкова, убивает Набокова <...>. Первый — лик добровольчества, второй — образина его».

Но Сергей Эфрон не может не понимать, что такой ответ всё же упрощает ту противоречивую реальность, ради постижения которой и написана статья «О добровольчестве». И потому, как ни дорога эта мысль бывшему добровольцу именно возвышенно романтической стороной своей, автор не позволяет себе остановиться на ней. С воистину «достоевским» бесстрашием он говорит далее, что из такого разделения воинов Добровольческой армии на «Георгиев» и «Жоржиков» вовсе «не следует, что каждый данный доброволец является либо тем, либо другим. Два начала перемешались,

переплелись. Часто бывает невозможно установить, где кончается один и начинается другой».

На этих страницах эфроновской прозы снова узнаваем тот юноша, что написал в своей автобиографии: «Из прозаиков больше всего волновали меня Достоевский и Толстой, связанные друг с другом самыми драгоценными свойствами — глубиной и полной искренностью».

И ещё одно: в этих статьях (как во всём им написанном) больше всего волнуют меня те страницы, где ещё ощущается — почти в последний раз — их переключка с Мариной.

Эпиграфом к статье «О добровольчестве» Сергей Эфрон взял авторский эпиграф Марины Цветаевой к стихотворению «Посмертный марш»: «Добровольчество — добрая воля к смерти», обозначив их: «слова поэта» (без имени).

В другой статье — «Эмиграция» — эта мысль звучит более развёрнуто:

«Добровольчество в основе своей было насыщено не политической, а этической идеей. Этическое “не могу принять” решительно преобладало в нём над политическим “хочу”, “желаю”, “требую”. В этом “не могу принять” была заключена вся моральная сила и значимость добровольчества. И когда военная борьба кончилась поражением, добровольцы принесли с собой на чужбину всё то же “не могу принять”, являющееся главнейшим обоснованием и оправданием эмиграции».

С поразительной, почти дословной близостью сказано о том же в записных книжках Марины Цветаевой, где она очень подробно размышляет на эту тему:

«Не могу священнее не хочу...»; «Моё “не могу” — это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям (над собой насилиям!) всё-таки не хочет, вопреки моей хотящей воле, направленной против меня, не хочет за всю меня, значит, есть (помимо моей воли!) — “во мне”, “моё”, “меня”, — есть “я”»; «Не хочу служить в Красной

Армии. Не могу служить в Красной Армии. Первое предпосылает: “Мог бы, да не хочу!” Второе: “Хотел бы, да не могу”. Что важнее: не мочь совершать убийства, или не хотеть совершать убийства? В не мочь — вся наша природа, в не хотеть — наша сознательная воля. Если ценить из всей сущности волю — сильнее, конечно: не хочу. Если ценить всю сущность — конечно: не могу»; «Корни не могу глубже, чем можно учесть. Не могу растёт оттуда, откуда и наши могу: все дарования, все откровения, все наши Leistungen (деяния): руки, двигающие горы; глаза, зажигающие звёзды. Из глубин крови или из глубин духа».

Марина Цветаева знала, что именно такое «не могу» лежит в основе действий её героя, сражавшегося на Дону в то самое время, когда писались эти строки.

«Я говорю об исконном не могу, — продолжает она, — о смертном не могу, о том не могу, ради которого даёшь себя на части рвать, о кротком не могу». «Утверждаю: не могу, а не «не хочу» создаёт героев!»

Это писалось в 1919 году. В 1937-м когда Сергея Эфрона обвинили в кровавом преступлении, Марина Цветаева убеждённо и страстно говорила и писала друзьям: «Не верьте! Он не мог!»

Если пристально сопоставить эти высказывания, становится несомненно ясным, что, говоря в 1937 году: «Он не мог!», она говорила именно «о смертном не могу, о том не могу, ради которого даёшь себя на части рвать...».

В статье С. Эфрона истоком добровольчества названы те же самые императивы: «Не могу выносить зла, не могу видеть предательства, не могу соучаствовать, — лучше смерть».

Поистине — как будто они вместе писали одну книгу!

Сергей Эфрон пытается найти корни трагических ошибок, которые привели идеалистов, пошедших в Белую армию из высоких нравственных побуждений, к невольному (или к не ожидаемому ими) участию в действиях, далёких от идеалов гуманизма:

«... а мы назад не оглядывались. До этого ли? Вчера бой, сегодня бой, завтра бой <...> скорей вперёд, — туда, к Москве, там

всё решится, там всё устроится к общей радости, к общему благу, к общему счастью.

А сзади — борьба с крестьянами, карательные отряды, порка, виселица, отбирание награбленного. В ответ — стихийная, растущая с каждым часом ненависть к нам:

— Помещики! — Баре! — Офицерё! — Золотопогонники!

От того, что ползло сзади, мы отмахивались.

— *Не важно! — Временные меры! <...> — Всегда так бывает!*

— *В белых перчатках не воюют!*

— Вот в Москве, там... Скорей в Москву! (курс. мой. — Л. К.).

<...> Оторванные от народа, мы принимали его равнодушие, его недоброжелательство и наконец, его злобу, как тёмное непонимание нашей белой цели. Мы за них, а они на нас <...>. *Кто не с нами, тот против нас, — кто против нас, тот против Родины, а потому...* (курс. мой. — Л. К.) Идея отрывалась от земли всё выше. Земля наваливалась на нас всей своею тяжестью».

После таких слов приходится особенно поражаться всему случившемуся с Сергеем Эфроном потом. Пройдут годы, и он окажется по другую сторону баррикад, поверив, что в Советской России строится небывалое ещё в мире великое государство и справедливое общество, что народ полон энтузиазма и счастлив. Сергей Эфрон, как и многие его единомышленники, будет вновь отмахиваться от тревожных известий о преступлениях сталинского режима против своего народа, и в ход пойдут, больше не смущая его, те самые формулировки, бесчеловечность и лживость которых он так глубоко понял, осмысляя грустный опыт добровольчества:

«Временные меры! Всегда так бывает! В белых перчатках не воюют!» И самая страшная: «Кто не с нами, тот против нас, кто против нас, тот против Родины, а потому...»

Но до этого ещё далеко. Пока же он призывает в своей статье бывших боевых товарищей «почувствовать собственную вину, собственные ошибки, собственные преступления...», настойчи-

во убеждает, что они обязаны это сделать, если не хотят «порвать окончательно связи с Россией» и «сделаться духовными изгоями»:

«А народ? Возненавидев большевиков, он не принял и нас, хотя и жаждал власти, порядка и мира. Он пошёл своей дорогой — не большевицкой и не белой».

Так — в поисках «третьего пути», которым, как показалось издалека Сергею Эфрону и его единомышленникам, пошёл народ в России, началось его евразийство. Это теория об особом пути России, обусловленном даже её географическим положением. (От евразийства он вскоре перейдёт к однозначно просоветским симпатиям).

«И сейчас в России со страшным трудом и жертвами он (народ — Л.К.) пробивает себе путь, путь жизни от сжавших его кольцом большевиков. Мы, научившиеся умирать и разучившиеся жить, должны, освободившись от язв и не устыдившись их, — ибо не ошибается только тот, кто сидит сложа руки (а сколько таких!), — мы должны ожить и напитаться духом живым, обратившись к Родине, к России, к тому началу, что давало нам силу на смерть. Наш стяг остался прежним. *“Всё для Родины”* должно пребыть, но с добавлением, которое уже не даёт старых ошибок (курс. мой. — Л. К.): *“С народом, за Родину! — ибо одно от другого неотделимо”*». (1924).

Увы, от ошибок, старых и новых, как трагически подтвердилось впоследствии, не гарантирует и этот лозунг. Всегда, а особенно при вслушивании в происходящее на родине издалека, остаётся опасность «ошибки слуха». Но напряжённый и честный поиск своей правды, своего пути явлен и в этой, и в следующих статьях Сергея Эфрона, сочувственно читаемых Мариной, — в них она ещё видела много близкого себе. Например, слова в статье «О путях к России»: «Не путь, а пути, ибо не партия, а человеки (“люди” не есть множественное от “человек”. Разница людского и человеческого)».

Не в беседах ли с Мариной родилось это уточнение в скобках? Так похоже это на её очень узнаваемые, в спорах рождающиеся афоризмы...

«Больше: партийное, предвзятое сейчас нетерпимо. Оно было источником тысячи русских бед, а может быть, и основной русской беды.

Есть два рода общности: общность, рождаемая человеческим (общее прошлое, вера, опыт, профессия и пр.), и общность как подчинение догме. Общность изнутри и общность извне.

Общность лиц и общность безличий. Вторая нам хорошо известна по недавнему прошлому».

Духовная аура, в которой рождался этот круг мыслей, безусловно, родная и для Марины Цветаевой. Правда, Сергей Эфрон всё же делает оговорку:

«Это не означает, что будущее (России — Л.К.) обойдётся без партий — партии будут, но возникнут они путём объединения лиц, одним кровно затронутых и в одном кровно нуждающихся. <...>. Партии будут организмами, а не казармами догм».

На этом этапе Эфрон мыслит ещё как демократ западного типа — ему и в голову не может прийти, что в России останется одна правящая партия, не допускающая никаких отклонений от застывших, абсолютно оторванных от живой жизни догм.

Родственность Сергея и Марины здесь явно ощутима — и по сути высказанных мыслей, и даже по форме выражения их.

«Одно только его не захватило: партийность, вещь заведомо не человеческая, не животная и не божественная, уничтожающая в человеке и человека, и животное, и божество». Так писала Марина Цветаева в эссе «Живое о живом» о Максимилиане Волошине, где воспела его мудрую широту: в революцию он спасал, укрывал, иногда одновременно, в разных комнатах своего коктебельского дома, красных от белых и белых от красных, «то есть человека от своры, одного от всех, побеждённого от победителей... Этого человека чудесно хватило на всё».

Сергей Эфрон в большей степени был человеком энтузиазма и веры, чем аналитиком, в отличие от Марины Цветаевой. Дар поэта и резкий аналитический ум в равной мере были даны ей от природы.

«Стоит мне только начать рассказывать человеку то, что я чувствую, как — мгновенно — реплика: “Но ведь это же рассужде-

ние!"<...> Чёткость моих чувств заставляет людей принимать их за рассуждения», — заметила она.

Но и в статьях Сергея Эфрона несомненна его настоятельная потребность додумать, докопаться до истины, уточнить мысль, прежде всего для себя самого, и порой он доводит её — именно в стремлении к точности — до чеканного афоризма. Эта чеканность, как и страстный протест против иссушающей души идеологичности партийных группировок, очень близка цветаевской прозе.

Он и не скрывает этой близости. Строки стихов Марины Цветаевой очень естественно вплетаются в ход его горячих размышлений и выстраданных итогов:

«Вспомним лозунги революции и людей, объединяемых ими:

Нет у лиц у них и нет имён,
Песен нету...»

Эти строки — из стихотворного цикла Марины Цветаевой «Лебединый Стан».

«Путь к России лишь от себя к ней, а не наоборот. Я всматриваюсь и приемлю, но без отказа от себя, от своего критерия».

«Без отказа от себя...» — как это важно в любых обстоятельствах! Если бы Сергей Эфрон оставался и дальше верен этой установке... Но фанатичная вера в догмы, какими бы они ни были, исключает верность себе. Почему-то вспомнилось горькое размышление на эту тему поэта, подводящего грустные итоги в 60-х годах XX века:

...Но внезапно я спор обрываю, я сдался — я понял,
Что борьбе отдала ты и то, что нельзя ей отдать.

Всё — возможность любви, мысль и чувство, и самую совесть,
Всю себя — без остатка, а можно ли жить без себя?
И на этом кончается длинная, грустная повесть,
Я её написал, ненавидя, страдая, любя...

(Наум Коржавин. Из поэмы «Танька»).

«Письма и газеты из России говорят о стихийном тяготении к американизму, наблюдаемом там, — продолжает Сергей Эфрон статью «О путях к России». — Ежели это так, то я, принимая этот процесс, не приму однобокой американской идеологии русской молодёжи».

Видимо, он имеет в виду увлечение русской советской молодёжи техникой и спортом и упрощение духовной жизни — «сбрасывание с корабля современности» всей культуры прошлого. Он не может примириться с этим:

«Я буду всячески стараться привить русскому американизму близкое мне духовное содержание. Не Достоевского заменить русским янки, а американизм напитать Достоевским. Не лик сузить до лица, а лицо приобщить лику».

Как верит он в возможность повлиять на происходящее в России! Таких иллюзий у Марины Цветаевой никогда не было.

Но обратим внимание на чеканную афористичность этих строк, очень близкую цветаевской прозе.

Мог ли думать Сергей Эфрон, когда писал это в 1920-е годы, что сравнительно скоро в Советской России наступит время, когда «тяготение к американизму» и любовь к Достоевскому, воспринимаемые им как противоположные полюса духовной жизни, будут официально оцениваться как одинаково враждебные «единственной в мире правильной идеологии» и служить равным основанием для политических репрессий?

«... Каков же наш путь? Он труден, сложен и ответственен. С волевым упорством, без ложных предвзятостей всматриваемся мы в далёкие, родные туманы с тем, чтобы увидеть, познать и почувствовать, а следовательно, и принять послереволюционное лицо России, лицо, а не личину, органическое начало, а не преходящую идеологию, и только всмотревшись и увидав, дадим мы действенный и творческий ответ, наш ответ, собственный, личный, нашим я нашим опытом, нашим *credo* данный». (1925).

«Ложными предвзятостями» Сергей Эфрон, видимо, считал непримиримость правого крыла эмиграции ко всему советскому, заведомое неприятие всего в Советской России происходящего, но сам он здесь тоже начинает мыслить, пусть с противоположной позиции, именно предвзято. Для трезвой ориентации в происходящем на далёкой родине действительно необходимо «увидеть, познать и почувствовать» послереволюционное лицо России. Но разве из этого логически вытекает, как он пишет — «следовательно, и принять»?

Как хотелось Сергею Эфрону не совершить снова трагической ошибки в выборе пути служения России! Без этого служения он, как и в годы добровольчества, не может представить своей жизни. И всё же ему не удалось избежать того ослепления, какому, как известно, подверглись тогда и многие яркие люди Запада (Ромен Роллан, Бернард Шоу, Луи Арагон, Лион Фейхтвангер и др.), не удалось, как ни стремился он всмотреться в происходящее пристально и не предубеждённо.

Во время работы над книгой Сергей Эфрон ещё считает большевизм безусловным злом и ставит интересный вопрос: почему большевизм не привился на Западе, хотя «пороха для взрыва в странах побеждённых было не меньше, если не больше, чем в России (страшная война, поражение, голод, миллионы рабочих-социалистов, русская коммунистическая зараза)». Размышляя о причинах этого явления, он приходит к выводу, в котором ещё слышна высокая оценка западной демократии (позднее он и об этом будет думать по-иному, как требовали рамки советской догмы):

«Думаю, что устояли именно потому, что чувствовали государство как своё государство, законы как свои законы, правовой порядок как свой правовой порядок. <...>. У нас же всё то, что было на Западе личным, всё, говоря о чём употребляли первое лицо местоимения — “моё”, “наше”, “у нас”, — всё это ощущалось как постороннее, не своё...» («Церковные люди и современность»). Как злободневно звучат сейчас эти слова...

Самая личная, даже, можно сказать, лирически-исповедальная статья Сергея Эфрона — «Эмиграция». Её тональность чем-то напоминает тональность его доверительных писем или юношеской прозы:

«Есть в эмиграции особая душевная астма. Производим дыхательные движения, а воздуха нет. Которая весна, лето, осень и зима протекли, а вот не заполнили ни одного времени года — зима, как весна, лето, как осень. Всё подменилось чёрными и красными цифрами календаря. День превратился в бесцветную временную единицу, отсекаемую неумолимым маятником. Жёлтый свет электрической лампы сменяет белые лучи солнца. И ничего больше. Мир обесцветился и обезголосился. Словно вошли мы чудесным образом в кинематографический фильм без красок, без солнца, без воздуха, с белёсым светом, с серыми лицами и с математическим, а не космическим пространством. (Эта талантливо написанная картина неожиданно тревожно напоминает — по контрасту — монолог героя рассказа «Тиф», утверждавшего, что мир расцветивается яркими красками в период бурных исторических катаклизмов — войн и революций — Л. К.) Неутомимый тапёр годами наколачивает по клавишам победоносный марш. Фильм мелькает, а... дышать нечем. И чем дальше, тем душнее, тем безвоздушнее. <...> каждый переезд на новое место, каждая перемена службы связана с наплывом новых людей, новых отношений, новых связей и с почти хирургическим изъятием вашего человеческого вчера».

Как близок этой грустной мысли остро запомнившийся Анастасии Цветаевой горький вздох Марины при прощании: «Отъезд, как ни кинь, смерть...» !

Это и потом, пусть другими словами выраженное, не раз звучало в цветаевских письмах...

«Вместо свободного подбора к душевному и духовному сожительству человеческие отношения построены на случайной механической сцеплённости», — продолжает Сергей Эфрон.

От такого формального, не утоляющего душу общения остро страдала и Марина Цветаева:

«Париж мне душевно ничего не дал. Знаете, как здесь общаются? Гостиные, много народу, частные разговоры с соседом — всегда случайным, иногда увлекательная беседа и — прощай навсегда. Так у меня было много раз, потом перестала ходить (пишу о французах). Чувство, что всякий всё знает и понимает, но занят целиком собой, в литературном кругу (о котором пишу) — своей очередной книгой. Чувство, что для тебя места нет <...> самая увлекательная, самая как будто — душевная беседа француза ни к чему не обязывает. Безответственно и беспоследственно. Так, как говорит со мной, говорит с любимым, я только подставное лицо, до которого ему никакого дела нет. Французу дело до себя. Это у них называется искусством общения.

Эх дружба, любовь двухдневная —
И забвеньё на тысячу дней!
Короткая память душевная
У здешних людей...

Так писала в 1912 году одна молодая поэтесса о Петербурге, точь-в-точь это же говорю в 1932 г. о Париже — я» (А. Тесковой. 1932, 1 января).

Поразительно, до какой степени «точь-в-точь это» писал в своей статье на несколько лет раньше Сергей Эфрон:

«Эта безвоздушность переносится и на человеческие отношения. Никогда раньше встречи с людьми не были столь многочисленны: в России десятки — здесь сотни знакомых. Но следы от тех бывших встреч насколько осязательнее, насколько длиннее, насколько значительнее здешних зарубежных. Как в поезде, перезнакомившись со всеми попутчиками, забываешь их, пересев на узловой станции в другой, так и здесь...»

И тогда же — в письме сестре:

«Вижу я бездну людей. Но те — российские встречи — гораздо крепче и значительнее здешних. Потому-то и не хотелось бы мне, чтобы меня в Москве совсем забыли» (1925, 3 декабря).

Они писали по сути об одном... Такая близость их глубинных восприятий была далеко не очевидной для поверхностно знающих их

людей (как, впрочем, и для многих пишущих о них сейчас). Остроумный, доброжелательный, приветливый человек, к тому же активный участник разных начинаний, Сергей Эфрон, в отличие от Марины Цветаевой, всегда страдавшей от шумного многолюдства, дорожившей уединением, необходимым ей для самого главного в её жизни, часто находился в окружении множества людей: в студенческом журнале, в театральном кружке, в Союзе писателей в Праге, в кругу евразийцев в Париже, позднее — в Союзе Возвращения на Родину.

Казалось, он чувствовал себя в этой обстановке вполне комфортно, но на самом деле в атмосфере поверхностного общения он тоже остро ощущал глубокое внутреннее одиночество и тосковал по людям, следы от встреч с которыми в его душе несравненно «осязательнее, длиннее, значительнее».

В своих статьях Сергей Эфрон пытался осмыслить причины неприкаянности русских эмигрантов:

«Но в чём же дело? Куда исчез весь воздух? Или причиной всему тоска по Родине? Она — душит нас, закрывает глаза и уши, иссушает сердца? <...> Жизнь побеждена десятками идеологий. Свежий воздух и солнечный свет пропускается через ряд политико-идеологических фильтров и спектров. Всё кровавое и кровное, пережитое и переживаемое каждым из нас, перерабатывается в бескровную и некровную ходячую политическую формулу...».

Последняя фраза о кровно пережитом и о «перерабатывании» живого в неживую политическую формулу тоже очень близка Марине Цветаевой.

Можно представить, что они много говорили обо всём этом в те годы, когда Сергей работал над «Записками добровольца» — говорили, хорошо понимая друг друга!

И можно с ужасом представить, как тяжело и страшно было Марине Цветаевой, когда через несколько лет Сергей Эфрон, всегда такой живой, эмоциональный, с тонким чувством юмора, всегда чутко распознававший фальшь, вдруг заговорил (и начал мыслить!) именно «ходячими политическими формулами».

Многое в случившемся с Сергеем Эфроном позднее, когда Марина Цветаева с горечью писала, что он видит в советской России «только то, что хочет видеть», объясняют его страшные слова о том, что тоска по родине душит эмигрантов и закрывает их глаза и уши... И всё же понять это превращение очень трудно.

Статью «Эмиграция» Сергей Эфрон закончил глубоко выстраданным заявлением о своем личном выборе: «Как рядовому бойцу бывшей Добровольческой Армии, боровшейся против большевиков, возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, м. б., даже преступлений. И в тех, и в других готов признаться. Но то, за что умирали добровольцы, лежит гораздо глубже, чем политика. И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины. И не страх перед Чекой меня (да и большинство моих соратников) останавливает, а капитуляция перед чекистами — отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непереходимое: могила Добровольческой Армии».

Как достойно звучит этот итог! Если бы он стал для Сергея Эфрона окончательным...

Читая такие искренние и выстраданные слова, невозможно представить себе, что человек, их написавший, через несколько лет резко изменит свою позицию и, как горько скажет Марина, «с головой уйдёт в Советскую Россию», будет страстно рваться туда, начнёт прилагать усилия, чтобы вернуться.

Такой вот грозный крен возник в сюжете «романа о времени и о семье». Как могло случиться такое, во что, зная всё предыдущее, почти невозможно поверить? Но здесь необходимо вернуться на несколько лет назад.

Я до сих пор не упоминала об этой истории, сознательно отступив от хронологического принципа, — по моему глубокому убеждению, именно здесь, в этой связи требуется пристальное погружение в те события.

Хотя диалог Марины Цветаевой и Сергея Эфрона ещё долго продолжался, и сокровенная близость в восприятии многих вещей

объединяла их, и общий мир ещё был (он рухнул только в начале 1930-х годов), всё же слишком многое необратимо изменилось в их жизни после 1922—1923 годов.

Никогда больше не повторились лирические вечера с чтением Диккенса за освещённым керосиновой лампой столом, с такой теплотой вспоминаемые Ариадной Эфрон годы спустя. Неумолимо близился конец уединённой жизни, о нескончаемости которой ещё так недавно Марина молила Бога:

«Я сейчас на внутреннем (да и на внешнем!) распутье, год жизни — в лесу, со стихами, с деревьями, без людей — кончен. Я накануне большого нового города (может быть — большого нового горя?!) и большой новой в нём жизни, накануне новой себя. Мне мерещится большая вещь, влекусь к ней уже давно...»(А. Бахраху. 1923, 28 августа).

В это время семья переехала в Прагу. Алю отправили учиться в гимназию-интернат в Моравскую Тшебову. А Марина пишет: может быть, накануне «большого нового горя»... Какое странное предчувствие! И оно, как это чаще всего бывало с предчувствиями Марины, не обмануло её.

«Как это случилось? О друг, как это случается?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет, и которые я может быть, в первый раз за жизнь слышу <...>. Что из этого выйдет — не знаю. Знаю: большая боль. Иду на страдание». (А. Бахраху. 1923, 20 сентября).

В жизнь Марины вошёл новый человек. И это оказалось грозно не похожим на все её прошлые увлечения, мощно питающие её лирику, но в земной реальности не сопоставимые с неизбежно главным — семьей. Она часто перепосвящала стихи, но об имени Сергея Эфрона писала:

...Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! *внутри* кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.

18 мая 1920

«... Потому что это — любовь, а то — романтизм», — давно объяснила она маленькой Але, отвечая на вопрос, почему она гораздо больше ждёт письма от Евгения Ланна, чем его самого, а «их Серёжу», конечно же, гораздо больше хочет увидеть, чем получить от него письмо.

Об этом же — в письме Максу Волошину в годы долгой разлуки с Сергеем: «О Серёже думаю всечасно, любила многих, никого не любила» (М. Волошину. 1921, март).

Это тонко почувствовал в ней, даже в жару их пылкого эпистолярного романа, Борис Пастернак — он писал, что не верит в значительность «никаких Ланнов», даже если сама она начнёт уверять в обратном, и что для него в жизни Марины всерьёз существует только Сергей Эфрон:

«... я Ланнам не придал никакого значенья наперекор твоей документации, наперекор, быть может, и нынешнему твоему возраженью, что у Ланнов есть вес в твоём сердце. <...> для меня существует только С. Я. и моя жизнь» (1926, 20 апреля).

И она ответила: «В одном ты прав — С. Я. единственное, что числится» (1926, 28 апреля).

Правда, о герое поэм Горы и Конца Борис Леонидович, уже прочитавший «Поэму Конца» и глубоко потрясённый ею, тактично умалчивает. Видимо, он понял, что в 1923 году, в первый и единственный раз в её жизни, всё было по-другому.

Глубоко понял это и Марк Слоним:

«Это единственный настоящий и трудный, не интеллектуальный её роман».

А Марина Цветаева писала 22 сентября 1923 года:

«... Я в первый раз люблю счастливого, и может быть, в первый раз ищу счастья <...>. Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. <...>. Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли <...> Милый друг, Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и всё-таки ни часу не умела жить <...> Люблю Ваши глаза... люблю Ваши руки, тонкие и чуть холодные в руке. Внезапность Вашего волнения, непредугаданность

Вашей усмешки <...>. Я сказала Вам: есть — Душа, Вы сказали мне: есть — Жизнь. <...> Жизнь я могу полюбить только через Вас <...> Вы — моё спасение и от смерти и от жизни, Вы — Жизнь. Господи, прости меня за это счастье!»

Это — из письма герою её «живого романа» Константину Родзевичу. Он был тогда студентом юридического факультета Карлова университета в Праге, другом Сергея Эфрона. Они познакомились и подружились ещё до приезда в Чехию Марины с маленькой Алей. Годы спустя, вспоминая это время, она писала из Франции своей многолетней чешской корреспондентке Анне Тесковой, что была в «своей» Праге 1923 года «несчастно-счастливой».

В письме А. Бахраху Марина писала о том, что «... услышала большие слова», какие, может быть, в первый раз за жизнь слышит.

Как странно звучит это для слуха тех, кто знает многие обращённые к ней за жизнь «большие слова» Сергея Эфрона! Не могла же она их забыть...

Но всё дело, думается, в том, что Сергей — её «одноколыбельник», которому не надо было говорить: «есть Душа», потому что это они оба знали — не был сильным и не был счастливым. Как и она, он терялся и не умел жить в трудной земной жизни. Она не раз говорила в письмах друзьям и до, и после кризиса 1923 года о том, насколько Сергей «не домашний человек», насколько он без неё ничего не может, и что она не имеет права оставить его:

«Думаю о Париже, и вопрос: вправе ли? Ведь я ехала за границу к Серёже. Он без меня зачахнет, — просто от неумения жить» (О. Колбасиной-Черновой. 1925, 26 января).

Речь шла о переезде семьи из Чехии в Париж, и Марина сомневалась, вправе ли она выехать туда раньше Сергея, занятого выпускным докторским сочинением.

В его отношении к Марине всегда оставалось что-то детское, это шло от возникшей с самого начала горячей, восхищённой, в чём-то робкой привязанности к ней одинокого, рано осиротевшего мальчика, а в её отношении к нему — от «круговой поруки сирот-

ства». И Марина Цветаева всегда очень высоко ценила именно такое чувство.

«Боже мой! До чего Аля в своей любви ко мне похожа на Серёжу! — Потрясающе! — “Мариночка, когда Вас долго нет, я всё боюсь, что Вас автомобиль задавит”, и это: — “Мариночка, погладьте меня по голове!” <...> О — это живой Серёжа, его слова!» (Записная книжка. 1919).

Эта тема — робкого восхищения — по касательной затронута и в одном из важных цветаевских писем:

«Я много об этом думала <...> всю жизнь. Верность, как самоборение, мне не нужна (я — как трамплин, унизительно). Верность, как постоянство страсти, мне непонятна, чужда <...>. Одна за всю жизнь мне подошла. (Может быть, её и не было, не знаю, я не наблюдательна, тогда подошла неверность, форма её.) Верность от восхищения. Восхищенье заливало в человеке всё остальное, он с трудом любил даже меня, до того я его от любви отводила. Не восхищённость, а восхищенность. Это мне подошло» (Б. Пастернаку. 1926, 10 июля). Эти слова многое объясняют...

Но в ту осень 1923 года жизнь Марины Цветаевой вышла из берегов. Константин Родзевич — человек совсем иного типа, сильный, уверенный в себе, мужественный. К моменту встречи с Мариной Цветаевой он уже многое пережил: в Гражданскую войну воевал сначала на стороне красных, был командиром Нижнеднепровской флотилии, одно время даже был комендантом Одесского порта; затем попал в плен к белым; был приговорен к смертной казни и в последний момент — помилован генералом Я. А. Слащовым (прототип генерала Хлудова в пьесе Булгакова «Бег»). Причина помилования — память об отце Родзевича, военном медике.

«Когда весть о его помиловании доходит до красных, те, в свою очередь, приговаривают Родзевича к смерти. Но вместе с остатками врангелевской армии он переправляется из Крыма в Галлиполи. Там знакомится с Эфроном, оттуда уезжает вместе со многими бывшими белогвардейцами в Прагу. Как и Эфрон, он учится теперь

в университете, только на другом факультете — юридическом». (Это сведения из книги Иры Кудровой «Марина Цветаева. Годы чужбины»).

В 1930-е годы Константин Родзевич воевал в Испании, во время Второй мировой войны был участником движения Сопротивления во Франции. Любимым его поэтом был Гумилёв, о чём Марина Цветаева упомянула в одном из писем с лёгким огорчением: «Я — не его поэт».

Родзевич не видел в ней большого поэта. Сергей Эфрон всегда, в любых приземляющих тяготах многолетнего совместного быта — видел. Родзевич понял масштаб её дара только много лет спустя, когда Марины и Сергея давно уже не было на свете. С ним у Марины Цветаевой была простая, земная, взрослая любовь, любовь-страсть (по знаменитой классификации Стендаля в трактате «О любви»). И это открыло Марине новую себя.

«Было тогда настоящее счастье <...>. Мы были молоды тогда, было увлечение, объятья, страсть. <...> Мои отношения с Мариной были всегда восторженными, радостными ...»; «В ней была жажда жизни, стихийная любовь к природе, она вся была стихийная. Она была полна любви к жизни» (Константин Родзевич. Беседа с Вероникой Лосской. 1980-е). Родзевич видел в ней «пушкинское начало» и был убеждён, что, будь жизненные обстоятельства Марины хоть немного мягче, это начало пересилило бы «трагические ноты» (в его восприятии только «ноты»!) в её поэзии.

Ни один вспоминающий Марину Цветаеву человек не сказал о ней такого — видимо, больше никто и не видел её такой.

Сама Марина Цветаева позднее не раз писала и говорила, что не любит «просто жизни», что любит жизнь только преображённой в искусстве, но в тот короткий период было по-иному.

Константин Родзевич почувствовал в ней и нуждающуюся в опоре слабую женщину — с ним она в самом деле чувствовала себя такой. Это очень ощутимо в её письме любимому, в самом тоне его — беззащитно изумлённом открывшемся счастьем, такому, какому она не знала раньше; в пронзительной молитве:

«Господи, прости мне это счастье!»

Но в этих словах слышно и предчувствие расплаты: не «продли», не «сохрани» мне это счастье, а — прости за него! Она с самого начала знает, что долгое счастье — невозможно, не суждено.

И начало расплаты — запредельная боль Сергея Эфрона, узнавшего о её любви. Марина не раз писала о том, что «её боль началась с его боли».

Сказать об этом он мог только одному человеку на свете — Максиму Волошину. Большое письмо Сергея Эфрона к нему, несмотря на то, что оно уже много раз цитировалось в работах Ирины Кудровой, Виктории Швейцер, Марии Белкиной и других исследователей, необходимо привести здесь. Очень многое открывает и объясняет оно, и не только в пережитом Сергеем Эфроном именно в тот страшный момент, но, по моему глубокому убеждению, бросает свет на всё происходящее с ним в следующие годы.

«Дорогой мой Макс,

Твоё прекрасное, ласковое письмо получил уже давно и вот всё это время никак не мог тебе ответить. Единственный человек, которому я мог бы сказать всё, конечно ты, но и тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня сказанное становится свершившимся, и хотя надежды у меня нет никакой, простая человеческая слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий и поступков, и здесь я теряюсь. И моя слабость, и полная беспомощность и слепость Марины, жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в который она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход — всё ведёт к стоянию на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутия может привести к гибели. Марина — человек страстей. Гораздо в большей мере, чем раньше — до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану для неё стало необходимостью, воздухом её жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно. Почти всегда (теперь так же, как и раньше), вернее всегда всё строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество

и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина предаётся ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя облегчается. Что — не важно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это всё при зорком, холодном (пожалуй, вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Всё заносится в книгу. Всё спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая — всё обращается в пламя. Дрова похуже — скорее сгорают, получше — дольше. Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно. Когда я приехал встретить Марину в Берлин, уже тогда почувствовал сразу, что Марине я дать ничего не могу. Несколько дней до моего прибытия печь была растоплена не мной. На недолгое время. И потом всё закрутилось снова и снова. Последний этап — для меня и для неё самый тяжкий — встреча с моим другом по Константинополю и Праге, с человеком ей совершенно далёким, который долго ею был встречаем с насмешкой. Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно. Хотя об этом были осведомлены ею в письмах её друзья. Нужно было каким-либо образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр., и пр. ядами. Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но всё боялся, что факты мною преувеличиваются, что Марина мне лгать не может и т. д. Последнее сделало явным и всю предыдущую вереницу встреч. О моём решении разъехаться я и сообщил Марине. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому. (На это время она переехала к знакомым.) Не спала ночей, похудела, впервые я видел её в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. (Увы, — я знал, что это так и будет.) Быть твёрдым здесь — я мог бы, если бы Марина попадала

к человеку, которому я верил. Я же знал, что другой (маленький Казанова) через неделю Марину бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти. Марина рвётся к смерти. Земля давно ушла из-под её ног. Она об этом говорит непрерывно. Да если бы и не говорила, для меня это было бы очевидным. Она вернулась. Все её мысли о другом. Отсутствие другого подогревает её чувство. Я знаю — она уверена, что лишилась своего счастья. Конечно, до очередной скорой встречи. Сейчас живёт стихами к нему. По отношению ко мне слепость абсолютная. Невозможность подойти, очень часто раздражение, почти злоба. Я одновременно и спасательный круг, и жёрнов на шее. Освободить её от жёрнова нельзя, не вырвав последней соломинки, за которую она держится. Жизнь моя сплошная пытка. Я в тумане. Не знаю, на что решиться. Каждый последующий день хуже предыдущего. Тягостное “одиночество вдвоём”. Непосредственное чувство жизни убивается жалостью и чувством ответственности. Каждый час я меняю свои решения. М. б. это просто слабость моя? Не знаю. Я слишком стар, чтобы быть жестоким, и слишком молод, чтобы присутствуя отсутствовать. Но моё сегодня — сплошное гниение. Я разбит до такой степени, что от всего в жизни отвращаюсь, как тифозный. Какое-то медленное самоубийство. Что делать? Если б ты мог издали направить меня на верный путь! <...> Что делать? Долго это сожительство длиться не сможет. Или я погибну. <...> В личной жизни это сплошное разрушительное начало. Всё это время я пытался, избегая резкости, подготовить Марину и себя к предстоящему разрыву. Но как это сделать, когда Марина из всех сил старается над обратным. Она уверена, что сейчас, жертвенно отказавшись от своего счастья, — куёт моё. Стараясь внешне сохранить форму совместной жизни, она думает меня удовлетворить этим. Если бы ты знал, как это запутанно тяжело. Чувство свалившейся тяжести не оставляет меня ни на секунду. Всё вокруг меня отравлено. Ни одного сильного желания — сплошная боль. Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы мои, к<отор>ые прошли на твоих глазах, я жил м. б. более всего Мариной. Я так сильно и прямолинейно, и незыблемо любил её, что боялся лишь её смерти.

Марина сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя — м. б. единственное моё желание. Сложность положения усугубляется ещё моей основной чертой. У меня всегда, с детства — чувство “не могу иначе” было сильнее чувства — “хочу так”. Преобладание “статики” над динамикой. Сейчас вся статика моя полетела к чёрту. А в ней была вся моя сила. Отсюда полная беспомощность. С ужасом жду грядущих дней и месяцев. “Тяга земная” тянет меня вниз. Из всех сил стараюсь выкарабкаться. Но как и куда? Если бы ты был рядом — я знаю, что тебе удалось бы во многом помочь Марине. С ней я почти не говорю о главном. Она ослепла к моим словам и ко мне. Да м. б. не в слепости, а во мне самое дело. Но об этом в другой раз. Пишу это письмо только тебе. Никто ничего ещё не знает. (А м. б. все знают)...» (1923, декабрь)

Всё-таки жаль, хотя по-другому и не могло быть, что Марина Цветаева никогда не читала этого письма Сергея Эфрона, может быть, даже не знала о его существовании. Не то чтобы это могло что-то изменить тогда внутри мучительной ситуации, но если бы — разумеется, это фантастическое допущение — она смогла прочесть его много лет спустя, когда написала в своём «завещании» те страшные именно вопиющей несправедливостью слова («У меня никогда не было верного человека») — она услышала бы его поздний ответ...

Это трагическое письмо даёт возможность почувствовать то состояние, в каком писал его Сергей Эфрон, и тот неотъемлемый от самого главного в его человеческой сути стержень («Не могу иначе!»), который не позволил ему при всей муке «совместности» в это время оставить Марину.

Ответное письмо Макса Волошина не сохранилось, но то главное, что в нём было сказано, можно понять по благодарному отклику Сергея:

«То, что ты писал о вреде отгораживания и о спасительности любви ко всем и принятия всех через любовь, — мне очень близко. И не так близко по строю мыслей моих, как по непосредственному подходу к людям. Особенно после войны. Весь характер моих отношений с людьми в последние годы — именно таков» (М. Волишину. 1924, конец февраля).

Сергею Эфрону, безусловно, легче было бы в тот момент уйти, чем продолжать быть рядом, постоянно остро ощущая отчуждение Марины и её любовь к другому. Не ушёл. Не смог. Не смог в том высоком смысле, какой они оба придавали этому слову. Но чего ему это стоило... Об этом нельзя забывать, иначе невозможно понять всё дальнейшее.

Мне приходилось слышать грубоватую реакцию на всё это: что-бы оттого, что жена изменила, мужчина до такой степени утратил почву под ногами (вариант — потерял себя!) Но так можно говорить, только не зная их начала и всей неповторимой истории любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона.

Был ли он прав в оценке ситуации, когда утверждал, что герой — «маленький Казанова» — через неделю бросил бы Марину? Трудно сказать. Сама Марина всю жизнь была убеждена в обратном — в том, что «счастье было так возможно, так близко...», что она, как пушкинская Татьяна, отказалась от счастья, оставшись верной всю жизнь руководившему ею «протестантскому долгу» (об этом она писала во многих письмах друзьям годы спустя).

Разные, часто противоречащие одно другому отзывы сохранились о Константине Родзевиче. (Многие из них приведены в книге Ирмы Кудровой «Путь комет»).

«Этот человек был абсолютной противоположностью Серёжи: ироничный, мужественный, даже жестокий. К Марине он большого чувства не питал, он её стихов не ценил и даже, вероятно, не читал». (Алексей Эйсер. Беседа с Вероникой Лосской).

«Это был приятный, милый молодой человек. Умный? Не знаю». (Марк Слоним. Беседа с Вероникой Лосской).

Доброжелательнее многих отозвалась о Константине Родзевиче в своих воспоминаниях Ариадна Эфрон, и на страницах её воспоминаний возникает сложный и обаятельный психологический портрет:

«Герой Поэм был наделён редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость — с ироничностью, отзывчивость — с небрежностью, увлечённость (увлекаемость) — с легкомыслием, юношеский эгоизм — с самоотверженностью, мягкость — со вспыльчивостью, и обаяние это <...> казалось не от века сего, что-то в обаянии этом было от недавно ещё пленявшего Маринино воображение XVIII столетия — праздничное, беспечное, лукавое и вместе с тем, и прежде всего — рыцарственное <...>.

Он, сквозь годы войн, германских лагерей уничтожения сберегший Маринины письма и автографы Поэм, прислал их в Россию, в цветаевский архив <...>. Вот передо мной его фотографии: лицо юноши; лицо бойца республиканской Испании; и — снимок прошлого, 1973 года; сколько лет прошло! сколько — эпох! “Но глаза — глаза твои я вижу: те же...” Нет, годы не властны над обаянием; не властны они и над благородной памятью сердца; и над мужеством».

Сам Родзевич годы спустя говорил, что во время своего романа с Мариной Цветаевой ещё был юношески легкомыслен и не понимал, чего требовали эти отношения, — совсем иного уровня, резко отличающегося от всего, к чему он привык; он понял и оценил всё это лишь через много лет.

Но какова бы ни была вряд ли поддающаяся однозначному толкованию «объективная истина» (о том, как развивались бы отношения Марины Цветаевой с Родзевичем, если бы Сергей решился уйти) — важно, что, убеждённо видя героя и сюжет по-своему, Сергей Эфрон был потрясён, по его словам, «слабостью, беспомощностью и слепостью Марины», якобы не способной трезво оценить героя и ситуацию. И от этого потрясения (наряду с главным, о котором он сам с мучительной откровенностью сказал в письме Максиму Волошину, — о разрушенной вере в то, что «Марина ему лгать не может», что их общий мир свято неприкосновенен, что разлучить

их может только смерть) он с ужасом ощутил окончательно уходящую из-под ног почву.

Он привык видеть Марину сильной и зоркой. Он с ранней юности признавал её духовное старшинство и верил ей. Теперь доверие рухнуло, и в этом — тоже начало будущей трагедии... Как же смог Сергей Эфрон после всего пережитого найти в себе силы, чтобы продолжать жить вместе?

«Как я понимала, Эфрон воспринимал Марину настолько над и вне жизни и вместе с тем был так неразрывно с ней связан, что принятые нормы применять к ней было бессмысленно и не к месту» (Екатерина Рейтлингер. «В Чехии»).

Очень близки этому восприятию особенного, «большого, чем любовь», отношения Сергея Эфрона к Марине Цветаевой слова из воспоминаний Николая Еленёва:

«Путешествуя с Эфроном целый месяц в товарном неотопливаемом вагоне из Константинополя в Прагу, в длинные осенние ночи мне довелось слышать не раз от него о Марине <...> мне казалось, что я уловил её духовное существо, каким оно представлялось Эфрону. В отдельных замечаниях, в его голосе, когда он говорил о жене, звучало тихое восхищение. Да, собственно, в этих речах имелась в виду и не жена. Марина, какую её истолковал Эфрон, <...> была кристальной чашей мудрости и писательского дарования. В его рассказах не было ни ходульного восторга, ни малейшего признака пошлого бахвальства. Втайне он безоговорочно признавал превосходство Марины над собою, над всеми современными поэтами, над всем её окружением. Слепая любовь и всякое обожание вызывают настороженность и подозрение. Но Эфрон меньше всего напоминал человека, терзаемого тоской вожделения. Факел света, который он видел в руках Марины, как я убедился потом, был воистину вручён ей судьбой». (Николай Еленёв. «Кем была Марина Цветаева?»).

Боль и тоска звучат в момент кризиса во многих письмах Сергея Эфрона к сестре Лиле, беззащитность и глубокая раненность

души ощущаются в каждом слове. И ещё в этих письмах — тяга к родному человеку, чьё отношение к нему надёжно и прочно.

«В Праге мне плохо <...> в Россию страшно как тянет. Никогда не думал, что так сильно во мне русское <...>. Береги своё сердце. Я тоже берегусь. Нужно дожить до встречи» (Е. Эфрон. 1924, 6 апреля).

Сергей Эфрон всегда был человеком обострённой впечатлительности — и до разразившейся катастрофы. (Именно так оба они — и он, и Марина — называли пережитое в 1923 году).

«Мой дорогой Макс,

Твоё письмо пришло в очень чёрную для меня минуту (м. б. чернее у меня в жизни не было), и то, что именно тогда оно пришло, — было чудом. Было и радостно и растравительно услышать твой голос. О смерти Пра я ничего не знал. И хотя всё говорило за то, что она не переживет этих лет, что она не может их пережить, — несмотря на это — известие о смерти застало меня врасплох, и я с письмом в руках, в толпе русских студентов стоял и плакал. Вместе с Пра умерла лучшая часть жизни моей. Так случилось. И вышло так странно: в Праге оказывается несколько человек знали о ее смерти. Но видно нужно было, чтобы я узнал от тебя и именно вчера...» (М. Волошину. 1923, 31 октября).

У Марины Цветаевой с Пра — так молодёжь звала мать Макса Волошина — тоже была связана лучшая часть жизни. Они оба нежно любили Макса и его замечательную мать, оба оплакивали её. Это соединяло — ещё одно звено в их «круговой поручке сиротства». Кто ещё в эмиграции, далеко от России, знал и помнил Марину времён её юности, знал её отца и её сестру Асю, которую успел родственно полюбить? Многое продолжало глубоко связывать их...

Своё мучительное письмо к Волошину от 22 января 1924 года Сергей Эфрон закончил так: «Это письмо я проносил с месяц. Всё не решался послать его. Сегодня — решаюсь. Мы продолжаем с Мариной жить вместе. Она успокоилась. И я отложил коренное решение нашего вопроса. Когда нет выхода — время лучший учитель. Верно? К счастью, приходится много работать, и это сильно помогает...»

А через месяц он писал Максу:

«... Сейчас не живу — жду. Жду, когда подгнившая ветка сама отвалится. Не могу быть мудрым садовником, подрезающим ветки заранее. Слабость ли это? Думаю — не одна слабость. Во всяком случае мне кажется, что самое для меня страшное уже позади. Теперь происшедшее — должно найти свою форму. И конечно найдёт. Я с детства (и недаром) боялся (и чуял) внешней катастрофичности, под знаком которой родился и живу. Это чувство меня никогда не покидает. Потому, с детства же, всякая небольшая разлука переживалась мною, как маленькая смерть. Моя мать, за все время, пока мы жили вместе, ни разу не была в театре, ибо знала, что до её возвращения я не засну. Так остро мною ощущалось грядущее. И когда первая катастрофа разразилась — она не была неожиданностью. Это ожидание ударов не оставляет меня и теперь. Когда я ехал к Марине в Берлин, чувство радости было отравлено этим ожиданием. Даже на войне я не участвовал ни в одном победном наступлении. Но зато ни одна катастрофа не обошлась без меня. И сейчас вот эта боязнь катастрофы связывает мне руки...» .

Эти болевые признания особенно тяжело читать, зная будущую судьбу Сергея Эфрона... «В последнем случае боюсь не за себя. Марина слепа именно в той области, в которой я м. б. даже преувеличенно зряч. Потому хочу, чтобы узел распутался в тишине, сам собою (это так и будет), а не разорвался под ударами урагана. Но это ожидание очень мучительно...».

Мучительно — для обоих. О том, как болево — и за себя, и за него — переживала кризис Марина, многое сказано в том большом письме Сергея Эфрона. Есть и её собственные свидетельства.

«Делаю боль, да, но ТАК страдаю сама, что никакая безмерность радости не зальёт. Радуюсь, закрыв глаза и зажав уши, стиснув зубы — радуюсь. (Господи, не очнуться!)» (А. Бахраху. 1923, 29 сентября).

Несколько раз в письмах и дневниковых записях повторила она: «Моя боль началась с его боли». Момент, когда Сергей всё узнал

(прямо спросил её), ужаснул Марину, он был пережит как непоправимая катастрофа — именно это слово звучит в её записях.

Прямой диалог после этого стал, видимо, невозможен, но если прочитать подряд его и её записи, сравнительно недавно опубликованные, невольно слышится именно диалог — двух правд.

«Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно. Хотя об этом были осведомлены ею в письмах её друзья. Нужно было каким-либо образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр., и пр. ядами. Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но всё боялся, что факты мною преувеличиваются, что Марина мне лгать не может и т. д.». Это слова из цитированного уже письма Сергея Эфрона Максиму Волошину.

«Ошибка С. в том, что он захотел достоверности, и захотев, обратил мою жизнь под веками — в таковую (безобразную явь, очередное семейное безобразие). Я, никогда не изменявшая себе, стала изменницей по отношению к нему». Это запись в дневнике Марины Цветаевой.

О том же — в ранних её стихах — почти теми же словами:

...Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.

Октябрь. 1915

«Право на тайну. Это нужно чтить. Особенно когда знаешь, что тайна — рождённая, с другим рождённая, необходимость и дыхание его. Имена здесь ни при чём. Будь мудр, не называй (не спрашивай)».

И ещё — на той же странице её дневника: «Тайная жизнь — что может быть слаще? (моее!) Как во сне».

Об этой потребности её души в тайне Сергей Эфрон действительно знал. Но если это горькое понимание вело его к единственно возможному, как ему виделось в тот момент, выводу — необходимости расстаться, то Марина видела это совсем по-иному: «Един-

ственная свобода, которую ты бы мог мне дать, это — не знать. Она у меня отнята <...>. Я — на воле. Сна. Тайная я, которую никто не знает. Моя жизнь — и с тобой. Зная меня, ты знал, что я не могу без тебя (в другом). Зачем же ты сказал об этом — и назвал?» (Запись в дневнике Марины Цветаевой).

Какой странный упрёк! Без Сергея она своей жизни не мыслит, и даже когда случилось непоправимое, она готова на всё, только не на расставание с ним — готова с горечью, обречённо отказаться от всего, без чего своей жизни (жизни своей души) прежде не представляла.

«Психее (в жизни дней) остаётся одно: хождение по душам <...>. Сейчас, после катастрофы нынешней осени, вся моя личная жизнь (на земле) отпадает. Ходить по душам и творить судьбы можно только втайне. Там, где это непосредственно переводится на “измену” (а в жизни дней оно — так) — и получается “измена”. Жить “изменами” я не могу, явью — не могу, гласностью — не могу. Моя тайна с любовью — нарушена <...>. Итак, другая жизнь: в творчестве. Холодная, бесплодная, безличная, отрешённая, — жизнь 80-летнего Гёте. Это: будучи ласковой, нежной, весёлой — живой из живых! — отзываясь на всё, разгорающейся от всего. Рука — и тетрадь. И так — до смерти. <...> Книга за книгой. <...> Ещё: менять города, дома, комнаты, укладываться, устраиваться, кипятить чай на спиртовке, разливать этот чай гостям. Да, гостям, ибо на другое я не вправе. Никого не любить! Никому не писать стихов! И не по запрету, дарёная свобода — не свобода...»

«Никого не любить...», — обречённо пишет она. А рядом — родной, любящий, страдающий человек, живой, молодой, обаятельный (совсем недавно — безмерно обаятельный и в её глазах), как и она, способный быть ласковым и весёлым. На какую же жизнь она при этом обрекает и его?

Он думает об этом — и с болью пишет, что он слишком молод, чтобы, присутствуя, отсутствовать.

«Долго это сожительство длиться не сможет. Или я погибну. <...> В личной жизни это сплошное разрушительное начало».

В дневниковых записях Марины после катастрофы вдруг звучит такая резкая переоценка ценностей, что читать это по-настоящему больно:

«Личная жизнь, т. е. жизнь моя в жизни (т. е. днях и местах) не удалась. Это надо понять и принять. <...> Причин несколько. Главная в том, что я — я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных — прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке».

Это написано в Праге в декабре 1923 года, то есть в разгаре страстной любви Марины к Родзевичу. А при переписывании тетради 10 лет спустя добавлено: «Просту: слишком ранний брак с слишком молодым». (1933).

Если при чтении многого написанного Мариной Цветаевой в стихах и прозе бывает больно *за* неё, то в данном случае — больно *от* неё. Особенно если представить себе Сергея Эфрона, читающего эти строки. Неужели она с её необыкновенно острой эмоциональной памятью забыла свои чувства в те месяцы перед венчанием, когда ей и ему было так важно их решение — обвенчаться и быть вместе всю жизнь? Попробовал бы тогда кто-то предложить ей изменить решение и остаться с Сергеем просто друзьями! Макс Волошин и пробовал сказать что-то подобное, за что Марина чуть не поссорилась с ним на всю жизнь. Об этом она с юмором вспоминает в своём мемуарном эссе «Живое о Живом», и ясно, что её только возмутило тогда такое непонимание и неуважение к их чувствам и серьёзности решения.

Судя по многому дальнейшему (в их жизни происходящему) — такое, чуть ли не всё перечёркивающее — сказано ею всё же под влиянием временного настроения. Да и слова «никого не любить» нельзя прочитывать слишком буквально — как признание в нелюбви к Сергею. Необходимо знать её словарь. («У нас разный словарь», — написала она однажды Борису Пастернаку.)

Годы спустя, написав в одном из писем к Анне Тесковой: «Я давно уже никого не люблю», она уточняет: «Не о своих говорю —

другая любовь, с болью и заботой, искажённая бытом. — Я говорю о любви на воле, о чуде чужого...» (1928, февраль).

Вот это уточнение о само собой разумеющейся для неё «другой любви» в дневниковых записях для себя она просто пропускает.

Глубже и тоньше других почувствовал эту ситуацию, безмерно сложную, никак не укладывающуюся в традиционное представление о «любовном треугольнике», Марк Слоним:

«Она, в сущности, была однолюбом и, несмотря на увлечения и измены, по-настоящему любила одного лишь Сергея Эфрона, своего мужа...».

Написал он и о Родзевиче:

«Полюбила она его очень. Были очень близкие отношения, настоящая и трудная любовь. Трудная из-за её лояльности к мужу, к которому она питала любовь, всякую, и женскую, и материнскую... Она была ему верна всегда, даже когда была неверна физически».

Это тонкое прозрение подтверждается и тем, что даже на тех горчайших страницах дневника, где сказано, что «личная жизнь не удалась», что впереди «холодная, безличная, бесплодная» жизнь и т. д., Марина Цветаева, в отличие от Сергея Эфрона, даже не обсуждает возможность разрыва и попытки начать другую жизнь. Наоборот, она готова отказаться от всего, но только не от их жизни, без которой своей жизни совсем не представляет.

Той же осенью 1923 года Сергей Эфрон писал своим друзьям Богенгардтам:

«Сейчас вечер. Марина переписывает стихи для журнала. На умывальнике хрипит и шипит испорченный примус, выпуская клубы чёрного благословенного дыма. Кипит кастрюля с нашим ужином. Смесь всех плодов земных и не — земных — секрет Мариной кухни». (Цитируется по книге Виктории Швейцер «Быт и Бытие Марины Цветаевой»).

Спокойный, умиротворённый тон... Мучительная мысль о разрыве явно ушла из их мира. Дневниковая запись Марины Цветаевой:

«Господи, дай мне на этот Новый Год — написать большую и прекрасную вещь. Больше не знаю о чём (для себя) просить: всё остальное — неосуществимо. <...> Непременно, непременно, непременно нужно: Поэму Расставания...» (1924).

Две великие поэмы — «Поэма Горы» и «Поэма Конца» — родились из той её «несчастно-счастливой» любви.

«Видела я героя “Поэмы Горы” — К. Б. Р. (Константина Болеславовича Родзевича. — *Л.К.*). Таким — немного таким, только с лицом жёстче и темнее — я представляю себе Андрея Болконского. Но этот человек был тронут крылом польской прохладной пленительности. Невысок, тонок. Обращение Марины с ним было дружески равнодушное, она с ним мало говорила». (Анастасия Цветаева. «Воспоминания»).

Анастасия Ивановна была в Париже и видела Марину с Сергеем в 1927 году. После сюжета «Поэмы Горы» прошло четыре года. Это была последняя встреча сестёр.

Разрыва не произошло. Марина Цветаева и Сергей Эфрон навсегда остались вместе. Но прежние отношения не вернулись: что-то очень важное для обоих, самое сокровенное было неправимо отравлено, и в каком-то смысле от этого, так тяжело пережитого обоими, кризиса круги расходились все последующие годы, и сыграл он в их жизни и судьбе роль ещё более трагическую, чем могло показаться в первое время относительного затишья. До конца жизни продолжая любить Марину, с этого момента Сергей Эфрон никогда уже не «жил больше всего — ею».

Теперь для него становится особенно важным психологическое отгораживание своего пространства. Пропась между ними при этом расширялась. Он не ушёл, но во многом добился разъединения путей. Очень точно сказала об этом М. Белкина в книге «Скрещение судеб»:

«Он с головой ушёл в политику, она — в поэзию, — две разные державы, два разных подданства...».

Но в живой жизни такое полное разъединение произошло далеко не сразу. Заботы о сыне, родившемся 1 февраля 1925 года, займут огромную часть души Марины Цветаевой на долгие годы — до самого конца её жизни. Подробнее речь об этом пойдёт в главе, посвященной Муру.

Трудно сказать, сблизило ли Марину и Сергея рождение сына. В иной ситуации это, безусловно, было бы так — ведь ещё в первых письмах после обретения друг друга в эмиграции Марина писала, как мечтает о сыне, обещала его Сергею. Впрочем, если эта радость и была поначалу отравлена, постепенно Сергей Эфрон всё больше любит маленьким сыном и гордится им, много пишет о нём в Россию сестре Лиле. Пишет очень живо, с юмором и нежностью, создаёт яркий психологический портрет маленького Мура.

Теперь голос Сергея Эфрона звучит только в письмах — художественных произведений он больше не напишет. Не потому ли (разумеется, наряду с другими причинами), что эта сфера — “подданство” Марины? В годы безоглядного доверия он с радостью находился в одном с ней “подданстве”, теперь — больше не хочет этого.

Некоторые исследователи склонны объяснять отход Сергея Эфрона от литературы несоизмеримостью мощного дара Марины Цветаевой с его обычным талантом, якобы болезненно им переживаемой, унижающей самолюбие и т. д. Я понимаю внутреннюю логику этой версии, но не думаю, что дело в этом. Более того, убеждена, что совсем в другом.

В характере Сергея Эфрона никогда не было никакого, даже в самой малой степени, «сальтеризма», он умел горячо, искренне и бескорыстно радоваться талантам. Но он теперь слишком хорошо знал, какими чувствами питается ранимая лирика Марины Цветаевой, и не хотел — не мог быть и дальше зависимым от её ураганных страстей. Спасение от этого было одно: выдерживать и в занятиях своих, и в повседневной жизни какую-то дистанцию. И он уходит в другие сферы.

Катастрофа 23-го года, как назвала это сама Марина Цветаева, явно надломила Сергея. Понимала ли она до конца, часто вспоминая

годы спустя, что не рассталась с ним, потому что не в силах была строить своё счастье на чужой боли, *что* произошло с ним после всего пережитого?

Она упорно продолжала направлять его в литературное русло, о чём писала в письмах к друзьям — Р. Н. Ломоносовой и другим, и удивлялась его сопротивлению — ведь раньше он так доверчиво шёл за ней... Впрочем, Сергей, видимо, не очень демонстрировал сопротивление, скорее интуитивное, чем ясно осознанное. Может быть, он и сам не желал окончательно расставаться с мечтой — вернуться когда-нибудь к литературной работе. Но в то время он не мог писать.

В воспоминаниях Марка Слонима рассказывается и об этом.

«На посторонних эта пара производила странное впечатление: они говорили друг с другом “на вы”, их отношения казались формальными, их даже трудно было признать товарищескими, каждый оставался в своём углу, работали они в разных и далёких областях и встречались главным образом за семейными трапезами: тут Марина Ивановна выполняла роль домашней хозяйки. Политика, социальное так же безраздельно владели Сергеем Яковлевичем, как слово, поэзия — Мариной. В этом был их коренной разлад и источник непонимания, утаивания и молчания».

Марк Слоним не знал и не мог знать, что обращение друг к другу «на вы» началось у Марины и Сергея как раз на волне «чуда встречи» и горячей очарованности друг другом. Не знал он и того, что прежде мир слова вовсе не был чужим для Сергея Эфрона, что и в этом мире его когда-то многое объединяло с Мариной. Слоним вообще дружил с Мариной Цветаевой, а Сергея Эфрона видел мало и редко. (Впрочем, даже при этом он тонко и не упрощённо почувствовал главное, так неожиданно назвав Марину Цветаеву «в сущности однолюбом»).

По-иному, гораздо глубже видел их отношения Валентин Фёдорович Булгаков. Их обращение друг к другу «на вы» он вовсе не воспринимал как знак отчуждения. Правда, он ближе знал обоих ещё на прежнем, не таком тяжёлом этапе их жизни, но, думается,

основная причина большей психологической проницательности В. Булгакова в другом: может быть, этот человек, долго проживший в ауре Льва Толстого (в Ясной Поляне), тоньше воспринимал внутреннюю жизнь семьи — ту неповторимую атмосферу, которая никогда не может быть внятной чужим людям во всей полноте.

Сергей Эфрон не сразу ушёл в политику, сначала — в журналистику, в редакторство и в издательские работы. Всё острее он токует по близким людям, оставшимся в далёкой России. Он пишет сестре:

«Сообщи мне адрес Веры (другой сестры. — *Л. К.*) и Макса. Последний вот уже год, как мне ничего не пишет. Я уже писал тебе, что у меня чувство, что все москвичи меня позабыли. Я знаю, что меж нами лежат годы, разделяющие больше, чем тысячи и тысячи вёрст. Но всё же больно. И напоследок — твоё многомесячное молчание» (Е. Эфрон. 1924, осень).

А в 1928 году — ей же:

«Не буду писать тебе, что нахлынуло на меня, когда я стоял у могилы (родителей и брата на парижском кладбище. — *Л. К.*). Только вот что хочу сказать — кровно, кровно, кровно почувствовал связь со всеми вами. Нерушимую и нерасторжимую. Целую твою седую голову, и руки, и глаза и прошу простить меня за боль, которую, не желая, причинил и причинял тебе. Это будет ужасно, если нам не суждено увидеться! Последние дни всё думаю о тебе и очень, очень тревожусь. Береги себя, ради Бога<...>. Вспомнилась смерть Пети. Бывала ли ты на Ваганькове?» (1828, 1 апреля).

«... кровно, кровно, кровно почувствовал связь со всеми вами...» — это звучит как заклинание, почти как клятва. В чём? Это сказано Сергеем Эфроном в момент внутреннего кризиса и коренной переоценки ценностей, когда он начал новыми глазами смотреть на новую Россию и считать своё участие в Белом движении трагической ошибкой. Память о матери, с молодых лет ушедшей в революцию и всю жизнь борющейся за счастье народа, как она это понимала, всегда была для него священной.

Уходя на Дон защищать Россию, он верил, что служит тем идеалам, в каких был воспитан с детства. Теперь же он всё больше укреплялся в мысли, что то, за что боролись его родители, осуществилось в России советской, и что он отступил от их идеалов, участвуя в Белом движении. Сергея Эфрона начинает мучить комплекс вины — перед памятью матери и перед Родиной. Мучает и острая ностальгия. Смешавшись, эти преобладающие теперь в душе его чувства образуют тяжёлый клубок.

И всё более невыносима для него жизнь вдали от Родины:

«... была минута, когда я от боли почти не мог дышать, и т. к. я не знал, что со мной, то подумал о смерти. Вот чего я по правде сказать, боюсь ужасно — это не дожидаться возвращения». (Е. Эфрон. 1929, 7 марта).

И далее: «Мне бы очень хотелось иметь переснятые карточки нашей семьи. Пришлю тебе на это деньги. Хорошо?»

В этих письмах многое ещё созвучно душе Марины: его верность прошлому, память о родных людях (она в конце 1930-х годов, уезжая в СССР, поставила памятник на могиле родителей и брата Сергея). В этом ещё был тот Серёжа, какого она полюбила в юности.

В одной из своих статей Сергей Эфрон настойчиво призывал тоскующих русских эмигрантов к «творческому вхождению в жизнь Запада», но в его собственной жизни вхождение это, по ряду объективных и субъективных причин, так и не состоялось.

Ещё в Чехии Сергей Эфрон в каком-то смысле выделялся из эмигрантской массы особо болевым ощущением духоты той жизни, нервностью и мучительными метаниями в поисках своего места в ней:

«В Праге сосредоточились наиболее культурные люди русской интеллигенции, и чешское правительство всячески шло навстречу нуждам русских беженцев <...>. Эфрон вспоминается мне в какой-то мучительной несогласованности всего его внутреннего мира с окружающей обстановкой (хотя многие люди, не менее культурные, как-то сумели найти своё место и встать на ноги). Эфрона, ещё

до приезда Марины, мы с сестрой воспринимали: «помочь» (даже не зная, чем и как)» (Екатерина Рейтлингер. «В Чехии»).

Когда Сергей Эфрон оканчивал университет, работы по специальности в Чехии не предвиделось. Большие надежды возлагали и он, и Марина на переезд в Париж: Сергей — на прочное жизнеустройство в новой стране и среде; Марина — на более широкие возможности публикаций и более щадящие условия жизни; а вместе — может быть, на возможность если не вернуть былые отношения, то всё же как-то просветлить совместность.

«... ещё зимы во Вшенорах не хочу, не могу, при одной мысли — холодная ярость в хребте. Не могу этого ущелья, этой сдавленности, закупоренности, собачьего одиночества (в будке!)...» (О. Колбасиной-Черновой. 1925, 28 февраля).

«Живу трудно, удушенная чёрной и мелкой работой, разбито внимание, нет времени ни думать, ни писать <...>. Ему необходимо не жить в Чехии, уже возобновился процесс, здесь — сторит» (Ей же. 1925, 14 августа).

В первое время после переезда во Францию обоим показалось, что какие-то надежды сбываются, и их голоса ещё какое-то время звучат в унисон:

«У Марины есть возможность в Париже устраивать свои литературные дела гораздо шире, чем в Праге. Кроме того, здесь есть среда, вернее несколько человек, Марине по литературе близких» (С. Эфрон — В. Булгакову. 1926).

«Марина устраивала свои вечера в Париже в весьма убогом, невзрачном зале. Она читала доклады, стихи. Приходили друзья, но их было так мало! В первом ряду сидели Сергей, Аля, Мур. Аля вязала шарф. Мур сосал карамельки. Серёжа слушал, склонив романтически голову. Все трое чувствовали себя как-то неловко. И всё же это была семья Марины; они без неё, как она без них, перестали бы существовать...» (Елена Извольская. «Тень на стенах»).

Сергей Эфрон умел слушать стихи — таких людей в окружении Марины Цветаевой после отъезда из России было не много...

Сам он в какой-то момент поверил, что нашёл наконец своё место в этой трудной жизни. Марина надеялась на это вместе с ним, но в глубине души она теперь немного отстраняется от его новых знакомых и новых увлечений, например, евразийством, хотя в период его увлечения театром она с интересом познакомилась с режиссёром Брэйем, бывала на их спектаклях. Отстранение очень слышится в их письмах, там начинают звучать разные, а иногда и резко контрастирующие ноты.

«Познакомился с рядом интереснейших и близких внутренне людей...» (С. Эфрон — В. Булгакову. 1926).

«В Париже у меня друзей нет и не будет. Есть евразийский круг <...> любящий меня “как поэта” и меня не знающий, — слишком отвлечённый и учёный для меня...» (М. Цветаева — А. Тесковой. 1927, 15 января).

И ещё — ей же: «Серёжа в евразийство ушёл с головой. Если бы я на свете жила (и преступая целый ряд других «если бы») — я бы, наверное, была евразийцем. Но — но идея государства, но российское государство во мне не нуждается, нуждается ряд других вещей, которым и служу...» (1927, 21 февраля).

«В порядке действительности и действенности евразийцы — ценности первого порядка. Но есть порядок — над-первый — мой...» (Ей же. 1927, третий день Пасхи).

«Новый год встречала с евразийцами, встречали у нас. Лучшая из политических идеологий, но... что мне до них? Скажу по правде, что я в каждом кругу — чужая, всю жизнь. Среди политиков так же, как среди поэтов <...>. Поэтому мне под Новый год было — пустынно» (Ей же. 1928, 3 января).

Сотрудничество в журнале и газетах евразийского направления радовало Сергея Эфрона не только потому, что нашлась интересная работа, которая давала, как показалось в какой-то момент, твёрдый заработок и возможность кормить семью, но и (может быть, прежде всего) — как выход из внутреннего тупика. Он пылко, как часто бывало, увлёкся идеями евразийцев об особом пути России — не «западном» и не «восточном».

«Говорить Эфрон умел и любил — много и интересно <...>. Когда я ездила в Париж, я неизменно посещала их, и меня больно огорчила ещё большая неустроенность Марины, горечь и даже озлобление (чего не было в Чехии), работа Али (вместо образования) и недоброжелательность или полнейшее равнодушие к её судьбе у окружающих. Эфрон много и вдохновенно говорил о “новой эре человечества”, сравнивал с временами первохристианства. Один из вечеров я провела у “возвращенцев”, с интересом слушала их разговоры...» (Екатерина Рейтлингер. «В Чехии»).

Иногда Сергей Эфрон обращался к сестре в Россию с практическими просьбами, связанными с его издательскими и редакторскими делами:

«Я сейчас занят редактированием небольшого журнала литературно-критического («Своими путями», издавался в Чехии. — *Л. К.*). Мне бы очень хотелось получить что-нибудь из России о театре, о последних прозаиках и поэтах, об академическо-научной жизни. Если власти ничего не будут иметь против, попроси тех, кто может дать материал в этих областях, прислать по моему адресу. Всё будет хорошо оплачено. Очень хотелось бы иметь статью о Студии (Третьей Вахтанговской. — *Л. К.*), Камерном театре, Мейерхольде. С радостью редакция примет стихи и прозу. Поговори с Максом и Антокольским, может быть, они дадут что-нибудь. Может быть, ты напишешь о театре или о покойном Вахтангове <...>. Сообщи мне немедленно, могу ли я чего-нибудь ждать. Журнал чисто литературный» (Е. Эфрон. 1924, осень).

«Мне предложили здесь редактировать — вернее, основать — журнал — большой — литературный, знакомящий с литературной жизнью в России («Версты». — *Л. К.*). И вот я в сообществе с двумя людьми, мне очень близкими, начал. Один из них — лучший сейчас здесь литературный критик Святополк-Мирский, другой — теоретик музыки, бывший редактор “Музыкального Вестника” — человек блестящий — П. П. Сувчинский. На этих днях выходит первый №. Перепечатываем ряд российских авторов. Из поэтов, находящихся в России, — Пастернак (“Потёмкин”), Сельвинский, Есенин. Тихонова пока не берем. Ближайшие наши сотрудники

здесь — Ремизов, Марина, Л. Шестов. Мы берём очень резкую линию по отношению к ряду здешних писателей, и нас, верно, встретят баней. В то же время я сохранил редактирование и пражского журнала. Но, увы, эта работа очень не хлебная» (Ей же. 1926, 4 апреля).

В 1928—1929 годах Сергей Эфрон работал в редакции еженедельника «Евразия» и сам продолжал писать.

«На днях вышлю тебе свою статью во французском журнале о Маяковском, Пастернаке и Тихонове. Пошлю одновременно Пастернаку. Для французского журнала (не коммунистического) это максимальная левизна» (1929, 4 апреля). Статья, видимо, не сохранилась.

К таким поискам и действиям Сергея Эфрона Марина Цветаева относится с уважением: «... муж <...> бывший доброволец (с Октябрьской Москвы до Галлиполи — всё сплошь в строю, кроме лазаретов (три раненья), потом пражский студент <...> ныне один из самых деятельных — не хочу сказать вождей, не потому что не вождь, а потому что вождь — не то, просто — отбросив <...> сердце Евразийства. Газета «Евразия», единственная в эмиграции (да и в России) — его замысел, его детище <...> его радость. Чем-то, многим чем, а главное: совестью, ответственностью, глубокой серьёзностью сущности, похож на Бориса (Пастернака. — Л. К.), но мужественнее» (Р. Ломоносовой. 1929, 12 сентября).

Но «Евразия» приостановилась...

«Сергей Яковлевич в тоске — не может человек жить без непосильной ноши. Живёт надеждой на возобновление и любовью к России» (А. Тесковой. 1929, 30 сентября).

Сергей Эфрон продолжал искать на родине, где жизнь так необратимо изменилась, то, что было мило его душе прежде, надеясь, что хоть что-то сохранилось.

«Сейчас у вас вербный базар. Вербное воскресенье — один из любимейших мною праздников. Много бы дал я... да что об этом говорить!» (Е. Эфрон. 1929, 27 апреля).

Но и в новом он стремился находить, пока, может быть, интуитивно, то, что считал возможным принять. С особым интересом

пишет он о новых, выходящих в Советской России книгах, о советских фильмах.

С сестрой Лилей их всегда объединяла общность художественных интересов, и он увлечённо делился с ней впечатлениями от новых книг, фильмов, спектаклей — по обе стороны границы. Эти темы занимают в его письмах к ней большое место.

«С большим интересом прочел твоё письмо о работе над читкой Пушкина (Елизавета Эфрон была режиссером-педагогом. — Л. К.). Должен тебе сказать, что поскольку я могу судить о читке по звуковым советским кино — она очень и очень слаба. Но кинематографическая “читка”, конечно, вещь совсем особая и очень далека как от театральной (должна быть далёкой), так и от “литературной”. Эту “особость” пока что советские актёры совсем не чувствуют — им нужно поучиться у американцев. Что же касается стихов — то я лично очень люблю сухую читку, с еле заметным вскрытием эмоционального костяка и с выделением ритмического остова стихотворения. Классическая читка, наверное, ни то и ни другое — а среднее. А по мне лучше всего читают стихи авторы...» (1933, 31 октября). Читая всё это, нельзя не вспомнить, как слушал Сергей чтение Марины...

В записях Марины Цветаевой в годы её дружбы с актёрами Третьей Студии (1918—1920) большое место занимают размышления о разной манере чтения стихов актёрами и поэтами и о причинах этих различий, и здесь — ещё одна переключка:

«Люди театра не переносят моего чтения стихов. “Вы их губите!” Не понимают они, коробейники строк и чувств, что дело актёра и поэта — разное. Дело поэта: вскрыть — скрыть. Голос для него броня, личина. <...> Голос поэта — водой — тушит пожар (строк). Поэт не может декламировать: стыдно и оскорбительно. Поэт — уединённый, подмостки для него — позорный столб <...> Актёр — другое. Актёр — вторичное <...> Поэт в плену у Психеи, актёр Психею хочет взять в плен. Наконец, поэт — самоцель, покоится в себе (в Психее). Посадите его на остров — перестанет ли он быть? А какое жалкое зрелище: остров — и актёр! Актёр — для других, вне других он немислим, актёр — из-за других <...>. Нет, господа актёры, наши царства — иные <...>. Всё это, и несомненно

это, а не иное, уже было высказано тем евреем, за которого всех русских отдам, предам, а именно: Генрихом Гейне — в следующей сдержанной заметке: «Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра»». (1919).

Вернемся к письму Сергея Эфрона.

«Ужасно, когда стихи навязываются. Обычное актёрское чтение, даже культурное, а не по Художественному театру — именно такое: всё договаривается, разжёвывается, подчеркивается. А договаривать и чувствовать — я должен, а не чтец. Вообще в читке стихов лучше недодать, чем передать. Я говорю о стихах лирических».

Так говорят они о том, что волнует обоих. С большой долей вероятности можно предположить, что они не раз в жизни беседовали на эти темы.

В 30-е годы Сергей Эфрон живёт преимущественно другим, но не может не быть эмоционально включённым в дорогие ему сферы:

«Видел недавно очень хороший здешний (немецкий) фильм. Инсценировка книги Ремарка “На Западе без перемен” (в русском переводе — «На западном фронте без перемен»). Удивляет, что полиция разрешила демонстрацию — до такой степени этот фильм обличает бывшую войну. В Германии расисты срывают демонстрацию фильма<...>. Ты, верно, будешь иметь возможность видеть этот фильм в Москве. Несомненно, Москва его купит. Вспомни меня тогда...» (1930, 10 декабря).

Марина Цветаева тоже восторженно отзывается об этом фильме:

«Пойдите, если не были, на потрясающий фильм по роману Ремарка: “На Западном фронте без перемен”. Американский. Гениальный» (Р. Ломоносовой. 1930, 4 декабря).

Ещё многое могло настроить их души на одну волну...

Увлечение кинематографом вообще было далеко не чуждо Марине Цветаевой, что выяснилось сравнительно недавно — к удивлению многих исследователей и моему тоже. В её письмах к Ариадне Берг (переписка шла с 1934 года до самого отъезда Марины Ивановны с Муром в СССР в 1939 году) много говорится о поразивших её фильмах (с советами непременно их посмотреть),

о том, как она «мчалась на другой конец города», чтобы увидеть фильм с любимой актрисой. Может быть, кинофильм с любимой актрисой — именно далеко, на другом конце города — был для Марины Цветаевой чем-то вроде «царства под веками», «царства сна»...

Если бы жизнь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона удержалась в кругу гуманитарных дел и интересов, в котором их так многое объединяло, если бы сохранились журнал «Вёрсты» и газета «Евразия», может быть, всё сложилось бы по-другому...

Письма Сергея Эфрона о книгах и фильмах по-настоящему интересно читать: он предстаёт в них человеком широких интересов и живых реакций, размышляющим и тонко чувствующим. Он пишет сестре:

«Недавно с величайшим наслаждением прочёл Эйхенбаума “Толстой”. Замечательная книга». (Е. Эфрон. 1930, 5 сентября).

Зная, каким увлечённым и любящим читателем Толстого Сергей Эфрон был с самого детства, легко понять его удовольствие от книги Эйхенбаума, глубоко и тонко проникшего в мир Толстого и рассказавшего об этом живым и увлекательным, без сухого наукообразия, языком.

«С Рене Клером ты не права. Это замечательный режиссёр и кинолирик. <...> У вас появились “Живые рисунки” Вал-Диснея — посмотри непременно. Это подлинное и высокое искусство» (Ей же. 1935, 4 декабря).

Заметим, что Сергей Эфрон оценил талант Рене Клера задолго до широкого признания этого режиссёра.

«Сейчас парижский рынок наводнён военными книгами. На них большой спрос, а я их больше читать не могу — все на один лад. А ведь одна из первых хороших книг о войне — Эренбурга “Лики войны”. (Книга военных корреспонденций 1915—1917. — Л. К.). Все о ней забыли. Но после Бабеля — всё слабо». (Ей же. 1930, 5 сентября).

В живой беседе он скорее всего развил бы эти мысли — ведь у Сергея Эфрона была своя память о войне — он был медбратом в санитарном поезде, увозившем раненых прямо с мест боёв...

«Недавно видел “Баб Рязанских” (фильм 1927 года. — Л. К.). И должен признаться — готов был плакать во время сцены жатвы. Советский фильм пользуется здесь исключительным успехом, но в Париже почти всё запрещается. <...>. Лучшее, что я видел, — «Потёмкин»» (Ей же. 1929, 1 августа).

Всё острее мучает его ностальгия, и всё внимательнее вчитывается он в газеты и новые книги, выходящие в СССР.

«Спасибо, родная, за “Вечернюю Москву” <...> больше, чем какая-либо другая газета, даёт представление о быте Москвы» (Ей же. 1929, 27 апреля).

«Недавно прочёл 2-ю ч. “Тихого Дона”. Все знакомые места и лица. Исторически всё очень правильно... » (Ей же. 1932).

«Читала ли «Разгром» Фадеева? Одна из лучших книг последних лет. Верно?» (Там же).

Очень жаль, что Сергей Эфрон не остановился на этом своём впечатлении подробнее. Роман Фадеева — «свидетельство» о Гражданской войне с другой стороны баррикад — мог сыграть большую роль в производимой Сергеем Эфроном в это время настойчивой переоценке ценностей, особенно если он и в нём увидел «только то, что хотел видеть»...

Интересно было бы узнать, почему он счёл этот роман «одной из лучших книг последних лет», что именно вызвало такую высокую оценку.

В 1936 году Сергей Эфрон пишет:

«Марина работает над переводом Пушкина (не своего) на франц-й язык. Получается у неё, поскольку могу судить, замечательно. Так как, верно, написал бы сам Пушкин. Особенно хорошо переведено «Прощай, свободная стихия...»» (Е. Эфрон. 1936, 31 июля).

Широкий круг художественных интересов Сергея Эфрона явно свидетельствует о том, что при иных обстоятельствах, погружись он в эту сферу со всем тем энтузиазмом, с каким погрузился в другие, он мог бы стать талантливым литературным критиком или кинокритиком и писать о чтении стихов в кино и на сцене, о фильмах Рене Клера и Сергея Эйзенштейна, о Бабеле и

Фадееве, о заграничных гастролях МХАТа и театра им. Вахтангова...

Есть в письмах Сергея Эфрона одна сокровенная тема, требующая особого углубления. «Читала ли “5-й год” Пастернака? Прекрасная вещь — особенно вступление. Только мало кто поймёт её — и у нас, и у вас» (Е. Эфрон. 1927, 9 ноября).

И снова очень жаль, что он не сказал об этом подробнее. Всем любящим Марину Цветаеву и знающим хотя бы на поверхностном уровне её жизнь давно известен её многолетний горячий эпистолярный роман с Борисом Пастернаком. Их особым — поднебесным, «поверх барьеров» — отношениям посвящена большая глава воспоминаний Ариадны Эфрон.

Дочь Марины Цветаевой, с детства окружённая именем, стихами, письмами Бориса Пастернака, а в годы лагерей и ссылок переписывавшаяся с ним сама, уже после смерти Марины Ивановны познакомилась с письмами матери к Борису Леонидовичу и его письмами, переписанными Мариной Ивановной в свою тетрадь. Ариадна Эфрон по-цветаевски глубоко и мощно поведала о переписке двух поэтов. Переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака уже не раз публиковалась, наиболее подробно — в 2004 году в книге «Души начинают видеть. Марина Цветаева и Борис Пастернак». Мало кто знал до этого, что и у Сергея Эфрона была своя отдельная (хотя сначала, разумеется, через Марину) очень тёплая и дружеская переписка с Борисом Пастернаком.

В 1927 году Марина Цветаева пишет Пастернаку:

«С места в карьер две просьбы, Борис. Вышли два Года (имеется в виду поэма «Девятьсот пятый год». — Л. К.) — один С., другой Родзевичу. Когда я вчера сказала С., что буду просить у тебя книгу для Родзевича, он оскорблённо сказал: А мне?? А мне (мне) почему-то в голову не пришло, конечно, в первую голову С. <...> всё равно вы судьбой связаны и знаешь, не только из-за меня <...> из-за круга, и людей, и чувствований, словом — все горы братья меж собой. У него к тебе отношение — естественное, сверхъестественное — из глубока большой души. И в этом его: а мне? было

робкое и трогательное негодование: почему мимо него — Родзевичу, когда он так...» (Б. Пастернаку. 1927, конец октября).

Всё же много воды утекло со времени мучительного 1923 года... Тогда в дневниковых записях Марины Цветаевой прозвучало, что Сергей не должен был ни о чём спрашивать её. Конечно, нам, не гениальным поэтам, трудно до конца понять это, видимо, очень глубоко связанное с природой её дара стремление — к «жизни в другом» (человеке). Так, о Борисе Пастернаке она писала, что «годы оглядывалась на него, как на второго себя». Трудно понять, насколько это было ей органически душевно необходимо — как воздух! Может быть (рискуя высказать робкое допущение) приблизиться к пониманию этого, хоть в какой-то, пусть самой отдалённой степени, легче людям со склонностью к эпистолярному жанру...

Как бы то ни было, похоже, что к её переписке с Борисом Пастернаком Сергей Эфрон отнёсся с пониманием, что было совершенно невозможно в ситуации с Родзевичем.

Марина не скрывала своего желания назвать будущего сына Борисом в честь Бориса Пастернака, по поводу имени ребенка в семье шли долгие обсуждения, закончившиеся уступкой Марины желанию мужа — не требованию, как особо подчеркнула она в письме Пастернаку, — назвать сына Георгием. Неизвестно, знал ли Сергей Эфрон, что несколько лет Марина Цветаева и Борис Пастернак мечтали о встрече, одновременно страстно желая и боясь её, что хотели встретиться в Веймаре и вместе работать над переводом «Фауста». Впрочем, летом 1926 года шла горячая, сложная, полная лирики и романтизма переписка уже трёх поэтов, и переписка Марины с Райнером Рильке шла на не менее, если не более пронзительно лиричной волне, чем с Борисом Пастернаком.

Это был её мир, так необходимый её душе, и Сергей Эфрон прочно отстранился, даже не пытаясь вникать во всё это. И конечно, не знал он тональности многих их писем.

Борис Пастернак: «... Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Но и вообще — Вы — возмути-

тельно большой поэт!<...> Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, — Вы. О как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирождённо, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче! <...> Как хочется жизни с Вами ...» (1924, 14 июня).

Марина Цветаева: «Вы всегда со мной. Нет часа за эти 2 года, чтобы я внутренне не окликала Вас. Вами я отыгрываюсь. Моя защита, моё подтверждение, — ясно. <...> Борис, а будет час, когда я Вам положу руки на плечи? (Большого не вижу.) Я помню Вас стоя и высоким. Я не вижу иного жеста, кроме рук на плечи <...> Как глубоко, серьёзно и неспешно разворачивается моя любовь, как стойко, как — непохоже. Встреча через столько-то лет — как в эпосе» (1924, июль).

А в её «выписках из черновой тетради (до Георгия)», как она сама это обозначила, то есть 1923 или 1924 года, можно прочесть:

«Борюшка, я ещё никогда никому из любимых не говорила ты <...>. Я вся на Вы, а с Вами, с тобою это ты неудержимо рвётся <...>. Ты мне насквозь родной, такой же страшно, жутко родной, как я сама, без всякого уюта, как горы. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе)». Неизвестно, было ли это отослано — далеко не все письма её к Борису Леонидовичу сохранились.

И ещё (это уже в письме): «Когда я думаю о жизни с Вами, Борис, я всегда спрашиваю себя: как бы это было? Я приучила свою душу жить за окнами <...> — не допускала её в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или восхитительную птицу. <...> Я в жизни своей отсутствую, меня нет дома. Душа в доме, душа — дома для меня немислимость...» (1925, 14 февраля).

Сергей Эфрон, конечно, не читал всего этого, но, зная Марину, он не мог не догадываться о сильной лирической составляющей их переписки. Относился же он к этому теперь совсем по-другому. Может быть, это потому и стало возможным, что он действительно добился отгораживания своего психологического пространства и стал менее эмоционально зависим от Марины.

В то же время стихи (и особенно — поэмы) Пастернака стали на какое-то время частью их с Мариной общего мира — того

немногого общего, что у них ещё оставалось. Они вслух читают его поэмы, говорят о них между собой и с друзьями.

«... о Шмидте напишу (о поэме «Лейтенант Шмидт». — Л. К.) после чтения его вслух С. Я. и Сувчинскому» (Б. Пастернаку. 1927, начало марта).

«О 1905 г. и мне тебе нынче написал Сувчинский. Вчера Серёжа, доказывая кому-то что-то: “Крупнейшая вещь Бориса Пастернака, т. е. 1905 г.” <...> Ты в нашей семье живёшь как свой» (1927, 20 октября).

Слова из поэмы «Девятьсот пятый год»: «Это было при нас/, Это с нами вошло в поговорку», — для людей, хорошо помнивших те события, звучали по-особому значимо.

«Пользуюсь случаем, чтобы со своей стороны (как один из Ваших читателей) выразить Вам признательность за Ваши последние стихи. Я из тех, кто видел и помнит 1905 г. — Вы воссоздали его живым и правдивым. И люди, и речи, и чувства, и даже погода тех дней — настоящие!», — писал Борису Пастернаку Константин Родзевич в 1927 году.

И далее выражал сожаление, что ему ещё не удалось познакомиться с поэмой целиком (читал лишь отрывки, печатавшиеся в журналах). Видимо, он тогда и попросил Марину добыть ему всю поэму.

Похоже, что всё личное, связанное с Родзевичем, настолько перегорело, что стало возможным поддерживать спокойные дружеские отношения, и даже Сергея Эфрона это больше не трогало.

Некоторые строки поэмы «Девятьсот пятый год», думается, взволновали Сергея Эфрона гораздо более сокровенно, чем просто современника, помнящего эти события:

Это было вчера,
И родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,

Что те лаборантши —
Наши матери
Или
Приятельницы матерей.

И особенно — это:

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождях, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Зная характер и судьбу матери Сергея Эфрона, можно представить, с каким волнением читал он такое.

Борис Пастернак, в отличие от многих, с самого начала глубоко почувствовал место Сергея в жизни Марины, своеобразную незаурядность его личности — и писал ей о нём с особой теплотой:

«Ася называет его Серёжей, и я подружился с этим именем. Все им очарованы, кто знает, и говорят одно хорошее. Мне кажется, что я его за что-то люблю, п. ч. мне как-то от него больно». (1926, 7 июня).

Это чувство укрепилось, когда Борис Леонидович и Сергей Эфрон начали, пусть редко, но сердечно переписываться.

«24 апреля 1930 года.

Мой дорогой Борис Леонидович,

Я знаю, какой удар для Вас смерть Маяковского. Знаю — кем он был для Вас.

Обнимаю Вас крепко со всей любовью и со всей не проявленной дружбой.

Ваш С. Эфрон».

Борис Пастернак иногда писал Сергею Эфрону, фантазируя, воображая их живую встречу:

«Дорогой Сергей Яковлевич!

Сейчас, на этой незаписанной странице, я ищу поддержки у Вас. Утренний час, я захожу за Вами, и не сказавши Марине, мы с Вами бродим по нижеследующим строкам, они лежатся на солнце-пёке, по ним, из пятой в десятую, поют петухи, мы с Вами давно перешли на ты и обходимся без отчеств. Я рассказываю Вам, как глупо и болезненно я устроен, как множеством роковых случайностей намеренно затруднён, заторможен мой шаг. <...> И вот мы бродим с Вами, уходим незаметно за Девичье <...> я легко и отрывисто отвечаю Вам на Ваши рассказы то, что должен был бы Вам сказать облачный кругозор, в ответ на свои слова слышу и от Вас такие же возраженья. Скользят лошади, блещут крыши, мы расходимся, пьяные и осчастливленные, убедаясь ещё раз, что дружба — вещь баснословная и сверхчеловеческая, что другом называется тот, кто одаряет словом воду и воздух и зарядив их этим даром, оставляет потом с тобой...» (1928, 6 марта).

Кроме восхищения талантом Бориса Пастернака (Сергей Эфрон был из немногих в русской эмиграции того времени, кто способен был его оценить), к «живому» общению с ним, точнее к эпистолярному, его тянуло ещё и потому, что Борис Леонидович жил там — в новой России, всё видел своими глазами.

И если внимательно прочесть те письма Бориса Пастернака, где он обращается к Сергею (иногда через Марину, иногда — прямо к нему) или пишет Марине о нём, можно увидеть одну неожиданную вещь: оказывается, мучительно трудный вопрос о возможности и целесообразности возвращения их обоих в Россию на самом деле встал перед Борисом Леонидовичем задолго до их встречи в Париже в 1935 году. Тогда он, как известно, вынужденно, против воли и в очень тяжёлом душевном состоянии приехал в Париж на Конгресс деятелей культуры в защиту мира (и, по горькому выражению Марины Цветаевой, после долгих лет мечтаний состоялась их грустная «встреча-невстреча»).

Об этой «невстрече» хорошо известно — мимо неё не прошёл автор ни одной книги о жизни Марины Цветаевой или Бориса Пастернака. О ней подробно, с эмоциональными комментариями рас-

сказано и в письмах Цветаевой, и в письме Пастернака ей, и в мемуарах людей, слышавших воспоминания Бориса Пастернака много лет спустя, уже после трагической смерти Марины Цветаевой.

Борис Пастернак тогда в Париже не знал, что ей посоветовать. Он не был уверен, что надо отговаривать её от возвращения: мысленно перебирая разные варианты, он действительно допускал возможность улучшения её жизни, жизни всей семьи при переезде в Советскую Россию, но мучительная тревога не отпускала. Пастернак помнил о напряжении страха в том разговоре полунамёками, смысл которых Марина Цветаева, не привыкшая к таким беседам, могла не понять. Он осторожно шепнул во время заседания: «Там холодно! Сплошной сквозняк!»

Известно и о его глубокой депрессии в то время: он даже не нашёл в себе сил заехать к родителям, живущим в Германии, и больше никогда в жизни не увидел их...

Известно резкое письмо Марины Цветаевой к нему после этой «невстречи»:

«Тебя нельзя судить как человека, ибо тогда ты — преступник. Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде — мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймёт — не жди. Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания. Я в этом, *обратное* тебе: я *на себе* поезд повезу, чтобы повидаться...» (1935, октябрь).

В этом цветаевском письме много граней, и оно ещё всплывёт в этой книге (по совсем другому поводу — в главе об Але...). Но сейчас речь о другом.

Сергей Эфрон всё более верил в «светлое завтра», к которому советская страна идёт, по его мнению, трудным, но достойным путём. Он думал, что Борис Пастернак разделяет его энтузиазм в отношении новой России. Так Сергей воспринял и поэму «Девятьсот пятый год», и это звучит в его взволнованном письме Борису Леонидовичу:

«Не знаю, как выразить Вам свою благодарность за книги и ещё более за книгу, и ещё более за надпись. То, что дружба наша родилась в тысячевёрстной разлуке, а во времени — не в сегодня,

не во вчера, а в самом радостном и в самом творческом, что у нас есть — в нашем завтра, более всего утверждает меня в вере в кровность нашего с Вами братства» (1927, 1 декабря).

А Марина Цветаева, совсем по-другому относящаяся к Времени, писала Пастернаку другое:

«Ты мой слух и моё зрение в России. Поскольку будет расширяться их поле — будет расширяться и моё. Это не слепость любви говорит, доверяю тебе мой слух и моё зрение. Увидь и услышь за меня» (1926, 9 апреля).

Такими словами она возложила на него огромную ответственность, и Борис Пастернак принял это.

Его восприятию новой России посвящены многие письма конца 1920-х годов и ей, и Сергею Эфрону. В них прямо, косвенно или в подтексте обсуждается тот же круг вопросов (кажется, ещё никто не взглянул на них с этой точки зрения). Речь там идет о том, как изменились страна и люди, как оценивать эти перемены, какие выводы для себя сделать живущим вдали от родины.

Он мучительно размышлял о судьбе Марины Цветаевой, многие годы это было одной из главных внутренних тем Бориса Пастернака, и он вдохновенно писал ей на своём неповторимом языке:

«Иногда же теперь, в самое последнее время, мне кажется <...>, что моя задача, в которой я ещё не разобрался, чтобы место, где ты столько лет жила с такой силой в виде вдоха и сна и сердечного пробела, первым тебя увидело живою, не только чайной, неповторимой...» (1927, 29 сентября — 1 октября).

И ещё: «Родная моя, любимая Марина, слушай меня <...> Я всё это сделаю, всё это делается постепенно. Всё, задолженное тебе временем, будет заплачено тебе. Ты всё это увидишь. <...> Всё, что в моих силах, я сделаю, чтобы приблизить это время. <...> Умоляю, верь мне, что тебе заживётся легче! <...> Ради этого уже написан 1905-й год. Мы потом поймём, что это было за звено. <...> кому-то и чему-то надо тебя рассудить и примирить с Россией. Как

это будет, в подробностях не вижу. Будет сплошь в случайностях и неожиданностях. И скоро. Опять (я и другие люди) в этом году попробуем двинуть колесо. А дальше оно само пойдёт» (1927, 13 октября).

Об этом, как о своём главном деле сейчас, Борис Пастернак писал и Горькому на Капри: «Если бы Вы меня спросили, что я теперь собираюсь писать, я ответил бы: всё что угодно, что может вырвать это огромное дарованье из тисков ложной и невыносимой судьбы и вернуть его России».

Но вот Марина Цветаева спрашивает, можно ли ей приехать в Россию «в гости»:

«... не жить, Борис, ездить. Нельзя ли было бы — несколько выступлений, совместных, по городам России, ты с Годом, я с русскими стихотворными Молодцем, Егорушкой, кое-чем из После России. Но — важная вещь, Борис, — мне в России нужно немножко заработать, чтобы моё отсутствие не легло фактическим бременем на плечи остающихся. <...> Для этого надо бы устроить в России какую-нибудь мою книгу» (1927, конец октября).

Вопросы свободного человека... Как наивно они звучали в советской России!

И в ответе Пастернака теперь звучат совсем иные ноты, чем прежде:

«Это не так легко устроить, и об этой нелёгкости уже успел сказать Горький <...> вот я допустил, что завтра или через месяц ты получила бы визу. И знаешь, я первый стал бы тебя просить с приездом повременить. Я бы не поручился, что в случае какого-нибудь процесса, ни волоском не имеющего к тебе отношенья, тебя бы не припутали по периферии каких-то третьих лиц и десятых гаданий, как это тут бывает с целым рядом ни в чём не повинных людей. Для меня, в таком случае, оставалась бы облегчающая возможность сесть вместе с тобой <...> но во всяком случае я не могу звать тебя к таким перспективам» (1927, 12 ноября; курс. мой. — Л. К.).

Каким диссонансом должно было прозвучать ей такое... В 1935 году в Париже Борис Пастернак не сказал Марине Цветаевой

этих слов, но ведь они, оказывается, были сказаны в письме ей задолго до этой встречи!

В 1927 году ещё не было того страха, что создал напряжённое молчание в середине 1930-х, и в том же письме, предупреждающем об опасности попыток приехать сейчас, Борис Пастернак не отказывается от надежды на будущее:

«Темы этой оставлять нельзя <...> и чем больше она тут пустит корней, тем они будут разнообразнее, многочисленней и неожиданней».

В 1928 году поэт Павел Антокольский был в Париже с театром Вахтангова. В январе 1929 года Борис Пастернак пишет Марине Цветаевой:

«Отрывочно, от А. (Павла Антокольского. — Л. К.) узнал о героизации наших дел, отличающей С. (Сергея Эфрона. — Л. К.), и о том, как мало мог удовлетворить его в этом смысле А.».

О своём разочаровании этой встречей Сергей Эфрон писал сестре:

«Разговаривал с Павликом. Не говори, конечно, ему об этом, но на меня он произвел впечатление жалкое. Взволнованно ждал встречи с ним, а после встречи было горько. Слабость (...), декадентская допотопная суетливость, какое-то подпольное малокровие» (1928, 20 июля).

Сергей Эфрон, видимо, ещё понятия не имел об опасностях, подстерегающих советских людей, общающихся за границей с эмигрантами, и напряжённое состояние человека, ради старой дружбы всё же решившегося на эту встречу, показалось ему жалкой слабостью.

Борис Пастернак в это время ещё очень диалектично относился к происходящему в стране, и иногда он вольно или невольно укреплял своими письмами склонность Сергея Эфрона к идеализации советской жизни. Он, например, писал Марине:

«Но и вот ещё что она (Россия), и об этом расскажи Серёже. Она ещё — и гость, нынешним вечером являющийся к твоей прислуге, восемнадцатилетней рязанской крестьянке. Он на этом месте у ней впервые. Он земляк её предшественницы и подруги, от нас

пошедшей замуж этим летом. Он с нашей теперешней одного уезда, разных деревень <...> проходя коридором, где её угол, вижу на коленях у нашего гостя “Сестру мою жизнь”. Он вполголоса ей эту чепуху читает. Мы с тобой близкие люди, ты легко вообразишь, что я им говорю, с непринуждённой душой и с радостью за поколение. Но на предложение бросить эту ерунду и взять у меня Толстого он отвечает светлой, осмысленной улыбкой и просьбой дать им, в таком случае — “Девятьсот пятый!”. Оказывается, посидев у ней минуточку-другую, он в числе первых задал ей вопрос о том, у кого она служит. Речь шла о фамилии. И вот, едва Нюра меня назвала, как он сказал ей, кто я и послал её за книгами. Он рабфаковец, т. е. студент рабочего факультета. И — не исключенье. К ней больше ходят, чем к нам, и всё рязанские, и каждый раз либо билет в Художественный, либо ещё что-нибудь. Свежее, проще и счастливее, чем мы в те же годы. Романы же ровные, щадящие, без ложного рыцарства, но с прелестью братства, т. е. подавленного и упрятанного в бережность мужского превосходства. Понимаешь ли ты это, и радуется ли это тебя?» (1927, 24 октября).

Понимала. Радовало. В этом они с Сергеем были на одной волне. И Марина Цветаева откликнулась на это «всею собой»:

«А нынче письмо с Нюрой. Лучше бы мне таких вещей не знать, они с детства разрывают моё сердце. (Далее вспоминает садовника, служившего у её родственницы в Тарусе, свои — шестилетней девочки — беседы с ним о книжках. Прощаясь перед отъездом, она подала ему руку, бабушкины горничные засмеялись. — *Л. К.*) — Да что Вы, барышня, нешто с садовником за руку прощаются? <...> И я, покраснев до слёз, вторично, молча, ожесточённо <...> Так вот все эти Иваны-Царевичи, хлынувшие в Москву, “за книжками” <...>. Вывод? Это — народ. А то — нарост. Одно с другим не путаю. Хотя в Москву, к таким, хочу» (1927, 1 ноября).

«К таким» — хотела. Но слишком многое настораживало её...

«... Борис, Россия так далёко <... > после сегодняшней крестьянки М., учащейся стрелять по портрету Чемберлена —ещё дальше...» (1928, февраль).

Между тем подтекст всех рассказов Бориса Леонидовича о новой России — в большой степени размышление о возможной участи Марины и её семьи. Она понимает это и, всегда помня и о народе, и о «наросте», остро реагирует и на такое:

«Знаешь ли ты, что сейчас такое Россия? О конечно, больше прежнего это постоянная возможность оказаться за одним столом с осведомителем, с тенью вечной бессовестности, подпущенной под тебя для того, чтобы твою горячую, выдающуюся верность подделать под предательство. Так Россия когда-то заботилась об ограниченном круге. Теперь, с действительной её заботой о миллионах, этот ужас удесятился». (1927, 24 октября).

Это сказано в том же самом письме Пастернака, где и восторженный рассказ о молодых рабфаковцах... Слишком хорошо помнила Цветаева начало такого уродования жизни в «советской, яковинской, маратовой Москве»! Она написала об этом в 1922-м в резком открытом письме Алексею Толстому. Письмо было вызвано публикацией в редактируемом А. Н. Толстым литературном приложении к берлинской газете «Накануне» частного письма к нему К. И. Чуковского.

«Алексей Николаевич!

Передо мной в № 6 приложения к газете “Накануне” письмо к Вам Чуковского. Если бы Вы не редактировали этой газеты, я бы приняла свершившееся за дурную услугу кого-либо из Ваших друзей. Но Вы редактор, и предположение падает. Остаются две возможности: или письмо оглашено Вами по просьбе самого Чуковского, или же Вы это сделали по своей воле и без его ведома.

“В 1919 г. я основал “Дом Искусств”; устроил студию (вместе с Николаем Гумилёвым), устроил публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа, Добужинского, устроил общежитие на 56 человек, библиотеку и т. д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают, — эмигранты, эмигранты! <...> Нет, Толстой, Вы должны

вернуться сюда гордо, с ясной душой. Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись или чувствовали себя виноватым”.

Если Вы оглашаете эти строки по дружбе к Чуковскому (просьбе его) — то поступок Чуковского ясен: не может же он не знать, что “Накануне” продаётся на всех углах Москвы и Петербурга! — Менее ясны Вы, выворачивающий такую помойную яму. Так служить — подводить.

Обратимся к второму случаю: Вы оглашаете письмо вне давления. Но у всякого поступка есть цель. Не вредить же тем, четыре года сряду таскающим на своей спине отнюдь не аллегорические тяжести, вроде совести, неудовлетворенной гражданственности и пр., а просто: сначала мороженую картошку, потом не мороженую, сначала чёрную муку, потом серую...

Перечитываю — и:

“Спасибо Вам за дивный подарок — “Любовь книга золотая” (Пьеса А. Н. Толстого. — Л. К.) — Вы должно быть сами не понимаете, какая это полновесная, породистая, бессмертно-поэтическая вещь. Только Вы один умеете так писать, что и смешно и поэтично. А полновесная вещь — вот как дети бывают удачно-рождённые: поднимешь его, а он — ой, ой какой тяжёлый, три года (?), а такой мясовитый. И глупы все — поэтически, нежно-глупы, восхитительно-глупы. Воображаю, какой успех имеет она на сцене. Пришлите мне рецензии, я переведу их и дам в “Литературные записки” — пускай и Россия знает о Ваших успехах”.

Но желая поделиться радостью с Вашими западными друзьями, Вы могли бы ограничиться этим отрывком. Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, не подозревающий ни о существовании в России Г. П. У. (вчерашее Ч. К.), ни о зависимости всех советских граждан от этого Г. П. У., ни о закрытии “Летописи Дома Литераторов”, ни о многом, многом другом...

Допустите, что одному из названных лиц после 4 1/2 лет “ничего -не -деланья” (от него, кстати, умер и Блок) захочется на волю, — какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануненовское письмо?

Новая Экономическая Политика, которая очевидно является для Вас обетованною землею, меньше всего занята вопросами

этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу.

Алексей Николаевич, есть над личными друзьями, частными письмами, литературными тщеславиями — круговая порука ремесла, круговая порука человечности. За 5 минут до моего отъезда из России (11-го мая сего года) ко мне подходит человек: коммунист, шапочно знакомый, знавший меня только по стихам. — “С вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего”.

Жму руку ему и не жму руки Вам.

Марина Цветаева».

Снова, как всегда (как это было при встрече её с Луначарским, с «коммунистом Заксом», с юным красноармейцем, о котором писала Е. Ланну — об этих сюжетах подробно идёт речь в моей книге «“Безмерность в мире мер” Моя Цветаева) — поверх барьеров — высоко оценивает Марина Цветаева нравственный с общечеловеческой точки зрения поступок «классового противника» и резко осуждает непорядочность человека своего круга.

Правда, Алексей Толстой в то время заявлял о своей приверженности коммунистическим идеалам, но хорошо знающий его Иван Бунин не случайно весьма скептически оценивал уровень искренности подобных деклараций.

Но всё это не так важно для неё: Марина Цветаева недвусмысленно оценивает, независимо от политических взглядов человека, поступки.

Той жизни, о которой гневно напоминает Марина Ивановна в этом письме, Сергей Яковлевич не застал — в отличие от неё, он ни дня не прожил в Советской России до своего отъезда на родину. И насколько радостно было ему читать оптимистическую, обнадеживающую часть письма Пастернака, настолько не хотелось вдумываться в страшное, настораживающее, тревожащее, хотя Борис Леонидович писал и ему не только о светлом.

«Я пишу Вам в состоянии очередного упадка. Были встречи, слышал глупости, видел мерзости, видел одарённых людей, которые преждевременно впадают в детство. Видел вчера новую

кинематографическую картину талантливого режиссёра, автора “Броненосца Потёмкина” на тему “Октябрь”. Режиссёр и оператор рослые, светлые, молодые, хорошо сложенные, достойные люди. Был просмотр для литераторов, для печати. Были лефовцы, были все, для кого сделана картина. По просмотре из зрительного хлынули толпой в другой зал, вроде фойе. По смежности находилась тёмная каморка. В ней скрывались оба автора фильма. В зале толпились люди, похвалы которых были обеспечены. Чёрт их дёрнул, постановщиков, зазвать, кажется, первым меня в эти взволнованно-именинные потёмки. “Вы нам скажете правду, как ещё её услышать”. Они стояли торжествующие, молодые, а приходилось говорить им безнадежные неприятности. Но зато и беспардонна нравственная сторона картины. И это — история?! Всё, что не большевики — пошлая карикатура...» (1928, 6 марта).

Как хотелось Сергею Эфрону думать, что всё мрачное преувеличивается Борисом Леонидовичем по его «интеллигентской» впечатлительности! Слишком жаждала душа его пребывать в состоянии энтузиазма и высокой веры. Слишком много разочарований он пережил, и Россия (теперь новая, советская) стала его последней надеждой.

«Сергей Яковлевич принёс однажды домой газету — просоветскую, разумеется, — где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями; приборы сверкают; посреди каждого стола — горшок с цветами. Я ему говорю: а в тарелках — что? А в головах — что?»

Этот рассказ Марины Ивановны записала в своём дневнике Лидия Корнеевна Чуковская — они встретились в Чистополе в августе 1941 года, буквально за несколько дней до страшного ухода Марины Цветаевой из жизни. Об этой встрече Лидия Корнеевна написала много лет спустя, назвав воспоминание «Предсмертие».

Сергея Эфрона больше не смущает даже та «механизация духа», о которой он с огорчением писал в статье «О путях к России», надеясь «привить к русскому американизму», как он это тогда воспринимал

и называл, духовное содержание — «напитать Достоевским». Но теперь он, по собственному признанию, изменился страшно... Искренне поверив, что за новыми людьми Советской России будущее, Сергей Эфрон, похоже, признал за ними и нравственную правоту во всём и не услышал ни предупреждения в письме Пастернака, ни тревожной сути слов Марины: «А в головах — что?»

А Марина Цветаева после выступления Маяковского в Париже (в том же 1928 году) так ответила на вопросы о впечатлениях её после вечера: «что сила — там». Сила, а не правда...

Перед отъездом за границу в 1922 году она случайно встретила Маяковского и спросила: «Что передать от Вас Европе?» Он ответил (и тогда этот ответ произвёл на неё сильное впечатление): «Что правда — здесь!» В её словах «сила — там» — явная грустная полемика: сила оказалась за неправыми.

Пропась между Мариной Цветаевой и Сергеем Эфроном ширилась. Но пока что она ощущалась как чисто теоретическая пропасть во взглядах.

Во второй половине 1920-х годов желание Сергея Эфрона вернуться на родину всё же было ещё, если можно так выразиться, отвлечённо настроенческим и не определяло его повседневного поведения, во всяком случае далеко не так, как в дальнейшем. Он ещё долго и трудно бился за своё место во Франции, за возможность работы и жизни в кругу гуманитарных интересов и очень радовался, когда что-то получалось. Но газета «Евразия» больше не выходила, журнал «Вёрсты» вышел всего три раза. Францию сотрясал экономический кризис. Эмигрантам труднее было найти работу, чем французам.

Сергей Эфрон не сдавался. И у Марины Цветаевой в начале 1930-х годов ещё оставались надежды, в её письмах на эти темы ощутима общность забот.

«Вчера — двойная радость: Ваше письмо и поздно вечером возвращение Сергея Яковлевича с кинематографического экзамена — выдержал. Готовился он исступленно, а оказалось — легче легкого. По окончании этой школы (Pathe) ему открыты все пути, ибо к сча-

стью связи — есть. Кроме того, он сейчас за рубежом лучший знаток советского кинематографа, у нас вся литература, — присылают друзья из России. А журнальный — статейный — навык у него есть <...> № “Новой Газеты” с его статьей выйдет 15-го, — увидите и если понравится, м. б., дорогая Раиса Николаевна, поможете ему как-нибудь проникнуть в английскую прессу. Тема (советский кинематограф) нова: из русских никто не решается, а иностранцы не могут быть так полно осведомлены из-за незнания языка и малочисленности переводов. Повторяю, у Сергея Яковлевича на руках весь материал, он месяцами ничего другого не читает. Другая статья его принята в сербский журнал (но, увы, вознаграждение нищенское). Может писать: о теории кинематографии вообще, о теории монтажа, различных течениях в советской кинематографии, — о ВСЕМ, ЧТО КАСАЕТСЯ СОВЕТСКОГО и вообще, кинематографа. Но связей в иностранной прессе (кроме Сербии) у нас пока нет. В эту его деятельность (писательскую) я тверже верю, чем в кинооператорство: он отродясь большой человек, сын немолодых и безумно-измученных родителей (когда-нибудь расскажу трагедию их семьи), в 16 лет был туберкулёз, (в 17 лет встреча со мной, могу сказать — его спасшая), — болезнь печени — война — добровольчество — второй взрыв туберкулёза (Галлиполи) — Чехия, нищета, студенчество, наконец, Париж и иступлённая (он иступлённый работник!) работа по Евразийству и редакторству — в прошлом году новый взрыв туберкулёза. В постоянную непрерывную его работу в кинематографе верить трудно — работа трудная, в физически-трудных условиях. Подрабатывать ею — может. Главное же русло, по которому я его направляю, — конечно писательское. Он может стать одним из лучших теоретиков. И идеи, и интерес, и навык. В Чехии он много писал чисто-литературных вещей, некоторые были напечатаны. Хорошие вещи. Будь он в России — непременно был бы писателем. Прозаику (и человеку его склада, сильно общественного и идейного) нужен круг и почва: то, чего здесь нет и не может быть». (Р. Ломоносовой. 1931, 11 марта).

Но проходит несколько месяцев, и...

«Сергей Яковлевич тщетно обивает пороги всех кинематографических предприятий — КРИЗИС — и французы-профессионалы

сидят без дела. А на завод он не может, да и не возьмут, ибо только-только хватает сил на “нормальный день”, устаёт от всего. Сейчас он совсем извёлся от неизвестности, не спит ночей и т. д.» (Р. Лоносовой. 1931, 29 августа).

И в письмах Сергея Эфрона к сестре — подробная хроника надежд и разочарований. Если бы его усилия найти работу по душе не были напрасны! Приходилось браться и за совсем не радующие занятия:

«Утром ездил наниматься в кино на съёмку. Через неделю опять буду сниматься с прыганьем в воду, в Сену...» (Е. Эфрон. 1927, 9 ноября).

На этом фоне учёба на курсах кинооператоров показалась прорывом к лучшей жизни:

«Продолжаю работать у Патэ. Кое-что уже умею делать (проявлять, печатать в машине и т. д.), но все это пока очень мало. Главное научиться снимать — “крутить”» (Ей же. 1931, 2 января).

«Вчера сдал письменный экзамен у Патэ. В понедельник держу устный. Кроме того, начинаю брать частные уроки кручения. Но продвигаться здесь в моем возрасте в роли оператора ужасно трудно. Французы страшные националисты, и каждый иностранец для них бельмо на глазу. Поэтому одновременно пишу о кино. Три статьи моих уже напечатаны. Две о кинофикации СССР (большие), одна — о главных режиссерских течениях в советском кино (небольшая) — но последнюю тему буду развивать в дальнейших статьях» (Ей же. 1931, 12 февраля).

«Спасибо родная за книжки! Спасибо! Всё присланное — в самую точку. Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум — «Поэтика Кино» — очень нужны. Кроме того — кино-журналы, чтобы быть в курсе новых постановок. Я сейчас получил заведывание кино-отделом одной литературной газеты и должен быть в курсе всего. (Ей же. 1931, 12 марта).

«Мои занятия очень продвинулись. Брожу по Парижу с киноаппаратом и “кручу”. Но пока что еще бесплатно. <...> Ну, да ничего, авось вытяну. Очень вредит кризис. Самим французам жрать нечего. Сейчас пока, кроме Патэ, у которого я благополучно сдал

все испытания, работаю в только что образовавшемся французском кинематографическом обществе. Люди все очень милые и сулят всякие приятные вещи, но боюсь, что водят за нос. Прок от этого общества тот, что понемногу обретаю практический опыт» (Ей же. 1931, 28 марта).

«Ты спрашиваешь, как мои дела. Должен сознаться, что хуже нельзя. Кризис (ужасающий и со дня на день растущий) и мои советские взгляды сделали то, что я вот уже год не могу найти заработка. Что будет дальше — думать страшно. Живем изо дня в день, каким-то образом выворачиваемся. Но боюсь, что и выворачиванию придет конец (Ей же. 1931, 18 сентября).

«Я очень долго был совсем без работы. С месяц как раздобыл место у одного американского изобретателя нового строительного материала (вид картона). Работа, как видишь, совсем не по моей специальности — но не скучная, и на том спасибо. Пока получаю совсем мало (200 fr. в неделю), а работаю до 8 ч. вечера. Придя домой — валюсь в постель, так что жизни совсем не вижу. Во Франции такая поголовная безработица, что выбирать сейчас не приходится — хватай, что дают, чтобы не сдохнуть с голода. В первую очередь, конечно, страдают иностранцы, которых отовсюду гонят. Если у американца дело пойдёт — мне обеспечен на долгое время хлеб и приличный заработок. Кино-продукция здесь тоже при последнем издыхании. Общество за обществом летят в трубу. Пока что вся моя прошлогодняя работа пропала даром. Ограничиваюсь тем, что стараюсь не отстать от передовой кинолитературы. И это очень трудно — совершенно нет досуга. Мы живём плохо. Но и это плохое на фоне общей нужды может показаться удачей. Самое горькое для меня — отсутствие людей, среды, какая-то подвальная жизнь, когда приходится все силы напрягать, чтобы в одиночку продержаться» (Ей же. 1931).

В письмах Марины Цветаевой об этой его работе сказано:

«С. Я. фабрикует картон для домов: тепло-хладозвуко-непроницаемый. (Этот картон — почему-то из стекла. Изобретение не его. Он — только руки). (С. Андрониковой-Гальперн. 1931, 17 ноября).

«С. Я. служит, но службу выселили с квартиры. <...>. Серёжа спасал динамо-машину и материалы. Потому временно не платят, но потом, кажется, опять будут (200 франков в неделю), больше у нас нет ничего...» (Ей же. 1931, конец ноября — начало декабря).

Такая жизнь всё больше изматывала и нервно, и физически, и всё острее задыхался Сергей Эфрон вдали от России, где, по его глубокому убеждению, он нашёл бы своё место и смог бы работать в своей сфере. Тоска Сергея Эфрона по родине не была совсем чуждой Марине Цветаевой, но теперь она твёрдо сказала себе: «Той России — нету!»

СТРАНА

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны на карте —
Нет, в пространстве — нет.

Выпита как с блюда, —
Донышко блестит.
Можно ли вернуться
В дом, который — срыт?

Заново родися —
В новую страну!
Ну-ка, воротися
На спину коню

Сбросившему! Кости
Целы-то — хотя?
Эдакому гостю
Булочник — ломтя

Ломаного, плотник —
Гроба не продаст!
Той её — *несчётных*
Вёрст, *небесных* царств,

Той, где на монетах —
Молодость моя,
Той России — нету.
— Как и той меня.

Конец июня 1931

Диалог Марины Цветаевой и Сергея Эфрона о происходящем в советской России, пусть не всегда впрямую звучавший, хотя и открытые споры происходили достаточно часто, напряжённо пульсирующий и во многом теперь определяющий атмосферу их жизни, постепенно превращался в непримиримый спор.

«Чем дальше, тем больше завидую тому, что ты живёшь в Москве. С моими теперешними взглядами жить здесь довольно нелепо» (Е. Эфрон. 1929, 17 мая).

Однажды в письме к сестре Сергей Эфрон описал повторяющийся сон, мучающий его после острых приступов вечерней ностальгии:

«Далеко, далеко, словно «на том свету», в доме № 16 — в Мерзляковском переулке — ты. Живая, во плоти, настоящая, а не призрачная, какой встаёшь из писем. Москва, Мерзляковский — ты — это не три тысячи вёрст, нас разделяющих, а девять лет (!!!) жизни. И конечно именно эти девять лет главное, и ты о них ничего не знаешь. Вот сейчас бы шагнуть тысячевёрстным шагом и войти неожиданным гостем в твою комнату. Я часто вечерами, засыпая, представляю себе <...> нашу неожиданную встречу. <...> Бывает и другой сон. Я брожу по Москве — к тебе пробираюсь. Кривыми переулками, проходными дворами, под всевозможными личинами. И попадаю всё не туда. То квартира не та, то от злых людей удираю. Тороплюсь, тороплюсь, а душная тревога растёт. И кончается всегда плохо». (1926, лето).

Не услышал он грозного предостережения Судьбы!

И принял роковое решение:

«У меня к тебе спешное и серьёзное дело. Я подал прошение о советском гражданстве. Мне необходима поддержка моего ходатайства в ЦИКе. Немедля сделай всё, чтобы найти Закса, и попроси его от моего имени помочь мне. Передай ему, что обращаюсь

к нему с этой просьбой с лёгким сердцем, как к своему человеку и единомышленнику. Что в течение пяти последних лет я открыто и печатно высказывал свои взгляды, и это даёт мне право так же открыто просить о гражданстве. Что в моей честности и совершенной искренности он может не сомневаться. Моё прошение пошло из Парижа 24 июня. Следовательно, нужно очень торопиться». (Е. Эфрон. 1931, 29 июня).

Случаен ли тот факт, что стихотворение Марины Цветаевой «Страна» написано именно в 1931 году? Не было ли это, кроме полемики с идеями и настроениями многих эмигрантов из России, выстраданным ответом её и на решение Сергея?

Всё сильнее овладевает душой Сергея Эфрона ощущение безнадёжности всех усилий, невозможности для него достойного жизнеустройства в эмиграции.

«Мне здесь с каждым днём всё труднее и отвратительнее. Я стеснялся по своей работе — здесь же не работаю и не живу, а маюсь изо дня в день. Единственное, чем жив — мечтою о переезде...» (Е. Эфрон. 1932, 25 июня).

Сергей Эфрон хорошо знал, что похоже обстояли дела у многих русских эмигрантов. Когда возник Союз Возвращения на Родину, где он стал активно работать, он помогал им вернуться в СССР, искренне надеясь, что они едут в жизнь несравненно лучшую, чем та, которой так долго жили за границей. Сам он уже отринул сомнения.

В письме А. Тесковой Марина пишет, что Сергей теперь живёт «надеждой на возобновление (журнала — *Л. К.*) — и любовью к России». Но надежда на возобновление не оправдалась, а любовь к России...

Сергей Эфрон жил ею с давних лет. Ещё в 1917 году он писал из Москвы в Крым Максимилиану Волошину:

«Я сейчас так болен Россией, так оскорблён за неё <...>. Только теперь почувствовал, до чего Россия крепка во мне <...> С очень многими не могу говорить».

Но как изменилась эта любовь! Теперь он убеждён, что многие участники Белого движения совершили трагическую ошибку, что сей-

час болеющий за Россию должен понять ВЕЛИЧИЕ совершающегося там строительства новой жизни и стремиться принять в этом участие.

С Мариной они теперь и мыслят, и чувствуют уже совсем по-разному. Сергей Эфрон и сам знает, насколько изменился.

«Я всё пугаюсь, когда встречаю людей после очень длительной разлуки. Они всё те же, а я изменился страшно. Они же говорят со мною, как с прежним, и конечно, разочаровываются» (Е. Эфрон. 1931, 28 сентября).

«Думаю, что увидав меня, ты порядком разочаруешься — не только потому, что я начал быстро стареть. А потому, что от прежнего меня ни крупинки не осталось». (Ей же. 1932, 25 июня).

Марину Цветаеву это приводит в ужас. Много раз в письмах разным людям возвращается она к больной теме:

«Сергей Яковлевич совсем ушёл в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет» (А. Тесковой. 1932, 16 октября).

«Встретила я чудесного одинокого мальчика (17 лет), только что потерявшего боготворимую мать и погодка-брата. Я когда выходила замуж, была (впрочем, отродясь) человеком сложившимся, он — нет, и вот, за эти двадцать лет непрерывного складывания, сложился в другое, часто — неузнаваемое <...> Серёжа рвётся в Россию, хочет быть новым человеком, всё то — принял, и только этим живёт, и меня тянет, а я не хочу и не могу...» (Наталье Гайдукевич. 1934).

«Он без газеты жить не может, я в доме и в мире, где главное действующее лицо — газета — жить не могу. Я совершенно вне событий, он — целиком в них <...> дело не в политике, а в “новом человеке” — бесчеловечном, полумашине — полуобезьяне — полубаране» (Ей же. 1934).

Всё это объясняет тот накал сарказма и гнева, с каким написано стихотворение «Читатели газет».

Ползёт подземный змей,
Ползёт, везёт людей.
И каждый — со своей
Газетой (со своей
Экземой!) Жвачный тик,

Газетный костоед.
Жеватели мастик,
Читатели газет.
Кто — чтец? Старик? Атлет?
Солдат? — Ни чёрт, ни лиц,
Ни лет. Скелет — раз нет
Лица: газетный лист!
Которым — весь Париж
С лба до пупа одет.
Брось, девушка!
Родишь —
Читателя газет.
Кача — “живёт с сестрой” —
ются — “убил отца!” —
Качаются — тщетой
Накачиваются.
Что для таких господ —
Закат или рассвет?
Глотатели пустот,
Читатели газет!
Газет — читай: клевет,
Газет — читай: растрат.
Что ни столбец — навет,
Что ни абзац — отврат...
О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!
— Пошёл! Пропал! Исчез!
Стар материнский страх.
Мать! Гуттенбергов *пресс*
Страшней, чем Шварцев *прах*!
Уж лучше на погост, —
Чем в гнойный лазарет

Чесателей корост,
Читателей газет!
Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет?
Смесители кровей,
Писатели газет!
Вот, други, — и куда
Сильней, чем в сих строках! —
Что́ думаю, когда
С рукописью в руках
Стою перед лицом
— Пустее места — нет! —
Так значит — *нелицом*
Редактора газет —
ной нечисти.

Ванв, 1—15 ноября 1935

Ещё в 1919 году Марина Цветаева написала:

О души бессмертный дар!
Слёзный след жемчужный!
Бедный, бедный мой товар,
Никому не нужный!

Маленькая Аля тогда воскликнула: «Мне нужный!» Теперь этот мотив звучит ещё горестнее:

«Нас тех — нет. Всё сгорело дотла, затонуло до дна. Что есть — есть внутри: Вас, меня, Аси, ещё нескольких. Не смейтесь, но мы ведь, правда — последние могикане. И презрительным коммунистическим “ПЕРЕЖИТКОМ” я горжусь. Я счастлива, что я пережиток, ибо всё это — переживёт и меня (и их!)» (В. Буниной. 1933, 19 августа).

И в 1934-м: «... я — новый мир во всех его проявлениях ненавижу, я на него иду, а не он на меня» (Н. Гайдукевич).

Цветаева не может и не хочет смириться с идеями, культивируемыми «новыми людьми»: забвением, сбрасыванием культуры прошлого с корабля современности, отказом от себя прежних, от

своих прежних позиций... Именно к такому отказу пришёл Сергей Эфрон, и она настойчиво напоминает — не может позволить забыть! — не только ему, конечно, но в глубинном подтексте, может быть, прежде и больше всего именно ему — всё, что было важно и дорого им обоим прежде. Это очень болевой её мотив.

«Вот я полгода писала Перекоп (поэму гражданской войны) — никто не берёт, правым — лева по форме, левым — права по содержанию» (А. Тесковой. 1929).

Поэму «Перекоп» Марина Цветаева писала, перечитывая дневники Сергея Эфрона — те старые тетрадки, где он описывал всё, что видел и переживал в те годы. И делал он это во многом для неё — чтобы она знала всё, что происходило с ним в годы разлуки. (Об этом Сергей писал Марине в первом после четырёх лет неизвестности друг о друге письме). В одной из его тетрадей подробно описано перекопское «сидение» и решающее сражение в мае 1920 года. Цветаева пишет поэму, опираясь на факты (некоторые сцены и диалоги почти буквально воспроизводят текст Эфрона).

А самому Сергею Эфрону уже неприятно вспоминать всё это. Он писал сестре:

«Я от очень многого отошёл и многое вижу в новом свете» (Е. Эфрон. 1926, конец августа — начало сентября).

Сейчас ему ещё более чуждо то настроение, в каком он вёл дневники:

«Шлю тебе свои воспоминания, но с тяжёлым сердцем. Я их терпеть не могу. После этого ведь было напечатано и другое (Ей же. 1931, 12 марта).

А Марина Цветаева продолжает остро ощущать свой долг перед памятью погибших добровольцев, перед памятью живых, оставшихся верными своей юности. Долг — потому что никто, кроме неё, не сможет этого сделать. Почти никто не поддерживал её в этом замысле, даже участники сражения на Перекопе.

Они были сдержанны: когда Марина Ивановна попыталась встретиться с некоторыми из них, чтобы, как всегда при подготовке к «большой вещи», расспросить о подробностях (вопросы были

давно продуманы), ни одна встреча так и не состоялась, все отказывались, приводя разные объяснения.

Одно такое объяснение Марина Цветаева с грустным юмором описала в письме к Анне Тесковой: бывшие бойцы Белой армии всю неделю тяжело, чуть ли не по 12 часов, работают на заводе, приходят домой очень поздно, уставшие, а в выходной, в единственный день отдыха — «мы пьём, а так как при Вас это будет неловко, — у нас пропадёт день!» «Письмо храню», — добавляет она.

«Через десять лет — забудут!» — сказал кто-то из её оппонентов.

«Через двести — вспомнят!» — горячо ответила Марина Цветаева.

Этот диалог стал одним из эпиграфов к поэме «Перекоп».

«... пишу «Перекоп», которого никто не берёт и не возьмёт, потому что для монархистов непонятен словесно, а для эсеров неприемлем внутренне <...> а завтра ещё подыму на себя какую-нибудь гору». (Р. Ломоносовой. 1930, 3 апреля).

И в самом деле, вскоре взваливает на себя новую гору — начинает писать «Поэму о царской семье».

«Беру именно семью, а фон — стихия. Громадная работа. Всё нужно знать, что написано. А написать нужно — раз навсегда, либо вовсе не браться. В России есть люди, которые справились бы с такой темой, — но тема не их, они её любить не могут <...>. Так что я чувствую это на себе, как долг».

Это слова из ответов Марины Цветаевой на вопросы Н. Городецкой, бравшей у нее интервью в 1931 году. Работа огромна, и Цветаева осознаёт всю её сложность.

«Написаны: Последнее Царское — Речная дорога до Тобольска — Тобольск воевод (Ермака, татар, Тобольск до Тобольска, когда еще звался Искер или: Сибирь, отсюда — страна Сибирь). Предстоит: Семья в Тобольске, дорога в Екатеринбург, Екатеринбург — дорога на Рудник Четырех братьев (там жгли). Громадная работа: гора. Радуюсь. Не нужна никому. Здесь не дойдёт из-за “левизны” (“формы”, — кавычки из-за гнусности слов), там — туда просто

не дойдёт, физически, как всё, и больше — меньше — чем все мои книги. “Для потомства?” Нет. Для очистки совести. И ещё от сознания силы: любви и если хотите, — дара. Из любящих только я смогу. Потому и должна». (Р. Ломоносовой. 1930, 1 февраля).

Уезжая в СССР, Марина Цветаева из-за очевидной невозможности взять «Поэму о царской семье» с собой оставила её на хранение во Франции, и поэма пропала во время бомбёжки в годы Второй мировой войны. До нас дошло только несколько небольших отрывков.

Если бы Сергей Эфрон оставался прежним, Марина Цветаева делилась бы с ним этими замыслами, и он заинтересованно и сочувственно слушал бы... Прежде в комнатке Сергея (в студенческом общежитии в Праге) висели фотографии царской семьи, и он вспоминал, что близко видел их всех в 1912 году, в день открытия музея, созданного Иваном Владимировичем Цветаевым, — об этом подробно вспоминает много общавшийся с ним в студенческие годы в Праге Н. Еленёв. Сергей Эфрон сказал Еленёву:

«Насильственная смерть людей, которых вы хотя бы только раз встречали, но не знали, — не отвлечённый факт, не сообщение учебника истории. Участь их трагична».

А сестре Лиле в 1912 году, по свежим впечатлениям, Сергей описывал царскую семью: «Государь и его мать в продолжение целого часа (молебен) стояли в двух шагах от меня. Я очень хорошо изучил их наружность. Государь очень моложав, с голубыми добрыми глазами. Он всё время улыбался. <...> На открытии памятника (Александрю Третьему. — Л. К.) я видел наследника. Хорошенький, худенький, с грустными глазами мальчик. Жаль его» (Е. Эфрон. 1912).

Как любила Марина Цветаева в своём добровольце его любовь к Старому Миру! В 1921 году она писала о своём подвижническом переписывании огромной рукописи С. Волконского «Лавры», объясняя свои лирические мотивы:

«В лице Волконского я люблю Старый Мир, который так любил Серёжа. Эти вёрсты печатных букв точно ведут меня к Серёже» (Е. Ланну. 1921, 16 июня).

Это было в голодной и холодной Москве, а её Серёжа тогда воевал, и была долгая разлука, и о нём долго не было известий. Но теперь...

«Серёжа сейчас этот мир действительно отталкивает, ибо его ещё любит, от него ещё страдает». (В. Буниной. 1934, 24 августа).

Слишком разное у них стало отношение к Времени.

Марина Цветаева начинает писать прозу — «Дом у Старого Пимена». В переписке с Верой Буниной, хорошо помнящей этот дом историка Иловайского и его большой несчастной семьи, она взволнованно вспоминала затонувшее время и прежнюю себя, и была безмерно благодарна за общее погружение в прошлое, в своё детство и Верину юность.

«Милая Вера, Вы мне в эту пору самый родной человек из всех, и это вполне естественно: мы с вами на дне того же Китежа! Кто же захочет жить на дне чужого Китежа? (Только я с наслаждением, на дне любого, на любом дне <...> лишь бы не “жизнь”, или то, что они сейчас так зовут... Так, я весь 1921 г. жила на дне волконского Китежа, переписав ему ВОТ ТАК, ОТ РУКИ, больше тысячи страниц его воспоминаний <...> .Мои живут другим — во времени и с временем...» (Там же).

Речь теперь уже не только о Сергее Яковлевиче, но и о выросшей дочери, живущей на одной волне с отцом, а не с матерью, и даже о восьмилетнем Муре.

И так естественно всплывает в памяти Марины Цветаевой воспоминание о «волконском Китеже» и о своём погружении в него. Но о том, что этот подвижнический труд был тогда внутренне посвящён ею далёкому Сергею Эфрону, в этом письме — ни слова. Слишком больно...

В 1930-е годы Марина Цветаева «воскрешает» многое и многих — Максимилиана Волошина, Андрея Белого, своего отца, семью историка Иловайского, молодую актрису Софью Евгеньевну Голлидэй. И всё это — в напряжённой внутренней полемике с Сергеем Эфроном, который, совершая, может быть, насилие над собой, «этот мир действительно отталкивает».

«Воскрешает» она и его прежнего:

«... приехал из Праги мой муж — после многих лет боёв пражский студент-филолог. Помню особенную усиленную внимательность к нему Белого, внимание к каждому слову <...> — Какой хороший Ваш муж, — говорил он мне потом, — какой выдержанный, стойкий, безукоризненный». («Пленный дух»).

Марина Цветаева осталась навсегда верна тем жизненным ценностям, которые были когда-то их общими. Она пишет об удивительном подарке России — музее изобразительных искусств, в который было вложено столько терпеливого труда её родителей.

«Мать до последней секунды помнила музей и, умирая, последним голосом, из последних легких пожелала отцу счастливого завершения его (да и её!) детища. Думаю, что не одних нас, выросшими, видела она предсмертным оком. Говоря о матери, не могу не упомянуть её отца, моего деда, Александра Даниловича Мейна, ещё до старушкиных тысяч, до клейновского плана, до всякой зримости и осязаемости, в отцовскую мечту — поверившего, его в ней, уже совсем больным, неустанно поддерживавшего и оставившего на музей часть своего состояния. Так что спокойно могу сказать, что по-настоящему заложен был музей в доме моего деда, А. Д. Мейна, в Неопалимовском переулке, на Москве-реке. Все они умерли, и я должна сказать». («Музей Александра III». 1933).

Цветаева думает и хочет напомнить всем о том поколении, «где краше — жил,/кто жарче страдал», о тех вечных ценностях, которыми они отдавали многие годы жизни, силы, здоровье.

Когда-то они с Сергеем оба были на открытии музея Ивана Владимировича. Неужели он всё это забыл? Может быть, в глубине души всё же помнил?

«В каких-то основных линиях: духовности, бескорыстности, отрешённости мы сходимся (он — прекрасный человек)...» (Н. Гайдукевич. 1934).

Это сказано Мариной Цветаевой в одном из самых горьких её писем, и слова эти идут сразу вслед за тяжёлым признанием: «Жизни совершенно врозь».

Прошли те времена, когда она подробно и радостно вникала в занятия Сергея Эфрона, искренне интересуясь ими. Теперь — только вздрагивает в ужасе от мысли, куда его несёт.

Споры в их доме становятся всё острее и болезненнее — речь теперь идёт уже не только о разнице взглядов (хотя, разумеется, и это для людей их породы бесконечно важно), а о реальной жизни семьи.

Марина: «... Не в Россию же мне ехать?! где меня раз (на радостях!) и — два! — укут. Я там не уцелею, ибо негодование — моя страсть (а есть на что!)» (С. Андрониковой-Гальперн. 1931, 7 сентября).

Сергей: «Почти все мои друзья уехали в Сов. Россию. Радуюсь за них и огорчаюсь за себя. Главная задержка — семья, и не так семья в целом, как Марина. С нею ужасно трудно. Прямо не знаю, что и делать» (Е. Эфрон. 1934, 26 августа).

Марина: «Серёжа здесь, паспорта до сих пор нет, чем я глубоко-счастлива <...> я решительно не еду, а это (как ни грызёмся!) после 20 лет совместности — тяжело. А не еду я п. ч. уже раз уехала (Саломея, видели фильм “Je suis un evade” (“Я — беглец”), где каторжанин возвращается на каторгу, — так вот...» (С. Андрониковой-Гальперн. 1933, 12 октября).

Сергей: «Все мои друзья один за другим уезжают, а у меня семья на шее. Вот думаю отправить Алю. Она замечательная рисовальщица. А с Мариной прямо зарез» (Е. Эфрон. 1935, 30 марта).

И снова: «Марина много работает. Мне горько, что из-за меня она здесь. Её место, конечно, там. Но беда в том, что в последнее время у неё появилась какая-то жизнебоязнь. И как вырвать её из этого состояния — ума не приложу!» (Ей же. 1935, 4 декабря).

«Жизнебоязнь» называет он провидческое зрение Марины: она — ЗНАЛА, что ей не выжить в стране, где писатель лишён необходимого ему воздуха, от отсутствия которого задыхался и умер Блок.

«Вот французский писатель Мальро вернулся — в восторге. Марк Львович (Слоним) ему: А — свобода творчества? Тот: О! Сейчас не время... Сколько в мире несправедливостей и престу-

плений совершалось во имя этого сейчас: часа — сего!» (А. Тесковой. 1936, 29 марта).

И ещё: «... Москва превращена в Нью-Йорк: в идеологический Нью-Йорк, — ни пустырей, ни бугров — асфальтовые озера с рупорами громкоговорителей и колоссальными рекламами <...> и главное — я <...> не умеющая не — ответить, я не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я его назвала великим, и если даже велик- это не моё величие, и — м. б. важней всего — ненавижу каждую торжествующую казённую церковь» (Ей же. 1936, 15 февраля).

Ехать в СССР Цветаева не хочет, она не верит, что там ей дадут возможность писать и печататься, и далеко не уверена, что — не арестуют. Где она хотела бы жить?

«В Брюсселе я высмотрела себе окошко (в зарослях сирени и бузины, над оврагом, на старую церковь) — где была бы счастлива. Одна, без людей, без друзей, одна с новой бузиной...» (Ей же. 1936, 7 июня).

Об этом — пронзительная мольба в стихах тех лет.

САД

За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад
На старость лет.

На старость лет,
На старость бед:
Рабочих — лет,
Горбатых — лет...

На старость лет
Собачьих — клад:
Горячих лет —
Прохладный сад...

Для беглеца
Мне сад пошли:

Без ни-лица,
Без ни-души!

Сад: ни шажка!
Сад: ни глазка!
Сад: ни смешка!
Сад: ни свистка!

Без ни-ушка
Мне сад пошли:
Без *ни-душка!*
Без ни-души!

Скажи: довольно мýки — *на́*
Сад — одинокий, как сама.
(Но около и Сам не стань!)
— Сад, одинокий, как ты Сам.

Такой мне сад на старость лет...
— Тот сад? А может быть — тот свет? —
На старость лет моих пошли —
На отпущение души.

1 октября 1934

Однако в письме Анне Тесковой 1936 года звучит очень важное для Цветаевой «но».

«Но не могу уехать от Сергея Яковлевича, который связан с Парижем. В этом всё. Нынче, 5 (18) мая, исполнилось 25 лет с нашей первой встречи — в Коктебеле, у Макса, я только что приехала, он сидел на скамеечке перед морем: всем Чёрным морем! — и ему было 17 лет. Оборот назад — вот закон моей жизни. Как я, при этом, могу быть коммунистом? И — достаточно их без меня. (Скоро весь мир будет! Мы — последние могикиане)...» (Там же).

Всё острее чувствует Марина Цветаева, что, вопреки яростному нежеланию, ехать в СССР всё же придётся:

«... уже сейчас тоска по здешней воле; призрачному состоянию чужестранца, которое я так любила *stranger hear* (чужой здесь)...

состоянию сна или шапки-невидимки...» (А. Тесковой. 1936, 29 марта).

Во многих письмах, в том числе Борису Пастернаку, писала Марина Цветаева о том, что не хочет ехать в Советскую Россию, но...

«Сергея Яковлевича держать здесь дольше не могу — да и не держу — без меня не едет, чего-то выжидает (моего “прозрения”), — не понимая, что я — такой умру. Я бы на его месте: либо — либо. Летом еду. Едете? И я бы, конечно, сказала — да, ибо — не расставаться же. Кроме того, одна я здесь с Муром пропаду. Но он этого на себя не берёт, ждёт, чтобы я добровольно — сожгла корабли (по нему: распустила все паруса)...» (А. Тесковой, там же).

Так она чувствует в середине 1930-х годов — до самого трагического поворота их истории.

Сергей Эфрон действительно очень хотел, чтобы Марина согласилась ехать не обречённо, ощущая это трагедией, а искренне поверив, как он, в «светлое будущее» и страны, и семьи, но думать, что он не едет, «выжидая её прозрения», было наивно. И эта наивность лишний раз подтверждает, что Марина Цветаева не была в курсе его дел. Он просто ещё не получил ни разрешения, ни приказа выехать, а сам в это время уже не мог решать, когда и куда ему ехать, и не мог отказаться, если приказ поступит. И снова и снова продолжались семейные обсуждения...

«Сергей Яковлевич предлагает Тифлис (Рай). — А Вы? — А я — где скажут: я давно перед страной в долгу. Значит — и жить не вместе, ибо я в Москву *не хочу: жуть!* (Детство — юность — Революция — три *разные* Москвы: точно живьём в сон, сны — и *ничто* не похоже! *всё* — неузнаваемо!) Вот — моя личная погудка...» (А. Тесковой. 1936, 29 марта).

Отголоски этой странной идеи — переехать в СССР и поселить Марину в «райских местах», подальше от Москвы — звучат и в одном из последних из-за границы писем Сергея Эфрона к сестре.

«Во всяком случае через год-два перевезем её обратно, только не в Москву, а куда-нибудь на Кавказ» (Е. Эфрон. 1936, 4 декабря).

Но ещё не ясно (похоже, им обоим), фантазии это или реальные планы и возможности. Тон этого письма пока относительно безмятежен.

Но Марина Цветаева чувствует себя всё неудобнее.

«Положение двусмысленное. Нынче, например, читаю на большом вечере эмигрантских поэтов (все парижские, вплоть до развалины Мережковского, когда-то тоже писавшего стихи). А завтра (не знаю — когда) по просьбе своих — на каком-то возвращенческом вечере (NB! те же стихи — и в обоих случаях — безвозмездно) — и может выглядеть некрасивым». (А. Тесковой. 1936, 15 февраля).

«Положение двусмысленное»... Марину Цветаеву почти перестали печатать из-за просоветских симпатий мужа. А в конце 1920-х годов Сергея Эфрона не печатали из-за взглядов жены. Об этом Марина Цветаева писала Р. Ломоносовой.

«Из-за моего интервью <...> в Возрождении (правые) Сергею Яковлевичу отказали в сотрудничестве в одном более или менее левом издании <...>. Раз я его жена — и т. д. Словом, дела семейные!» (1931, 11 марта).

В середине 1930-х годов всё было еще туманно для обоих. Финал наступил неожиданно и резко. Это случилось в 1937 году.

Как случилось, что Сергей Эфрон, не сразу, может быть, осознав это, с какого-то момента перестал принадлежать себе? Довольно подробно размышляет об этом Марк Слоним, и к выводам этого умного и наблюдательного человека стоит, по-моему, прислушаться.

«У него было сильно развито чувство долга, в преданности он мог идти до конца, упорство уживалось в нём с жаждой подвига. Как и многие слабые люди, он искал служения: в молодости служил Марине, потом Белой мечте, затем его захватило евразийство, оно привело его к русскому коммунизму как к исповеданию веры (курс. мой. — Л. К.). Он отдался ему в каком-то фанатическом порыве, в котором соединились патриотизм и большевизм, и готов

был всё принять и стерпеть во имя своего кумира. За него и от него он и погиб» (Марк Слоним. «О Марине Цветаевой»).

Таких людей — честных, взыскующих идеала и правды и жестоко обманутых, показал Ф. М. Достоевский (наряду с холодными циниками, использующими в своих целях подобный идеализм) в пророческом романе «Бесы». В последние годы об этом романе часто говорят и пишут — и в исследовательских работах, и в публицистике, — что он был плохо, поверхностно прочитан российской публикой. Могло ли внимательное чтение романа предостеречь людей и уберечь их от многого страшного, случившегося в российской истории в XX веке? Трагическая судьба Сергея Эфрона (и не его одного) горько перекликается с судьбой некоторых героев романа Достоевского.

Марина Цветаева ещё в московские послереволюционные годы (с 1917 до 1922) умела распознавать «бесовщину» во всех облициях. В её тетрадях того времени часто упоминаются — именно по аналогии с происходящим тогда в России — этот роман и его герои. Могла ли она думать, что её «ангел и воин», её самый родной человек, когда-нибудь будет так ослеплён «бесами», что поверит им, не распознает злодейскую породу?..

«Петруши Верховенские» подстергли Сергея Эфрона, когда в 1931 году он подал в советское посольство в Париже прошение о советском паспорте. От него потребовали доказательств искренней преданности советской власти и искупления белогвардейского прошлого.

Ирма Кудрова, изучив многие труднодоступные источники, в своей книге «Путь комет» впервые подробно рассказала, как это происходило:

«Иностраннный отдел НКВД вербовал тонко и деликатно, неизменно обставляя свои предложения “благороднейшими” целями. <...> Одно из первых опасных предложений было сделано Эфрону неким обаятельно мягким интеллектуалом из числа советских служащих в Париже. Он вдруг предложил помощь в субсидировании какого-нибудь евразийского издания. — “О конечно, без всякого

вмешательства в дела редакции!..”; затем — совсем невинное, даже заманчивое задание: организуй (реорганизуи) “Союз возвращения”! Объедини в нём тех, кто тоже хочет вернуться на родину, — и помоги им, в свою очередь, заслужить доверие...»

Поначалу речь шла о культурной работе в Союзе Возвращения на Родину. Эта культурная миссия вполне соответствовала гуманитарным наклонностям Сергея Эфрона, и он, как всю жизнь, с самоотверженным энтузиазмом принялся за дело.

«Эту зиму у меня была большая нагрузка по культурной работе (журнал, парижские художники и прочее). Удалось объединить ряд виднейших русских художников в Париже в советскую группу и устроить их выставку». (Е. Эфрон. 1936, 31 июля). Журнал, о котором он пишет, — «Наш Союз», пропагандирующий успехи и достижения Советской страны.

Как сообщает Ирма Кудрова, в Союзе Возвращения «и в самом деле велась разнообразнейшая культурная работа. В Латинском квартале Парижа, на улице де Бюсси, в нескольких комнатах второго этажа почти каждый вечер “возвращенцы” собирались то на очередной семинар, то на лекцию, то на занятия в хоровом кружке ...».

Далее И. Кудрова психологически убедительно раскрывает причины очарованности многих эмигрантов далёкой Родиной и причины их ослепления, нежелания (и может быть, неспособности?) увидеть страшную правду.

«Мне, — пишет она, — приходилось встречаться с бывшими “возвращенцами”. Они в один голос рассказывали, каким тёплым домом стал для них “Союз” к середине тридцатых годов <...> здесь отогревались одинокие сердца заброшенных на чужбину людей. Тех, у кого ностальгия заглушала все трезвые и предостерегающие голоса. Тут царила такая дружелюбная и даже весёлая атмосфера, что вечерами ноги сами вели эмигрантов на эту узенькую уютную улочку. Они получали здесь наслаждение уже от самого звука русской речи. В этом пространстве, облучённом доброжелательством и тоской, советские газеты и журналы в мощном содружестве с замечательно талантливыми фильмами (наглядно свидетельствовавшими о торжестве самых справедливых идей

на их родине) неуклонно делали своё дело. «Чапаев», «Путёвка в жизнь», «Семеро смелых», «Весёлые ребята», «Цирк»... А ещё — замечательные перелёты советских лётчиков. А ещё — построенный ДнепрогЭС и Магнитка... Статьи и фотографии о них в советских журналах... Кипучая плодотворная энергия — там, чувство хозяина жизни — там, в то время как здесь, на Западе, гниль и бесперспективность. И ощущение «метека», чужака. Правда, эмигрантская «Иллюстрированная Россия» публиковала фотографии вымерших от голода украинских деревень, статьи в других эмигрантских журналах приводили данные о числе заключённых, погибших на строительстве Беломорского канала. Правда, из России шли сдержанно-кислые письма от ранее уехавших... Но чары любви и веры бронёй закрывали от сомнений русских, истосковавшихся на чужбине. Почти все эмигранты, которых удалось влить в свои ряды советским спецслужбам, вышли из «возвращенцев»».

Интересное воспоминание, подтверждающее, как сильны были у русских эмигрантов «чары любви и веры» и «закрывающая от сомнений» тоска по родине, есть в книге Марии Белкиной «Скрещение судеб»: «... восхищение Али парадами на Красной площади напомнило мне, как в 1945 году я была в Париже на Первом международном женском конгрессе <...> опоздала на просмотр наших фильмов, села где-то в задних рядах и оказалась с молодыми переводчиками, русскими, их отцы эмигрировали. И как раз показывали физкультурный парад на Красной площади. Нам эти парады так набили оскомину, их вечно крутили перед началом сеансов в кино, а эти молодые люди аплодировали, были в восторге, а одна девушка, заплавав, проговорила: “Господи, как я хочу туда!”».

И ещё одно подтверждение этих слов Иры Кудровой прозвучало в интервью Дмитрия Сеземана, литературоведа, переводчика, мемуариста. Супруги Клепинины — мать и отчим Дмитрия Сеземана — жили после возвращения из Франции в Россию в одном доме с семьёй Сергея Эфрона в Болшеве под Москвой. Дмитрий Сеземан вспоминает, как его бабушка, жившая все эти страшные

годы в СССР, в 1935 году ненадолго приехала к ним во Францию с мужем, известным профессором Насоновым, — в Париже ему предстояла сложная операция. Бабушка тогда отговаривала свою дочь — мать Дмитрия, рвущуюся на Родину, — рассказывала об арестах, говорила, что приехавшие из-за границы подвергаются большей опасности, чем «простые советские люди», тоже, впрочем, постоянно живущие под Дамокловым мечом. И на всё это был один ответ: «Мама, ты не понимаешь, как прекрасно то, что строится сейчас в России, какое это великое время...» Мать Д. Сеземана (Н. Клепинина) вернулась на родину и была арестована, как и её муж, как старший сын.

Очень трудно из другого времени постигать мотивы поступков людей тех лет, тем более судить их. Есть что-то глубоко несправедливое в очередном наклеивании ярлыков. Да, Сергея Эфрона завербовали спецслужбы СССР.

Но «что знал он о спецслужбах, вступая на роковую первую ступеньку лестницы, ведущей вниз? — справедливо спрашивает Ирма Кудрова. — И знал ли вообще, на что именно согласился, куда именно вступил? Ибо возможно и то, что поначалу от него вовсе не требовали обряда “вступления”; хватило просто согласия на сотрудничество».

К тому же нельзя забывать, что Сергей Эфрон ни дня не жил в Советском Союзе — он оказался за рубежом сразу по окончании Гражданской войны. Страшно звучит для нашего уха само это слово — «сотрудничество» (в таком контексте). Но в первых заданиях, возможно, ещё не оформляемых как приказы, не было ничего настораживающего. Сначала — культурная миссия. Позднее — борьба с фашизмом.

«С началом гражданской войны в Испании в 1936 году Сергей Яковлевич принимает активнейшее участие в формировании Интернациональных бригад, отправлявшихся на помощь республиканцам. Эмигрантам обещают, что участники войны получают право сразу же вернуться на родину. Эфрон сам рвётся в Испанию, однако ему этого не разрешают...», — пишет Ирма Кудрова.

Испанские события Сергей Эфрон горячо переживал. (Что-то похожее испытала Марина Цветаева, когда фашисты вошли в Чехию).

«Следишь ли за тем, что происходит в Испании? Я переживаю всё это кровно, прямо физически. Ночами спать не могу. Ничего делать не могу. Ни читать, ни писать, ни думать. Это удивительный народ, и его судьба на совести всех нас. И как раз в эти дни судьба его решается». (Е. Эфрон. 1936, сентябрь).

Следующий этап — уже гораздо печальнее и нравственно сомнительнее. Ирма Кудрова пишет:

«В 1936 году его «культурная миссия» по существу прекращается — Сергея Яковлевича бросают на борьбу с международным троцкизмом. Во всяком случае есть подтверждение его участия (может быть, и на ролях организатора) в на шумевшей в ноябре 1936 года истории с похищением архивов Троцкого в Париже. Из парижского отделения Амстердамского международного института социальной истории исчезают несколько (по одной версии — пятнадцать, по другой — около сорока) пакетов, привезённых незадолго до того сыном Троцкого Седовым. Пакеты так и не удалось обнаружить — равно как и исполнителей акции».

Видимо, Сергей Эфрон истово, как вообще было свойственно его натуре, поверил, что «международный троцкизм» — что-то злое, что-то вроде, говоря современным языком, международного терроризма — явления, с которым необходимо бороться; поверил, что эта борьба — благое дело... Он верил уже всему, официально исходящему из СССР. Прежде его энтузиазм всё же сочетался с тонкой психологической наблюдательностью и определённой способностью к анализу (особенно ярко это проявилось в «Записках добровольца»). Теперь же отвращение от эмигрантской жизни и нетерпеливая тяга на родину пересиливают.

Как далеко зашёл он в этом служении «бесам», которых принимал за ангелов? Широкое распространение получила версия об

участии Сергея Эфрона в террористическом акте — убийстве Игнатия Рейсса. Игнатий Рейсс (настоящее имя Ян Порецкий) — бывший сотрудник ГПУ — НКВД, резидент советской разведки. Он стал «невозвращенцем» и написал резкое письмо в Центральный Комитет партии большевиков в Москве. В письме он назвал Сталина преступником, искажившим идеалы революции и социализма. Письмо это, переданное через посольство, было там же вскрыто, и за Рейссом установили слежку. Конечная цель слежки была — ликвидация Игнатия Рейсса. Его труп обнаружили в Лозанне. Он был убит в сентябре 1937 года. Организатором этой акции (по другой версии — исполнителем) назвали Сергея Эфрона. Во Франции на него обрушилась лавина обвинений, высказываемых в самой оскорбительной форме. Скандальные статьи появились во множестве русскоязычных газет. Через десятилетия эта версия была активно подхвачена жаждущими всё новых «сенсационных разоблачений» российскими публицистами. Более полувека спустя после страшной гибели Сергея Эфрона она переключалась во многие книги о Марине Цветаевой.

Впервые услышав эту версию, я не поверила: ещё не зная никаких подробностей, не имея возможности оперировать никакими фактами и потому не имея логичных аргументов, но многое зная о Сергее Эфроне, я была убеждена, что он не мог коварно заманить в ловушку и убить безоружного человека. Руководить такой операцией тоже не мог. Я только беспомощно твердила: «Он не мог этого сделать!»

Какой же радостью стала для меня книга Ирмы Кудровой! Она провела тщательное расследование и убедительно доказала, что Сергей Эфрон не принимал участия в этом деле (как и ни в каком другом деле такого рода). Более того — она доказала, что Сергей был *сознательно* очернён советскими спецслужбами, заинтересованными в том, чтобы скрыть имена истинных организаторов и исполнителей преступления. Эти многоопытные «зубры» НКВД названы в книге Ирмы Кудровой: Борис Афанасьев и Виктор Правдин. Они были выведены из опасной зоны через два дня

после совершения преступления. А Сергей Эфрон получил приказ уехать лишь через месяц. И в течение всего этого времени, как и после его отъезда, его шумно разоблачали во французских газетах. Эта разоблачительная кампания тоже входила в спланированную акцию НКВД.

В 1936 году в СССР было образовано в составе НКВД управление специальных операций. Ирма Кудрова цитирует сказанное Александром Орловым в книге «Тайная история сталинских преступлений»:

«В состав управления входили подвижные группы, укомплектованные террористами и разъезжавшие по разным странам с целью убийства лидеров зарубежных троцкистских партий, а также сотрудников НКВД, отказавшихся вернуться на родину»; «В его задачи входило выполнение за рубежом личных поручений Сталина, которые не могли быть поручены кадровым энкаведистам». Далее Орлов пишет, что «одной из таких групп за полгода до Рейсса был убит в Булонском лесу «невозвращенец» Навашин, в Бельгии — другой «невозвращенец» — Агабеков <...>.

Но в случае с Рейссом всё было сработано слишком уж неаккуратно: впервые полиции удалось арестовать ряд участников убийства, и впервые на допросах были названы имена людей, сотрудничавших с советским посольством в Париже. Этих-то людей и поспешили объявить главными во всей этой грязной истории».

«После вскрытия в посольстве в Париже письма Рейсса начала свою работу специальная оперативная группа НКВД, — продолжает И. Кудрова. — В неё вошли два кадровых террориста НКВД — Борис Афанасьев и Виктор Правдин; с некоторых пор их прикрывало гражданство Монако, паспорта они имели на имена Франсуа Росси и Шарля Мартинья. Кроме них, в группу преследования вошла швейцарская подданная Рената Штейнер, француз Жан-Пьер Дюкоме, а также русские эмигранты, жившие во Франции, — Дмитрий Смиренский и Вадим Кондратьев <...> Трое арестованных “по делу Рейсса” — Штейнер, Смиренский и Дюкоме — вовсе не держались на допросах стойчески и рассказали многое, но все трое решительно отрицали участие Эфрона в “акции”. Однако эти их

утверждения не просочились на страницы взбудораженной прессы. Зато просочилось другое: именно то, что все трое были до лета 37-го года связаны с Сергеем Эфроном и время от времени выполняли его задания. <...>

На сегодняшний день достаточно хорошо известно, что реальное руководство “акцией” осуществлялось не мелкими эмигрантскими “шестёрками”, а лицами самого высокого ранга. Главной фигурой был С. М. Шпигельглас. По его указаниям была сформирована группа преследования исчезнувшего резидента. Помог ли в этом формировании Сергей Эфрон? Только в том смысле, что в составе “вспомогательной группы” были люди, в разное время им завербованные: Кондратьев, Смиренский, Рената Штейнер, Дюкоме. (Только это — реальный факт). <...> Связь С. Эфрона с советским посольством в Париже была широко известна <...>. Теперь показаниями арестованных он оказался скомпрометированным настолько, что уже не представлял интереса для советских спецслужб в Париже. <...>

Почему именно Сергей Эфрон попал в группу высылаемых за пределы Франции сотрудников НКВД? Дело просто: именно его имя назвала в своих самых первых показаниях Рената Штейнер. Назвала как имя человека, который завербовал её для неких особых поручений».

В этом месте я невольно спотыкаюсь. Разумеется, для нашего слуха такие слова, как «завербовал для особых поручений», даже если знаешь, что Сергей Эфрон был сознательно оклеветан и затем долгие годы несправедливо обвиняем в убийстве Игнатия Рейсса, сами по себе звучат достаточно компрометирующе. Но трудно — почти невозможно сейчас вчувствоваться в его (и далеко не одного его) психологическое состояние — состояние человека, гордо ощущающего себя честным, преданным Родине советским разведчиком. Он верил в то, что занимается трудным, опасным, благородным делом (например, борьбой с «международным троцкизмом»), помогая окружённой врагами стране. Он и на допросе в НКВД, когда в 1939 году был в СССР арестован и обвинён в предательстве — в работе на французскую разведку, стойко держался и говорил, что

шпионом никогда не был — был честным советским разведчиком. А до этого, потрясённый арестом дочери, — это случилось за два месяца до его ареста — добился на Лубянке приёма у высокого начальства, где со страстным возмущением говорил, что никакая разведка в мире так бы не поступила...

Впрочем, так ли уж непонятна нам эта психология? Если вспомнить фильмы о героях-разведчиках, о Рихарде Зорге, например, разве не вызывали эти герои наше искреннее уважение, восхищение даже? Можно, конечно, сказать, что те разведчики работали в чужих странах в окружении врагов своей страны, но в том и состоит трагедия Сергея Эфрона и многих его единомышленников, из идейных побуждений согласившихся на эту сомнительную деятельность, что в их незаметно исказившемся сознании стали восприниматься как враги страны люди, не согласные со сталинским режимом.

Режим этот слепо идеализировался друзьями Сергея Эфрона и им самим — об этом вспоминают и Алексей Эйсер, и Дмитрий Сеземан. Сеземан рисует в своих воспоминаниях такую колоритную картину: на кухне в парижской квартире его родителей собрались «возвращенцы», они с восторгом слушают Эйснера, который читает передовую статью из советской газеты о встрече Сталина с шахтёрами.

И всё же нельзя не признать, что есть разница между на всё готовым циником и человеком запутавшимся, поверившим людям, которым нельзя было верить, но не утратившим сознания ценности человеческой жизни. Не все способны переступить эту черту.

Поистине титаническая работа, проделанная Ирмой Кудровой, явно доказывает, что эта черта в сознании Сергея Эфрона не была переступлена. Впервые обнародованные в её книге новые факты «взрывают» обвиняющую его версию:

«На самом деле подлинные убийцы скрылись почти сразу после совершения убийства. Уже в 1996 г. важную подробность сообщила мне дочь советского резидента в Риме (в 30-е годы) Инна Рубина. Вместе с отцом она возвращалась в СССР пароходом, уходившим из того же Гавра, то было самое начало сентября 1937 года. Она

узнала на палубе двух людей, которых не раз встречала раньше у отца: С. М. Шпигельгласа и Гертруду Шильбах. Их участие в убийстве Рейсса теперь неоднократно подтверждено: она находилась непосредственно в той машине, где был застрелен Рейсс. Легко предположить, что тем же пароходом возвращались другие непосредственные участники “лозаннской акции”, “зубры” НКВД — Борис Афанасьев и Виктор Правдин. То есть они были вывезены из опасной зоны буквально через 2—3 дня после совершения убийства, а не через месяц с лишним, как Эфрон.

Кстати, и французская полиция вовсе не собиралась обвинять Сергея Эфрона в причастности к убийству. Когда после его бегства Марину Цветаеву вызывали на допрос (и продержали в участке целый день), один из полицейских чиновников сказал ей, что они хотели вызвать Эфрона только как свидетеля по этому делу (знакового с участниками). Но тот факт, что он, вынужденно подчинившись коварному приказу, скрылся (только этот факт!), возбудил подозрения. Внезапное исчезновение С. Э. встречено в эмигрантской прессе однозначно: сбежал — значит, виноват.

Газета “Возрождение” (29 окт. 1937 г.) уверенно писала: “Ныне есть все основания предполагать, что между ним и Скоблиным (обвинявшимся в участии в похищении генерала Миллера) существовала определённая связь, и что Эфрон по поручению ГПУ принимал участие в «мерах по ликвидации нежелательных элементов»». Его имя (в таком контексте) замелькало в «Возрождении» и в «Последних Новостях». Но всё это, как справедливо пишет Ирма Кудрова, «предположения и догадки, а не факты. Подтверждающих фактов нет. Однако версию приняли как неопровержимую. Побег С. Э. вполне устраивал и французскую полицию. Дело, которым она и так занималась крайне неохотно, не желая портить отношения с СССР, теперь могло считаться законченным, — во всяком случае на стадии поисков виновных. Можно было утверждать, что убийцы обнаружены, но <...> скрылись».

Из всего этого следует, что Сергея Эфрона цинично, не вводя в курс дела, использовали для прикрытия настоящих убийц. В своей

книге Ирма Кудрова приводит цитату из книги Павла Судоплатова, бывшего начальника Четвёртого управления НКВД, — «Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля»:

«Слухи о том, что Сергей Эфрон, муж знаменитой русской поэтессы Марины Цветаевой, участвовал в передаче Рейсса в руки НКВД, являются чистым вымыслом. Эфрон, работавший на НКВД в Париже, не располагал никакими сведениями о местонахождении Рейсса. Ликвидация Рейсса была выполнена двумя агентами: болгаринном (нашим нелегалом) Афанасьевым и его шурином Правдиным в Швейцарии».

Мне приходилось слышать сомнения в правомерности доверия к утверждениям П. Судоплатова, который сам достаточно «замаран» в сомнительных акциях Четвёртого управления НКВД, однако он называет имена реальных участников Лозаннской акции, и не было ни одной попытки опровергнуть это.

«Судоплатов знал прямых убийц лично, — комментирует Ирма Кудрова. — Он встретился с ними в Москве сразу же после свершения «акции». Афанасьев, по сведениям Судоплатова, прослужил в разведке до 1953 года, а Правдин был устроен в Издательство иностранной литературы, где и проработал до смерти в 70-м году».

Итак, опытных вершителей кровавых акций берегли для дальнейшего: они не были арестованы, не подвергались пыткам и мучительным допросам. Всё это было проделано с другими людьми, целенаправленно оклеветанными. Режиссёры и организаторы, как и умелые исполнители кровавых убийств, часто бывают заинтересованы в том, чтобы свою вину, которую они и виной-то не считают, переложить на тех, на чьих руках нет крови. Это делается с расчетливым цинизмом — как в той сцене «Бесов», где Верховенский вынуждает ни к чему не причастного Кириллова, осудившего бесчестное убийство Шатова, взять на себя вину.

Похоже, что в истории Сергея Эфрона «бесам» удалось одержать победу. Их клевета уже много лет подхватывается как нечто несомненное. Продолжая повторять её, мы продолжаем находиться

под действием «морока», ими насылаемого, укрепляем их в циничной уверенности, что они всегда смогут достигать своих целей, манипулируя нашим сознанием.

Марина Цветаева ни на минуту не усомнилась в том, что на кровавое дело, на убийство беззащитного человека Сергей Яковлевич не способен. Она подробно ответила на полное тревожных сомнений письмо Анны Тесковой, взволнованной шумными газетными «обличениями»:

«Отвечаю сразу: «Сергей Яковлевич не при чём: так, как он жил с нами этим летом на море, мог жить только человек с спокойной совестью, а он — живая совесть. (...) я его знаю с 5-го мая 1911г., то есть — 26 лет. Полиция мне в конце допроса, длившегося с утра до позднего вечера, сказала: — если бы он был здесь, он бы остался на свободе, — он нам необходим только как звено дознания. Это у следователя, изведённого за долгий день не меньше меня (...) вырвалось. (...) Словом, дорогая Анна Антоновна, будьте совершенно спокойны: ни в чём низком, недостойном, бесчеловечном он не участвовал. Вы помните его глаза? С такими глазами умирают, а не убивают. Над ним ещё в армии смеялись, что всех спасает от расстрела. Он весь — свои глаза» (17-го ноября 1937г).

И Анна Тескова написала своему другу — известному литературному критику Альфреду Бему:

«Цветаева прислала большое письмо, которое меня порадовало её прекрасным и честным отношением к мужу; из письма ясно, что он не имеет ничего общего с этим безобразным делом и остаётся прежним добрым человеком, как мы привыкли видеть его (если он ещё в живых, конечно!)...» (1 декабря 1937 г.)

Газетная клевета всё ширилась, и это было непреходящей болью Марины Цветаевой. Она писала об этом и другим своим друзьям

«... совершенно разбита событиями, которые — беда, а не вина»; «что бы Вы о моём муже ни слышали и ни читали дурного — не верьте». (Ариадне Берг. 1937, 26 октября).

Только ли к конкретным адресатам писем обращены эти пронзительные слова?..

После того как нити следствия по делу об убийстве Рейсса привели к парижскому Союзу Возвращения на Родину, Сергей Эфрон окончательно оказался в капкане. На самом деле это началось гораздо раньше — с того момента, когда он впервые согласился принять помощь «обаятельного интеллектуала» из советского посольства в субсидировании одного из евразийских изданий, — но явным для него это стало только сейчас.

Перед отъездом он виделся с Верой Трэйл, давней приятельницей, дочерью известного в России политического деятеля, министра Временного правительства А. И. Гучкова. Вера тоже была завербована органами НКВД. Ей запомнился подавленный, растерянный, потрясённый вид Сергея Эфрона и его слова: «Меня запутали в грязное дело». (Эти важные слова стали известны тоже благодаря Ирме Кудровой — в 70-е годы она переписывалась с Верой Трэйл, в одном из писем рассказавшей ей о своём последнем разговоре с Сергеем Эфроном). Это свидетельство, думается, психологически очень достоверно — узнаваема сама интонация Сергея Эфрона, знакомая по многим его письмам. Растерянность и потрясение здесь явно связаны не только и не столько с естественным в такой ситуации страхом за свою дальнейшую судьбу, за судьбу семьи, сколько с ужасом от впервые, видимо, открывшихся ему методов работы учреждения, в капкан которого он попал. Он был потрясён...

И здесь снова приходится сказать: из нашего времени, когда стало так много известно о методах работы ЧК — НКВД — КГБ — очень трудно поверить, что человек, связавший себя, пусть сначала бессознательно, с этими органами, мог не представлять себе всей правды. Нельзя, однако, забывать, что Сергей Эфрон уже много лет жил за границей и не знал о деятельности этих органов внутри страны, «слухам» — не верил. Да и в стране тогда не так много об этом знали. Кроме того, многие знавшие Эфрона подчёркивают, что он был очень доверчив и простодушен (и потому, кстати, не слишком пригоден для деятельности разведчика). Да, Сергей Эфрон несколько раз участвовал в организации слежки за кем-то, но он верил в чистоту целей людей, привлёкших его «к работе на благо родины». И не допускал мысли, что целью этих слежек может быть убийство.

«Меня запутали в грязное дело...» — эти слова как бы завершают эмигрантский период жизни Сергея Эфрона. В это время он уже почти не писал писем. И хотя сказаны эти слова в состоянии тяжёлой растерянности и крайнего отчаяния, когда человек не в силах анализировать происшедшее, объективно они относятся не только к конкретному породившему их поводу, но звучат как горькое подведение итогов всех последних лет его жизни.

Я сказала — «не писал писем». Но одно волнующее письмо его, точнее короткая записка, сохранилась. Она приводится в книге Ирмы Кудровой. Осенью 1937 года Марина Ивановна и Мур проводили Сергея Яковлевича с помощью друзей (на их машине) до Гавра, и он выскочил из машины, не доезжая до порта. Вернувшись, они нашли подарок, заботливо приготовленный Сергеем для Марины — накануне ей исполнилось сорок пять лет — и записку:

«Мариночка, Мурзил, обнимаю вас тысячу раз. Мариночка, эти дни с вами — самое значительное, что было у нас с вами. Вы мне столько дали, что и выразить невозможно. Подарок на рождение!!! Мурзил — помогай маме». И вместо подписи — рисунок — голова льва. («Лев» — шутовское домашнее прозвище Сергея).

Так — поверх всех разлучающих барьеров — в этих трагических обстоятельствах вновь зазвучал почти замолкший, в далёкой юности начатый диалог.

Все, кто видел Марину Цветаеву в то тяжёлое время, говорят о незыблемой её преданности мужу и о том, как страшно эти события надломили её.

«... всё, что ей пришлось пережить этой страшной осенью, надломило М. И., в ней что-то надорвалось. Когда я встретил её в октябре у Лебедевых, на ней лица не было, я был поражён, как она сразу постарела <...>. Я обнял её, и она вдруг заплакала, я в первый раз видел её плачущей...», — писал Марк Слоним.

И. Фондаминский, давний приятель и сотрудник Сергея Яковлевича по издательским делам (периода «Вёрст» и «Евразии»), прибежал к Марине Ивановне, увидев в газетах имена С. Эфрона

и её в таком страшном контексте. Она была в отчаянии и без конца повторяла одно и то же: «этого не может быть».

После страшной осени 1937 года именно это с новой силой зазвучало в письмах Марины Цветаевой: если в прежних её письмах 1930-х годов часто ощутима боль от его ослепления, то теперь, после свершившегося несчастья, всё вытеснило жгучее страдание за него, за его так страшно обманутое доверие, и потребность защитить родного человека от клеветы. Она пересказала во многих личных письмах свой ответ на допросе во французской полиции:

«Он самый честный, самый благородный, самый человечный человек. Его доверие могло быть обмануто. Моё к нему — никогда». (А. Берг. 1937, 26 октября).

Жизнь спустя, Алексей Эйсер, близкий друг Сергея Эфрона, с глубоким раскаянием писал:

«Я чувствую себя страшно виноватым перед Мариной Ивановной <...> в том, что мы, её ближайшее окружение, друзья Сергея Эфрона, все в это время устремившиеся сюда (я был там самым молодым, а остальные — белые офицеры с разным уровнем образования), считали, что она, конечно, поэт гениальный, но в политике ничего не понимает. Мне надо было пережить всё, что я пережил, чтобы, читая “Письма к Тесковой”, увидеть, что она многое понимала лучше нас, людей восторженных, романтических и руководствовавшихся главным образом романтикой и моралью политграмоты: строится справедливое общество и строится в нашей стране — мы должны быть там. М. И. относилась к этому совершенно иначе, и перечитав её письма, я увидел, что не она ничего не понимала, а это мы ничего не понимали. Она гораздо трезвее смотрела на вещи <...>, в ней никакого нашего романтизма не было. Она судила трезво. <...> Я считал Цветаеву замечательным поэтом, крупнейшим поэтом. Я всех и всюду зачитывал её стихами. Но, как и Сергей Яковлевич, я был убеждён, что в вопросах социально-политических Марина ничего не понимает. Её оценки происходящего в России в 30-е годы казались мне наивными преувеличениями человека, не разбирающегося в сложностях общественного развития. Только десятилетия спустя я осознал, что это мы, а не

она, ничего не понимали. Это мы, а не она, обольщались лозунгами и призывами и были упорно слепы к тому, что теперь известно каждому. Она же и видела, и почувствовала это гораздо раньше, чем многие...» (Алексей Эйсер. «Она всё понимала лучше нас».)

К этому пониманию Алексей Эйсер шёл очень долго: после возвращения из эмиграции в СССР он был арестован и долгие годы провёл в лагерях. Сталинский режим был лицемерен, и распознать его страшную суть было трудно. Это оказалось не под силу многим левым интеллигентам на Западе, даже не все гениальные поэты России сразу стали зрячими, даже Борис Пастернак. Впрочем, у него быстро развеялись заблуждения относительно характера укрепившегося в СССР строя.

Трезвость суждений Марины Цветаевой воспринималась и друзьями Сергея Эфрона, и — что более удивительно, — им самим как наивность и непонимание.

«Марина человек социально совершенно дикий, и ею нужно руководить как ребёнком», — писал Сергей Эфрон (Е. Эфрон. 1936, 18 марта).

Как могло случиться, что, ни разу не усомнившись в своей «обретённой правде», он так и не захотел вдуматься в мотивы упорного сопротивления Марины, вслушаться в её аргументы? Поначалу он безоговорочно признавал её духовное старшинство и во многом доверчиво шёл за ней, и это продолжалось довольно долго...

Видимо, потрясшие его в 1923 году «беспомощность и слепость» Марины, которая не сумела, по его мнению, трезво оценить героя поэм Горы и Конца, были подсознательно перенесены им и на другие сферы жизни. Разумеется, не касающиеся поэзии — её место в том царстве он всегда знал, об этом не забывал никогда.

«Последние стихи её очень замечательны, и вообще одарена она, как дьявол», — писал он сестре в 1935 году.

Но доверие к её пониманию «жизни как она есть» Сергей Эфрон в это время безвозвратно и несправедливо утратил. Несправедливо в любом случае — хотя бы потому, что даже если допустить (только предположительно), что он был абсолютно прав в оценке

земного сюжета 1923 года, из которого родились две великие поэмы, то естественная слепота горячо влюблённой женщины (если это было так) — никак не распространяется на уровень её понимания и проницательности в других сферах жизни. Тем более, когда речь идёт о женщине такого уровня, как Марина Цветаева. Но Сергей Эфрон теперь непоколебимо убеждён, что он прозрел, а она — ослепла.

Так ударил по ним обоим последний расходящийся круг давней семейной драмы... Если бы его вера в «вечность» их общего мира, в его надёжность и прочность не была тогда так страшно поколеблена, если бы он не почувствовал, что, оставаясь с Мариной, обречён жить под постоянной угрозой её «ураганных» страстей, он остался бы её опорой в таком суровом и неуютном внешнем мире и тогда, может быть, внимательнее и доверчивее отнёсся бы к её видению происходящего в Советской России. Но случилось то, что случилось.

В иные времена их семейная драма могла бы не перерасти в такую безысходную трагедию — написала же молодая Марина о своих родителях в уже цитировавшемся письме Василию Розанову:

«Мама и папа были люди совершенно не похожие. У мамы — музыка, стихи, тоска, у папы — наука. Жизни шли рядом, не сливаясь <...> Но они очень любили друг друга». Любили и, поддерживая друг друга, как умели и могли, жили все отпущенные им судьбой годы. (Правда, болезнь слишком рано оборвала жизнь Марии Александровны, но это уже трагедия Рока).

На долю Марины Цветаевой и Сергея Эфрона выпало иное. Иное время... «Трещина мира», о которой Генрих Гейне сказал, что она всегда проходит через сердце поэта, — прошла и через сердце семьи.

Рухнуло всё — и в судьбе, и в мире. Любимая Мариной Цветаевой Чехия всеми предана и захвачена немцами, романтически любимая с юных лет Германия теперь вызывает только ужас. Мир обезумел... Об этом — трагические строки:

О слёзы на глазах!
Плач гнева и любви!
О, Чехия в слезах!
Испания в крови!

О чёрная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет ...

15 марта — 11 мая 1939

Несмотря ни на что, мысль об окончательном расставании с Сергеем оставалась невыносимой (неприемлемой!) для Марины всегда: и когда она страстно любила другого, и когда трагически безысходным стало расхождение с мужем во взглядах, и уж тем более — когда с ним случилась такая беда.

«Под впечатлением всего пережитого она очень изменилась. Не то что состарилась или похудела, но в её глазах появилось нечто холодное, чужое <...>. Она была оскорблена, как «конь аравийский»<...>. Она была сломлена задолго до отъезда в Россию. Я была несказанно огорчена этим отъездом, но, зная её, поняла, что она исполняла долг абсолютной верности по отношению к Серёже. Она не искала, не могла искать там ничего другого...» (Елена Извольская. «Тень на стенах»).

«Всегда буду помнить её приход к нам, последний, прощальный. Было тревожно за неё, до боли; слова не приходили на ум. Я не могу забыть сказанное ею маме при прощании: “Я верю, я знаю, Ольга Елисеевна, что Вы — Вы верите, что Серёжа не виноват в том, в чём его обвиняют”. Это было сказано так, что никакого сомнения не может быть в том, что она сама верила в невиновность мужа». (Наталья Резникова. «Всё в ней было непомерно, как её талант»).

Наталья Резникова — дочь Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой, к которой обращены многие доверительные письма Марины Цветаевой 1925 года; к некоторым из них примыкают обширные дружеские приписки Сергея Эфрона. Прощание это происходило уже в 1939 году...

Последняя строка Марины Цветаевой перед отъездом в Россию:
«...Дано мне прощанье Марии Стюарт».

В июне 1939 года Марина Ивановна с Муром приехали в СССР. Как боялась она когда-то этих букв! («...сплошное шипящее <...> буквы не раздвинутся»), — писала она Анне Тесковой задолго до рокового решения). Боялась не напрасно — это стало понятно с первого дня, если не с первых минут. Пароход пришёл из Гавра в Ленинград, откуда они с Муром должны были вечерним поездом уехать в Москву. Марина Ивановна зашла к живущей в Ленинграде сестре Сергея Яковлевича Анне — самой старшей, но увидела ужас в её глазах. Анна Яковлевна не пустила их с Муром в дом, вышла с ними на улицу, где шёпотом объяснила, что за ними следят, что она боится за мужа и дочерей, что муж был бы очень недоволен, увидев в доме «гостей из-за границы». Несколько часов она бродила с ними по улицам, и всё время от неё исходило нервное напряжение. Потом Марина Ивановна узнала, что и Сергея Яковлевича (родного брата, о котором так заботилась после смерти родителей!), приплывшего в 1937 году, она встретила так же.

В Москве на Ленинградском вокзале Сергей Эфрон не встречал их. «Отец хворал и не мог её встретить. Встречала я», — рассказывала впоследствии Аля. В первые же минуты встречи, удивлённо спросив: «Где Ася?» — Марина Цветаева была потрясена страшным известием и тем, что целых два года от неё это скрывали: Анастасия Ивановна и её сын Андрей были арестованы ещё в 1937 году. Аля, уехавшая в СССР на полгода раньше бегства туда Сергея Яковлевича, ещё застала тётю на свободе и даже какое-то время брала у неё уроки английского языка. Об этом она писала Марине Ивановне в Париж, но об аресте Анастасии Ивановны сообщить не могла: вся переписка её и Сергея Яковлевича с Парижем была подцензурной.

Марина Ивановна с Муром, Аля и ещё один человек (подробная речь о нём пойдёт в главе «Мать и Дочь») поехали на электричке в Болшево. Это название Марина услышала только сейчас, по приезде, а прежде...

«Друзья мои живут в полном одиночестве, как на островке, безвыездно и зиму и лето. Барышня на работу ездит в город. Там — сосны, это единственное, что я знаю...», — так конспиративно писала она Анне Тесковой из Парижа. На самом деле Болшево — дачный посёлок недалеко от Москвы, где несколько огороженных дач принадлежали НКВД. Там поселили Сергея Эфрона и примерно в одно с ним время приехавших из Парижа супругов Клепининых, связанных с ним общей деятельностью.

«Впервые чувство чужой кухни», — запишет Марина Цветаева.

Следующее её потрясение после приезда — встреча с Сергеем после двух лет разлуки. В то недолгое время общей жизни в Болшеве (в последний раз вместе) Марина Ивановна не вела никаких записей — до этого она вела их всю жизнь. Поэтому последние их разговоры почти не дошли до нас. Сохранилась лишь одна сравнительно короткая запись, сделанная Цветаевой год спустя после того, как Алю, а затем Сергея арестовали. Сейчас мне важны в ней лишь касающиеся Сергея Яковлевича слова:

«18 июня приезд в Россию. 19-го в Болшево, свидание с больным С. Неуют. За керосином. С. покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. <...> Обертон — унтертон всего — жуть. <...> Болезнь С. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня, — не успеваю слушать: полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб: 100 раз в день...»

Как многое здесь не договаривается... И как не похоже это на Марину Цветаеву, всю жизнь стремившуюся доходить «до самой сути»! Эта непривычная сдержанность, конечно, объяснима страшной ситуацией (такой прежде не было в её жизни, она и представить не могла такое). И как волнует здесь каждое слово! «Страх его сердечного страха». Только ли о болезни сердца речь? Ведь Сергей Яковлевич уже знал, что арестовали и продолжают арестовывать тех, кто был связан с Испанией, а он, работая в Союзе Возвращения в Париже, отправил туда (точнее — помог уехать) многих добровольцев. Знал он и то, что в НКВД,

в отделе, связанном с разведкой, арестовывают тех, с кем он сотрудничал.

На смену Ежову в этом ведомстве пришёл Берия, и все, работавшие при Ежове (пусть не напрямую в его ведомстве — Сергей был в ведомстве внешней разведки), почти автоматически были объявлены «врагами народа». Сергей Эфрон уже не мог не понимать (как и Клепинины), что и его могут арестовать в любой момент, но об этом он вряд ли говорил с Мариной, шадя её.

Но всё же — о чём они говорили? И с чем связана горькая фраза в этой же записи:

«Не за кого держаться. Начинаю понимать, что С. бессилён совсем, во всём»?..

Конечно, она не могла не видеть, что не в силах Сергея хоть что-то изменить в их положении, что беспочвенными фантазиями были планы «перевезти её в Крым». Но, может быть, он всё же что-то объяснил? Если бы у Марины Цветаевой ещё были силы записывать его слова... Но сил не было (впрочем, она скорее всего уже поняла опасность таких записей и не могла не бояться подвести Сергея), и потеря эта невозполнима. Есть в этой записи один момент, психологически потрясший меня совсем особому:

«Обрывки его жизни без меня, — не успеваю слушать...».

Значит, звучали в его рассказах какие-то «обрывки жизни»? О чём мог он ей рассказать — что считал возможным рассказать? И как могла она «не успевать слушать», неужели это не было важным для неё? Срабатывала ли прежняя многолетняя, начавшаяся года с 1932-го, инерция отстранения от его чуждых ей дел? Или — то чувство, что охватило её после бегства Сергея из Франции и газетной травли, рикошетом ударившей по многим и повлиявшей на отношение к ним людей из прежнего окружения? Она писала:

«Не хочу писать. Писать — мучиться. Не хочу мучиться».

И далее — о том, что хочет убирать, стирать, шить — «не быть» (то есть — сбежать, спрятаться от нестерпимой душевной боли в повседневные бытовые заботы). Вот и сейчас — «Полны руки дела»...

Я не в силах комментировать это. «Не успевала слушать» — в последние отпущенные им судьбой дни. Скоро их диалог оборвётся навсегда.

Но один короткий разговор всё же звучит в её последней записи о Сергее: «Я что-то вынимаю: — Разве Вы не видели? Такие чудные рубашки! — Я на Вас смотрел!»

Так когда-то говорил с Мариной юный Серёжа, и теперь, после всех тяжёлых лет, в последние дни на проклятой болшевской даче как будто возродился тот его далёкий голос...

Таковы последние донёсшиеся до нас слова Сергея Эфрона, обращённые к Марине Цветаевой. Через три месяца за ним приехала чёрная машина. Больше они никогда не видели друг друга. За два месяца до этого была арестована их дочь Ариадна.

И начались в жизни Марины Цветаевой длинные тюремные очереди. В любую минуту можно было услышать: «Передачи не принимаются!» — и резкий звук захлопнувшегося окошка. Означать это могло только одно — самое страшное... Мало с кем могла она безбоязненно поделиться этими переживаниями. Она была сдержанна с далёкими людьми, тем более дорожила немногими близкими.

«Милая Лиля, спешу Вас известить: Серёжа на прежнем месте. Я сегодня сидела в приёмной полумёртвая, п. ч. 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится<...>. Я тогда же пошла в вопросы и ответы и запросила на обороте анкеты: состояние здоровья, местопребывание. Назначили на сегодня. Сотрудник меня узнал и сразу назвал, хотя не виделись мы месяца четыре, — и посылно успокоил: у нас хорошие врачи, и в случае нужды будет оказана срочная помощь. У меня так стучали зубы, что я никак не могла попасть на «спасибо». («Вы напрасно так волнуетесь» — вообще, у меня впечатление, что Серёжу — знают, а по нему — и меня. В приёмной дивятся долготы его московского пребывания)». (Е. Эфрон. 1940, 3 октября).

Даже в тех страшных обстоятельствах Марина Цветаева, всегда глубоко чтившая связанные с памятными датами «обряды», оставалась верна себе:

«Да, а 10-го годовщина, и день рождения, и ещё годовщина: трехлетия отъезда. Але я на её годовщину, 27-го, носила передачу. Серёже, наверное, не удастся...» (Там же).

Дочери в лагерь — о другой дате: «Дорогая Аля! Сегодня — 30 лет назад — мы встретились с папой: 5-го мая 1911 г. Я купила жёлтых цветов — вроде кувшинок — и вынула из сундучных дебрей его карточку, которую сама снимала, когда тебе было лет четырнадцать — и потом пошла к Лиле, и она, конечно, не помнила. А я все годы помнила, и кажется, всегда одна, п. ч. папа все даты помнит, но как-то по-своему...» (А. Эфрон.1941, 18 мая).

И всегда — о передачах, которые носила Сергею. Это был единственный способ сообщить дочери, что отец жив. Передачи пока принимались, Марина Ивановна носила их каждые две недели (один раз — мужу, другой — дочери) и ещё надеялась... Но что означали слова сотрудника НКВД: «У нас хорошие врачи»? Сейчас, после всего, что мы знаем о творившемся за стенами Бутырки (и Лубянки, где сидела Аля, и страшной Лефортовской тюрьмы, где какое-то время находился Сергей Яковлевич), этот разговор удивляет и настораживает современного читателя гораздо больше, чем мог удивить Марину Ивановну. При всей своей гениальной прозорливости она, как и многие живущие тогда, не могла вообразить весь реальный ужас и цинизм происходящего. Она сохранила потрясающую простодушную доверчивость.

Это очень ощутимо в удивительной тональности её письма Берии. Оно чем-то напоминает многие её откровенные письма к незнакомым людям, которым она хотела дать возможно более полное представление о себе.

В этом большом письме Марина Ивановна подробно рассказывает о своих родителях, о многолетней подвижнической деятельности отца — «европейской известности филолога», о его научных трудах и о создании Музея, о самоотверженной помощи ему в этом её матери — «выдающейся музыкантши», рано умершей. Затем — о родителях Сергея Эфрона, об их семье «известных народовольцев», о том, как восхищался Лизой Дурново Пётр Кропоткин...

«Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме, среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит: мать — в Петропавловской крепости, старшие дети — Пётр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон — по разным тюрьмам. У старшего сына, Петра — два побега. Ему грозит смертная казнь, и он эмигрирует за границу. В 1905 году Сергею Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново-Эфрон, которой грозит пожизненная крепость, эмигрирует с младшим сыном. В 1909 г. трагически умирает в Париже, — кончает с собой её 13-летний сын, которого в школе задрали товарищи, а вслед за ним и она. О её смерти есть в тогдашней «Юманитэ»...» (Цветаева явно не знает, что культа народовольцев в стране давно нет...)

Далее она пишет о своей романтической встрече с Сергеем Эфроном, о его дальнейшем пути: «В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в московский университет, филологический факультет. Но начинается война, и он едет братом милосердия на фронт. В Октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых и тут же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых 200 человек. За все Добровольчество (1917 г. — 1920 г.) — непрерывно в строю, никогда в штабе. Дважды ранен. Всё это, думаю, известно из его предыдущих анкет, а вот что, может быть, неизвестно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех кого мог, — забирал в свою пулемётную команду. Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара — у него на глазах — лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. — “В эту минуту я понял, что наше дело — ненародное дело”. В Добровольчестве он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился — он из него ушёл, весь, целиком — и никогда уже не оглянулся в ту сторону».

Потом идёт подробный рассказ об учёбе С. Эфрона, о редактируемых им изданиях, о евразийстве. «Когда, в точности, Сергей Эфрон стал заниматься активной советской работой — не знаю <...>. Но что я достоверно знала и знаю — это о его страстной и неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему.

Как он радовался, читая в газетах об очередном советском достижении, от малейшего экономического успеха — как сиял! (“Теперь у нас есть то-то... Скоро у нас будет то-то и то-то...”). Есть у меня важный свидетель — сын, росший под такие возгласы и с пяти лет другого не слышавший. Большой человек (туберкулёз, болезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек — на глазах — горел. Бытовые условия — холод, неустроенность квартиры — для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днём, всё это совершилось у меня на глазах, — целое перерождение человека».

И после рассказа о его спешном отъезде, двухлетней разлуке, болезни в Болшеве, о своих мытарствах с Муром в поисках квартиры, о жизни их в писательском Доме в Голицыно, о своей работе над переводами (трудно понять, какое отношение имеют эти темы к сути прошения, но в её сознании всё это тесно связано) — потрясающий финал:

«Я не знаю, в чём обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его — 1911 г. — 1939 г. — без малого 30 лет, но то, что знаю о нём, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нём скажут друзья и враги. Даже в эмиграции, в самой вражеской среде, никто его не обвинил в подкупности, и коммунизм его объясняли «слепым энтузиазмом». Даже сыщики, производившие у нас обыск, изумлённые бедностью нашего жилища и жесткостью его кровати («Как, на этой кровати спал господин Эфрон?»), говорили о нём с каким-то почтением, а следователь — так тот просто сказал мне: “Господин Эфрон был энтузиаст, но ведь энтузиасты тоже могут ошибаться...”. А ошибаться здесь, в Советском Союзе, он не мог, потому что все 2 года своего пребывания болел и нигде не бывал. Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом служил своей родине и идее коммунизма. Это — тяжёлый больной, не знаю, сколько ему осталось жизни — особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрёт не оправданный. Если это донос, т. е.

недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы — проверьте доносчика. Если же это ошибка — умоляю, исправьте пока не поздно. Марина Цветаева» (1939. 23 декабря).

Как не похоже это на официальную просьбу о смягчении наказания! Цветаева не столько просит, сколько доказывает, убеждает, приводит аргументы, свидетельствует...

При всей понятной осторожности, с какой мы воспринимаем факты, о которых говорится в ТАКИХ документах, всё же непридуманность рассказанного очень ощутима в этом необычном письме страшному адресату. Поразительно, что Марина Цветаева не отступает в нём от истины — не утверждает, что жила вместе с Сергеем его мечтой («говорю как свидетель»). И тут же наивная (если не безумно опасная) ссылка на «свидетеля» — сына. Не скрывает Марина Ивановна и того, что печаталась в эмигрантских газетах, что главная причина её возвращения на Родину — «страстное устремление туда всей семьи» (не её). Правда, она всё же называет факты, должны свидетельствовать о её лояльности, и упоминает о своём приветствии Маяковского, за что её перестали печатать в «Последних Новостях», о переводах для французского революционного хора (Chorale Revolutionnaire) русских революционных песен, старых и новых, и добавляет: «Мои песни — пелись».

Особенно пронзительна искренность в словах об очень важном для неё факте: «он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех кого мог».

Об этом Марина Цветаева писала и прежде (некоторые отрывки из её писем на эту тему уже цитировались) — даже в письмах к далёким новым знакомым, с которыми так и не довелось встретиться (в частности, к Р. Ломоносовой) и в дневниковых записях. В одной из этих записей рассказ Сергея Эфрона дан более развёрнуто — в его прямой речи, где после слов о том, как он пристраивал пленных, маскируя от начальства, «в свою пулемётную команду» и пытался учить их ухаживать за лошадьми, сказано:

«И они от меня сбегали, и все надо мной смеялись».

Впрочем, это рассказано и в доверительном письме к Анне Тесковой (самой близкой...), написанном уже в трудное время. Думается, что эта подробность была по-особому дорога Марине Цветаевой — как ответ всем, кто обвинял Сергея в коварном убийстве, как продолжение подсознательного спора с ними.

Но причём здесь Лаврентий Берия? Как плохо она представляла себе адресата письма! Трагическая ирония судьбы — получается, что она верит, будто такое свидетельство (гуманного отношения бывшего белогвардейца к врагу), если Берия вообще будет читать письмо, расположит его к арестованному.

Но что она могла сделать? «Нельзя бросать человека в беде — я с этим родилась...». И она делает всё, что может. Всё, что может, как слабая женщина: носит передачи, пишет прошения. А ещё — то, что может сделать только она — Марина Цветаева.

В 1940 году кто-то из близких и болеющих за неё людей посоветовал подготовить и предложить в Гослитиздат сборник стихов (не переводов, которыми она после переезда в СССР и ареста мужа и дочери зарабатывала на жизнь, а именно своих стихов). Её убеждали, что если отобрать подходящие, книга может быть издана. Это была нереальная затея, и она не осуществилась. Последовала разгромная внутренняя рецензия известного советского критика Корнелия Зелинского, кончающаяся словами: «Всё<...> — тон, словарь, круг интересов — чуждо нам и идёт вразрез направлению советской поэзии как поэзии социалистического реализма». Но речь сейчас не о том.

Готовя эту книгу как свою последнюю, Марина Цветаева поставила в ней первым стихотворение, посвящённое Сергею Эфрону. Оно написано в 1920 году. Тогда Сергей Эфрон находился в Белой Армии, а в 1940-м — в советской тюрьме. Марина ставит посвящение, открывает этим стихотворением сборник и делает пометку в белой рукописи: «Это стихотворение прошу поместить на отдельном листке».

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблёклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стёклах, —

И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец — чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! — любим! —
Расписывалась — радугой небесной.

Как я хотела, чтобы каждый цвёл
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала — имя...

Но ты, в руке продажного писца
Зжатое! ты, что мне сердце жалишь!
Не проданное мной! *внутри* кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.

18 мая 1920

На одном из автографов Марина Цветаева ставит дату: 1920—1940. Ей очень важно подчеркнуть эту преемственность — свою пожизненную верность Сергею Эфрону («В вечности — жена...»).

После всего пережитого и переживаемого в 1940 году она стремится усилить некоторые акценты, недопроявленные тогда, в далёком 1920-м. По словам Ариадны Эфрон (сказанным ею Марии Белкиной), в архиве матери в «октябрьской тетради» 1940 года она обнаружила более сорока вариантов новых строк второй строфы. Вот некоторые из них:

· Чем только не писала — и на чём?
И наконец, чтоб было всем известно,
Что нет тебя второго в мире всём...

Или:

Друзьям в тетради и себе в ладонь,
И, наконец, чтоб было всем известно,
Что за тебя в Хвалынь! В Нарым! В огонь!

И это ни в коем случае не просто слова: за Сергеем Эфроном Марина Цветаева уехала из России, за ним — вернулась, и, если бы это было возможно, за ним пошла бы и в Сибирь («В Нарым...»).

Сергей Эфрон в это время проходил через страшные допросы в тюрьме на Лубянке — в том самом здании на Лубянской площади, мимо которого в октябре 1917 года он с другими офицерами прорывался во время уличных боёв (это описано в его очерке «Октябрь. 1917 г. »)... А ещё раньше он носил туда со старшими сёстрами передачи арестованной матери. Но Елизавета Дурново-Эфрон, выпущенная под залог, сумела бежать за границу — она сидела не в советской тюрьме.

Марина Цветаева (как и Сергей Эфрон до ареста) не могла представить себе, что там происходило. Два года мучительных допросов... Многие товарищи Сергея Яковлевича не выдержали пыток и «сознались» в том, чего хотело от них следствие: что были «агентами французской разведки».

Сергей Эфрон, больной, растерзанный (подпись под протоколами допросов всё искажённое, допросы всё чаще прерываются — «Я не могу говорить...»), — не сдался. Он много раз повторял, что не был предателем, что был честным советским разведчиком.

«— Почему вы скрываете связь с иностранными разведками?

— Я не скрываю, а отрицаю это.

— Думаете, вам удастся уйти от ответственности?

— Я принимаю ответственность за всю мою прошлую жизнь, но не могу принять на себя ответственность за то, чего не было».

Он отрицал все обвинения против себя и ни разу не уступил нажиму следствия, не дал обвинительных показаний против своих товарищей. Были вопросы и о Марине.

«— А какую антисоветскую работу проводила ваша жена?

— Никакой антисоветской работы моя жена не вела. Она всю жизнь писала стихи и прозу. В некоторых своих произведениях она высказывала взгляды несоветские...

— Не совсем это так, как вы изображаете. Мы знаем, например, что в Праге ваша жена активно участвовала в издаваемых эсерами газетах и журналах. Ведь это факт?

— Да, это факт. Она была эмигранткой и писала в эмигрантские газеты, но антисоветской деятельностью она не занималась.

— Непонятно. Белоэмигранты в своих изданиях излагали тактические установки борьбы против СССР. Что может быть общего с ними у человека, не разделяющего этих установок?

— Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась в белоэмигрантской прессе, однако никакой политической антисоветской работы она не вела...»

Попытка замешать в дело Цветаеву не удалась».

(Цитируется по работе Виталия Шенталинского «Марина. Ариадна. Сергей»).

В тюрьме Сергей Эфрон тяжело заболел, на какое-то время его (в ноябре 1939 года) поместили в психиатрическое отделение больницы Бутырской тюрьмы «по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство». В медицинской справке от 20 ноября 1939 года о его состоянии сказано: «Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного. По своему состоянию (острое реактивное душевное расстройство) нуждается в лечении в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы с последующим проведением через психиатрическую комиссию».

Из этой палаты его тоже водили на допросы... Тюремные медики делают вид, что арестанты Лубянки не должны испытывать «чувство страха и ожидания чего-то ужасного». Как будто это было возможно!

Но особенно горько потрясает, что чувство это, такое понятное в тех страшных обстоятельствах, преследовало Сергея Эфрона с давних лет. Напомним:

«Я с детства (и недаром) боялся (и чуял) внешней катастрофичности, под знаком которой родился и живу. <...> И когда первая катастрофа разразилась — она не была неожиданностью. Это ожидание ударов не оставляет меня и теперь», — так писал он Максиму Волошину в 1923 году.

Смерти Марины Сергей Эфрон тоже боялся с давних лет. «Я так сильно <...> и прямолинейно любил её, что боялся только её смерти».

Как давно это было! И вот теперь:

«В настоящее время обнаруживаются слуховые галлюцинации: ему кажется, что в коридоре говорят о нём, что его должны взять, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и его жене» (курс. мой. — Л. К.).

А Марина Цветаева вставила в свои давние стихи:

Не позабыть древесную кору
И наконец, чтоб было всем известно,
Что без тебя умру! умру! умру!..

Такой вот диалог — поверх всех, на этот раз неодолимых, самых страшных барьеров.

Последняя точка в этом диалоге будет поставлена в предсмертной записке Марины Цветаевой сыну: «... Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты...»

Сергей Эфрон погиб в застенках Лубянки. День его расстрела — 16 октября 1941 года — стал известен много лет спустя. Этот день, известный панической обстановкой в Москве, подробно описан в дневниках Мура. Сын так никогда не узнал, что в этот день был расстрелян его отец. И Марина Цветаева не узнала об этом. Она ушла из жизни на полтора месяца раньше — 31 августа 1941 года в Елабуге.

«Так вдвоём и канем в ночь — одноколыбельники!», — написала она в 1921 году.

«Разве Вы не знаете, что в стихах всё сбывается?» — спросила Марина Цветаева Анну Ахматову в их единственную встречу в 1941 году, перед самой войной...

И всё же закончить главу о любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона мне хочется на иной ноте. Среди вариантов строк её стихотворения «Писала я на аспидной доске...» есть один, который, как мне кажется, не мог возникнуть в 1920-м, а только в 1940-м:

Чем только не писала — и на чём!
И под конец — чтоб стало всем известно!
Что ты мне Бог, и хлеб, и свет, и дом! —
Расписывалась — радугой небесной.

Сколько раз за прошедшие годы говорила и писала Марина Цветаева о своей неспособности «жить дома — душой», о «чуде чужого», о «любви на воле»! Как дорожила она прежде отношениями «поверх барьеров» — над бытом, над «городом мужей и жён», чуть ли не проклятым ею в «Поэме Горы» — за то, что душит любовь! Когда-то Марина Цветаева писала Борису Пастернаку:

«Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это — доля. Ты же — воля моя, та, пушкинская <...> *Душу свою я сделала своим домом <...> , но никогда дом — душой...*» (1925, 14 февраля; курс. мой. — Л. К.).

В то время она ощущала жизнь в своём доме, при всей любви «к тем, с кем живёт», едва ли не как жёрнов на шее. Как давно это было...

Но сейчас, когда дом отнят, она в самом деле всё в жизни чувствует по-иному. Именно в это время сказала она Е. Тагеру:

«Для меня главное в жизни — работа и семья. Всё остальное — от избытка сил».

Нина Гордон, близкая подруга Али, в письме к ней много лет спустя, когда Аля попросила её записать, что она помнит о Марине Ивановне, рассказала об одном очень ей запомнившемся разговоре осенью 1940 года в Нескучном саду:

«Это была замечательная прогулка. Помню как сейчас: чудесный, холодный, солнечный, прозрачный день поздней осени. В парке пустынно, а по той крайней дорожке у реки вообще никого не было. Мы шли долго-долго. <...> Когда пошли обратно, Марина заговорила и долго, очень спокойно говорила о будущем, о своих планах на это будущее. Мечтала жить в маленьком городе, поближе к морю <...>. Она мечтала о том, как они “с Серёженькой” поселятся в таком городе, как будут работать; и насколько ей больше нравятся маленькие города у моря. “Знаете, Нина, мне даже не страшно, что Серёженька не сможет жить после освобождения в Москве. Але и Муру, может быть, и нужна Москва, а нам нет, нам лучше будет там...”».

Оказалось (точнее — мощно и окончательно подтвердилось!), что их любовь, о которой молодая Марина после первых лет восторгов от «чуда встречи» с Сергеем порой отзывалась чуть свысока, как о «семейном» чувстве низшего порядка в сравнении с «поднебесными» связями «поверх барьеров» с Борисом Пастернаком и Райнером Рильке, равными ей по масштабу поэтами, — что их любовь на самом деле всегда и жила «поверх барьеров». Всех — и тех, какими были её страстные и так необходимые ей для творческого горения увлечения «чудом чужого»; и тех, что возникли, когда их ответы на коренные вопросы Времени оказались такими разными...

Впрочем, вопреки всему она и это «с первого часа знала...». И не случайно именно при чтении этого рассказа Нины Гордон мне пронзительно вспомнилось (и очень тесно в моём восприятии срифмовалось с ним) далеко не самое известное стихотворение Марины Цветаевой. Ещё в далёком 1919 году она сказала:

О, скромный мой кров! Нищий дым!

Ничто не сравнится с родным!

С окошком, где вместе горюем,

С вечерним, простым поцелуем

Куда-то в щеку, мимо губ...

День кончен, заложен засов.
О, ночь без любви и без снов!
— Ночь всех натрудившихся жниц, —
Чтоб завтра до света, до птиц
В упорстве души и костей
Работать во имя детей...

Мать и сын.

В августе 1921 года по Москве разнёсся глубоко потрясший Марину Цветаеву слух: в Петрограде после расстрела Гумилёва покончила с собой Анна Ахматова.

«Страшный сон: хочу проснуться — и не могу...», — писала она Анне Андреевне о пережитом за три долгих дня, пока слух не был опровергнут. И далее в письме: «Утешила меня Аля: “Марина! У неё же — сын!”».

В августе 1941 года в Елабуге рядом с Мариной Цветаевой был сын. И это не предотвратило трагической развязки.

Льву Гумилёву, сыну Анны Ахматовой, было в 1921 году 9 лет. Георгию Эфрону, сыну Марины Цветаевой, в страшном августе 1941 года в Елабуге — 16 лет.

16 лет — классический возраст, когда подростки начинают отходить от родителей. Тревожно думать об этом моменте, горько предчувствовать всю его боль Марина Цветаева начала едва ли не с самого рождения сына. И это очень рано начало омрачать ту огромную, безмерную радость, с какой восприняла она его появление на свет — слишком ясно предчувствовала и неизбежность будущего его «отхода», и свою неспособность мудро смириться с этим. Ей это было особенно трудно, так как, по словам Ариадны Эфрон, вспоминая много лет спустя то далёкое время, «Марина была великой собственницей в мире нематериальных ценностей, в котором не терпела совладельцев и соглядатаев».

«... у меня чувство с Муром — как на острове, и сегодня я поймала себя на том, что я уже мечтаю об острове с ним, настоящим, чтобы ему некого (оцените малодушие!) было, кроме меня, любить». (О. Колбасиной-Черновой. 1925, 10 мая).

А было Муру тогда всего три месяца. Нельзя не заметить в этой записи нескрываемую самоиронию, которую иногда недооценивают при анализе самых разных её текстов, отчего многое сказанное Мариной Цветаевой толкуется порой более прямолинейно и одно-

цветно, чем звучало оно для тонко понимающих ее интонации людей. Но ирония никогда не охлаждала в ней душевного жара.

Мучительно остро, как, может быть, никогда прежде, стала Марина Цветаева ощущать после рождения сына неумолимый бег времени:

«Как грустно Вы пишете о сыне: “Совсем большой. Скоро женится — уйдёт”. Моему нынче — как раз 5 лет. Думаю об этом с его, а м. б. с до-его рожденья. Его жену конечно буду ненавидеть. Потому что она не я (не обратно.) Мне уже сейчас грустно, что ему пять лет, а не четыре. Мур, удивлённо: «Мама! Да ведь я такой же! Я же не изменился!» — «В том-то и... Всё будешь такой же, и вдруг — 20 лет. Прощай, Мур!»». (Р. Ломоносовой. 1930, 1 февраля).

С первых минут жизни долгожданного сына Марина Цветаева настойчиво, пристально и радостно отмечает в нём СВОЁ — и как это безмерно важно для неё!

«Нам с мальчиком пошли восьмые сутки. Лицом он, по общим отзывам, весь в меня <...> Помните, Вы мне пророчили похожего на меня сына? Вот и сбылось». (О. Колбасиной-Черновой. 1925, 8 февраля).

«... Сегодня первую ночь ночевала с мальчиком — одна! — горжусь. <...> Вы совершенно правы насчёт хотения: этого мальчика я себе выхотела, заказала. И Вы первая подтвердили меня в моём праве на его существование, — не по-женски, — так хорошо по-мужски! — И напророчили мне моего сына, похожего на меня. <...> Отлично помню». (Ей же. 1925, 14 февраля).

«Он — чудесен, 2 месяца. Не красив (как Аля в детстве), а — особенен. Очень похож на меня, следовательно — на любителя». (Ей же. 1925, 4 апреля).

Сергей Эфрон не был таким собственником, не спорил и спокойно писал сестре Лиле о потрясающей похожести новорожденного сына на Марину: «маленький Марин Цветаев». Это не мешало ему с трогательной отцовской гордостью хвастаться Муром:

«Если бы ты видела этого мальчика, Лиленька! Милый, тихий, ласковый, с большими синими глазами. Говорить ещё, конечно, не

умеет, но уже звонко смеётся. Почти никогда не плачет. Когда с ним говорят — приветливо улыбается. А главное прекрасно выглядит (тьфу, тьфу, тьфу не сглазить!) Круглый, розовый, с прекрасными детскими чертами. Не подумай, что я пристрастен — он общий любимец...» (Е. Эфрон. 1925, 21 июля).

Полушутливо Сергей Эфрон называл его — «мой сын». «Мой сын загорел и вырос. Он большеглаз, круглолиц, беловолос — обворожительно ласков. Говорит пока очень мало. Начал только ходить». (Ей же. 1926, 10 июня).

Через два года Сергей сообщал сестре:

«Мур стал громадным мальчиком — страшный сорванец, ласковый, живой как ртуть, лукавый. Не переносит намёка на чужое страдание, и поэтому три четверти русских сказок для него неприемлемы (от дурных концов рыдает). Мы с ним в большой дружбе». (1928, 1 апреля).

Сколько открывается здесь новых, неожиданных, наполненных душевным теплом подробностей! И как не совпадает этот образ Мура с образом чуть ли не от рождения надменно холодного, отчуждённо высокомерного мальчика, каким увидели его и описали в своих мемуарах или письмах многие знакомые Марины Цветаевой и Сергея Эфрона.

Совсем не таким запомнила маленького Мура старшая сестра:

«Я знаю только одно, что за всё то время, что мы были вместе, он не только очень любил маму, но и очень хорошо умел проявлять эту любовь. С самых ранних лет относился к ней со взрослой чуткостью, чуя её своим детским сердцем и понимая взрослым умом. Иногда она его шокировала — то недостаточно модной одеждой, то резкостью в каком-нибудь споре, тем, что всё это было недостаточно «прилично» для его дендизма. Он любил, чтобы всё было хорошо, красиво, вкусно, комильфо, а этого ведь почти никогда не было. Но он прекрасно понимал, что так оно и должно было быть в нашей семье. Во время семейных конфликтов он или становился на её сторону, или старался успокоить её» (Без даты. Примерно вторая половина 1940-х годов). Так писала она Анастасии Цветаевой — из лагеря в лагерь.

В тоне Сергея Яковлевича, когда речь идёт о Муре, явно преобладают уютные, патриархально домашние, иногда сентиментальные ноты — диккенсовские.

«Сейчас вечер. Марина с Алей в кинематографе. Мур тихо спит в соседней комнате, обнявшись с медведем. А я пользуюсь тишиной и досугом (которого очень мало), чтобы поболтать с тобой...» (Сестре Лиле. 1935, 28 марта).

В письмах Марины Ивановны после рождения Мура диккенсовское начало тоже есть, но у неё минуты покоя и тихой умиротворённости очень редки, и в материнских её чувствах тоже преобладают напряжение, страсть, непокой.

«... Алей я в детстве гордилась, даже — чванилась, этого — страстно — люблю. Аля была несравненно красивее, сразу — красавицей (помните годовалую карточку в медальоне?), прохожие заглядывались, на Мурку тоже заглядываются — из-за загара<...>. Но у этого своё (а м. б. — моё? или это то же самое?) лицо, вне красоты и некрасоты, вне породы и непороды...»; «А вот Вам мой чудный Мур — хорош? Во всяком случае — похож. И более похож на Наполеонового сына, чем сам Наполеоновский сын. Я это знала с его трёх месяцев: нужно уметь читать черты». А в ответ на его 6-месячную карточку — Борис Пастернак — мне: «Всё гляжу на твоего наполеонида». С 11 лет я люблю Наполеона, в нём (и его сыне) всё моё детство и отрочество и юность — и так шло и жило во мне не ослабевая, и с этим — умру. Не могу равнодушно видеть его имени. И вот — его лицо в Мурином. Странно? Или не странно, как всякое органическое чудо» (А. Тесковой. 1934, 2 февраля).

Можно представить, как такие, говоря словами Пушкина, «странные сближения» волновали Марину Цветаеву...

Каким Мур был в детстве? Любопытно, что, видимо, чувствуя беспокойно приглядывающийся (хотя часто и гордый) взгляд Марины Ивановны, маленький Мур однажды загадал ей загадку. Об этом есть запись в её дневнике.

«Мур:

— Мама! Что бы Вы хотели: чтобы я был злым и умным или добрым и глупым? (Я улыбаюсь).

Он:

— Знаю, знаю, что Вы сейчас скажете!

Молчу.

Он, упоённо:

— Вот я Вам загадку задал! Ну и загадку я Вам задал! Ну и загадку!»

Эту загадку так и оставил нам Георгий Эфрон — сложный, так недолго проживший мальчик...

Полушутливо фантазируя однажды о будущем Мура (это было ещё в его младенчестве), Марина Ивановна косвенно выразила уверенность в том, что уровень восприятия поэзии у него будет достаточно высок, что от этого мальчику, всё детство находившемуся рядом с ней, никуда не деться. Но больше поражает другое:

«А он, конечно, будет любить всех актрис (“поэтесс” — нет, ручаюсь, и не потому, что объестся мной, в ином смысле — вкус отобью: испорчу), всех актрис подряд, и когда-нибудь пойдёт в солдаты. А может быть — займётся революцией — или контрреволюцией (что при моём темпераменте — то же), и будет сидеть в тюрьме, а я буду носить передачу...» (О. Колбасиной-Черновой.1925, 10 мая).

Какие странные фантазии! Откуда вдруг такие романские вымыслы об участии Мура «в революции или контрреволюции» — где? в какой стране? Не навеяно ли это легендами и былями о родителях Сергея Эфрона? Но даже если так, пока они явно не принимаются ею всерьёз, иначе не звучали бы в письме с таким безмятежным юмором — в одном ряду с «любовью ко всем актрисам».

Могла ли тогда Марина Цветаева хоть на минуту представить себе, что через 14 лет она (иногда вместе с Муром) действительно будет носить передачи в тюрьму — Але и Сергею, которых ар-

ступают в стране победившей революции, куда все они, вопреки её яростному нежеланию и в соответствии с их страстным желанием, вернутся? Как спасительно (даже для гениальных поэтов, видящих многое из невидимого современникам) бывает незнание Будущего! А пока идет 1925 год, и в том же письме О. Е. Колбасиной-Черновой Марина Ивановна пишет:

«Когда мы одни, я ему насказываю: “Мур, ты дурак, ты ничего не понимаешь, Мур, — только еду. И ещё: ты — эмигрант, Мур, сын эмигранта, так будет в паспорте. А паспорт у тебя будет волчий”».

Сколько горечи в этих словах! Впрочем, когда перспектива отъезда в СССР неумолимо придвинулась, Марина Цветаева заранее остро затосковала по относительно вольной — как будто находишься, по её словам, в шапке-невидимке — жизни в эмиграции.

Эмигрантскую горечь остро ощущал и Сергей Эфрон, но, в отличие от Марины, в нём стремительно созревало убеждение, что из этого должен последовать единственно правильный вывод (и выход!). И он гордился правильным настроением маленького сына:

«Как тебе нравится мой сын? <...> Мой сын — замечательный сын. Очень волевой, здоровый, самоутверждающийся <...>. Всё время требует, чтобы его везли в Россию. Французов презирает» (Е. Эфрон. 1929, 27 апреля).

С каждым годом Сергей Яковлевич всё сильнее убеждён: «Исключительно способен и умён. Ему, конечно, надо ехать. <...> Здесь — исковеркается» (Ей же. 1934, 26 августа).

У Марины Ивановны очень сложное отношение к этому: с одной стороны, она тоже считает, что «у Мура здесь никаких перспектив»: «Я же вижу этих двадцатилетних — они в тупике» (А. Тесковой. 1936, 15 февраля).

И она даже пытается внутренне отпустить сына:

Ни к городу и ни к селу —
Езжай, мой сын, в свою страну, —
В край — всем краям наоборот! —
Куда *назад* идти — *вперёд*... <...>
...*Нас* родина не позовёт!

Езжай, мой сын, домой — вперёд —
В *свой* край, в *свой* век, в *свой* час, — от нас —
В Россию — вас, в Россию — масс,
В *наш*-час — страну! в *сей*-час — страну!
В на-Марс — страну! в без-нас — страну!

Январь, 1932

Но всё же слова «Езжай, мой сын, в свою страну!» — в данном случае, разумеется, некая, не столь частая у Марины Цветаевой, поэтическая условность: не собиралась же она в самом деле отпустить маленького Мура (в 1932 году ему было всего 7 лет) одного, без себя, в Россию! Но обращенный к маленькому Муру вопрос (в стихах) — «кем будешь?» — не мог не волновать ее серьезно и глубоко.

Не быть тебе нулём
Из молодых — да вредным!
Ни медным королём,
Ни попросту — спортсмедным

Лбом, ни слепцом путей,
Коптителем кают,
Ни парой челюстей,
Которые жуют, —

В сём полагая цель.
Ибо в любую щель —
Я — с моим ветром буйным!
Не быть тебе буржуем.

Ни галльским петухом,
Хвост заложившим в банке,
Ни томным женихом
Седой американки, —
Нет, ни одним из тех,
Дописанных, как лист,
Которым — только смех
Остался, только свист

Достался от отцов!
С той стороны весов
Я — с чернозёмным грузом!
Не быть тебе французом.

Но также — ни одним
Из нас, досадных внукам!
Кем будешь — Бог один...
Не будешь кем — порукой —

Я что в тебя — всю Русь
Вкачала — как насосом!
Бог видит — побожусь! —
Не будешь ты отбросом
Страны своей.

22 января 1932

Если внимательно вчитаться в эти стихи, нельзя не увидеть, что в них гораздо больше неприятия «ЗДЕСЬ», где оказавшиеся в тупике молодые люди утрачивают духовные ориентиры, чем прославления жизни «ТАМ». В том же году, в котором написаны эти стихи, Марина Цветаева писала: «Ехать в Россию? Там этого же Мура у меня окончательно отобьют, а во благо ли ему — не знаю».

Через четыре года она писала той же корреспондентке о своей печальной уверенности в том, что если они вернуться в Советскую Россию, Мура у неё «эта Москва сразу, всего, с головой отберет. Мур там будет счастлив. Но сохранит ли душу живу? (всю)» (А. Тесковой. 1932, 1 января).

Она предполагала и сомневалась, писала о своём страхе за незрелую душу сына, которого могут соблазнить «барабанным боем», физкультурными парадами, знамёнами. Марина Цветаева мучительно боялась в Советской России всего того, что называла «соблазнами» (для Мура), и в этом тоже было одно из коренных расхождений с Сергеем Эфроном: он был решительно не согласен с тем, что «бригадирство, пионерство» и т. д. может исказить душу

Мура. Ему, наоборот, виделось в жизнерадостной спортивности душевное здоровье, недоступное в эмигрантской жизни. А у Марины Цветаевой «уже сейчас ужас от весёлого самодовольного советского недетского Мура — с полным ртом программных общих мест...» (А. Тесковой. 1936, 29 марта).

«Программные общие места», почерпнутые из советских газет, которыми был завален дом (Сергей Яковлевич приносил их из Союза Возвращения на Родину), очень ощутимы на некоторых страницах дневников Мура. Но там видно, как он постепенно освобождался от них.

Сергея Яковлевича как раз эти «общие места» и радовали в устах сына:

«Мой Мур всё время рвётся в Россию, не любит французов, говорит запросто о пятилетке (у него богатая советская детская библиотека, присланная Асей), о Днепрострое и прочем. Ко мне привязан предельно. Способностей и ума невероятного» (Е. Эфрон. 1931, 28 марта).

Что касается ума и способностей сына, они, разумеется, радовали и Марину Ивановну. Впрочем, она и мысли не допускала, что её дети могут быть иными. В одном из писем, где речь идёт о тех свойствах характера выросшей Али, которые были чужды ей и вызывали разочарование, об уме дочери она говорит как о чём-то само собой разумеющемся: «Мудрено у меня вырасти не умной!»

Приметы чужого, чуждого ей Марина Цветаева всегда отмечала в своих детях столь же ревниво и пристально, как и приметы своего:

«Сын (8 лет) весь живёт не текущим днём, а завтрашним. Набегающим — планами, обещаниями, будущими радостями — т. е. я — в обратном направлении» (В. Буниной. 1933, 24 августа).

О различии отношений к Времени в их семье — прошлому, настоящему и будущему — много лет спустя Мур будет подробно и горько размышлять в своём дневнике, и размышления эти будут во многом близки мыслям Марины Ивановны, при том, что её писем он, естественно, никогда не читал.

В 1934 году Марина Цветаева пишет Наталье Гайдукевич:

«... И в Муре — ничего не узнаю. У него две страсти: учение и развлечения — две мои контр-страсти, ибо я и учиться — ненавижу, никогда ничему не училась <...> что знаю — пришло само: от вживания в вещь, от сражения с ней. Так знаю Гёте, Наполеона, женский 18-й век, теперь — Норвегию, и м. б. единственное, что я знаю — человеческую душу: сильную и уединённую. <...> У него дивная детская (юношеская) библиотека, лучшие книги — французские и русские, но он перечитывать не любит — «я уже два раза читал», он не живёт в книге, он по ней скачет, он ест — и дальше...»

В её системе ценностей способность человека «жить в книге» занимает высокое место, и грустно ей было не находить этого в любимом сыне.

«... у Мура — род снисхождения ко мне: — Бедная мама, Вы всего этого не понимаете! Ни газет, ни техники, ни спорта, ничего, чем он живёт. Не понимая, что это моя сила, а не слабость, ибо понять теннис <...> или очередное падение проворовавшегося министрства — не хитро! Но я всего этого знать не хочу! <...> С утра до вечера он меня судит: по мелочам и по-крупному <...> и я одна с его (моими!) детскими книгами...» (Ей же).

К этому времени Марина Цветаева была одна и с детскими книгами сына, и с дневниковыми тетрадами мужа — с теми, что он вёл в 1918—1922 годах. Сам Сергей Яковлевич, который к этому времени «сжёл всё, чему поклонялся», считал эти тетрадки ненужными.

С болью и гневом Марина Цветаева пишет обо всём чуждом себе в подрастающем сыне:

«Газетами всю жизнь брезговала, а Мур — из них пьёт, и я ничего не могу поделывать, ибо наш дом завален газетами, и нельзя весь день рвать из рук».

О мучительном для ребёнка состоянии, годами длящемся, когда отец и мать демонстрируют разное отношение ко многому в жизни, Марина Цветаева писала:

«Мур живёт разорванным между моим гуманизмом и почти что фанатизмом отца. Уже судит того и другого, не в смысле: осудить, а рассудить («рассуди ты нас», как в сказках, т. е. — кто прав?») (А. Тесковой. 1935, 28 декабря).

Мур тоже с болью будет вспоминать эту свою «разорванность» в ташкентском дневнике, уже оставшись один... В детстве Мур склонен был видеть неправой скорее мать. Вслед за отцом и старшей сестрой он считал все её сомнения и опасения следствием её отсталости от времени. Марина Ивановна цитирует слова восьмилетнего Мура:

«Бедная мама! Какая Вы странная! Вы как будто очень старая» (Вере Буниной. 1933, 24 августа).

Всё это приводило Марину Ивановну к горькому выводу:

«Ни малейшего давления я на него с его дня рождения — и будучи с ним непрерывно — не оказала. Он — готовый человек с готовыми вкусами — и пуще. Вижу безнадежность — и всё-таки борюсь — за себя в нём. И — не добьюсь» (Наталье Гайдукевич. 1934).

Два года спустя (в письме ей же), как будто мысленно продолжая диалог с Муром, Марина Ивановна пишет:

«... ему бы лучше всего в хорошую — швейцарскую или английскую — мальчишескую колонию: спорт, дисциплина, себе подобные. Я ему — ни к чему, да я и слишком (словесно и душевно) — уязвима, требую всё обратное — веку, а он весь — свой век: весь свой век».

Столь категоричный по безнадежности вывод был, видимо, в большой степени связан и с отношением Мура к ней как к поэту. В цветаевской тетради тех лет зафиксированы некоторые высказывания маленького Мура на эту тему — например, такое:

«Я не знаю, 1-го ли Вы сорта писатель, 2-го ли, 3-го».

Как бы ни пыталась Марина Цветаева воспринимать такое с юмором, слова эти, думается, остро ранили её, особенно на фоне

всего происходящего в те годы в семье. Знал ли Мур, что когда-то его будущий отец сказал о своей невесте: «самая великая поэтесса в мире»?.. Сергей Эфрон всегда знал и помнил: Марина Цветаева — гениальный поэт. Но он давно уже не жил этим так, как прежде. Мур не застал жизнь родителей в пору семейного тепла, уюта, относительной гармонии, семейного чтения Диккенса в кругу лампы. Эти времена так лирично вспоминает взрослая Аля (о чём будет подробнее сказано в главе о ней). Похоже, что это прервалось именно с рождением Мура, когда заботы о грудном ребёнке на какое-то время вытеснили вечера с чтением вслух. Позднее же, когда Марине Ивановне так хотелось вернуть хоть часть той любимой, так необходимой её душе атмосферы, это оказалось невозможным: слишком многое необратимо изменилось.

«О таком (ручно-умственном) объединении мечтаю уже давно, хотя бы в самой элементарной форме: кто-то читает, я — шью. Но мне никто не читает, Муру — некогда (школа, уроки), Сергея Яковлевича и Али нет никогда» (А. Тесковой. 1936, 20 января).

Годы детства Мура пришлось на эпицентр острых семейных споров: об отношении к Советской России, об идее отъезда туда, о будущем детей. Понимание Сергеем Яковлевичем и Алей масштаба поэтического дара Марины Цветаевой в то нелёгкое время их жизни как бы ушло в глубокий подтекст (для них — само собой разумеющийся), но Мур, видя и слыша совсем другое, этого не понимал. Не это определяло теперь воздух дома. И того окружения, не теоретически, а лирически захваченного цветаевской поэзией, какое видела в Москве маленькая Аля, здесь не было. А с теми немногими, кто тонко чувствовал поэзию (Марк Слоним, например), у Мура не было эмоционального контакта. И потому ему было очень не просто увидеть место Марины Цветаевой в поэзии, понять масштаб её личности, решить, как относиться к её линии в жизни, к её стихам. Але в детстве в Москве это было гораздо легче: она росла в атмосфере восхищения многих людей талантом матери (Константина Бальмонта, Павла Антокольского, Софьи Голлидэй, Владимира Алексеева и других актёров Третьей

Студии, режиссёра Мчеделова, Сергея Михайловича Волконского...).

В Берлине Аля видела восхищение матерью Андрея Белого, уважение к ней Ильи Эренбурга. Она знала и о восторженных письмах Бориса Пастернака. Мур не застал всего этого, да и не было в нём отличающей маленькую Алю тонкой художественной восприимчивости.

«Очень серьёзен. Ум — острый, но трезвый: римский. Любит и волшебное, но — как гость. <...> Менее всего развит — душевно: не знает тоски, совсем не понимает. Лоб — сердце — и потом уже — душа: “нормальная” душа десятилетнего ребёнка, т. е. — зачаток. (К сердцу — отношу любовь к родителям, жалость к животным, всё элементарное. — К душе — всё беспричинное болевое). Художественен. Отмечает красивое — в природе и везде. Но — не пронзён. (Пронзён = душа. Ибо душа = боль + всё другое)» (А. Тесковой. 1935, 28 декабря).

Такую поразительную по объективности и углублённости психологическую характеристику дала Марина Цветаева девятилетнему Муру. Если всё это так, значит, уже по природным свойствам своей натуры Мур не мог откликаться на её стихи так, как юный Сергей, как Аля. Он от рождения был гораздо более рационалистичным, чем они; в детстве он придавал несравненно большее, чем это было принято в их доме, значение общественному признанию таланта, определённом положению человека в обществе, уровню благополучия, статусу. Всё это самым прямым образом влияло на его оценки.

«Вас учили, учили музыке, и всё равно ничего не вышло, кроме писателя, которого даже не печатают», — говорил он матери.

Изредка слова его звучали чуть мягче, что, впрочем, не меняет сути оценок.

Цветаева фиксирует в записной книжке:

«Мур — 23 февраля 1934 г. (9 лет 23 дня) — 1-й школьный год. — Вот я сегодня глядел на учительницу и думал: — Вот у неё

есть какая-то репутация, её знают в обществе, а мама — ведь хорошо пишет? — а её никто не знает, потому что она пишет отвлечённые вещи, а сейчас не такое время, чтобы читали отвлечённые вещи. Так что же делать? Она же не может писать другие вещи».

Марина Ивановна цитирует эти слова в своём письме Вере Буниной, и там монолог девятилетнего сына как-то более непосредственно обращён к ней и звучит теплее и сочувственнее:

«Так что же Вам делать? Вы же не можете писать другие вещи? Нет, уж лучше пишите по-своему». Но даже признавая её право писать по-своему, Мур явно не находит в себе душевного отклика на стихи матери — «не пронзён», и нападает он порой достаточно резко. Мать честно всё записывает.

«21 июля 1935 г.

(Мур) (В ответ на мои стихи: Небо — синей знамени, Сосны — пучки пламени...) — Синее знамя? Синих знамён нет. Только у канарок пучки пламени. Но ведь сосны — зелёные. Я так не вижу, и никто не видит. У Вас белая горячка: синее знамя, красные сосны, зелёный змей, белый слон. Как? Вы не любите красивой природы? Вы — сумасшедшая! Ведь все любят пальмы, синее море, горностаи, белых шпицов. Для кого Вы пишете? Для одной себя, Вы одна только можете понять, потому что Вы сама это написали».

Такого никогда не сказала бы маленькая Аля — она и не подумала бы так. Она была убеждена, что «её Марина» всё видит лучше всех, и если другие не могут увидеть то, о чём она пишет, значит, это они слепы, а не она. Сама Аля умела видеть, как она — вместе с ней:

«Аля: “Марина! Мне кажется, когда мы говорим, люди нас не понимают, — как зверей”» (Из цветаевских дневниковых записей 1919 года).

В Советской Москве, где невозможно было опубликовать сборник стихов Марины Цветаевой, где Мур читал и слышал совсем другие, пользующиеся шумным успехом стихи советских поэтов, ему ещё труднее было сориентироваться. Уже совсем в другой

жизни — в 1942 году — он написал из Ташкента Але в лагерь, что читает сейчас, видимо, не известные ему прежде стихи Мандельштама и... Долматовского и что Долматовский — прекрасный поэт. (О Мандельштаме Мур ничего подобного не сказал!) Вообще поразительно и упоминание этого «запретного» имени вообще, и тем более — в письме в лагерь, безусловно проходящем цензуру! Муру — и Але тоже! — «повезло», что цензору это имя, видимо, ничего не сказало...

(Поразительно и само сочетание таких несовместимых имён, как Мандельштам и Долматовский).

Мотив тотальной оторванности поэзии Марины Цветаевой от жизни Мур логически жёстко продолжил уже в Москве, когда не только не рассердился, а принял разгромную рецензию советского критика Корнелия Зелинского на книгу стихов Марины Цветаевой.

Сегодня нам понятно, что именно такая рецензия была тогда заказана. Но Мур склонен был считать её справедливой — именно с советской точки зрения, в тот момент полностью им разделяемой.

Мур соглашался, что цветаевские стихи «тотально оторваны от жизни». Он не понимал, что в устах сына это звучало почти предательски — ведь Корнелий Зелинский обвинил Марину Цветаеву в формализме, этот термин в те годы звучал угрожающе, почти как политическое обвинение. Но пятнадцатилетний Мур, несмотря на уже свершившиеся аресты отца и сестры, всё ещё до конца не осмыслил страшный контекст времени, в котором порядочные люди, как бы они ни относились к чьим-то стихам, не позволяли себе писать такое.

Дневниковая запись пятнадцатилетнего Мура удивительно напоминает давний монолог девятилетнего:

«Те стихи, которые мать понесла в Гослит для её книги, оказались неприемлемыми. <...> Отрицательную рецензию, по словам Тагера, на стихи матери дал мой голицынский друг критик Зелинский. (В голицынском Доме творчества Корнелий Зелинский много беседовал с Муром. — Л. К.). Сказал что-то о формализме. Между нами говоря, он совершенно прав, и конечно, я себе не представ-

ляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери — *совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью*. (курс. мой. — Л. К.) Вообще я думаю, что книга стихов или поэм — просто не выйдет. И нечего обижаться на Зелинского, он по-другому не мог написать рецензию».

Любопытен и многозначен здесь оборот «между нами»: это и «диалог с самим собой», и обращение — как бы «по секрету» от Марины Ивановны — к «трезво мыслящим» и «идушим в ногу со временем» людям, которые, возможно, когда-нибудь прочтут его дневник. Мур теперь явно не склонен делиться этими мыслями с матерью, как было в детстве — прежней откровенности больше нет. Он настолько убеждён в её безнадёжной старомодности, что считает разговоры на эти темы ненужной тратой сил. Марина Ивановна, конечно, чувствовала, насколько сын в этом не с ней — сбывалось её давнее предсказание о том, что Мура в Советской России у неё «с головой отберут».

Позднее Мур прозрел, но произошло это слишком поздно, и слишком мало жизненного времени оставалось тогда уже и ему...

И всё же было бы непростительным упрощением видеть в отношениях матери и сына только отчуждение — сам Мур никогда не считал, что мать не оказала на него никакого влияния. Другой вопрос, что бывали моменты, когда он резко, с подростковой категоричностью её влиянию сопротивлялся. Позднее он с горечью вспоминал и осмыслял тот период, когда рос, по словам Марины Ивановны, «разорванным между её гуманизмом и почти что фанатизмом отца», и косвенно согласился с этими словами матери (которых никогда не читал). Перечисляя самые разные, очень разнородные влияния, которым он тогда подвергался, до конца не поддаваясь ни одному, Мур назвал в своём дневнике очень существенным «поэтико-страдальческую струю влияний матери»:

«... Процесс распада всех без исключения моральных ценностей начался у меня по-настоящему ещё в детстве, когда я увидел

семью в разладе, в ругани, без объединения. <...> Распад был ещё в том, что отец и мать оказывали на меня совершенно различные влияния, и вместо того чтобы им подчиняться, я шёл своей дорогой, пробиваясь сквозь педагогические разногласия и идеологический сумбур. С одной стороны — гуманитарные воззрения семьи Лебедевых, с другой — поэтико-страдальческая струя влияний матери <...>, с пятой — влияние французских коммунистов и мечта о СССР как о чём-то особенно интересном и новом, поддерживаемая отцом...» (1941, 16 июля).

В записной книжке Марины Цветаевой есть две записи о разговоре с маленьким сыном. Читая их, нельзя не вздрогнуть, зная будущую судьбу обоих. «Нужно было бы издать закон, чтобы все, у которых умерла мать, тоже умирали: убивались».

И ещё: «Прогулка в лесу. Кричат «сироты» (птицы — Л. К.). — Неужели они могут так веселиться, когда у них родители умерли?

— Ах, Мур, они их давно забыли!

— Неужели *ни один* не помнит?

(Несколько времени спустя)

— Я бы не стал так веселиться, если бы мои родители умерли... Как ужасно они орут!»

Такие слова тоже явно не вписываются в жутковатый образ якобы от рождения душевно холодного, надменно резонёрствующего, жестокого юноши, виноватого в смерти матери и не переживающего её смерть. Как возник этот предельно упрощающий суть Георгия Эфрона образ? Я помню, что ещё до всех публикаций о страшных елабужских днях Марины Цветаевой бродили смутные слухи об «ужасном» письме её сына, написанном буквально через несколько дней после смерти матери, о холоде и бездушной рационалистичности этого письма.

Позднее в такое представление о Муре внесла свою лепту Анастасия Цветаева. В 1983 году она опубликовала в журнале «Москва» своё мнение о причинах трагического ухода из жизни её сестры Марины. Пройдя в Елабуге по её следам, Анастасия Ивановна записала

все воспоминания видевших Марину Ивановну и Мура в те дни, особенно подробно остановилась она на рассказе хозяйки того дома, где всё случилось. На самом деле, что бы ни утверждали хозяйка или её муж, они даже не могли понять слов, произносимых Мариной Ивановной и Муром в последний вечер — их разговор шёл на французском языке. У Анастасии Цветаевой получилось, что очень большая (если не основная) вина за смерть матери лежит на сыне. Позднее, в дополненной и исправленной редакции своих воспоминаний, Анастасия Ивановна гораздо более диалектично осмысляла эту трагедию, но прежде, в ослеплении горячей боли и не рассуждающего возмущения, она была настолько непримирима в гневном осуждении безнравственного, как ей казалось, поведения Мура в Елабуге, что и сама в какой-то момент перешла границы нравственно допустимого.

Одна из первых горячо заступилась за погибшего брата Ариадна Сергеевна Эфрон.

«Мур виноват? *Как просто! Как просто* обвинить мальчишку, который не может оправдаться — маминого любимого мальчика! которого она так знала и в плохом и в хорошем! — *Только Мур!* Будто и не было того, что отняло силы <...>. Под Мура, живого, мамой любимого сына, под Мура, которого я знаю с самого его рождения и до 37-го года и которого Вы не знаете и знать не хотите, Вы подставили ходули дурного сына, которого и Бог на фронте убил (вместе с целым полком других сыновей) — за грехи! Ох, Ася, не приписывайте Вы Богу собственных взглядов! Не много ли на себя берёте?» (А. Цветаевой. 1960, 7 ноября).

И — в продолжении (может быть, в другом варианте) этого письма, видимо, так и не отправленного, — ещё резче:

«Ваши слова о том, что Мур взят от жизни Богом за грех, — простите меня, но это такое изуверство и такое надругательство над памятью не только Мура, но и его матери, что сил нет читать такое, написанное Вашей рукой. Тут уж Вы, Ася, и Господа Бога подменяете, и грехи и наказания утверждаете — *не зная*, был ли грех какой, ибо этого знать нельзя, ибо *правду* об отношениях мамы и Мура знают только они, а нам с Вами, квартирным хозяйкам и

прочим свидетелям со стороны знать это нельзя, *да и не положено*. За какие такие грехи папины был он «Богом взят от жизни»? За какую такую праведность другие люди — мы с Вами в том числе — по сей день землю топчем?»

Письмо Анастасии Цветаевой, на которое так гневно отвечает Ариадна Эфрон, осталось не известным, но смысл его ясен из ответа.

«Ходули дурного сына» подставляют под «живого, маминного любимого мальчика» и во многих воспоминаниях. Однако это оспаривают письма и дневниковые записи Марины Ивановны.

«Вы спрашиваете про Мура? Страстно увлекается грамматикой: по воскресеньям, для собственного удовольствия, читает Cours supérieur (Высший курс грамматики), который похитил у Серёжи с полки и унёс к себе, как добычу. — “Ма-ама! Ellipse! Inversion! (Эллипс! Инверсия!). Как интересно!!”» (В. Буниной. 1934, 26 февраля).

Таких записей, фиксирующих обаятельное своеобразие маленького Мура, в записных книжках Марины Цветаевой немало. Много в них и такого, о чём ей было радостно или весело писать.

«12 января 1933 г.

— Мама, почему Вы не любите глупых?

— Потому что с ними скучно.

— А зато — смешно!»

«Я: про какую-то дуру (актрису, на картинке), в которую он влюблён.

— Ну как ты думаешь, если ты её встретишь на улице, она на тебя посмотрит?

— Нет. Зато я на неё посмотрю».

В таких ответах она вполне могла «узнавать своё» — умную быстроту реакции, чеканную афористичность, внутреннее достоинство.

« — Все говорят, что я на Вас похож. По-моему — не очень.

— Внешне — очень, внутренне — не во всём, но...

— Мы похожи по защите.

— И вообще во многом. Но ты общительный человек, любишь общество, компании.

— Что ж что компании! Вы тоже любите компании.

— По одному.

— По очереди — как доктор».

«... поздним вечером, после эпизодического ужина (вроде как в Советской Москве — из того, что есть, не считаясь с соединимостью того или иного) — напеваю пушкинское “Я Вас любил, любовь ещё, быть может... (Обожаю до жара в Herzensgrube (в недрах сердца) — с детства!) ...Как дай Вам Бог любимой быть другим...” И Мур: А другой этот — был Дантэс? (так в записи — Л. К.)»

Радовал её Мур и некоторыми более развёрнутыми афористичными — в её духе и по форме, и по сути — высказываниями:

«Так коротко рассказывать, как Бог создал мир, по-моему, непочтительно: выходит — не только не six jours, а six secondes. (не шесть дней, а шесть секунд) Французы, мама, даже когда верят, настоящие безбожники!» (В. Буниной, 1936).

Так Мур жаловался на уроки Закона Божьего во французской школе. В письмах Марины Ивановны тоже звучит жалоба на характер уроков — не творческий, отупляющий, на требования бездумной зубрёжки. Марина Ивановна с ностальгической тоской вспоминает часто звучавшее в российских гимназиях: «Расскажите своими словами!» — когда-то не ценимое ею, вызывающее её насмешки.

И в письмах, и в записях она часто сравнивала своих детей (и своё к ним отношение).

В следующих словах Мура она, думается, не могла не отметить повышенную рационалистичность и трезвость его ума: « — Нужно наконец окончательно убедиться, есть ли Бог или нет».

Ни Аля, ни, наверное, сама Марина в детстве такого и так не сказали бы...

«... Дома катятся, люди катятся, головы катятся...» (Мур о Революции).

Как должна была восхитить её эта сказанная устами младенца истина!

«Мур, вчера: Аля, неужели ты этими своими глазами видела Россию, Москву: ну — всё — то — такое... чего я никогда не видал...»

Так сильно волновало маленького Мура, хотя он не был склонен к сентиментальности, всё связанное с Россией. И такое его волнение, безусловно, трогало Марину Цветаеву.

Совсем другое отношение вызывала в матери безудержная тяга подрастающего сына именно в Советскую Россию — тут всё ей было мучительно чуждо. Резкое расхождение их ожиданий остро запомнилось Марку Слониму, к которому Марина Ивановна с Муром пришли в июне 1939 года, буквально за несколько дней до отъезда.

«В начале июня 1939 года Марина Ивановна пришла с Муром провести у меня прощальный вечер и сообщила, что на днях — отъезд. После ужина мы начали вспоминать Прагу, наши прогулки и как однажды, засидевшись у меня до полуночи, она опоздала на поезд, я повёз её в деревню Вшеноры на таксомоторе по заснеженным зимним дорогам, и она вполголоса читала свои ранние стихи. Она задумалась и сказала, что всё это было на другой планете. Мур слушал со скучающим видом и этот разговор, и последовавшее затем чтение Мариной Ивановной её последней вещи — «Автобус». Я пришёл в восторг от словесного блеска этой поэмы и её чисто цветаевского юмора и не мог прийти в себя от удивления, что в эти мучительные месяцы у неё хватило силы и чувства комического, чтобы описать, как:

Препонам наперерез
Автобус скакал, как бес.

Марина Ивановна на мой вопрос ответила, что ей сейчас хочется написать как можно больше, ведь неизвестно, что её ждёт в Москве, и разрешат ли печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил: “Что Вы, мама, Вы всегда не верите, всё будет отлично”.

Марина Ивановна, не обращая внимания на сына, повторила свою давнишнюю фразу: “Писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать, то есть дышать”.

Марина Ивановна долго говорила о судьбе рукописей, которые она хотела оставить <...>. Мы засиделись допоздна. Услышав двенадцать ударов на ближней колокольне, Марина Ивановна поднялась и сказала с грустной улыбкой: “Вот и полночь, но автомобиля не надо, тут не Вшеноры, до Пастера дойдём пешком”. Мур торопил её, она медлила. На площадке перед квартирой мы обнялись. Я от волнения не мог говорить ни слова и безмолвно смотрел, как Марина Ивановна с сыном вошли в кабину лифта, как он двинулся, и лица их уплыли вниз — навсегда». (Марк Слоним. О Марине Цветаевой.)

Вспоминал ли Мур этот спор, когда выражал в своём дневнике согласие с приговором критика Корнелия Зелинского? Понял ли наконец верность именно материнских, а не отца с сестрой прогнозов?

С такими разными настроениями и ожиданиями они уезжали: Мур — с радостным нетерпением, совсем не разделяя грусть матери от прощания с тем дорогим, что оставалось во Франции и тем более в Чехии, ожидая только хорошего и по-прежнему вслед за отцом считая страхи матери необоснованной, болезненной «жизнебоязнью», Марина Ивановна — с тяжёлыми предчувствиями. Но каковы бы они ни были, действительность оказалась во много раз страшнее.

18 июня 1939 года Марина Цветаева с Муром приехали в СССР. Через два месяца после их приезда была арестована Аля, а ещё через два — Сергей Яковлевич. Это — давно известные страшные факты. Но как пережил и осмыслил их четырнадцатилетний в 1939 году и шестнадцатилетний к началу войны Мур? Что думал он теперь о стране, в которую так рвался?

Я размышляла над этими вопросами ещё в своей книге «Душа, родившаяся где-то... Марина Цветаева и Кристин, дочь Лавранса»:

«Очень мало известно (точнее — почти ничего не известно) о том, как пережил Мур поспешный отъезд отца из Франции и всё, что за этим последовало, и те несколько месяцев общения с ним —

после двух лет разлуки — летом-осенью 1939 года в подмосковном Болшеве, и арест отца, его уход из их с матерью жизни навсегда. Мария Белкина, вспоминая, что при матери Мур никогда об арестованных отце и сестре не говорил, но, оставаясь с ней, тогда молодой женщиной старше его всего на 5—7 лет, иногда касался этой темы, полунамёками, а если впрямую, то сам быстро и резко обрывал себя, предполагает запрет Марины Ивановны на подобные разговоры, объяснимый страхом за сына. Но много ли говорили они об этом и между собой? <...> В записи за 1940 год Марина Цветаева коротко, намеренно ничего не расшифровывая, воссоздает картину тревожных дней в Болшеве — последних дней, когда вся семья была еще вместе: “постепенное щемление сердца”, больной Сергей, неуют, беспомощность. И затем: “Мур <...> бежит от всего такого”...

“И естественно, что бежит, — комментирует эти записи М. И. Белкина, — ведь ему всего только пятнадцать лет”. Но — от чего именно бежит? От воспоминаний о своих арестованных? М. И. Белкина сама рассказывает, что он ценил редкую возможность поговорить о них. Значит, бежит именно от общих с матерью воспоминаний, от восприятия всего происшедшего на одной с ней волне? Такое общее восприятие когда-то было у Марины с маленькой Алей и очень поддерживало её в трудные годы Гражданской войны до отъезда из Москвы. Он пережил всё по-своему (как именно — можно только пытаться угадать)».

Так я писала в вышедшей в 2000 году книге, когда ещё не был опубликован дневник Мура. Большая часть цветаевского архива была закрыта как раз до 2000 года Ариадной Эфрон. Одно из сообщений, по которым она «закрывает» дневник брата и многие письма и записные книжки Марины Ивановны, — это резкие, порой продиктованные лишь настроением данного мига слова о живых ещё людях. Таких слов и у Мура немало.

Но теперь его дневник опубликован. Это подробнейший рассказ, настоящая хроника жизни по дням, едва ли не по часам. Он проясняет очень многие из тех вопросов, над которыми я (да и не я одна) столько лет мучилась. Так, очень подробно, со свойственной его стилю аналитичностью, почти впрямую обращаясь к будущим

читателям, Мур отвечает на вопрос, как он пережил поспешный отъезд отца из Франции и всё дальнейшее.

«... Процесс распада продолжался скоропалительным бегством отца из Франции, префектурой полиции, отъездом из дома в отель и отказом от школы и каких-то товарищей, абсолютной неуверенностью в завтрашнем дне, далекой перспективой поездки в СССР <...> боязнью войны, письмами отца, передаваемыми секретно... какая каша, боже мой! Наконец отъезд в СССР. По правде сказать, отъезд в СССР имел для меня очень большой характер, большое значение. Я сильно надеялся наконец отыскать в СССР среду устойчивую, незыбкие идеалы, крепких друзей, жизнь интенсивную и насыщенную содержанием. Я знал, что отец — в чести и т. д. И я поехал. Попал на дачу, где сейчас же начались раздоры между Львовыми и нами, дразги из-за площади, шляния и встречи отца с таинственными людьми из НКВД, телефонные звонки отца из Болшева. Слова отца, что сейчас ещё ничего не известно. Полная законспирированность отца, мать ни с кем не видится, я — один с Митькой. Неуверенность <...> Тот же распад, только усугублённый необычной обстановкой. Потом — аресты отца и Али, завершающие распад семьи окончательно. Всё, к чему ты привык — скорее, начинаешь привыкать, — летит к чорту. Это и есть разложение, и меня оно беспрестанно преследует. Саморождается космополитизм, деклассированность и эклектичность во взглядах. Стоило мне, например, в различных школах, где я был, привыкнуть к кому-нибудь, к чему-нибудь — нате: переезд — и всё к чорту, и новый пейзаж, и привыкай, и благодари. Сменяются: Болшево, Москва, Голицыно, комнаты в Москве, школы, люди, понятия, влияния — и сумбур получается. <...> Всё это я пишу не из какого-то там пессимизма — я вообще очень оптимистичен. Но чтобы показать факты. Пусть с меня не спрашивают доброты, хорошего настроения, благодушия, благодарности. Пусть меня оставят в покое...».

Множество записей Мура посвящено самому болевому в их жизни тех лет — волнениям, связанным с арестованными отцом

и сестрой. В его дневнике подробно воссозданы тюремные очереди, принятые или не принятые деньги и передачи (если не приняты — другая очередь к другому окну для выяснения причины); и единственный способ узнать, что арестованные живы, — «внести», по выражению Мура, передачу, и получить подтверждение того, что она принята. Эти страницы вносят принципиально новое в сложившуюся до опубликования дневника картину отношений Марины Ивановны с выросшим Муром. Его грубость, раздражение, отчуждение — всё это верхний слой, за ним — общее горе, о котором они мало с кем могли говорить, может быть, только с Елизаветой Яковлевной.

«Мать сегодня уехала вносить передачу отцу в Лефортово. Она (мать) всё время боится, что он умрёт или же что его вышлют, а я уверен, что его, так же как и сестру, освободят — слишком уж долго тянется следствие...» (1940, 15 мая).

«Главная новость вчерашнего дня: это то, что отца нету ни в Лефортовской тюрьме, ни в НКВД. Просидев после своего ареста некоторое время в НКВД, потом он перевёлся в Бутырскую тюрьму, из которой его потом перевели в Лефортово, где 4 раза мать ему носила передачу. Когда она вчера пошла вносить ему передачу, то там сказали, что его “здесь нет”. Тогда мать пошла в НКВД — там его тоже не оказалось. Тогда она там подала заявление, спрашивающее, где он находится. 3-го числа мы узнаем, очевидно, ответ на это заявление. Я пока ничего не предполагаю, потому что предположений слишком много. <...> Муля (Самуил Гуревич — человек, которого любила Ариадна Эфрон. — Л. К.), как всегда со времени арестов, сопровождает мать в тюрьмы и НКВД и 3-го вместе с ней, очевидно, пойдёт узнать ответ на её заявление. Я предполагаю тоже пойти» (1940, 1 июня).

«Завтра утром я и мать едем в Москву. Завтра мы посмотрим комнату в Институте и надеюсь, узнаем о судьбе отца хоть что-нибудь. Мать очень за него беспокоится: не умер ли он, не в госпитале ли. Я предполагаю, что его просто перевели из одной тюрьмы в другую. Возможно, что скоро будет суд, но эта версия гораздо

менее правдоподобная, чем предыдущая. В общем, завтра узнаем» (1940, 2 июня).

«Возможно, что он (С. Гуревич) на неё (на Марину Ивановну) зол, потому что она не пошла в прокуратуру узнавать о Але, — но у неё спешный перевод, и кроме того, она всё время болела» (1940, 25 мая).

· Хождения в прокуратуру и прочие хлопоты об арестованных за долгое время стали, как ни страшно это звучит, привычными и буднично повседневными — стали бытом. При взгляде из другого времени это может смутить или даже показаться кощунственным, но есть ли право судить, не находясь внутри той повседневной жизни?

«... Вчера в НКВД матери сообщили, что отец не числится на передаче. Мать пошла к “Вопросам и ответам” и подала анкету. Послезавтра она узнает, что с отцом. Думаю, что он, так же как и Нина Николаевна, переведён в Бутырки. (Сначала — для него — НКВД, потом Бутырки, потом Лефортово, потом опять НКВД, потом?..) А Аля все время в НКВД, и ни одного раза никуда её не переводили, так же как и Николая Андреевича. Всё это непонятно.» (1940, 1 октября).

Таковыми заботами, скрываемыми даже от близких знакомых, жили тогда очень многие люди. Мария Белкина вспоминает, что она часто встречалась с Мариной Ивановной и Муром в то время и была посвящена во многие их трудности. Её муж, известный в те годы советский критик Анатолий Тарасенков, помогал им получить рукописи и вещи, долго задерживаемые на таможне. Они оба пытались помочь, чем могли, измученной Марине Ивановне. Но о хождениях на Лубянку, ночных очередях, передачах они ничего не знали. Никто не слышал разговоров Марины Цветаевой с сыном о судьбах Сергея Яковлевича и Али. Как теперь ясно видно из дневника Мура, они вели их постоянно, но без свидетелей. Мать и сын вместе волновались и терялись в догадках, часто Мур сопровождал Марину Ивановну к страшному тюремному окошку. Но в

самом сокровенном он и с ней (с ней, может быть, даже более, чем с другими) оставался закрытым. Только в дневнике, и то не часто, Мур позволял себе полную душевную раскованность. Некоторые страницы звучат в совсем иной тональности, поражающей неожиданностью читателей, уже привыкших к холодновато-сдержанному его стилю.

С пронзительной болью и глубоким состраданием пишет он об отце.

«Вспоминаю со сложным чувством кисло-сладкой трагичности дачу в Болшеве. Больной сердцем отец и тасканье моё с ним на почту в Болшево, где долго ждали телефона. Жара. Отец почти седой, с палкой, в сером пиджаке. Благородное, умное и кроткое лицо. Именно благородное. Нервный. Я его очень жалею и жалел... Неладно у него было с сердцем — нередко припадки, и приходила Нина Николаевна со шприцом. <...> Устраивание колец и каждое утро занятия мои физкультурой под руководством отца. Но нет. Вспоминать об этом поистине трагическом времени в Болшеве не стоит. Жаль отца; жаль, что он угодил в тюрьму. Бедный отец! Но надеюсь, что его оправдают. Алю жалко, но отца больше жалко. Как он самоотверженно работал во Франции! Сколько он там замечательного дела сделал. И из-за этого-то я и не могу ни минуты подумать, что его осудят и вышлют. Нет, в это не верю. Его оправдают и освободят. Я в этом убеждён. Слишком он много пользы сделал для СССР во Франции. Всё должно хорошо кончиться, и всё кончится хорошо. Так нужно» (1940, 8 июля).

Это звучит как заклинание судьбы. Острая боль разлуки и утраты, постоянно ощущаемая Муром, несомненна, но даже в дневнике она очень редко и как-то неожиданно, среди слов совсем о другом, прорывается на поверхность:

«В следующем году хочу ходить на лыжах. *Que fait papa en prison a cette heure-ci?* (Что делает папа в этот час в тюрьме?) Без пяти десять. Скоро я буду ловить «Свободную Францию». Но, чёрт подери, что же я буду делать летом?» (1941. 18 мая).

«Последнее время стал хорошо одеваться — шикарное пальто, отцовские пиджак и штаны, пришедшиеся впору. Я рад носить его вещи — какая-то этим образом устанавливается связь с ним» (1941, 23 мая).

На фоне жёсткости многих других мыслей и эмоций Мура особому потрясает в такие моменты беззащитная искренность чувства. Если бы Марина Ивановна прочла эти строки, она не жила бы в эти годы с таким горьким ощущением «неузнавания» в сыне ничего своего. Эти записи Мура, особенно от 8 июня 1940 года, очень похожи на ее слова из записной книжки лета 1940 года — «Разворачиваю рану... Постепенное щемление сердца».

Она думает, что Муру это чуждо, что он «бежит всего такого». Но это не так — на самом деле он ревниво оберегает от всех своё чувство.

Впрочем, после тяжёлых минут погружения в мучительные переживания в Муре действительно срабатывает некий инстинкт самосохранения.

«Но нет. Вспоминать об этом поистине трагическом времени в Болшеве не стоит».

В нескольких местах дневника говорит он о том, что «всем сердцем ненавидит драму». Говорит и ещё определённое и страшнее:

«Ведь если думать по-настоящему, то сделаешься быстро сумасшедшим (совершенно серьезно говорю). Закрутишься в кольце непонятых, неразрешённых проблем и задач, завертишься, ища для себя цели и счастья, — и сойдёшь с ума...» (1941, 28 мая).

Но если Мур и пытается «бежать от всего такого», именно боясь сойти с ума, получается это у него далеко не всегда. Он не перестаёт думать обо всём трудном и очень много — о причинах арестов. Похоже, что эти вопросы он почти не обсуждал с Мариной Ивановной, чувствуя и зная, что слишком по-разному относятся они ко всему в Советской России происходящему. Он размышлял наедине с собой, и на фоне нашего сегодняшнего знания об ужасе сталинского режима поражает относительное благодушие его

первых записей об арестах отца и сестры — взгляд на них как на временную неприятность, как на недоразумение, которое должно скоро и справедливо разрешиться.

«Конечно, главное, самое наиглавнейшее — это дело папы и Али, над которым я ломаю себе голову. Уже есть один факт: сын Львовых (конспиративная фамилия Клепининых. — Л. К.) Алёша (Алексей Сеземан. — Л. К.) выслан на 8 лет в Княжий Погост, около Архангельска. Наверное, всё это дело решено будет уже к лету, во всяком случае, я думаю, что к лету, скоро, мы будем знать дальнейшую судьбу папы и Али. Мать говорит, что на лето мы ничего не будем решать, так как наша судьба зависит от судьбы папы и Али. Действительно: или дело не кончится, и мы будем прикованы к Москве, так как нужно узнавать о них и вносить передачу; или они будут оправданы, и тогда я ставлю большой вопросительный знак во всех отношениях; или они будут высланы, и тогда мать не будет в состоянии ехать куда бы то ни было. Вот и все три предположения. <...> Нужно ждать. Ждать окончания болезни, окончания дела отца и сестры, и не нужно терять терпения. В этом и есть главное» (1940, 4 марта).

«Мать поехала на передачу. Сколько длится вся эта катавасия? Аля была арестована 27-го августа и сидит в НКВД семь месяцев. Отец был взят 10-го октября и сидит (после короткого пребывания в НКВД) в Бутырках 5 месяцев (и три шестидневки). <...> Муля смотрит на всю эту историю очень оптимистично — он говорит, что наши, конечно, будут освобождены, и говорит и думает это вполне искренно. Что ж поживём — увидим» (1940, 27 марта).

«Мне кажется, что скоро дело должно пойти к развязке. Во всяком случае, я поручусь жизнью за честность и преданность СССР двух людей: отца и сестры. Каков бы ни был исход этого дела, я знаю, что отец безгранично любит СССР и проделал колоссальную работу во Франции. Будем ждать спокойно, как это дело кончится. Я продолжаю твёрдо надеяться (так же, как и Муля) на его благополучное окончание» (1940, 5 июня).

Так оптимистически настроен был не только пятнадцатилетний Мур, но и взрослый Самуил Гуревич. Часто людям иного времени кажется удивительной слепота предшественников. Если сейчас, когда известно, чем закончилось это дело, подобное благодушие вызывает горестное сочувствие и боль за мальчика, то другие мысли Мура неприятно поражают, во-первых, явным их несоответствием его высокому интеллекту, осязаемому во многих размышлениях на другие темы, во-вторых, что более важно, — сомнительностью нравственной позиции. В частности, Мур считал, что не симпатичные ему Клепинины, в отличие от его отца и сестры, арестованы справедливо и должны понести заслуженное наказание за антисоветские разговоры.

«Конечно, всё дело в том, как кончится дело папы и Али и дело Львовых (мужа и жены, так как Алёша выслан). Всё дело в этом, и пока оно не кончится, всё будет идти как-то криво. Я полагаю, что Львовых осудят, а отца и сестру выпустят (отец и сестра — честные люди, а те двое, да и Алёша, отъявленные лгуны)» (1940, 6 марта).

В романе Ю. Трифонова «Дом на набережной» люди, назвавшие чьё-то имя на допросе или выступившие против кого-то на разгромном, типичном для конца 1930-х годов собрании, находят для себя лазейку — такого рода оправдание: «Это были плохие люди!»

Похожая жутковатая путаница ощутима в рассуждениях Мура: он явно разделяет арестованных людей на несправедливо пострадавших и заслуженно наказанных. Например, про Дмитрия Сеземана есть такая запись:

«Он говорит, что его брат «чист, как ягнёнок» и т. п. Я конечно, этому не верю...» (1940, 9 августа).

В другом месте, отстаивая своё право встречаться с «Митькой», с которым его многое связывает, Мур тем не менее пишет о «недостатке» Дмитрия Сеземана: он «принадлежит к такой плохой семье». И совершенно не важно в данном случае, справедлив ли Мур в своей личной, никакого отношения к политике не имеющей неприязни к семье Клепининых. На каком основании считал он справедливым их арест? Ведь он ни разу не говорит о каких-либо

их *действиях* против советской страны. Речь идёт только *о словах*. Мур несколько раз повторяет: он точно знает, что Клепинины «вели антисоветские разговоры». Значит, он не подвергал сомнению право государства карать человека за высказываемые мысли, его не смущал даже пункт «за недоносительство» — очень уж «объективистски» пишет он о том, что положение Али, по словам Самуила Гуревича, может осложниться, так как на допросах выяснилось, что она знала об «антисоветских» разговорах Клепининых, но не «сообщила куда следует». Смутные сведения о происходящем на допросах дошли до Мура после того, как Ирина, жена Алексея Сеземана, ездила к мужу на свидание в ссылку. Она передала его рассказ об очной ставке Алексея с Алей Дмитрию Сеземану и Самуилу Гуревичу.

Ярлык «антисоветскости», как известно, в те годы часто навешивался на самых разных людей, в том числе — не реже, если не чаще, чем на других — и на самозабвенно преданных советской власти. В первое время после приезда в страну Мур без сомнений принимает и оперирует этим словом в своих противоречивых размышлениях. Впрочем, у него чаще звучит слово «несоветский», он и о «Митьке» часто пишет, что в нём «нет ни капли советского духа», и нередко противопоставляет себя, стремящегося гармонично влиться в советскую жизнь, Дмитрию Сеземану.

«Нельзя же считать другом настоящим приспособленческого Митьку, к тому же столь «упадочника» и, в сущности, порочного элемента, который ничем мне не может помочь, ничего разъяснить, в котором нет *ни капли* советского духа...».

Дмитрий Сеземан — сын Клепининых, соратников Сергея Яковлевича, а затем соседей по Болшевской даче, арестованных той же осенью 1939 года. Николай Андреевич Клепинин — отчим Дмитрия, «Сеземан» — фамилия его родного отца. Мура и «Митьку» (так он всё время называет Сеземана в дневнике) сближали общее прошлое, общие литературные интересы, прекрасное знание французских поэтов, в какой-то степени — и общая беда после ареста

близких (хотя это иногда и разделяло их). Они часто встречались в Москве в 1940—1941 годах, до начала войны, но отношения были сложными.

Самуил Гуревич, призывающий Алю в письме в лагерь «работать как истинные советские люди» и верить в конечное торжество справедливости, всячески предостерегал Мура от «вредных» контактов с «Митькой». Правда, за этим стояли реальные опасения: двое приехавших из-за границы и всячески выделявшихся среди молодёжи тех лет юношей, у которых арестованы родители, могли привлечь нежелательное внимание органов. Мур и сам часто соглашается с этим.

«Надоело мне то, что ни с кем в СССР у меня нет человеческих отношений — Митька не считается, потому что эти отношения нельзя считать советскими, да они глубоко бесплодны к тому же. <...> Хотелось бы горячих споров летом, прогулок, радости, песен, надежд, обсуждений (курс. мой. — Л. К.), а не скептического смеха Митьки, который надоел, потому что бесплоден и мёртв...» (1941, 22 марта).

Но общение с Дмитрием Сеземаном всё же по-настоящему интересно Муру.

«Завтра вечером я позвоню Митиной бабушке, чтобы спросить, приехал ли он, а если он приехал, я ему назначу встречу на 5-е, если он свободен. Это единственный тип, с которым приятно поговорить по-настоящему. У него свои недостатки, но есть и достоинства, как, например, настоящий ум, замечательные мысли, он очень блестящий, и мне с ним хорошо. Будем говорить о вечерней Франции, будем смеяться, дурака валять, и я забуду о своем одиночестве, пока он не уедет. А тогда я почувствую себя ещё более одиноким...» (1940, 3 июля).

В очередной раз соскучившись по «Митьке» и досадуя на упорные возражения Самуила Гуревича против их встреч, Мур вдруг вспоминает, что Муля и сам «не чист» перед советской властью.

«Мне совершенно ясно, что Муля ошибается насчет Митьки (говоря, что он не советский человек и т. п.). Во-первых, Муля — бывший троцкист, исключённый из партии, и все его попытки быть восстановленным потерпели поражение, так что il n'a rien a dire (не ему бы говорить)» (1940, 16 августа).

И это при том, что Мур очень привязан к Самуилу Гуревичу, на многих страницах дневника он писал о нём с теплотой и уважением!

«Сегодня я остановился на вопросе: какие у меня есть друзья? Роль “старшего друга”, советчика исполняет Муля. Этот человек, друг интимный Али, моей сестры, исключительный человек. Он нам с матерью очень много помогает, и без него я не знаю, что бы мы делали в наши сумрачные моменты.<...> Муля исключительно работоспособен; нрав у него весёлый, но, когда речь идёт о деле, он становится серьёзным и сосредоточенным <...>. Он очень любит мою сестру, и его любовь перенеслась на оставшихся членов нашей семьи. Я не считаю его непосредственно моим другом, но он мне нравится как человек симпатичный, который может дать кучу полезных советов, у которого есть юмор и который, несмотря на явную тенденцию к оптимистике (так! — Л.К.), смотрит на всё сугубо трезво и совершенно ясно. Во многих вопросах я бываю с ним абсолютно не согласен, но тем не менее я его очень высоко ставлю и глубоко ценю. Сколько он нам помогал! Он массу для нас сделал и замечательно помогал, когда было время. Он журналист, ему 35 лет, он смугл и имеет добрые, очень честные чёрные глаза. В общем, он, как говорится, “вне конкурса» и является как бы нашим с матерью «попечителем”...» (1940, 9 марта).

И после всего этого Мур находит возможным так легко, походя бросать Гуревичу (пусть только в личном дневнике) страшные обвинения в политической неблагонадёжности, при этом даже не задаваясь вопросом о справедливости или несправедливости исключения Самуила Гуревича из партии и отказа в восстановлении.

Поистине отравленный воздух эпохи в то время слишком глубоко проник в сознание Мура, и если бы Марина Цветаева читала эти

страницы дневника сына, она могла бы с ещё большей болью, чем в его детстве, воскликнуть, что ничего своего она в нём не узнаёт. От многого она пришла бы в ужас. Особенно тяжело погружаться в запутанный лабиринт догадок и предположений Мура, кто на кого донёс, кто кого оговорил, кто вёл антисоветские разговоры. С Дмитрием Сеземаном они много говорили и спорили на эти темы.

«Вчера встретился с Митькой, чтобы окончательно с ним порвать. Он мне рассказал о заявлениях Алёши Ирине, но в разнице от Мули, который передавал, что Аля обвиняет Алёшу и семью Львовых в “антисоветских разговорах”, Митька мне рассказал, что Аля обвиняла Алёшу в шпионаже, предательстве — критике конституции, а также и в антисоветских высказываниях. Якобы Алёша все эти обвинения сумел отбросить, и тогда (всё по Митьке) ему предложили дать показания против родителей, но он отказался, и именно за этот отказ получил 8 лет. Митька или врёт сам от себя, перевирая версию Ирины; или Ирина ему рассказывает такую версию, а Муле другую. Скорее всего, Митька сам навирает. Митька, развивая “искусные теории”, говорил, что Алёшу арестовали нарочно, чтобы “потопить Львовых”, но не мог объяснить, почему в таком случае арестовали отца и Милю. Он здорово зол на Алёшу и говорит, что, так как он с ней был всегда в отличных отношениях, тем ему и тяжелее и т. п. Он, конечно, ненавидит Алёшу (теперь). Он сделал попытку оклеветать её и уронить в моих глазах, дав понять, что из-за неё и арестовали отца. (“Почему отца арестовали после неё?”) Я дал ему понять, что в этом деле виноваты только Львовы; что они оклеветали сестру, потом отца, и что когда те сами дали показания о них, то Львовых и арестовали. Все эти милые предположения мы преподносили в виде “теорий” о причинах дела, но было ясно, что каждый верит только в свои предположения. Не знаю, может быть, я сделал большую ошибку и оплошность, сообщив Митьке предположения о клевете его родителей <...> он тоже мне сообщил предположения о клевете Али на его семью, так что если он будет болтать, я тоже смогу кое-что сообщить. Алёшу судили особым совещанием, и он получил 8 лет, т. е. максимум в ОСО<...>.

А Митька хвастается, что Алёша получил “мало”. Я не мог Митьке сказать, что я слышал, что Аля обвиняла Алёшу и всю семью Львовых в антисоветских разговорах (я это узнал через Мулю, и Митька не должен этого знать). А Митька утверждает, что все обвинения Али были опровергнуты, потому что у неё не было доказательств, и что Алёшу сослали на 8 лет только потому, что он отказался дать показания против Н. Н. и Н. А. Чья же версия правильная, Мулина или Митькина? Митька никак не мог понять, почему я решил больше с ним не встречаться. Он говорил, что я “боюсь” и т. п. Но мне наплевать. Действительно, он может угодить, как Алёшка. <...> В общем, было довольно тяжело так расставаться. Но нечего делать, так нужно для спокойствия будущего. Конечно, изредка я с ним буду встречаться, но не так часто, как раньше. Кроме того, пролитие света на то, что Аля обвиняла Алёшу и его родителей, нас в известной степени разъединяет с Митькой...» (1940, 27 июля).

Какая мучительная путаница! И как далеки Георгий Эфрон и Дмитрий Сеземан от мысли, что наличие или отсутствие доказательств не играло никакой роли в решении судебных заранее обречённых людей. Доказательства, обвинения друг друга, самооговоры из людей выбивали. Мог ли попавший в эту страшную жизнь подросток разобраться в ней, пробиться к объективной истине, когда и опытные взрослые терялись в таких ситуациях?

«Муля вчера говорил матери о своей полной уверенности в том, что Львовы оклеветали отца и сестру и что этот факт подтверждается тем, что Алёша Львов выслан. Я придерживаюсь того же мнения». (1940, 15 июня).

Значит, и взрослый, опытный Самуил Гуревич искал во всём этом ужасе какой-то логики. Мур тоже пытался строить свои прогнозы, надеясь хоть на какую-то разумность происходящего (например, что не смогут осудить его отца, так преданного советской стране). При этом у него звучит и совсем дикая для слуха современного читателя фраза:

«Я верю в праведность НКВД».

В то же время он постоянно путается в своих поисках причин ареста отца и сестры:

«Аресты же отца и сестры я воспринимаю как несчастные случаи (курс мой. — Л. К.), которые могут иметь три причины: или неосторожные (политически) высказывания Али (по глупости), или её знакомство с каким-нибудь человеком, которого арестовали, или перемена ориентации внешней политики (с Франции на Германию), или клевета Львовых. Первая «причина» — самая неправдоподобная. Остаются две последние, которые, возможно, связаны. Кроме этих трёх (двух) причин, есть много х (икс) причин, о которых мы ничего не знаем...» (1940, 21 июня).

Ужас ещё и в том, что думать над всем этим Муру приходилось в мучительной изоляции от всех «чужих».

«Митька рассказал мне, что ему сказала Ирина — у неё в Наркомвнешторге сослуживица, оказывается, живёт на “нашей” даче в Болшеве и говорит, что там жили “вредители с детьми, и их расстреляли”. Весёленькая штукенция! Мать сегодня вносит передачу отцу и Але...» (1940, 10 сентября).

Мур далёк от мысли, что слова сослуживицы Ирины не абсурд — это страшно сбудется. Дмитрий Сеземан был несколькими годами старше Мура и трезвее, даже циничнее оценивал происходящее. Он выдвинул однажды более реальную версию причин ареста матери, отчима и Сергея Яковлевича.

«Митя говорит, что он объясняет всю эту историю очень просто: все, кто арестован или сослан (папа, сестра, Нина Николаевна, Николай Андреевич, Миля, Павел Балтер, Алёша Эйсер, Павел Толстой), были как-то связаны с людьми из народного комиссариата внутренних дел, а народным комиссаром был Ежов. Когда Ежова сменил Берия, говорят, что его обличили как врага народа и всех, кто более или менее имели непосредственно с ним и комиссариатом дело, арестовали. Так как вся компания была связа-

на с комиссариатом только стороной, естественно, что их арестовали позднее остальных. Я же всю эту историю вовсе не объясняю — слишком много в ней фактов и торопливых выводов» (1941, 9 мая).

В таком кругу мучительных вопросов без ответов Мур обречён был жить все недолгие остающиеся ему годы. Так, в одном из последних своих писем (в 1943 году из Ташкента, куда попал в эвакуацию уже после смерти Марины Ивановны) Мур писал Самуилу Гуревичу о своей растерянности перед призывной комиссией:

«Сначала пришлось отвечать на анкетные вопросы призывной карточки. Я не счёл возможным скрывать того факта, что отец и Аля — арестованы и что я жил до 1939 г. за границей. Был ли я прав, поступив таким образом, или, наоборот, об этом следовало умолчать? Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос положительно или отрицательно, последовал собственной интуиции, быть может, — себе на погибель» (1943, 8 января).

Кто в то время мог знать точный ответ на такой вопрос? И сколько людей мучились вот так над анкетами...

Не только несчастному, растерянному, при всей его внешней самоуверенности, подростку, но и большинству взрослых трудно, почти невозможно было тогда увидеть и осознать весь ужас советского режима, весь масштаб этого ужаса, всю тотальную бесчеловечность и алогичность совершающегося над народом, когда мог быть арестован и отправлен на долгие годы в лагерь (где мог погибнуть), в ссылку или расстрелян любой человек. Как сказал позднее Борис Пастернак, «нас тасовали, как колоду карт». Кстати, о Борисе Леонидовиче Мур пишет очень доброжелательно, даже восхищённо, и, что большая редкость в историях его отношений с людьми, ни разу не меняет своей оценки.

«Вечером пошёл с матерью (которая приехала в Москву раньше меня) на чтение Пастернаком своего перевода “Гамлета” в Московском Госинституте. Там была вся интеллигенция Москвы, те, кто не могли прийти на первое чтение Пастернака. Перевод замечателен — и Па-

стернак читает его с большим жаром и, конечно, по-пастернаковски. Публика его, как видно, очень любит. Он, конечно, оригинальнейший человек (в плане оценки его публикой). После чтения перевода (какое чтение прошло с огромным успехом) мы (Пастернак, мама, я и его первая жена) пошли к этой первой жене, там поужинали, поболтали, потом Борис нас проводил до дома тётки (где мы ночуем). Мать говорит, что Пастернак — лучший наш поэт, а Пастернак говорит, что лучший наш поэт — это мать (Цветаева)...» (1940, 13 мая).

«Вчера заходил пресимпатичный и преумнейший Борис Пастернак. Мать и он — настоящие друзья и исключительно высоко ставят друг друга во всех областях. Он — замечательный человек. Каждая встреча с ним даёт массу его собеседнику» (1940, 18 июля).

К Борису Леонидовичу — едва ли не единственному — Мур не применяет такой критерий, как «степень советскости». Видимо, он почувствовал, что к этому человеку надо подходить с другими измерениями. Всё же Мур уже начинал многое понимать. Летом 1940 года он ещё мог писать: «Я верю в праведность НКВД», но год спустя, взволнованно и удивлённо узнав о приезде в СССР Кирилла Хенкина с матерью, Мур задаётся явно неожиданным на фоне такой «веры» вопросом:

«Какова будет дальнейшая судьба 3-х вернувшихся (или, вернее, приехавших) из-за границы молодых людей (из Франции), моя, Митьки и Киры? Что с нами будет дальше? 3 человека неважно кончили: Павел Толстой сослан, Алёша сослан, Аля сослана, папа и Балтер арестованы, арестованы Нина Николаевна и Николай Андреевич — что же будет с тремя вышеупомянутыми представителями молодого поколения? “Кончим” ли мы тоже (или пройдем через это) на строительстве железных дорог?» (1941, 28 февраля).

Кирилл Хенкин был близко знаком во Франции с Сергеем Эфроном: когда двадцатилетний Кирилл рвался сражаться против фашизма в воюющую Испанию, Сергей Яковлевич помог ему уехать туда. Узнав в первые же дни после приезда в СССР об аресте Сергея Яковлевича, Кирилл и его мать были потрясены.

Сейчас судьбы всех троих «вернувшихся из-за границы молодых людей» известны. Дмитрий Сеземан был арестован в 1942 году в Свердловске, куда переехал из Ашхабада. В Ашхабад он попал во время эвакуации с институтом, где учился. Затем институт перевели в Свердловск, где Сеземана взяли из студенческого общежития. Мур ещё успел узнать о его аресте и с горечью писал уже из армии Елизавете Яковлевне Эфрон:

«Митька не в худшем, чем я, положении. Наша судьба аналогична» (1944, начало марта).

(В этом и других письмах Мур описывает свои армейские мытарства, что подтверждает горькую обоснованность этого сближения. «Ротный старшина наш — просто зверь; говорит он только матом, ненавидит интеллигентов, заставляет мыть полы по 3 раза, угрожает избить и проломить голову. Мне он втиснул больную ногу в ботинок, сорвав шнурки; с освобождениями он не считается; абсолютно как Павел: “Марш в Сибирь”, так и он: “Марш за дровами”, и длинной чередой плетутся совершенно больные, негодные ни к чему люди — “доходяги” на местном арестантском наречии. <...> Все ненавидят интеллигентов и мстят; все думают так (примерно): до армии ты, интеллигент, нас не замечал, мы были для тебя ничто, а теперь ты — в нашей неограниченной власти, и мы тебе мстим, как только можем, унижаем и издеваемся над тобой. Старшина роты — что-то невообразимое; это хамство в кубе, злое, ликующее, торжествующее и безграничное хамство...») (1944, март).

Дмитрию Сеземану через два года удалось вырваться из лагеря: «спасли» его туберкулёз и война — после многократных заявлений ему разрешили пойти на фронт. С войны он вернулся. В 1970-е годы ему удалось осуществить свою давнюю мечту — уехать во Францию. Ещё много лет он прожил в своём любимом Париже. Дмитрий Сеземан умер в 2010 году, ему было 88 лет.

Кирилл Хенкин в начале войны был призван в армию. Знакомство на фронте с разведчиком Абелем (будущей знаменитостью) спасло его: тот научил Кирилла мало кому известным методам избавления от лап НКВД. Хенкин прошёл войну, а через много лет тоже уехал на Запад. Подав в 1970-е годы заявление на выезд в Из-

раиль, он сказал (в ответ на чьё-то предложение), что не хочет идти на мелкий обман, что поедет именно туда, куда подал заявление. Последние годы Кирилл Хенкин жил во Франции. Он, как и Дмитрий Сеземан, оказался долгожителем.

Георгий Эфрон погиб на фронте в июле 1944 года, в одном из первых своих боёв. Ему было девятнадцать лет.

Знакомый с Дмитрием Сеземаном и Кириллом Хенкиным (уже в их преклонном возрасте) журналист Дмитрий Волчек сказал в интервью на радио «Свобода» в 1998 году в передаче, посвящённой памяти только что умершего Кирилла Хенкина:

«Прятели мальчика, погибшего на войне, выжили в сталинском СССР, снова уехали на Запад и благополучно дожили до двадцать первого века — настоящие баловни судьбы. Мур пишет о своей первой московской встрече с Кириллом, только что приехавшим из Франции. Я позвонил Кириллу и прочитал ему строки из дневника его друга, написанные 65 лет назад. Это был наш последний разговор».

Незадолго до начала войны Мур случайно встретил Кирилла на улице (узнав об аресте Сергея Яковлевича, Кирилл и его мать не решились навестить Марину Ивановну и Мура). Эта встреча произвела на него большое впечатление, и он подробно описал её в дневнике:

«Сегодня — выхожу из метро и встречаю Киру Хенкина. Необычайно шикарно одет — шляпа, пальто, ботинки, да и всё остальное. Он меня не узнал, но я его узнал, и мы вышли из метро, потом поехали на такси на таможенную, где он взял какие-то книги из Главлита, потом мы с ним ходили по городу. Он мне рассказал массу интересных фактов .<...> Интересно! И Айснера (Имеется в виду А. Эйснер. — Л. К.) укатали на 8 лет! Кира думает, что это в связи с тем, что Айснер принадлежал когда-то к евразийскому обществу. <...> По сведениям Киры, Радзевич находится в оккупированном немцами Париже — и ничего, живёт!<...> И Кира говорит, что ему лучше всех повезло. <...> Я очень за него рад — он был самый

симпатичный из них. Кира приехал прямо из Америки. Он почему-то ждёт, что и его со дня на день арестуют — он переписывался с Алей. Он говорит, что не могли папу засадить за испанские дела <...>. Какие разные версии: Алёша говорит, что его укатили из-за показаний Али об антисоветских разговорах и критики конституции, Аля пишет, что “многое напортил Толстой”, Айснер говорил своей сестре о 1927 году — 13 лет назад — и Евразии... Что за чорт?! Как будто нет никакой связи! Что удастся узнать о папе и Львовых?» (1941, 30 апреля).

Видимо, эту страницу и прочитал журналист по телефону девяностолетнему Кириллу Хенкину. Поистине живая жизнь создаёт порой такие сюжеты, что в романе они показались бы неправдоподобными.

«Кончим ли мы тоже на строительстве железных дорог» <?> — то есть в лагере.

Мур постепенно учится даже в дневнике говорить на эзоповом языке. Два года спустя в письмах Але в лагерь он уже в совершенстве овладел этим искусством.:

«Уехал также и другой Алёша (это значило, что Алексей Эйсер арестован. — Л. К.)<...> Некоторое время тому назад получил известия о Вере большой, она живет там, где родился ее умерший муж, и кажется, припеваючи. (Видимо, речь идёт о Гучковой, по мужу Трэйл, которая жила в Лондоне. — Л. К). Вот и всё. Митька — в Свердловске, но почему-то не пишет; наверное, заели университетские дела. Это — мой единственный друг. Он порвал с семьёй, живет в общежитии МГУ. Дода и Нина как в воду канули, также и Серёжа — никаких от них вестей, и даже не знаем, где они...» (1942, сентябрь).

О том, что Сергей Яковлевич был расстрелян 16 октября 1941 года, Мур так и не узнал до конца своей короткой жизни.

«... Алёша, по последним сведениям, живет недалеко от тебя».

Это значило, что Алексей Сеземан был отправлен в ссылку в те же края, куда сослана Аля.

«В октябре 41-го года (или, вернее, не в октябре, а в августе) я видел Кириллу Хенкина и его мамашу. Кирилл занимался переводами по кино; мамаша похудела. Кирилл блестел костюмами и ботинками и производил фурор на ул. Горького. Курил папиросы “Кавказ”. <...> С Кириллом встречался часто. Потом я уехал и с тех пор ничего о нём не знаю. Слышал, что его мобилизовали в армию. <...> Их очень ошарашило известие об отъезде (аресте. — Л. К.) Серёжи, особенно Елизавету Алексеевну...» (1942, 7 ноября).

«Как писал муж Ахматовой: “Дурно пахнут мертвые слова”» (1942, 22 ноября).

Цитируя строки из стихотворения Николая Гумилёва «Слово», Мур не рискует называть фамилию поэта, но пишет так, чтобы Аля поняла. Мур стал осторожен: он уже понял, что его лояльность и «ни в чём не замешанность» отнюдь не являются гарантией от ареста.

Самое поразительное и волнующее в дневнике Мура — история постепенного избавления автора от иллюзий. И это, может быть, даже больше, чем новые факты, держит читательское внимание в напряжении.

Публикация дневника Мура стала большим событием не только потому, что писал его сын Марины Цветаевой, — этот дневник ценен как уникальный документ времени. Жизнь страны и мировые события, которыми Мур пристально интересовался, — глазами юноши, выросшего вдали от СССР, и уже по одной этой причине несравненно более внутренне свободного, чем выросшие здесь его ровесники. Приехав в Советский Союз, куда так рвался, он опытным путём, вольно или невольно изучает эту жизнь: политическую — как она представлялась в газетах того времени и как истолковывалась в неофициальных разговорах; что вычитывали между строк люди, более или менее свободомыслящие; жизнь культурную — что шло в театрах Москвы, какие фильмы пользовались успехом, какие были вечера поэзии, музыкальные концерты, публичные лекции; и атмосферу в старших классах московской школы конца 1930-х годов. Всё это предстаёт в дневнике Мура буквально по горячим следам его живых впечатлений.

В перечислениях спектаклей, фильмов, любимых (и менее любимых) композиторов, а более всего — в огромном, порой даже громоздком списке книг, количество и качество которых, разумеется, безмерно превышали уровень читаемого ровесниками — во всём этом есть что-то энциклопедическое. Такой энциклопедизм отличает и письма Мура. Он сохранился даже в его последних письмах Але в лагерь, написанных в Ташкенте, когда он остался совсем один на свете и вынужден был вести тяжёлую борьбу за существование. С самых первых месяцев после приезда в СССР, когда на него обрушилось столько разочарований, это помогало ему жить.

Он, как и Аля, и Сергей Яковлевич, верил, что едет в прекрасную передовую страну, где живут особенные — СОВЕТСКИЕ — люди, душевно здоровые и бодрые, не похожие на обывателей, населяющих другие страны, воодушевлённые единой великой целью, строящие справедливое общество, какого ещё не было в мире. Издавала восхищаясь ими и их грандиозными свершениями, о которых он так много читал в советских газетах, Мур рвался жить среди них, сравняться с ними, но реальные встречи с людьми в СССР принесли ему много разочарований.

«За тонкой перегородкой глупые дочки глупой хозяйки ноют глупые романсы (боже, какая пошлятина!) и рассказывают сплетни, громко чавкая кофею. Чорт возьми! Есть дураки же на свете! Наши хозяева (хозяйка и её две дочери) — настоящие мещане. Странно — люди живут в Советском Союзе — а советского в них ни йоты. Поют пошлятину. О марксизме не имеют ни малейшего представления. Да чорт с ними! Наплевать. Всё-таки странно. Пытался с ними говорить о международном положении — ни черта не знают! Абсолютно ничего не знают. А дочери хозяйки газеты читают, в пионеротряде состоят. Младшая дочь учится на «плохо» по всем предметам. Здорово! Не понимает, этакая тварь, что по настоящему — это вредительство! А ещё поет оборонные песни. Эх, да что! Пытался ей объяснить — в ответ — ха! ха! ха! и — это не твоё дело. Не переносу мещан — это самые вредоносные, тупые и консервативного духа люди. А они (дочери) всё поют свои

романсы. Как не могут понять, что это за колоссальная пошлятина! Пищат, да и только...» (1940, 12 марта).

Огорчают Мура и одноклассники, не интересующиеся мировой политикой, не читающие хороших книг, живущие, с его точки зрения, «узкими и мелкими» школьными заботами и волнениями; одноклассницы, скучающие от серьёзной музыки и безуспешно кокетничающие с ним («Ах, Георгий, это так скучно!»). Как далеки все они от идеала «настоящего, полноценного советского человека»!

«В моём классе никто не интересуется тем, чем я интересуюсь, а я не интересуюсь тем, что интересуется товарищей. Это всё симпатичные честные парни, но до литературы и мировой политики им нет дела. И музыку они не понимают и не знают. Я о них ничего дурного не говорю, но то, что говорю, — факты. Как же мне, при наличии разности интересов и стремлений, вкусов и желаний, с ними сблизиться?» (1940, 12 октября).

Не радует Мура и советская интеллигенция: «атмосфера маленько мещанская», — пишет он даже о доме нравящейся ему больше многих других пары — Марии Белкиной и Анатолия Тарасенкова.

Этому разочарованию посвящено много страниц дневника. Но самое тяжёлое и давящее, отравляющее жизнь впечатление — соседи по коммунальной квартире в Москве, на Покровском, с кухонными склоками и мелочными, изводящими Марину Ивановну прифирками, «зоологические мещане» (частое определение у Мура).

«Свет божий, какие мещане наши соседи! Люди хорошие, не злые, но мещане. Нет размаха — вот в чём дело. Музыки не понимают, политикой не интересуются, литературы не знают, говорить не умеют (бормочут), смеются кисло и над глупостями, газет не читают. Интересуются семейными делами, сплетнями, пелёнками. Родители обожают делать назидания детям, дети фыркают, каша варится. Узость, нет горизонта у этих людей. Я не знаю: по-моему, у истинно советских людей должен быть размах,

увлечения, идеалы! Советские люди не варятся в собственном соку, они интересуются всем новым, они горячи... А эти... исключительно ограниченные люди и главное, скучны до чорта. Постыные. И какая отвратительная манера говорить! Конечно, это объясняется воспитанием, родителями, средой и т. п. — но от этого не легче. И кроме того, эти соседи просто некультурные. А себя они считают культурными. Они не злые, но глупые. А ну их к чорту! Лишь бы не мешали, а там — как знают. Куда им интересоваться международным положением! Их партия — шукуристы. Куксятся, варят кашицу жиденькую, шушукаются и кривляются. Да, это не коммунисты...» (1940, 16 октября).

Снова и снова всплывает в дневнике Мура этот настойчивый мотив — удивление «не советским» людям, живущим в советской стране. Удивление — и разочарование. Как много их оказалось! «Простые» люди и интеллигенты, старые и молодые, кто-то увлекается Вертинским и любит Есенина, кто-то — заграничными модами. Никого, кажется, Мур так и не признал «безоговорочно полноценным» советским человеком — разве что в некоем «собирательном» портрете одноклассников, да и то с оговоркой, что с ними у него слишком мало общих интересов. Как только заходит речь об отдельных людях — однокласснике Сербинове или Вале Предатько, нравящейся ему девушке из параллельного 9-го, — сразу всплывают черты, отдаляющие их от идеала, так долго прoderжавшегося в сознании Мура. И всё же он готов отдать им — как советским молодым людям — предпочтение перед «Митькой».

«Нет, Митька не друг, а только пустоватый компаньон<...>. Мне бы хотелось друга культурного, просвещённого и в то же время вполне советского, который страстно интересуется как СССР, так и мировой политикой, человека умного и весёлого. Митька очень односторонен — политикой он интересуется только как предметом шуточек. У него “полторы ноги” осталось во Франции, а здесь только половина...»

Пройдёт совсем немного времени, и Мур будет тосковать по «Митьке», настойчиво разыскивать его, мечтать оказаться в эвакуации в одном с ним городе. Он будет писать о нём и в письмах, и в дневнике как о своём единственном друге. Но пока что его раздражают противоречия: он не может в конце концов не признаться себе, что с «Митькой» ему гораздо интереснее общаться, чем с одноклассниками, что с ним у него гораздо больше и общих интересов, и взаимопонимания, связанного с общим прошлым. Правда, как раз относительно общего прошлого они много спорят: Мур упорно призывает друга перестать жить прошлым — тоской о Париже — и влиться в жизнь советской молодёжи.

« Я считаю, что Францию от меня должно отрезать и оставить от неё только юмор, любовь к хорошему вкусу, чувство иронии, весёлость... Митька от Франции никак не может отлипнуть — всё вспоминает Париж. А я считаю, что просто как-то не современно так “прилипать” и питаться прошлым. <...> я сумел оторваться и жить каждодневной советской действительностью...» (1940, 28 октября).

«Митька совершенно явно слишком привязан к Франции и Парижу. Я всё время стараюсь ему вдолбить, что его слова “лучшие мои годы были в Париже” — чушь, что вся жизнь впереди, что нужно быть реалистом и понимать убожество той Франции, которую он любил. <...> это как-то убого: остановился человек на бывшем Париже, а дальше — ни с места. <...> И вообще, просто смешно писать на эту тему: в СССР колоссальное количество явлений и событий, способных заинтересовать, привлечь и увлечь даже самых скептически настроенных людей!<...> Я например, учусь в школе, и хотя культурный уровень товарищей гораздо ниже моего, всё же я живо интересуюсь всеми явлениями, затрагивающими класс и школу, интересуюсь своими отметками и психологией товарищей — одним словом, живу. А Митька всё приравнивает к Парижу, судит по-парижски и употребляет парижские манеры (как ходить по морозу без шапки — ведь глупо!). От Парижа я имею хороший вкус, иронию и любовь к городу — и больше ничего. Я Париж очень люблю — но не боготворю всё

парижское, как Митька, и совершенно не смотрю на явления и события с парижской точки зрения, как это делает Митька. Я неустанно пропагандирую Митьку к живой жизни, прочь от воспоминаний...» (1940, 1 ноября).

Мур много раз возвращается на страницах дневника к этой теме, и возникает невольное сомнение: не себя ли он так настойчиво стремится убедить в том, что окончательно внутренне расстался с Парижем? Однажды, правда, он записал поразившие его слова Дмитрия Сеземана о теперешнем Париже:

«Митька (вспомнил) сказал 12-го замечательную, по-моему, вещь: Франция, в сущности, кончилась с нашим отъездом отсюда. Действительно, вскоре после моего отъезда началась война, и всё остроумие, весь блеск, всё, что я так любил во Франции, абсолютно сошло на нет. И книг там больше не выходит (кроме военных), и не до концертов им теперь, и кафе опустели, и искусство пошло к чорту, и в сущности Париж потерял свой привлекательный облик всемирного культурного центра. Прибавим к этому мерзостные преследования коммунистов и торжество ненавистной реакции, и мы будем иметь о Париже отвратительнейшее представление. Да, тот Париж кончился с моим отъездом, Митька сказал верно. О Париже я не тоскую — раз тот Париж, который я знал, безвозвратно исчез — так оно и должно быть» (1940, апрель).

Это похоже на строки стихотворения Марины Цветаевой «Страна».

С фонарём обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны на карте —
Нет, в пространстве — нет.

<...>

Той, где на монетах —
Молодость моя,
Той России — нету.
— Как и той меня.

Заметил ли когда-нибудь Мур эту близость настроений?

Через два года многое в жизни его трагически изменилось: он остался совсем один и метался в сиротливом одиночестве. Шла война. И Мур вдруг написал в своём дневнике пронзительное признание:

«...И всё время эта грызущая сердце тоска по Парижу; во что он превратится, будет ли он когда-нибудь тем, что был? — Вот вопросы...» (1941, 27 октября).

А позднее, в поезде, увозящем его в эвакуацию в Ташкент, еле идущем, замерзая и голодая в долгой дороге, Мур напишет, что его конечная цель — когда-нибудь попасть за границу, что он ощущает себя человеком европейской культуры и хочет внутренне сохранить это главное в себе. Такое — очень опасное по тем временам! — признание звучит на фоне подробно зафиксированных им совсем ещё недавних споров с Дмитрием Сеземаном крайне неожиданно. Понятно, конечно, что во время тех споров у него ещё не было такого стремления — оно закономерно возникло после всего дальнейшего.

А в одном из последних писем к Самуилу Гуревичу Мур написал:

«И последняя мысль моей свободной жизни будет о Париже, которого я, как ни стараюсь, не могу забыть» (1943, 8 января).

(«Свободной жизни» — речь идёт о скорой мобилизации).

Георгий Эфрон многое переоценил за недолгое время, отпущенное ему судьбой, многое стал воспринимать совсем по-иному. Хоть и был он в последние годы в Париже «заражён» не рассуждающим энтузиазмом отца и сестры, в нём всегда было больше, чем в них, склонности к анализу и трезвому размышлению.

Ариадна Эфрон, приехав в СССР, до самого ареста пребывала в эйфории, восхищалась всем вокруг и видела, как сказала Марина Ивановна о Сергее Яковлевиче, «только то, что хотела видеть». (Хотя уже при ней — после её возвращения в Советскую Россию — были арестованы Анастасия Цветаева, друг её парижской юности Юз Гордон, хотя она не могла не знать об аресте Мандельштама...).

Мур же напряжённо думал над разными сторонами новой жизни, ни на что не закрывая глаз. Не сразу открылись они у него, и удивляться этому не приходится — далеко не всем было открыто дьявольское лицемерие советской жизни. Даже Борису Пастернаку окончательное прозрение далось нелегко и не так уж быстро.

В годы войны глаза Мура окончательно открылись, произошла глубокая переоценка ценностей. Теперь дружба с Дмитрием Сеземаном видится ему как единственная несомненная ценность в тяжёлой, безмерно печальной жизни, как то, что необходимо сбегать, чтобы сохранить себя (это звучит и в дневниковых записях, и в письмах).

«Стоим среди поля, вот уже часа 3—4. Почти полдень. Из окон вид на противную снежную насыпь <...> моя цель в данный момент увидеть Митю, с ним возобновить наше интеллектуальное товарищество, которое мне так нужно. Кроме того, это всё же ведь мой единственный друг, на весь Союз» (1941, 10 ноября).

Теперь Мур далёк от каких-либо обвинений в адрес Дмитрия Сеземана и уже до конца пишет о нём как о единственном друге и самом духовно близком себе человеке:

«Мы слишком связаны друг с другом, чтобы окончательно расстаться. И несмотря ни на что, я надеюсь, что мы встретимся. Мы с Митей совершенно необыкновенные, мы редкие экземпляры человеческой породы, странные и самобытные. Следовательно, мы должны быть вместе <...> к тому же мы друзья детства. У нас было так много общего, интересов, вкусов, что мы не должны терять друг друга из виду. Другой вопрос, смогу ли я добраться не только до Ашхабада, но даже до Ташкента...» (1941, 28 октября).

До Ташкента он в конце концов добрался, но жить в одном городе с Дмитрием не удалось. Об этом он год спустя напишет Але в лагерь:

«Единственный человек, с которым я дружил — это Митька. В августе 41-го г. он эвакуировался в Ашхабад с дядькой-историком, бабушкой и Софой. <...> Он переселился в общежитие МГУ и уехал

с МГУ в Свердловск. Мы с ним регулярно переписываемся. Проезжая через Ташкент (из Ашхабада в Свердловск) поезд стоял 2 часа, и мне удалось его встретить, и 2 часа мы с Митькой говорили на целую жизнь. И потом он укатил и долго махал платком». (1942, 17 августа).

Это была их последняя встреча. Через несколько месяцев Дмитрий Сеземан был арестован в Свердловске.

Критерии оценок людей у повзрослевшего Мура принципиально изменились:

«Сикорский очень приличный парень, очень современный, умный, сильный, он умеет говорить, и он остроумный <...> он оригинален и настоящий европеец» (1941, 15 августа).

«Настоящий европеец»... В прежних записях Мура ни разу не звучало это определение в положительном смысле. Гораздо чаще звучало: «настоящий советский человек». Сейчас об этом нет речи. Давно ли он критиковал «Митьку» за «прозападную ориентацию»? Но сейчас Мур и себя внутренне воспринимает прежде всего как просвещённого европейца и очень хочет сохранить это в себе, не дать грубой российской действительности исказить в себе главное.

«Очень хочется верить, несмотря ни на что, что мне удастся сохранить человеческий облик, что не всё окончательно потеряно. Если бы ты только знал, как я люблю цивилизацию и культуру, как дышу ими — и как ненавижу грубость и оскал невежества, как страдаю и мучаюсь от них ...», — писал он из Ташкента Самуилу Гуревичу 8 января 1943 года.

И просвещённость европейца теперь в его глазах — несомненное достоинство.

«... Пожалуй, я сблизился только с Толстыми, особенно с женой А. Н. Это женщина, которая много видела; живёт она очень хорошо, обладает безупречным вкусом и на фоне остальных выделяется; читает по-французски, удивительно хорошо усвоила манеру болтать о пустяках так, что выходит серьёзно. И вместе с тем — энергичная, летает на самолёте и т. д., даже умеет управлять автомобилем» (Але. 1942, 17 августа).

Так ли прежде представлял он себе идеал «настоящей советской женщины»? Жена Алексея Толстого в описании Мура явно ближе к изящной парижанке. Не этим ли она и нравится ему?

Не осуждает он больше и увлечения молодых людей «не советскими поэтами» и главное — по-новому, совсем по-иному, чем прежде, осмысляет причины этого:

«Димка — редкий молодой человек, который в СССР мне понравился, кроме Мити. Он физически очень крепкий, иногда немного резкий, но полон остроты. Если он любит играть на баяне, восторгается крайностями футуристов 15—18 гг. и обожает Есенина — это недостатки, которые следует приписывать не его личности, а русским вообще. Если он и ценит Вертинского и любит дурацкие анекдоты, *это свойство реакции против догматических и морализаторских крайностей, которые свойственны многим молодым людям.* А его ум, который он сам не углубляет, это просто вопрос обстоятельств, которые не заставили его это делать. Но основа у него хорошая» (1941, 16 августа; курсив мой — Л. К.).

Все эти изменения оценок и подходов к самым разным людям и ситуациям, не свойственная Муру прежде терпимость (меньше резких высокомерных обвинений, больше — попыток понять) — связаны с глобальным переворотом в его сознании: он в корне изменил своё отношение к идее коммунизма. Наиболее полно сформулировал он это на страницах своего дневника в том холодном вагоне очень медленно идущего в Ташкент поезда:

«... теперь это кажется особенно смешным. (Речь идёт о левацких настроениях, портящих в целом понравившуюся ему книгу. — Л. К.) А что, по существу, в глубине означал этот вопрос социализма до войны 14—18 гг.? А коммунисты до войны 39—40? В общей сложности, всё это были жалкие типы. Ни первые, ни вторые даже не умудрились предотвратить войну. Когда я жил в Париже, я был откровенно коммунистом. Я бывал на сотнях митингов, часто участвовал в демонстрациях... Конечно, это было очень симпатично и впечатляло, тогда верили в победу народа...

В конце концов во Франции их смирили, коммунистов-то. Конечно, если они вновь поднимут голову и начнут такой беспорядок, что всё пойдет вверх дном, тогда... Но я не думаю. В России они сумели сделать революцию, к чему же это их привело? Они чуть было не проиграли войну, в этой несчастной русской стране допустили беспорядок и невообразимую грязь. Маркс рассматривал возможность всеобщей революции, он никогда не говорил о социализме в одной стране; вот и сделали этот социализм в одной стране, и я совсем не представляю, как он будет продолжаться после войны. Я почти уверен, что “опыт”, даже в случае победы над Германией, окончательно провалится. Он приносит всем слишком много несчастья. В чём? Да посмотрите на деревню. Как и до революции, народ глупый, грязный, малокультурный (абсолютно бескультурный, по правде говоря). Противная страна. А всё-таки надо будет как-то в ней устроиться. Конечно, советские столицы хороши, но это не может компенсировать всё остальное. Коммунизм, да... Многие на нём обожглись: Андре Жид, Хемингуэй, Дос Пассос были к коммунистам очень близки. Потом они, по разным причинам, разочаровались... Сам я тоже, да ещё как!» (1941, 10 ноября).

В размышлениях этих Мур значительно выше не только своего возраста (в этот момент ему всего 16 лет!), но и уровня понимания времени большинством зрелых современников. Умение видеть не то, что хочется видеть, а то, что есть на самом деле, способность трезво и пронизательно анализировать увиденное Мур скорее всего унаследовал от матери. Марину Цветаеву очень порадовало бы такое отрезвление любимого сына...

В одном из её писем Але в лагерь звучит:

«У нас радио, слушаем все вечера, берёт далёко, и я иногда как дура рукоплещу — главным образом — высказываниям здравого смысла, это — большая редкость, и замечаю, что я сама — сплошной здравый смысл. Он и есть — ПОЭЗИЯ...» (1941, 16 мая).

Есть в дневнике Мура и другие страницы, которым Марина Цветаева могла бы порадоваться, узнавая «своё».

«Пока могу писать — знаю, что могу жить».

Эти слова — «писать» и «жить» — стоят у него рядом. А ещё — «читать».

«Вновь записался в читальный зал Столешникова переулка (иностранная литература); был там в 5 ч. 30. Ни души. Читал стихи Малларме и “Мосье Тест” Валери.<...>Валери в сто раз универсальнее, чем Малларме, и просто гораздо умнее. У Малларме ум и гений инстинктивного слова, самых тонких оттенков душевных ассоциаций. Валери идет дальше и возвышает эти качества Малларме благодаря мысли и пониманию фактов, этого Малларме не умеет. Стихи Валери, которые я считаю лучшими, чем стихи Малларме, являются его душой. Его проза — его замечательный ум. <...> Останется ли что-нибудь из произведений этих замечательных и гениальных поэтов в человеческих умах после войны?<...>Надо ждать. В данный момент я стараюсь усвоить французскую культуру...» (1941, 17 октября).

Всё это писалось в Москве в октябре 1941 года, когда немцы подошли совсем близко. Во Франции, в совсем другой, относительно спокойной жизни, Марина Ивановна огорчалась, что двенадцатилетний Мур «глотает книги», а не «живёт в них» — не любит перечитывать и, как ей казалось, не способен к такому глубокому погружению в ОДНУ книгу, как сама она в раннем детстве и всю жизнь потом. Её письмо 1934 года на эту тему Наталье Гайдукевич уже цитировалось.

Но если Мур действительно не жил подолгу в одной книге — в КНИГАХ, избранных им, он именно ЖИЛ — это было его главной жизнью, его убежищем и защитой. Так в голодной и холодной Москве 1919 года молодая Марина Цветаева с головой погружалась в мемуары о французском восемнадцатом веке и о Казанове, писала пьесы, читала и думала о Жорж Санд и Шопене, о Гёте и Гейне...

И совсем не важно, что они любили разные книги, что Поль Валери отнюдь не был любимым поэтом Марины Цветаевой — главное, что глубинно близок был их способ сопротивления наступающему со всех сторон хаосу. Даже в холодном вагоне по дороге

в Среднюю Азию, подводя итоги своего нервного и суматошного месяца в Москве, Мур отмечает как важнейшее достижение:

«Из книг я купил Малларме, Бодлера, Есенина, Ахматову, Дос Пассоса, Ильфа и Петрова, Свифта».

В дальнейшем, перемежая это с дорожными впечатлениями и всё более трезвыми мыслями о коммунизме в России, Мур записывает свои впечатления от купленных книг.

Ещё одно поистине неожиданное сходство матери и сына обнаруживается в записях Мура об отношениях с понравившейся ему девушкой. Марину Цветаеву всегда отличала настойчивая потребность как можно глубже и полнее быть понятой — об этом говорят многие её письма и дневниковые записи.

«Долго, долго, — с самого моего детства, с тех пор, как я себя помню — мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили. Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это — любовь» (П. Юркевичу. 1916, 21 июля).

«Я хочу дать Вам верное понятие о себе», — говорит «волшебница» Мара в повести Сергея Эфрона, чутко уловившего, что было для неё в отношениях самым главным.

И это оказалось действительно настолько неотъемлемым от самой сути её, что оставалось в ней живым всю жизнь, даже в последние годы, после всех пережитых ужасов.: «Непременно приезжайте <...> и я Вас не по ниточке, а — за руку! поведу по лабиринту книжки (её сборника «После России». — Л. К.): моей души за 1922—1925 г., моей души — тогда и всегда» (Е. Тагеру. 1940, 22 января).

Так писала она молодому филологу, с которым познакомилась в Доме творчества в Голицыно.

Так и Мур, неожиданно для читателя, который поверил его наигранному подростковому цинизму, при первом живом увлечении девушкой стремится прежде всего к пониманию:

«Совершенно ясно, что я бы её лучше понимал, если бы я знал возможно больше о её жизни — фактах, друзьях, родных, среде и

т. д. Я бы мог тогда объяснить себе её взгляды, цели и т. д. Но то ли ложный стыд, то ли страх не понравиться, но она страшно скуповорит о себе, кроме как о незначительных подробностях, по которым очень трудно судить. *Я же, наоборот, делаю всё возможное, чтобы она себе могла объяснить возможно лучше, почему я такой, а не другой: я ей рассказываю о своей жизни, я пытаюсь объяснить ей историю моих вкусов и т. д.*» (1941, 10 июля; курсив мой — Л. К.).

Отношения с этой девушкой из параллельного класса описаны в дневнике удивительно подробно, с психологической достоверностью. Тонкие нюансы, минуты юношеской неуверенности в себе и мучительных сомнений (о чём говорить? надо ли было затрагивать ту или иную тему? о чём промолчать и о чём непременно сказать? не произвело ли какое-то слово плохого впечатления?) — всё это звучит так убедительно, так узнаваемо для многих и молодых людей, переживающих похожее, и для хорошо помнящих свою молодость взрослых, что эти страницы убеждают: Мур мог бы стать хорошим писателем.

В эвакуации в Ташкенте с Муром познакомился его ровесник Изя Крамов. Позднее, во взрослой жизни, этот человек подружился с Марией Белкиной. В своей книге «Скращения судеб» М. Белкина ссылается на Крамова, который в одном из писем тех лет сообщал, что познакомился с любопытным парнем, сыном Цветаевой, ему с ним интересно, ему нравится, что тот «с прицелом в будущее, то есть знает, что будет делать в жизни, знает, что будет писать, и уже пишет».

Страницы дневника Мура, посвящённые отношениям с девушкой, по стилю неожиданно напоминают юношеские повести «оттепельных» лет, а иногда — даже монологи Холдена Колфилда в «Над пропастью во ржи» Сэлинджера (в талантливейшем переводе Риты Райт).

«Вчера я был с Валецкой Предатько на футболе. Матч был неинтересный. У Валецкой чуть болела голова. До этого мы говорили по

телефону, и она мне сказала взять билеты на футбол, а потом взяла их сама. Я ей не вернул деньги, не зная, надо ли об этом говорить. Думаю, что в следующий раз, когда мы куда-нибудь пойдём вместе, буду платить я и таким образом мы будем в расчете. Ну, матч был ничего особенного, у меня такое впечатление, что она не интересуется футболом. В антракте между двумя половинами игры мы гуляли, не зная, о чём говорить. И действительно, о чём говорить? Самое забавное то, что это становится целой историей — знать, о чём говорить. Странно всё таки и смешно (в теории, а на практике это довольно неудобно). Только после матча стало легче. Мы очень весело болтали в метро и когда ехали с “Кировской” по бульварам каждый к себе домой. Бывают моменты азарта, когда есть о чём говорить. Я действительно рад, когда мне удастся её рассмешить. Не знаю, мне нравится, когда она такая весёлая. По дороге домой с матча мы говорили о том о сём<...>. Но вопрос, о чём говорить, становится настоящей проблемой. Ну, мы говорили о школе, об учителях, о школьниках, о дурном вкусе, о книгах, но этот “запас тем” начинает исчерпываться. В сущности, больше всего я боюсь, что Валя со мной будет скучать. Хотя я не думаю. У неё действительно замечательные губы, но странно: хотя мне и хочется её поцеловать, она мне не внушает то прямое и сильное желание, которое я иногда испытываю от встречных женщин на улице, в трамвае, в метро. Кроме того, у неё великолепная фигура во всём, и она элегантная. Она мне очень нравится. Она мне обещала достать книги Есенина (она особенно рекомендовала почитать “Анну Снегину” и “Чёрного человека”). По существу, конечно, главный вопрос заключается в том, что надо знать, в отношении женщин, как они относятся к твоей личности, что они в тебе находят хорошего или плохого. Если бы знать о настоящих чувствах женщины к тебе, можно было бы развивать те стороны твоей личности, которые ей нравятся, и заставить замолчать черты характера, мании и привычки, которые женщине не нравятся; представлять себя ей с лучшей стороны, в её глазах. Одним словом, если бы я знал, что Валя говорит обо мне другим, например, своей близкой подруге: вот такой-то и такой-то, мне в нём нравится такая-то и такая-то черта, такая-то

сторона мне не нравится, я бы хотела, чтобы он делал то-то и то-то и чтобы он не делал того-то и того-то. То есть знать настоящее и откровенное мнение женщины о твоей личности. Но такие желания вполне утопичны. Надо быть более хитрым и более наблюдательным и проницательным, тогда можно схватить то, что надо знать. <...> Кроме того, я не знаю, куда её водить, куда она любит ходить, и могу ли я это с ней обсуждать. <...> Может быть, надо было ей сказать: “Ах да, я забыл, что я вам должен за билеты”. Возможно, но, не зная, что она может ответить, это могло её обидеть, кто знает? Я избежал этого вопроса, я о деньгах не стал говорить, однако, может быть, она ждала, что я об этом скажу. С другой стороны, может быть, она считает, что “ в следующий раз” я буду платить, и это будет совсем естественно.

Или, может быть, я из лишней деликатности сделал промах. Тем хуже для меня, но это довольно-таки обидно. А ведь зачем ей было говорить, с таким решительным видом — вот я возьму билеты, хотя я ей и слова не пикнул о том, что она должна взять билеты. А может быть, она просто человек с деньгой, это возможно. Словом, мы расстались друзьями. Она мне должна позвонить насчет Есенина.<...>В сущности, вполне возможно, что я, может быть, для Вали не интереснее другого, не более интересен, чем любая пешка на шахматной доске, “добрый малый”. Но лучше об этом не думать, всё равно впоследствии увидим, что к чему». (1941, 16 июня).

Эта запись больше, чем многие другие страницы дневника Мура, вписывается в традиционный жанр юношеского дневника: в ней меньше интеллектуального напряжения, меньше ошутим высокий уровень, так отличающий его от множества ровесников, и больше наивности, непосредственности. И всё же, как ни странно или неожиданно это может прозвучать, именно здесь много такого, что при всех различиях глубинно сближает сына с матерью, многие годы фиксирующей в своих записных книжках тончайшие нюансы взаимоотношений с разными людьми, порой удивлённо и углублённо задумываясь над вещами, к которым большинство просто привыкло. Мур в своём описании вечера с Валей как бы «останав-

ливает мгновенье», крупным планом выделяя смущающие минуты внезапных долгих пауз в разговоре.

Марина Цветаева тоже с трудом переносила такие моменты и нервно заполняла подобные паузы своими вихревыми монологами, и собеседникам трудно бывало успевать за ней. «Что мне делать с человеческим молчанием? Оно меня гнетёт, сбивает, сшибает, я его наполняю содержанием, может быть, вовсе и не соответствующим. Молчит — значит плохо. Что сделать, чтобы было хорошо? Я становлюсь неестественной, напряжённо-весёлой, совсем пустой, целиком заострённой в одну заботу: не дать воздуху в комнате молчать» (П. Сувчинскому. 1926, 11 марта).

Она крупным планом всегда выделяла знаки ослабления первоначального жара отношений, всю жизнь неизменно потрясавшие её, и писала о них и о своих сомнениях и колебаниях: как вести себя, когда чувствуешь охлаждение горячо волнующего человека. Она писала об этом так живо и искренне, что многие читатели (и особенно читательницы) находят в этом и своё, пережитое:

«И совсем не знаю, что мне делать. Силы неравны. Он знает меня (вся далась в руки). <...>Для меня каждая минута — без него, ему — вообще — никто не нужен. <...> Для меня это отношение живое, длящееся, для него — конченное. <...> — Помнит ли вообще что-нибудь? Может быть, это проще, чем кажется! Увидел, что может полюбить — понял, что это нарушит его покой <...> — и — пока не поздно! — отошёл. — Не простившись!» (Из Записных книжек. 1920, 14 мая).

Что же касается стремления как можно глубже объяснить себя, оно очень ошутимо в письме Мура Самуилу Гуревичу из Ташкента — уже по-иному, на глубинном трагическом уровне.

«Дорогой Муля!

Пишу тебе большое, откровенное письмо, точная доставка которого для меня исключительно важна, ибо это письмо имеет, в известной степени, значение итога всей моей жизни за три с половиной года — начиная с 1939 г. Оно тебе многое объяснит и откроет, а я чувствую непреодолимую потребность в том, *чтобы кто-то знал*

побольше обо мне — и это не эгоизм, а попытка обмануть крошечное собственное одиночество» (С. Гуревичу. 1943, 8 января; курс. мой. — Л. К.).

Всё же Мур был истинным сыном Марины Цветаевой — как много её писем связано именно с этой «непреодолимой потребностью»! Уже само стремление отчитаться перед близким человеком не только о внешней канве своей жизни за какой-то период, но и о внутренних итогах, так часто безмерно горьких, всегда было ей глубоко свойственно. Марина Цветаева писала большие подробные письма о первых годах советской власти в Москве — Максиму Волошину; о жизни в Чехии — Марии Цетлиной, Ольге Колбасиной-Черновой (после переезда Ольги в Париж), Людмиле Чириковой, Александру Бахраху, Борису Пастернаку. О первых семи годах во Франции (подведение итогов) — Анне Тесковой, об этих и о следующих семи — Саломее Андрониковой-Гальперн, Раисе Ломоносовой, Ариадне Берг и, конечно, неизменной Анне Тесковой.

В Самуиле Гуревиче Мур стремится найти что-то близкое тому, что значили для молодой Марины её старшие друзья — Макс Волошин или Анна Тескова — многолетняя верная корреспондентка, всегда сочувствующая, не равнодушная, безотказно откликающаяся.

Далее в этом письме 1943 года Мур пишет:

«Около меня не нашлось ни одного человека, который, взяв меня за обе руки, внятно произнес бы мне: “Жизнь — впереди, война — кончится; не горюй, ничто не вечно, трудности закалят тебя, всё идет к лучшему; терпение, терпение, всё для тебя впереди, всё еще будет”».

Желание услышать от чуткого человека такие слова поразительно похоже звучит в письме молодой Марины, оглушённой смертью от голода в приюте младшей дочери Ирины:

«С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит, никто — просто — в упор — не жалеет <...>. Мне сейчас нужно, чтобы кто-нибудь в меня поверил, сказал: “А всё-таки Вы хорошая — не

плачьте — Серёжа жив — Вы с ним увидите — у Вас будет сын, всё ещё будет хорошо»» (В. Звягинцевой. 1920, 12 февраля). Нечего и говорить, что Мур никогда не читал этого письма...

Удивительно похожи в письмах матери и сына даже ритм, даже построения фраз. Они оба знают, *что* хотели бы услышать, они почти диктуют близким людям необходимые им слова.

Мур, наверное, даже представить себе не мог, как во многом они похожи с матерью. Такое глубинное сходство и могло обнаружиться только в экстремальных обстоятельствах. Не узнала этого и Марина Цветаева, горько уверенная в безнадёжности своей борьбы «за себя в сыне». Но всё оказалось не так...

Одна из самых потрясающих, очень подробных записей в дневнике Мура посвящена страшному, шокирующему в историю дню 16 октября 1941 года. Тогда, как известно, была в Москве самая большая паника, казалось, что немцы вот-вот войдут в город.

«16 октября 1941 года.

Сегодняшнее сообщение пахнет разгромом. “14 и 15 октября положение на Западном фронте ухудшилось”. Одним словом, это сообщение — худшее за всю войну. Русские войска отступают под огнём танков и авиации немецкого наступления. Я думаю, что немцы здорово близко. Сегодня у меня был разговор по телефону с Мулей — думаю, последний, т. к. он получил вызов из районного военкомата; он, видимо, сразу уйдёт на фронт. Я тоже могу с минуты на минуту получить вызов откуда угодно. <...> Положение в Москве абсолютно непонятно. Чорт и тот голову сломит: никто ничего не понимает. События, кстати, ускоряются. Каковы же факты трёх последних дней? Огромное количество людей уезжают куда глаза глядят, нагруженные мешками, сундуками. Десятки перегруженных вещами грузовиков удирают на полном газу. Впечатление такое, что 50% Москвы эвакуируется. Метро больше не работает. Говорили, что красные хотели минировать город и взорвать его из метро, до отступления. Теперь говорят, что метро закрыли, чтобы перевозить красные войска, которые оставляют город. Сегодня Моссовет приостановил эвакуацию. В шесть часов читали по радио декрет

Моссовета, предписывающий троллейбусам и автобусам работать нормально, магазинам и ресторанам работать в обычном режиме. Что это означает? Говорят, что Большой театр, уехавший три дня назад, остановлен в Коломне и их бомбят. Писатели (Союз) находятся в каких-то 50 км от Москвы, и их тоже бомбят. Президиум Союза удрал, кто самолётом, кто на автомобиле, забрав деньги тех, кто хотел ехать в Ташкент. Это безобразие. <...> Ничего не понять. Говорят, военкоматы отвечают людям, которые хотят идти на фронт защищать Москву: “Возвращайтесь и сидите дома”. Естественно, главный вопрос, первостепенный — будут ли защищать Москву или красные войска её оставят. Если её будут защищать — это плохо. Тогда немцы будут её бомбить беспощадно, с помощью авиации и дальнобойной артиллерии. Через некоторое время от неё ничего не останется. Если советские войска её оставят — это хорошо, без разрухи, оккупация по — мягкому. Всё московское население желает 2-го варианта. Во всяком случае, радио продолжает давать военные марши, свои поношения и “письма с фронта”, как обычно. Все согласны, что было бы весьма благоразумно оставить Москву просто так. Некоторые утверждают, что так и будет; другие, наоборот, говорят, что ситуация улучшилась и что решили защищать Москву во что бы то ни стало. Что означает этот декрет Моссовета? Пускание пыли в глаза? Но зачем?<...> Я утверждаю, что эти два дня будут решающими. Во всяком случае, очень многие уезжают на автомобилях, уходят пешком. Академия наук, институты, Большой театр — всё исчезло, как дым. А Моссовет говорит об урегулировании действий некоторых секций и учреждений и т. д. Повсюду огромные очереди за продуктами. Я и не надеюсь, что работа ресторанов улучшится. <...> Хотя все утверждают, что Москву отдадут без боя, что не будет оборонительной осады, я же думаю, что, к сожалению, будет осада Москвы, и Москва будет защищаться. В общем, посмотрим. Сегодня ожидается бомбардировка Москвы. Потрясающее количество людей уезжает. А радио продолжает орать патриотические песни. Говорят, что до последнего момента киевляне не знали, что немцы вступают в город, и до последнего момента радио орало и передавало свою обычную

программу. Я очень боюсь, что Москву будут защищать. А завтра? Некоторые утверждают, что немцы ожидаются в Москве сегодня ночью. Это уж преувеличение. Но всё может быть. <...> Союз (писателей — Л. К.) всех бросил, и “вожди” улепетнули. Говорят, Фадеев поехал на фронт. Враньё! Поехал в Казань, по всей вероятности. <...> Немцы продолжают бросать в бой новые части. Ну вот. Таковы факты. Во всяком случае, в Москве все говорят об очень близкой оккупации Москвы немцами. Недаром бегут коммунисты и евреи, недаром Президиум Союза улепетнул, предусмотрительно захватив деньги с собой. Лиля и Зина предусмотрительно сидят в подвале, ожидая бомбёжки...».

В этот день, 16 октября 1941 года, был расстрелян его отец. Тогда же погибли и мать Дмитрия Сеземана, и его отчим. Точная дата смерти Сергея Эфрона стала известна только после открытия архивов КГБ в 1990-е годы. А Мур с Дмитрием Сеземаном, встретившись на вокзале в Ташкенте и бродя несколько часов по перрону, пока стоял поезд, терялись в предположениях о судьбах родителей, о которых так давно не было никаких известий.

Всё увиденное 16 октября 1941 года в Москве потрясло Мура и многое изменило в его взглядах.

19 октября 1941 года:

«...99% всех людей, которых я вижу, абсолютно уверены в предстоящем окончательном поражении нашей армии и во взятии Москвы немцами. Вообще делается чорт знает что; колоссальное количество директоров предприятий, учреждений уехало, бежало; масса народа не получила ни шиша денег и ходят, как потерянные; все говорят о поражении и переворотах; огромные очереди; тут ходят солдаты с пением песен; тут какие-то беглецы с фронта... Сегодня шел снег и дождь. Москва живет в бреду. С одной стороны, газеты пишут о боевых трофеях, партизанской войне, героическом сопротивлении Красной Армии, о том, что Москва всегда будет советской; с другой стороны, смещения в военкомандовании, речи Щербакова и Пронина, постановления и приказы;

с 3-й стороны, народ говорит о плохом состоянии армии; приходит бесчисленное количество людей с фронта, говорящих о невооруженности армии, бегстве и т. д. А тут — марши по радио, “письма на фронт”... Недаром объявили осадное положение и учреждена военная власть с правом расстрела на месте. Всё-таки, наверное, Москва *est virtuellement prise par les troupes du Reich* (практически взята войсками рейха). Всё это — и то, что выбрасывают на рынок муку и товары, — предсмертные судороги. Всё зависит от фронта — как там положение. Все соглашаются на одном: такого еще никто никогда не видел: неслыханного бегства и военных revers (поражений). <...> Но что делается в Москве! Атмосфера полнейшего поражения: “Наши сдавать города умеют; н-да, на это они мастера; взять бы город — это нет; а сдать, так это они умеют...” и все в таком духе. “И Одессу взяли, и Ленинград, и Москву возьмут”. Чудеса? Qui aurait cru (кто бы подумал), что все так распоясаются?»

Такого подробного описания тех страшных дней — не ретроспективного, когда память вольно или невольно что-то корректирует, а буквально фиксирующего всё проживаемое, когда автор, как все, не знал, что будет дальше, — не оставил больше никто. И пусть даже обобщения Мура, касающиеся настроений москвичей или слухов, не во всём соответствуют фактам (наверное, не все хотели, чтобы город был сдан без боя, и военкоматы не всех «заворачивали домой»), несомненно одно: Мур пишет о том, что было — что он видел своими глазами и слышал своими ушами, и свидетельство его — бесценно.

Так Сергей Эфрон правдиво описал жизнь Москвы и москвичей в октябре 1917 года; так Марина Цветаева дала живую, голодную и холодную Москву 1918—1920 годов.

Три разные Москвы оставили нам — сохранили для истории — Марина Цветаева, Сергей Эфрон и их сын Георгий. Он с честью продолжил семейную традицию.

И ещё одна пронзительная переключка сына и матери.

Из дневника Мура:

«... Какое у меня будет будущее? Вот это тайна.<...> Конец тревоги. Спасительный голос диктора: “Угроза воздушного нападения устранена...” В какие странные времена мы живём. Как я мечтаю о мире, и как мы его недооценивали, этот мир, когда он был...». (7 октября 1941 года)

Марина Ивановна прежде тоже недооценивала тихую мирную жизнь, хотя в одном из её писем 1938 года уже звучит такая мечта: «как хорошо было бы — если бы я жила в Бельгии, как когда-то жила в Чехии, мирной жизнью, которую я так обожаю... (“А он, мятежный, ищет бури...” — вот уж не про меня сказано, и ещё: — “Блажен, кто посетил сей мир — В его минуты роковые...” — вот уж не блажен!!!) (Ариадне Берг. 1938, 15 февраля).

Последние надежды на мирную жизнь рухнули после 22 июня 1941 года. Марина Цветаева уже до самого страшного конца осталась трагически выбитой из колеи, но даже тогда она была верна главному, чему служила всю свою жизнь — творчеству. «Счётом ложек/Создателю не воздашь...»

Мария Белкина так вспоминала свою последнюю встречу с Мариной Ивановной летом 1941 года:

«... она говорила, она требовала, чтобы я всё записывала, ничего не упуская, записывала каждый день, каждый час, ведь должно же хоть что-то остаться об этих днях! Ведь не по газетным же фельетонам (она все статьи в газетах называла фельетонами), всегда лживым и тенденциозным, будут потом узнавать о том, что творилось на земле...»

Далее Белкина с грустью призналась:

«Но я так и не выполнила этого её завета, так и не научилась вести подробные и систематические записи...»

Поразительно: по воспоминаниям уже упоминавшегося Изи Крамера, Мур очень похоже говорил товарищам в Ташкенте, «что надо собирать фотографии, записывать разговоры, хранить бумаги, что всё это когда-нибудь будет дороже того, что мы сможем придумать и написать». (Мария Белкина. «Скрещение судеб»).

И сам Мур сделал именно это! Очень многое об этих днях открылось нам и осталось с нами благодаря его почти каждодневным записям. Есть что-то глубоко волнующее в том, что именно сын Марины Цветаевой создал уникальный документ времени, который она считала необходимым создать для будущих времён.

«Как бы далеко ни отошёл сын от матери, он не может уйти, так как она в нём, шагает рядом с ним, и даже из матери он не может шагнуть, так как и его будущее она несёт в себе». (Марина Цветаева. Из статьи «Поэт-альпинист»).

Так и случилось: в вечности сын Марины Цветаевой не ушёл от неё, она в нём.

В земной жизни всё было гораздо драматичнее. Задолго до наступления у сына переходного возраста, в котором более или менее далёкий отход от родителей неизбежен, Марина Цветаева думала об этом. Она готовилась мудро пережить это:

«Страшная вещь — взрослый сын, нужно что-то заранее в себе осилить, замкнуть, в какой-то час — ставку на другое. Иначе жизни нет» (Р. Ломоносовой. 1930, 12 сентября).

Она внутренне протестовала:

«Может быть, так и надо <...>. Но зачем я тогда — с 18 лет растила детей? Закон природы? — Неутешительно...» (А. Тесковой, 1936, 15 февраля).

Она говорила очень горькие слова:

«Во Франции — за семь лет моей Франции — выросла и от меня отошла — Аля. За семь лет Франции я бесконечно остыла сердцем, иногда мне хочется — как той французской принцессе перед смертью — сказать: *Rien ne m'est plus. Plus ne m'est rien.* (Мне больше ничего не остаётся. Больше мне не остаётся ничего). Кроме Мура, очень сложного и трудного, но пока (тоже на какие-нибудь семь лет) во мне нуждающегося. После этих семи — или десяти лет — я уже на земле никому не нужна». (Ей же. 1932, 1 января).

Но всё же она ещё пыталась увидеть что-то светлое:

«... м. б. тогда и начнётся моя настоящая: одинокая и уединённая жизнь, которая у меня кончилась с семнадцати лет. Может быть,

я тогда напишу ещё несколько хороших вещей, м. б. одну вещь: мою» (Там же).

На самом деле Марине Цветаевой в год её замужества было не 17, а 20 лет, но эмоциональная неточность здесь в ином: о той своей одинокой и уединённой жизни она вспоминает с ностальгической грустью как о жизни счастливой и самой естественной для себя. Она не помнит или не хочет помнить, с какой тоской писала тогда: «Можно тени любить,/но живут ли тенями/Восемнадцати лет на земле?..» И как счастлива она была, когда в её жизни появился не придуманный, не книжный, а ЖИВОЙ прекрасный юноша, её любивший.

А через семь лет её Франции наступил 1939 год — год приезда в СССР, где на них с Муром навалилось столько не предвиденных (даже ею) ужасов, вместе переживаемых. Они оказались накрепко связанными друг с другом — до самого трагического конца.

В 1918—1920 годах молодая Марина Цветаева переживала трудности страшной жизни в красной Москве вместе с маленькой дочкой, бывшей ей утешением и опорой во всём. Такого сказочного, волшебного «мы», какое было тогда у них с Алей, с Муром не было. Слишком многое разделяло их.

«Трамвай тронулся, а они стояли на пустой площадке — мать и сын — оба какие-то озябшие, печальные. Оба рядом и оба, казалось, не вместе. Оба очень одинокие. <...> И было в тот момент в них обоих такое сиротство, что тоскливо сжалось сердце...» — так увидела Мария Белкина Марину Ивановну и пятнадцатилетнего Мура в одну из своих последних встреч с ними в предвоенной Москве.

Сиротство в обоих... Как странно звучат эти слова, когда речь идёт о матери и сыне. Впрочем, и в написанных за много лет до этого стихах, обращённых к маленькой дочери, молодая Марина Цветаева сказала:

«Такие с тобою друзья,/Такие с тобою сироты...».

Но с Алей они были тогда вместе, были «такие друзья», что одиночества не ощущали. Маленькая Аля согревала мать душевным теплом, любила и жалела её душевно раскованно, Мур же

часто бывал резок и груб. Но это не значит, что их «мы» не существовало. Многие страницы дневника Мура свидетельствуют: истинное его отношение к матери совсем иное, чем показалось многочисленным мемуаристам, которые делают акцент на его эгоизме и грубости.

«Сегодня, 29-го марта 40-го года, я и мать получили новый и громкий удар по кумполу. <...> Утром мать вышла на улицу и встретила Серафиму Ивановну (директоршу Дома отдыха), которая сообщила, что теперь мы должны платить в два раза больше, чем раньше. Конечно, мама этого платить никак не может. <...> Итак, теперь мы будем ходить в Дом отдыха и брать пищу на одного человека и делить между собою. Кончено теперь хождение в Дом отдыха! Будем, конечно, есть дома. Так, 29-го, после 3-х месяцев и 16-ти дней общение с пребывающими в Доме отдыха прекратилось. Это, конечно, большой удар по кумполу, и мы опять внизу волны. <...> пища на одного человека, брать, как воры, и не быть там за столом. Мне-то лично наплевать, но каково-то маме!» (1940, 29 марта).

На день раньше Марина Ивановна написала из Голицына в Москву большое подробное письмо об этом Н. Я. Москвину — писателю, с которым познакомилась, когда он приезжал в Голицынский Дом творчества. Поразительно, что Мур описывает в своём дневнике эти отравляющие и без того трагическую их жизнь события столь же подробно, с теми же деталями, почти дословно повторяя письмо матери. Значит, тогда Марина Ивановна рассказывала Муру о происходящем и делилась с ним своими переживаниями, и он слушал всё это внимательно и сочувственно.

«Мне-то лично наплевать!» — в этих словах немало подростковой бравады. Но следующие слова его — «но каково-то маме!» — явно вновь взрывают образ «жестокоего бездушного сына».

Мур так часто, ничуть не приукрашивая себя, откровенно пишет в дневнике о разных не делающих ему чести мыслях и чувствах,

что нет никаких оснований сомневаться в его полной искренности. И далее часто звучит в дневнике сочувствие к матери и боль за неё:

«За себя я не беспокоюсь — предо мной много, очень много времени впереди, беспокоюсь я за мать, которая заслужила лучшие бытовые условия, перед которой гораздо меньше жизни, чем, например, предо мной, которая завтрашним днём жить не может и которой необходимы надлежащие жизненные условия для работы. Я твёрдо верю, что это образуется...» (1940, 21 мая).

Не раз пишет Мур о том, что у него впереди очень много времени — может быть, самому себе настойчиво напоминая об этом, чтобы не приходиться в отчаяние в трудные минуты. Как больно читать эти страницы, зная дату его гибели и невольно подсчитывая, сколько ему на самом деле оставалось...

Немало страниц дневника Мура — хотя, естественно, меньше, чем его собственным переживаниям, впечатлениям от людей и книг, трудностям, проблемам общения — посвящено происходящему в жизни матери. Он был подробно, как далеко не каждый подросток, посвящён в её дела. Бывали у них откровенные разговоры, Марина Ивановна могла поделиться с подрастающим сыном своими заботами и огорчениями, и он далеко не всегда дистанцировался от них:

«Вчера в “Интернациональной литературе” мать имела столкновение с некоей Стасовой (по поводу перевода стихов И. Бехера). Стасова относится крайне отрицательно к переводу матери, требует поправки, грозитя (если мать хочет забрать рукопись обратно, не желая делать поправок), что тогда другие сделают поправки и т. п. (и всё в крайне дерзком тоне). Ну, мать с ней наскандалила и ушла. Вильям-Вильмонт тогда сказал Бехеру, что творится безобразия над переводом его стихов, что это замечательный перевод, потом жена Бехера сказала, что это замечательный перевод, и Стасова осталась с носом. <...> Так или иначе, этот перевод напечатается. Мать расстроилась из-за Стасовой; это неправильно; мало ли злых дураков и дур на свете, не расстраиваться же из-за каждого. У матери в “Интернациональной литературе” есть друзья, которые ей помогли в деле перевода...» (1940, 21 июня).

В отличие от истории с внутренней рецензией Корнелия Зелинского на рукопись сборника стихов Цветаевой, когда Мур почти солидаризировался с его позицией, в данном случае он полностью на стороне матери: речь шла о её поэтическом мастерстве «в чистом виде», и он явно очень сочувствует ей, не сомневается в её правоте и огорчается, что она так незащищена перед «злыми дураками».

При чтении подобных страниц невольно вспоминается сказанное Мариной Цветаевой совсем по другому поводу: «Знаю и другую песню — ВСЮ другую...».

Так можно сказать и об отношении к ней Мура. Можно найти в его дневнике немало высказываний, свидетельствующих о преданной сыновней любви, сочувствии и боли за мать, но есть и такие, что говорят о его эгоизме, холодной требовательности, отчуждении. И то, и другое — правда. В том-то и дело, что самые противоречивые чувства бились в душе Мура: жалость к матери и досада на то, что он считал «неправильным поведением».

«Положение явно ненормальное. Мы сюда приехали — должны же мы где-нибудь жить!»

Им удалось прожить лето в московской квартире дальних знакомых, уехавших в отпуск, но лето кончалось, хозяева возвращались, а снять комнату в Москве не получалось. Им некуда было деваться, кроме маленького закутка у Елизаветы Яковлевны Эфрон, где невозможно было разместить полученные, наконец, на таможенные вещи, невозможно работать за столом, вообще невозможно жить по-человечески. И Мур пишет:

«Конечно, дело еще в том, что мать страшно непрактична. Другая или другой, возможно, в конце концов добились бы жилплощади, извиваясь всеми путями. Но она ничего не может сделать, а друзья — недостаточно. Через 8 дней сюда въезжают хозяева <...>. Я очень жалею мать — она поэт, ей нужно переводить, жить нормальной жизнью, а она портит себе кровь, беспокоится, изнуряет себя в бесплодных усилиях найти комнату, страшится недалекого будущего. Ведь это факт — мы действительно не знаем, где будем жить через 8 дней! Здесь было хорошо и просторно. Может, я буду жалеть об этом месте. То, что меня морально зака-

ляет (в конечном счете, конечно), мать ранит <...> Как хотелось бы для матери спокойной, налаженной жизни (курс. мой — Л. К.) <...> Мать попробовала обратиться к А. Толстому, но его “вообще нету”. Да, скрывать нечего, положение исключительно плохое. Мать говорит, что “только повеситься”... Выхода не видно. А Союз писателей говорит, что никак не может дать комнаты. Другие бы, возможно, обращались бы в Моссовет, в НКВД, к Молотову, а мать непрактична, да и что с неё требовать <...> Главное, я беспокоюсь и горюю за неё» (1940, 22 августа).

Такой вот снисходительно-покровительственный тон... И при этом Муру не приходило в голову, что родственникам арестованных опасно лишний раз напоминать о себе, что НКВД не только не станет заботиться о жилье для них, но и может арестовать. Неужели он ни разу не представил себе после арестов отца и сестры возможность ареста матери? Как трудно сейчас поверить в такую наивность! Сама Марина Цветаева всё время жила с этим страхом. Ровно через год после ареста Али она писала в записной книжке: «Поздравляю себя — тьфу-тьфу! — с уцелением!»

Но Мур об этом не знает. И продолжает жить реальными заботами, «лежащими на поверхности» их жизни:

«Тарасенков, Муля и Вильмонты — бессильны: они ничего не могут сделать и так же соболезнуют и сочувствуют, как и я. Но из этого толку мало. Но предстоит пытка переезда и пытка (продолжается) неопределенности. Нам было хорошо в этой свободной и большой квартире. Наверное, скоро нам будет плохо <...>. Представляю себе — вещи по знакомым знакомых. Приходится ходить и всё ворошить, чтобы что-то доставать. Кошмар! Опять-таки, мне наплевать; я думаю о самочувствии матери. Как же она будет переводить в маленьком загончике у Лили, и как я буду учиться? Бред». (1940, 22 августа).

На самом деле эта ситуация и для него очень тяжела, но боль и обида за мать пока действительно перевешивают. Сочувствие его, казалось бы, безгранично. Но обострённо нервная реакция

измученной Марины Ивановны часто вызывала его нервное раздражение, порой почти вытесняющее жалость.

«Я говорю совершенную правду: последние дни были наихудшие в моей жизни. Это — факт. Возможности комнаты обламывались одна за другой, как гнилые ветки. Провалилась комната на Метростроевке — по закону мы туда не можем въехать. Друзья (или так называемые) не могут ничего сделать. Мы завалены нашим багажом. Со дня на день могут приехать Северцевы. Мать живет в атмосфере самоубийства и всё время говорит об этом самоубийстве. Всё время плачет и говорит об унижениях, которые ей приходится испытывать, прося у знакомых места для вещей, ища комнаты. Она говорит: “Пусть всё пропадает, и твои костюмы, и башмаки, и всё. Пусть все вещи выкидывают во двор”. Я ненавижу драму всем сердцем, но приходится жить в этой драме. Я не вижу никакого исхода нашему положению. Эти дни — самые ужасные в моей жизни. И как я буду учиться в такой обстановке? Положение ужасное, и мать меня деморализует своим плачем <...>. Мать говорит, всё пропадет, я повешусь и т. п. Сегодня — наихудший день моей жизни — и годовщина Алиного ареста. Я зол, как черт. Мне это положение ужасно надоело. Я не вижу исхода. Комнаты нет; как вещи разместить — неизвестно. В доме атмосфера смерти и глупости — всё выкинуть и продать. Мать, по -моему, сошла с ума. Я больше так не могу. Я живу действительно в атмосфере “всё кончено”. “Будем жить у Лили, не будет вещей”. Я ненавижу наше положение и ругаюсь с матерью, которая только и знает, что ужасаться. Мать сошла с ума. И я тоже сойду. <...> Мне ужасно жалко, если наши вещи пропадут. Я ушёл из комнаты и сижу в комнате Северцевых. Я больше не могу переносить истерики матери. Истерика, которая сводится к чему — к тому, что все пропадёт, и что я не буду учиться и т. п. Как мне надоела вся эта сволочня. Я решил теперь твёрдо встать на позиции эгоизма. 1-го я пойду в школу и интересоваться буду только этим. Мне плевать. Мне надоело. Конечно, я совершенно не вижу, как я буду одеваться, если все вещи будут разрознены. А друзья соболезнуют — мол,

как ужасно — ничего, устройтесь. Мне хочется, мне нужна нормальная жизнь. Я больше так не могу. Это самые худшие дни моей жизни. Но как будет дальше? Я больше не могу. Мать совершенно ужасные вещи говорит. И я не могу. К чорту. Но что мы будем делать? Все соболезнуют. В 10 часов придёт Муля. Никакой комнаты не предвидится. Придётся шляться к знакомым знакомых, чтобы достать каждую вещь. Х.. со всем. Лишь бы сохранились дневники, тетради и учебники. Я буду ходить в школу через 5 дней. Х.. со всем. Нужно быть эгоистом. Довольно мифических комнат и переездов. Х.. со всем. А я пойду в школу. Мать плачет и говорит о самоубийстве. Факт, что положение ужасное. Плевать, плевать и плевать. <...> 10-го был Муля. Мы написали телеграмму в Кремль, Сталину: «Помогите мне, я в отчаянном положении. Писательница Марина Цветаева». Я отправил тотчас же по почте. Теперь нужно будет добиться Павленко — чтобы, когда вызовут Союз писателей, там сказали бы, что мы до 1-го должны отсюда смываться. Всё возможно. Может быть, нам предоставят комнату из-за этой телеграммы. Во всяком случае, мы сделали, что могли. Я уверен, что дело удастся.<...>Так что мы сегодня обратимся к Павленко (если он в городе), во-вторых, скоро должен приехать Толстой, и жена его по телефону обещала ему передать, что матери нужно его видеть. Мы всё сделали, что могли. Я уверен, что дело с телеграммой удастся. Говорят, что Сталин уже предоставлял комнаты и помогал много раз людям, которые к нему обращались. Увидим. <...> Наверное, когда Сталин получит телеграмму, то он вызовет или Фадеева, или Павленко и расспросит их о матери.

Увидим, что будет дальше. Я считаю, что мы правильно сделали, что написали эту телеграмму. Это последнее, что нам остается сделать ...» (1940, 27 августа).

Мур и сам на грани истерики — он действительно «больше так не может». Это видно и по объёму записи, и по всему тону её, по нервно повторяющимся словам и оборотам речи, по нескрываемому раздражению, иногда переходящему в ужас. Год спустя, когда началась война и жизнь снова выбросила их из дома, Мур снова слышал

страшные слова матери. Он, может быть, ещё и потому не воспринимал их во всей жуткой буквальности, что не раз слышал прежде. В глубине души он всё же считал, что снова всё как-то решится, ведь это уже не раз бывало в их жизни. Нельзя не увидеть, однако, что, как только намечается хоть какой-то конструктивный (или кажущийся таким) выход, тон Мура сразу меняется: он становится гораздо более лояльным и мирным по отношению к матери, и снова возвращается в его мысли и записи слово «мы». Но взрывы её безысходного отчаяния, длящиеся порой целыми днями, для него действительно непереносимы, и он из последних сил сопротивляется затягиванию в этот губительный водоворот. Его сопротивление выражалось порой в жёстком отчуждении, а Марине Ивановне так хотелось услышать от сына слова утешения. Но и ему хотелось видеть её бодрой и обнадеживающей его. Не привычные для него растерянность и слабость матери ужасают и даже возмущают Мура. Повзрослев, он многое переосмыслит, но пока часто критикует Марину Ивановну.

«Вчера мать привезла из Москвы известие о том, что возможность снятия нами комнаты в Москве окончательно провалилась и что единственная возможность заключается в крохотной комнате в Сокольниках. <...> Действительно, перспектива замечательная: въезжать в жару в крохотную комнатушку на окраине города!.. <...> мне лично абсолютно наплевать, где жить (раз это от меня и не зависит), а в том, что раз мать и в этой, сравнительно обширной квартире жалуется на то, что нужно устраиваться и прибавать полки и т. п., и что это у неё отнимает массу времени, то что она будет говорить в той, малюсенькой комнатухе? <...> главное, ужасно то, что у матери хоть и есть масса доброй воли, а логики и простого «sens commun» (здорового смысла) — очень мало. Потом дело в том, что она приходит в отчаяние от абсолютных мелочей, как то: “отчего нет посудного полотенца, пропала кастрюля с длинной ручкой” и т. п. Так хотелось бы спокойно пожить!.. Куда уж там... У матери курьёзная склонность воспринимать всё трагически, каждую мелочь т. е., и это ужасно мне мешает и досаждал. Очень трудно сохранять терпенье при таких обстоятельствах ...» (1940, 16 мая).

«Мать абсолютно не умеет организовывать подобные устройства и хотя у неё много доброй воли, всё делает — в этом смысле — шиворот-навыворот, каждоминутно что-нибудь теряет, и потом приходится “это” искать, выкладывает сначала мелочи, а потом уже большие вещи и т. п. При ее хозяйничанье у нас никогда не будет порядка, хотя она и работает очень много, чтобы всё привести в порядок, но при её отсутствии системы и лихорадочности, разбросанности выходит только беспорядок. Впрочем, я её не виню, — она из тех людей, которые пытаются, при полном отсутствии данных, успешно что-нибудь осуществить, пытаются чистосердечно, но у них ничего не выходит и не может выйти. К счастью, вся эта суетня и скучища подготовки к переезду, переезд и устройство в новом жилище теперь позади, и вспоминать обо всём этом не стоит...» (1940, 15 июня).

Трезвая наблюдательность Мура, его сугубо домашний взгляд приближают к читателям его дневника в чём-то новую Марину Цветаеву. Такой её не видел никто из знакомых. Сын, казалось бы, почти не обвиняет, просто объективно фиксирует то, что видит, стремясь при этом быть терпимым, даже оправдывает неумения матери тем, что она старается, но другой быть не может. Правда, ему не приходит в голову — помочь, сделать что-то самому. Впрочем, Марина Ивановна, возможно, и не позволила бы ему этого. В отличие от своего отца, Мур пока в своих суждениях о матери исходит из обычных критериев. Это резко отличало его не только от отца, но и от Али. Какие бы восхищённые слова о гениальности Марины Цветаевой ни доводилось ему слышать уже в Москве от разных людей (прежде всего — от Бориса Пастернака), с каким бы чувством ни фиксировал он в своём дневнике эти слова, он всё же воспринимал её прежде всего как мать, имеющую определённые обязательства перед ним.

Её материнские обязательства Мур порой толковал крайне своеобразно и неожиданно:

«... мне интересно, в силу каких обстоятельств сложилась такая почти общепринятая установка игнорировать половую жизнь

и не говорить о ней? По-моему, это вредно. Вот, например, мать совершенно меня сексуально не воспитала. <...> Неужели человек, проживший 47 лет, может ещё сомневаться в бесспорности наличия появления в определенный возраст полового влечения?<...> нужно же дать какие-то конкретные указания, ориентировать человека! Я такое сознательное умалчивание, игнорирование и пренебрежение вопросами половой жизни считаю просто-напросто лицемерием, привитым семьёй <...>. Но мать человек, бесспорно, культурный, бывалый, много видевший. Такое замалчивание важнейших вопросов, связанных с физическим развитием своего сына (вопросов действительно важных), я объясняю пережитками этого из семьи в семью переданного буржуазного лицемерия. Конечно, главный вопрос в 15—16 лет — это половой вопрос. Конечно, это просто чудовищно не помочь человеку в этом возрасте, сознательно закрывать глаза, думая, что “подумаешь! Уладится как-нибудь” и т. п. Это всё-таки чрезвычайно комично, что моя мать — культурная женщина, поэт и т. п. — думает, что не стоит мальчику говорить о «таких вещах», и ведёт себя в этом отношении как настоящая, рядовая мещанка, как любая безответственная домохозяйка, к которой бы мать никогда не согласилась бы быть приравненной ни в коем случае. Вот это-то и смешно, что культура у матери (да и у многих людей) совершенно не тронула и не размыла того участка мусора, который находится в таком же состоянии у других, несравненно менее культурных, образованных лиц. Меня это лицемерие бесит. И главное, я уверен, что если бы я с матерью стал говорить о поле, о половых стремлениях, то она бы сделала лживое лицо и сказала бы, что “люди всё-таки не животные”, что это «низменно», что нужно “заниматься спортом», об этом « не думать” и — о смех! — что это «у тебя пройдёт»! Вот это действительно смешно!» (1940, 5 августа).

Такая раскованность в формулировках по ходу размышлений (пусть только в дневнике) на не привычные для советских юношей и девушек темы (во всяком случае, не формулируемые так открыто) всё-таки выдаёт в Муре человека, приехавшего из совсем другой страны.

Правда, в живой жизни он был, видимо, достаточно замкнут и не вёл бесед на эти темы с приятелями, разве что с Дмитрием Сеземаном. Но если внимательно вчитаться в эти рассуждения, нельзя не увидеть, что цинизма, в котором многие первые читатели дневника стали обвинять Мура, там совсем нет. Скорее наоборот — детская доверчивость к матери, проявлявшаяся даже в этой неожиданной требовательности к ней, глубокая эмоциональная зависимость от неё, беззащитная растерянность перед жизнью, с которой ему трудно справиться без её помощи. Поразительно, кстати, что Мур ни словом в этой связи не упоминает об отце. Ведь год назад Сергей Яковлевич ещё был на свободе, и, казалось бы, естественнее ждать откровенного разговора на эти темы именно с ним, а не с матерью. Может быть, впрочем, Мур не считал возможным в то время, когда отец в тюрьме, даже мысленно предъявлять ему какие-то претензии. Но главная причина скорее в том, что с матерью, при всех ссорах и взаимных непониманиях, Мур был гораздо сильнее эмоционально связан.

Такой не взрослый взгляд ощутим на многих страницах дневника, как и типично подростковые противоречия в самоопределении. Явно исходя во многих своих требованиях из того, что он ещё подросток и потому нуждается в заботе матери, в других случаях Мур часто настаивает на том, что он давно уже не ребёнок, и удивляется, как мать не понимает, что ему скучно гулять с ней.

«Последнее время у меня участились конфликты с моей матерью, которая не перестаёт меня упрекать, почему я не хочу ходить с ней гулять; что ни одного раза с тех пор, когда мы приехали сюда, я не пошёл с ней гулять и т. п. Дело в том, что я люблю гулять или один, или с друзьями, а с ней мне просто-напросто скучно гулять, и она никак не может этого понять и оттого закатывает мне по этому поводу сцены. Такие инциденты скучны и неприятны...» (1940, 22 июня).

Всё же вряд ли справедливо винить Мура, живущего свою единственную и такую трагически короткую жизнь, за обычные чувства

подростка, рвущегося на волю, к ровесникам. Тем более, как видно из следующей записи, Мур отнюдь не всегда бывал так категоричен в отстаивании своей независимости, иногда перевешивали сочувствие к матери и забота о ней:

«Сегодня иду с матерью смотреть американский фильм «Большой Вальс» (о Штраусе). Я этот фильм уже видел, но матери скучно идти одной, а я хочу, чтоб она этот отличный фильм увидела, так вот я и тащусь...» (1940, 2 июля).

В дневнике Мур много раз упорно и болезненно возвращается к теме — соседи по коммунальной квартире. Здесь тоже сталкиваются боль за мать, огромное сочувствие к ней — и невольное раздражение.

«Сегодня, к 3 ч. 30 м., произошёл исключительно неприятный, ядовитый инцидент. Я уже писал, что в квартире живет инженер А. И. Воронцов с женой. Вчера вечером мать повесила в кухне сушить от стирки мои штаны. Сегодня Воронцов учинил форменный скандал, требовал снять эти штаны, говорил, что они грязные. Говорил, что мы навели тараканов в дом. Грозил, что напишет в домоуправление. Говорил, что мы развели грязь в кухне. Все это говорилось на кухне, в исключительно злобном тоне, угрожающем. Я выступал в роли умиротворителя, а после того как мать ушла из кухни, говорил Воронцову, чтобы он говорил с матерью полегче. Это самое худшее, что могло только случиться. Так как мать работает с исключительной интенсивностью, то естественно, что она не успевает всё прибрать в кухне. Главное, что ужасно, это то, что этот Воронцов говорил исключительно резко и злобно с матерью. Моя мать представляет собой объективную ценность, и ужасно то, что её третируют, как домохозяйку» (1941, 3 января).

Всю жизнь преследовало Марину Цветаеву такое «третирование» — и в Чехии, и во Франции, откуда она писала об этом Анне Тесковой. Но до приезда в советскую Россию им не приходилось

жить в коммунальной квартире... Мур понимал, как отравляют жизнь матери такие «кухонные трагедии»:

«Ведь этот Воронцов теперь может отравить нам всю жизнь. И главное в том, что если бы дело касалось меня лично, то мне было бы абсолютно всё равно. Но оно касается матери. Мать исключительно остро чувствует всякую несправедливость и обиду».

Как остро, как не равнодушно он реагирует, как активно пытается овладеть ситуацией. Как он болеет за мать! Далекое не каждый подросток так эмоционально вникает во «взрослые» конфликты.

«Сегодня у матери с соседкой Воронцовой произошёл на кухне скандал, который отравил мне весь день, жалею я мать, что ей приходится жить со склочниками и мещанами. Мне-то наплевать, но мне мать жалко, очень-очень жалко. Её так легко обидеть и уязвить! Какая мерзость эти кухонные склоки! Я всё сделал, чтобы обезвредить этот скандал. (курс. мой — Л. К.) Эта Воронцова — мелкая, завистливая женщина. И сказать только, что матери приходится быть с ней на кухне! Я стараюсь сделаться вконец бесчувственным, но не удается мне это. Я рекомендую матери не обращать внимания на этих людей и не отвечать на их замечания. Но мать говорит о справедливости, что её несправедливо обвиняют в грязи, что таким тоном с ней нельзя разговаривать... Я ей говорю, что она не должна унижаться до пререканий с такими людьми. Но трудно перевоспитать человека и научить его хладнокровию, прерению и холодности». (1941, 16 февраля).

«А какие сволочи наши соседи. По правде говоря, я никогда не подозревал, что могут существовать такие люди — злые дураки, особенно жена. Я их ненавижу, потому что они ненавидят мать, которая этого не заслуживает...» (1941, 9 мая).

«... не подозревал, что могут существовать...». Мур и не мог раньше — в прежней своей жизни — видеть таких людей. Да и Марина Цветаева, хоть она ещё в Чехии с болью писала Людмиле Чириковой: «У меня ничего нет, кроме ненависти всех хозяев жизни:

за то, что я не как они» (1923, 27 апреля) — на самом деле ни в Чехии, ни во Франции не встречала «таких» хозяев. В описаниях Мура они очень напоминают зощенковских героев, рождённых новым временем... Этот советский инженер и его жена — со всем их бескультурьем, узостью интересов и грубостью — самоуверенно ощущают себя «хозяевами» новой жизни (не понимая, что в 30 годы вполне уверенно не мог себя чувствовать никто), в Марине и Муре они, пусть ничего не понимая, интуитивно ощущают «чужаков».

На этих страницах — сквозь всё сочувствие — ощутима и боль от того, что Марина Ивановна не слышит его доводов, его позиции, его просьбы избегать мучительных (и для него) скандалов.

Случалось, что Мур и по другим поводам остро обижался на непонимание и «несочувствие» его переживаниям (так, во всяком случае, он это воспринимал):

«Мать валяется и читает «Дневник» Ж. Ренара. Ей абсолютно начхать, что я так хреново скучаю. Все же это совершенное г...! Пойти погулять? А куда идти? А вечер такой хороший и свежий. В сквере деревья вздыхают, город весь тут, со всеми своими звуками... и вот. Мне до чорта скучно. Ни товарищей, ни друзей. НИ-ЧЕ-ГО! Мама пристаёт каждые пять минут со своими повторными жалобами, что ей жарко. <...> Полная и совершенная изоляция. Полное непонимание со стороны матери. Я знаю, это банально, но это так, и это очень занудно, ручаюсь. НИЧЕГО! Ах! Чорт!» (1940, 20 июня).

«Если бы я поехал летом в Коктебель, там всегда летом живет Мирэль (дочь писательницы Мариэтты Шагинян. — Л. К.), и тогда бы там была бы, может быть, мне весёлая компания, да к тому же Мирэль (студентка ИЗОинститута) могла бы мне помочь писать маслом (приятное с полезным)». (1940, 9 марта).

«... Теперь стоит хорошая погода. Я думаю, как сейчас хорошо в Сочи! Купание, пляж, солнце, симпатичные знакомства; пляжная суматоха и морское веселье, которые я так люблю! Красивые девушки, празднично-каникулярная лёгкость, песок и шум волн! Я обожаю атмосферу пляжа. В Сочи я никогда не был, но думаю, что там хорошо. Хорошо также в Крыму, в Феодосии и Коктебеле,

но, увы, пока отец и сестра в тюрьме и нужно носить им передачу, ни о каком море и думать не приходится. В Москве у меня совершенно нет друзей ...» (1940, 20 июня).

Мур так и не увидел ни Сочи, ни Коктебеля. «Своего Коктебеля» (в цветаевском значении этого слова) в жизни Мура не случилось.

Он очень тосковал:

«... тихий и свежий воздух вечерней Москвы. Большой город совсем близко, машины тихо урчат, воздух свеж, сегодня особенно. И нечего делать! Это глупо... но действительно бывают моменты, когда мне вся жизнь так осточертела... Я не думаю о самоубийстве, нет. Но иногда я просто изнемогаю. Чего я пойду гулять, один? От одного только вида гуляющей молодёжи вся прогулка испорчена. Не то что я не могу оставаться один, но это чувство изоляции, одним словом — комплекс неполноценности. Ибо я изолирован, следовательно, принижен. <...> Мне хочется чего-то интенсивного, дружбы, любви, но нет НИЧЕГО». (1940, 3 июля).

«... Вчера спорил с матерью; она говорит, что одинок я потому, что это зависит от самого моего характера (насмешливость, холодность и т. п.). Как она меня не знает! Просто даже немного смешно. Я же говорил, что секрет кроется в совокупности различных событий моей жизни — в частности, моя деклассированность, приезд из-за границы, ложное положение, потому что ничего нельзя рассказать о прошлом, — причины моего несближения ни с кем. Чтобы меня понять, понять, почему я такой именно и именно так думаю, говорю, именно этим и интересуюсь, нужно знать мою биографию, и знать подробно. А биография моя — «гробовая тайна». Вот тебе и безвыходный круг. Поневоле и будешь одиноким и непонятым...». (1941, 28 мая).

Думается, что с этими грустными словами сына Марина Ивановна не могла в душе не согласиться. Но помочь тут было нечем. Судя по последним предвоенным записям Мура, именно в те дни взаимное непонимание между ним и Мариной Ивановной особенно

обострилось, хотя и в самых надрывных и раздражённо обиженных его записях прежнее «жалею мать» продолжает звучать.

«...20-го приезжают муж хозяйки с девчонкой и невестка соседей — подлецов с дочерью, хорошенькая у нас будет кухня, а! Я страдаю за мать, я боюсь, как огня, скандалов, которые могут вспыхнуть из-за какой-нибудь не на место поставленной кастрюли. Такова жизнь. Однако я никогда не приду в отчаяние, хотя у меня к этому сто тысяч и три миллиона поводов. Я знаю, что когда-нибудь я буду жить самостоятельно, что я избавлюсь от всех проблем, что я смогу прямо смотреть всем в глаза, а не исподлобья, как теперь. <...> Те люди, что приезжают, это новые трудности, которые они с собой несут. Кухня! Подлая, тысячу раз проклятая вещь! Когда там все вместе, и когда ссора может вспыхнуть в одну секунду, и эти подлецы могут мать обозвать как угодно, а мать плачет, и моё абсолютное одиночество здесь, родные в тюрьме, а главное буржуйская квартира, соседи — дураки и злыдни — всё это, уверяю вас, может довести до сумасшествия и до желания ахнуть в воду. И мать, которая меня не понимает и говорит, что я холодный и злой...» (1941, 18 июня).

Во Франции при всей бедности, при всех материальных трудностях, у них никогда не было «коммунальной кухни». Ужас Мура можно понять. На таком фоне естественно усилились его отчуждение и желание своей отдельной самостоятельной жизни. Впервые в его дневнике прозвучали страшные для Марины Ивановны слова:

«... У меня постоянные и бесконечные споры с матерью. Мы говорим друг другу неприятности, и это глупо. *Как было бы здорово жить отдельно* (курс. мой. — Л. К.), но нечего и надеяться, этого мне не видать как своих ушей» (1941, 20 июня).

Впрочем, в отличие от Али во Франции, Мур, видимо, ни разу не произнёс этого вслух: в одной из записей он представляет себе возможную реакцию матери на такие слова — «начнёт говорить, что не может жить одна, семья рушится и т. д.».

Как боялась всегда Марина Ивановна этого неизбежного момента! Но она не могла предвидеть тех запредельно страшных обстоятельств, с какими совпадёт шестнадцатилетие Мура. Страшными они были с самого их приезда в Советскую Россию, но в этом ужасе поначалу ещё была какая-то стабильность — учёба Мура, его многочисленные «культурные вылазки» (в театры, на вечера поэзии, на концерты), его запойное чтение; напряжённая, берущая много времени и сил работа Марины Ивановны над переводами, её общение с новыми и старыми знакомыми — Николаем Асеевым, Николаем Вильмонтом, Арсением Тарковским, Генрихом Нейгаузом, с которым, познакомившись через Бориса Пастернака, она подружилась, с литературоведом Евгением Тагером, с подругой Али Ниной Гордон, муж которой тоже был арестован, с Тарасенковыми — всех не перечислить. Были ещё встречи со старой гимназической подругой Соней Юркевич, сыновья которой отнесли к Марине Ивановне и Муру с доброй заботой и помогали им. Были редкие, но всегда значительные встречи с Борисом Пастернаком...

Всё трагически изменилось 22 июня 1941 года.

Предоставить сыну свободу в таких обстоятельствах было выше её сил. Предвидя неизбежность его отхода, Марина Ивановна испытывала боль и ревность. Но страх и такие причины для страха даже она вообразить не могла. Начавшись с арестов близких в 1939 году, страх всё нарастал. Это привело к тому, что в некоторых поступках (и даже словах) в последние два года жизни Марину Цветаеву было трудно узнать. Так, в ответ на слова Анатолия Тарасенкова, пытавшегося как-то смягчить её отношения с сыном, — лучше, мол, позволить Муру кататься на лодке и учиться плавать, иначе он может всё равно пойти кататься на лодке и ей об этом не сказать, — Марина Ивановна ответила, что она смотрит на часы и знает, когда кончаются уроки, и знает, сколько времени отнимает путь от школы до дома. Об этом пишет Мария Белкина в книге «Скрещение судеб». И ещё: «Мур, не ходи по траве, ты промочишь ноги! — не раз кричала Марина Ивановна. Мур был обут в грубые башмаки на толстых подошвах и промочить ноги не мог. Он упорно

шагал по траве — его раздражали замечания матери, и при каждом ее окрике он недовольно кривил рот».

«Узнаю породу!..» — говорила она о Муре. Неужели Марина Цветаева не помнила по своим 15—16 годам, как люди этой породы реагируют на попытки лишить их свободы и навязать свою волю? Она в таком возрасте схватила однажды подсвечник и замахнулась на отца, когда он потребовал, чтобы она вынула портрет Наполеона из киота. А теперь гордая вольнолюбивая Марина по минутам следит за возвращением сына из школы! Как бы она в юные годы восприняла подобные посягательства на свою самостоятельность? Никто не чувствовал это несоответствие себе настоящей больше и острее, чем она сама. Об этом говорят проницательные слова в её тетради 1940 года: «Я сейчас убита, меня сейчас нет, не знаю, буду ли я когда-нибудь...»

Когда Москву начали бомбить, страх стал обнажённое, конкретнее и еще мучительнее: «... она говорила ... что это всё противоестественно, что это всё не по-человечески, и главное, она безумно боится за Мура, ей всё время кажется, что его обязательно убьёт или выбьёт глаз осколком, она не может так жить, у неё больше нет сил... Она была на пределе, это был живой комок нервов, сгусток отчаяния и боли», — так рассказывает Мария Белкина, которая однажды случайно, во время бомбёжки, встретила с Мариной Цветаевой. Тогда же Марина Ивановна говорила ей о необходимости всё записывать в эти страшные дни.

В этом состоянии она больше не могла откладывать отъезд из Москвы: стремление как можно скорее увезти Мура из-под бомбёжек преобладало над всеми сомнениями, над всеми разумными советами не ехать, не подготовившись к долгой зиме, над желанием не разлучаться с немногими близкими, душевно поддерживающими её людьми, остающимися пока в Москве.

Самуил Гуревич и Нина Гордон пришли к ней в последний вечер перед отъездом и убеждали не срываться так, очертя голову. Но она не слышала их доводов. Точнее — мучительно колебалась:

«...то она быстро со всем соглашалась, но тут же опять возражала, то опять как будто соглашалась. Мы пробыли там до поздней

ночи <...> Уговаривали втроём — и Муля, и Мур, и я. Под конец она сдалась, успокоилась, уже ровным голосом сказала, что согласна с нами, что поедет позже с другой группой, что Муля должен узнать завтра же в Союзе писателей, когда намечается отъезд следующей партии писателей и их жён, а пока постарается кое-что продать и собраться как следует. Мы договорились с ней твёрдо в воскресенье с утра пойти вместе в комиссионку и сдать вещи на продажу. Она как-то даже повеселела...» (Нина Гордон. «Меня она покорила сразу простотой обращения»).

Но на следующий день Нина Гордон узнала, что утром они уехали. Мур уезжать не хотел. Страшные месяцы начала войны усугубили противоречия в отношениях матери и сына. До этого их тяжёлые столкновения не касались таких коренных вопросов, всё как-то уравнивалось. Но тут столкнулись её страстное желание увезти сына из Москвы и его не менее страстный протест против отъезда. Он сопротивлялся до последней минуты, есть много свидетельств на эту тему.

«Потом он (Самуил Гуревич. — Л. К.) ко мне зашёл и рассказал, что узнал от соседей: Марина всю ночь судорожно собиралась, ссорилась с Муром, но настояла на своём; к шести утра за ними приехал грузовик (наверное, она всё же созвонилась с Союзом), и она уехала вместе с Муром.» (Там же).

До публикации дневника Мура я думала о причинах такого его ожесточенного сопротивления. Тогда можно было только предполагать:

«Нежелание расставаться с девушкой, занявшей какое-то место в его жизни? С новыми друзьями? А может быть, ему стало стыдно уезжать из осаждённого врагом города? Но мать не посчиталась с желанием сына и увезла его почти насильно. Он очень решительно говорил, что не поедет, и кто-то из дальних знакомых, подошедший к ним на пристани, даже не понял, что сын всё-таки уехал. Он был уверен, что Мур остался, и годы спустя вспоминал, как его

поразило, что юноша был так груб, не обнял мать на прощанье, не попытался утешить... А Мур не чувствовал себя в силах остаться в Москве без матери. Он очень хотел, чтобы они вместе с матерью остались в Москве, и не мог простить ей, что она увезла его». Так я думала и писала в своей книге «*Душа, родившаяся где-то...*». При первом чтении дневника я была очень взволнована, когда подтвердились мои давние предположения и о причинах сопротивления Мура, и о его внутреннем состоянии потом, когда они отплыли. Живой голос Мура засвидетельствовал это:

«Знакомлюсь с Вале́й, вижусь с Митькой. Тут — война! И всё опять к чорту. (Курсив мой — Л. К.) Начинаются переездные замыслы, поиски комнат. Опять полная неуверенность, доведённая до пределов паническим воображением матери. Идут самые неуверенные дни жизни, самые панические, самые страшные, самые глупые...» (1941, 16 июля).

«Разложение, потому что твои самые ценные отношения просто распадаются. (Курсив мой — Л. К.) Конечно, вся эта кутерьма и распад всего происходят исключительно из-за того, что я не свободен и завишу от матери <...>. Если бы я был один, я бы всегда очень точно и отчетливо знал, что мне делать» (1941, 21 июля).

Так ему казалось тогда. Но пройдёт совсем немного времени, и в страшном одиночестве после ухода Марины Ивановны из жизни Мур будет писать Але в лагерь, Муле Гуревичу в Куйбышев, Лиле Эфрон в Москву о том, что он «слишком рано был брошен в море одиночества», и о том, как трудно принимать правильные решения в разных тяжелых ситуациях, когда не у кого спросить совета, нет рядом близкого и понимающего человека, которому он верил бы; и о том, как трагически не прав он был, видя в семье тормозящее начало...

«... этот отъезд имеет ярко выраженный характер бегства, а я ведь совершенно не хотел отсюда бежать. Считаю, что я, уезжая в Татарию, как-то предаю Москву и собственное достоинство.

(курс. мой. — Л. К.) <...> Боюсь, что эта татарская антреприза дорого нам обойдётся. Что мы там будем делать, как, чем и где жить? Всё-таки это глушь. <...> Сегодня в Литфонде выясняются все детали отъезда. Прощай, Москва! И знай, что еду я не по своей воле, а по чужой необходимости...» (1941, 2 августа).

«Под напором меня, Мули, Нины Герасимовны мать решила не ехать в Татарскую АССР. Решающую роль в этом решении сыграло то обстоятельство, что я категорически заявил, что не поеду в глушь из Москвы. Кроме того, Муля тоже против таких отъездов невесть куда и на что — мы сегодня с ним говорили. Итак, мы решили пока не эвакуироваться. Что же тогда делать? <...> Всё дело в том, что как только тревога и я нахожусь здесь, на Покровском, мне надо идти на чердак, подвергая себя большой опасности. Я этого ни капельки не боюсь — мне наплевать. Но мать буквально больна из-за опасности, которой я себя подвергаю. И оттого хочет вон отсюда. Если бы я жил один, то никуда, даже на дачу, не уезжал бы. Но приходится с ней считаться. <...> Муля считает, что если мать так за меня боится, то следует жить на даче. <...> Где все-таки мы будем жить? <...> По крайней мере, оставаясь в Москве, мать всегда сможет достать литработу в той же «Интернациональной литературе» или вообще где угодно...». (1941, 4 августа).

Удивительный психологический эффект возникает, когда читаешь эти записи: они сделаны даже не по горячим следам, а прямо в горячие дни. Логика Мура так убеждает, а надежды и желания его так эмоционально заражают, что на какие-то секунды чуть ли не забывается всё знание о том, что было дальше, и так хочется верить, что они не сядут на тот пароход... И понимаешь, как больно было чуть успокоившемуся Муру вновь услышать, что они едут.

«Бред продолжается. Опять мать говорит, что лучше уезжать в Татарию и на чорт знает что, чем оставаться в Москве под бомбами. Вчера опять бомбили Москву — теперь бомбят каждую ночь. Вообще-то говоря — позор, что некоторые из москвичей так “сдали”. Я не ожидал от матери такого маразма. <...> Утром я ей

совершенно ясно и определённо и точно сказал, что в Татарию не поеду. Она ответила, что меня не спросит. Но я всё равно категорически не поеду с этим эшеленом. В Москве — друзья, работа, школа. В Татарии — глушь, колхоз, грязь и т. д. Мой выбор ясен — ни за что в глушь не уеду. Пусть мать в Литфонде говорит, что поедет с этим эшеленом, пусть твердит, что это “для тебя последний шанс уехать из-под бомб”, пусть вносит 85 рублей, — ехать я отказываюсь категорически. Жертвовать моим будущим, образованием и культурой не намерен. <...> Сплошной хаос — и всё из-за безволия матери, поддающейся влиянию глупых разговоров, паники и т. д. Все эти бесконечные решения мне надоели бесконечно — ведёт только к тому, что мать не работает, комната грязная, и питаемся в столовых Гослита или просто в столовках. Полнейшая безалаберность. И всё из-за того, что я пожарник (sic) (имеются в виду его дежурства на крыше. — Л. К.) Мне всё это ужасно надоело». (1941, 5 августа).

И всё же они отплыли в Елабугу.

«Нахожусь на борту «Александра Пирогова», который плывёт по каналу Москва-Волга. После трагических дней — трагических, главным образом, из-за отсутствия конкретных решений и почти фантастических изменений этих решений, после кошмарной погрузки на борт мы наконец, отчалили. <...> Окончательное место назначения — город Елабуга, на реке Каме. <...> Довольно паршиво, но всё, что я мог сделать, чтобы противостоять этому отъезду, я сделал, включая угрозы, саботаж отъезда и вызов на помощь общих друзей. Ничего нельзя было сделать. Но так как я не способен один в Москве зарабатывать себе на жизнь, я уехал, хотя очень злой и полный опасений о завтрашнем дне. <...> Уезжая из Москвы, я написал 3 письма: Муле, Вале и Мите. У меня совесть абсолютно спокойна. Я сделал решительно всё, что было в моей власти, чтобы не уезжать из Москвы. Мне это не удалось, да и не могло быть иначе. Теперь я уже в чужих руках, я подчиняюсь, но не слишком. Мы плывём в 4-м классе — худшем. Откровенно говоря, всё ещё

не слишком скверно. Мы спим сидя, темно, вонь, но не стоит заботиться о комфорте — комфорт не русский продукт. <...> Но чем будет заниматься мать, что она будет делать и как зарабатывать на свою жизнь?» (1941, 8 августа).

«Что мы будем делать в Татарии? Всё зависит от положения матери. <...> Может ли так случиться, что она не найдёт себе никакого дела и что ей придётся возвращаться в Москву? Самый жизненный вопрос — это деньги. И действительно, 99% людей, едущих в Елабугу, — жёны писателей, которые в Елабуге будут жить на средства, посылаемые мужьями или родственниками. Мы же ни от кого денег получать не будем. Поэтому главный вопрос — вопрос работы для матери, чтобы обеспечить жильё и питание, да и плату за мою школу» (1941, 9 августа).

На следующий день — очень неожиданная запись: «... Мать, забыв о своём упорном желании уезжать, теперь уже говорит о возвращении в Москву» (1941, 10 августа).

Это очень новая информация. Об этом резком повороте в настроении Марины Цветаевой, о возникшем ещё на пароходе желании вернуться стало известно совсем недавно — только из дневника Мура: он был единственным свидетелем — писем она больше не писала. И ни с кем, кроме Мура, не могла обсуждать такое. А он свидетельствует:

«Она говорит, как я говорил в Москве, что люди, едущие в Елабугу, богаты и смогут устроиться и хорошо жить. <...> Словом, все как-то устроятся, кроме нас. По правде говоря, перспективы у нас плохи. Я же отказываюсь говорить с матерью о будущем. Я ведь действительно всё это предвидел: и перемену её настроения, и то, что она не на своём месте ни на этом пароходе, ни в Елабуге, я всё предвидел; и я всё сделал, чтобы не уезжать; я её предупреждал обо всех грозящих трудностях, я не хотел уезжать. Она же всё сделала, чтобы уехать, и ей это удалось. Если это ей не нравится, так ей и надо. До самого последнего момента, до выезда из Москвы, я волновался, возражал, протестовал, спорил. Но с того момента,

когда я ступил на этот пароход, я решил больше не реагировать. Я умываю руки, моя совесть спокойна. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Я отлично знал, что через некоторое время мать начнёт беспокоиться о будущем и т. д. Она мне говорит: «Лежачего не бьют», просит помочь. Но я решительно на эту тему умываю руки...» (1941, 10 августа).

Несмотря на «слишком гордый вид» (как сказано ею о самой себе в давних стихах), в Марине Цветаевой всю жизнь жило глубинное чувство сиротства — беззащитность перед жестоким «миром мер», перед «бедламом нелюдей», «угловатость всех выросших без матери». Всё это осталось в ней и никуда не исчезло, когда сама она стала матерью. Шестилетняя (и далее, пока длилось её детство) дочка, не по возрасту мудрая и чуткая, это хорошо понимала и принимала. Аля тогда часто поддерживала и утешала мать почти как старшая.

В одном из писем — из лагеря в лагерь — Ариадна Эфрон вспоминает потрясающие, за все рамки здравого смысла выходящие моменты такой опоры молодой Марины на дочь:

«Я маленькая с мамой спала на нашей Борисоглебской кухне — она меня будит ночью и спрашивает: “Папа умер?” Я не расслышала спросонок и говорю: “Да”. Она меня страшно ущипнула и назвала дурой, тогда я проснулась окончательно и говорю: “Нет, нет, он жив, я знаю”. Мы обнялись и заснули». (А. Цветаевой. 1945, 27 февраля).

В напряжённый душевно и физически день их отъезда из России в 1922 году, так ярко описанный в воспоминаниях Ариадны Сергеевны, по дороге на вокзал мать много раз взволнованно спрашивала и переспрашивала её: «Аля, мы не опоздаем?», и Аля уверенно отвечала: «Нет, Марина!» — и матери становилось легче.

Мур не умел так, не был способен к таким отношениям. Он подсознательно (а с годами и сознательно) был убеждён, что успокоение и уверенность должны исходить от матери, что в ней его опора, а не наоборот. Бывали моменты, когда он что-то трудное брал на

себя, но не слишком часто. И потому их «сиротство», от которого, по словам Марии Белкиной, сжималось сердце, было другим: «Оба рядом и оба, казалось, не вместе. Оба очень одинокие».

Несмотря на раздражавшие сына нервные срывы матери, на её неумения избавляться от хаоса в квартире, спокойно и организованно складывать вещи при переездах и т. п., Мур привык видеть в Марине Ивановне сильную, выносливую женщину — более сильную и твёрдую, чем он. Такое восприятие только укрепилось, когда он отступил в спорах об отъезде из Москвы — «Она всё сделала, чтобы уехать, и это ей удалось».

И он не слышит в её словах «лежачего не бьют» (хотя и педантично заносит их в дневник) всей меры её отчаяния. Он не понимает, до какой степени мать морально устала, как ослабела, не понимает, что, если бы он взял на себя ответственность за их устройство, она благодарно приняла бы эту перемену ролей. Не почувствовал...

Но всё же в реальной жизни дней, совсем уже немногих оставшихся им, Мур не был так жёстко категоричен в своём отчуждении от матери, как это может показаться по отдельным вырванным из контекста фразам из дневника. Случайному наблюдателю на пристани показалось «твёрдым и окончательным» решение Мура не ехать в Елабугу. Так и его слова «решительно отказываюсь говорить с матерью о будущем», «умываю руки» — на самом деле каждый раз были продиктованы состоянием и настроением минуты, почти всегда это были минуты его собственного отчаяния. Всё проходило, когда появлялась хоть малейшая надежда на какой-то выход. Мур продолжал думать об их общих планах на будущее:

«Надеюсь, что всё развернётся следующим образом: мы приедем в Елабугу, оставим вещи там, где мы будем жить, затем, если сможем, уедем в Казань посмотреть, что к чему. У матери есть бумага от директора Гослитиздата, где написано, что такая-то — переводчица высокой квалификации и т. д., документ на имя директора Татгосиздата. Значит, в Казани нам надо будет найти Союз писателей и сделать всё возможное, чтобы нас туда устроили. Говорят, в

Казани никого не прописывают. Но возможно, что бумага от директора Госиздата поможет матери там устроиться. В Москве говорили, что её в Казани знают и сделают всё, чтобы её устроить и найти ей работу...» (1941, 11 августа).

По-прежнему, как писал он год назад, «всем сердцем ненавидя драму», он ищет разумный выход.

«Теперь-то мать начинает осознавать отрицательные последствия своего безумия, заключающегося в том, что мы уехали почти без предварительной подготовки. А именно: 1) она не взяла официального документа о том, что она эвакуируется из Москвы; 2) у неё всего 600 рублей; 3) она взяла очень мало вещей на продажу, что нам могло бы принести немало денег. Мать начинает понимать весь идиотизм, глупость и сумасшествие всей этой её затеи. *Я с огромным трудом достал хлеба в Горьком* (курс. мой. — Л. К.) — эвакуированные должны иметь соответствующую бумагу. Все те, кто едет с нами, её имеют. Самая большая разница между нами и остальными членами эшелона Литфонда в том, что у них с собой много денег, у нас же очень мало. Мы вынуждены есть одну порцию супа на двоих. Мне кажется, есть только один подходящий выход: мы прибываем в Казань, оттуда мы даём в Союз писателей телеграмму или посылаем туда письмо. Приезжаем в Елабугу и узнаём, какие там перспективы жизни и работы, затем едем в Казань, показываем письма директора Гослита кому следует и узнаём, каковы перспективы жизни и работы в Казани. Теперь совершенно ясно, что наш отъезд состоялся в сумасшедших и идиотских условиях, но что делать, кроме как постараться устроиться возможно лучше? <...> Я надеюсь, что письма Гослита нам помогут, но в Казани нам могут категорически отказать в прописке. Всё возможно, мы ни в чём не можем быть уверены. Во всяком случае, если с Казанью провалится, что ж тогда можно будет сказать, что мы сделали всё, чтобы попытаться устроиться, зарабатывать и учиться в Елабуге. Быть может, мы даже сами выберем Елабугу, как для нас более подходящую». (1941, 14 августа).

Записи в дневнике становятся логичнее и спокойнее, и снова естественно звучит — «мы». И далее, услышав о внезапно возник-

шем, неразумном, с его точки зрения, плане Марины Ивановны, Мур вовсе не «умывает руки», а вновь, как это было и в Москве перед отплытием, энергично спорит с ней:

«Сегодня утром мать хотела высадиться в Казани на свой риск и страх, со всем багажом, всё оставить при речном вокзале и попробовать тут же устроиться в Казани, не доезжая до Елабуги. Но я разгромил этот план как слишком рискованный — вдруг ничего не получится?»

Он настойчиво убеждает мать поступить разумнее:

«Таким образом, наш план довольно ясен: приехать в Елабугу, посмотреть, как там с жильём и с работой, оставить вещи и ехать в Казань. Пойти в Союз писателей и в Государственное издательство, показать письма Гослита, посмотреть, на что там похожа жизнь, и сравнить. Из двух возможностей одна всё равно будет менее плохой, это точно, и мы именно эту возможность и выберем». (1941, 16 августа).

На этот раз Марина Ивановна послушала сына. На фоне жуткого хаоса и тотальной неорганизованности Мур пишет так рационалистично, что это даже производит впечатление некоторой нарочитости, или, точнее, сознательного настраивания себя таким образом. Кажется, что больше всего на свете он боится именно хаоса, сумасшедших, не мотивированных поступков и нервных срывов матери (своих собственных — тоже, но в меньшей степени). Появилась надежда попасть в Чистополь, где поселили многих писателей. Мур записал:

«Когда они (жёны писателей. — Л. К.) узнали, что мать едет в Елабугу, они с ней познакомились и поговорили. Они сказали, что сделают всё, чтобы мы с матерью поехали жить в Чистополь, что она очень известная, что они поговорят с Асеевым и Тренёвым, что, несмотря на перенаселенность Чистополя из-за количества эвакуированных, они уверены, что можно будет найти комнату и что нас пропишут. Они говорили, что никто о матери не забудет, что “они нас отсюда вытянут”, и чтобы мать не думала, что о ней забыли,

что ей найдут место в Чистополе и т. д. и т. д. Они обещали сделать всё возможное, чтобы мы с матерью поехали жить в Чистополь, что психологически и морально матери будет хорошо жить — как никак, в среде писателей» (1941, 16 августа).

Мур, хоть ему и хочется попасть в Чистополь, боится поддаться необдуманному порыву и видимо, сдерживает Марину Ивановну, всё настойчивее убеждая её и себя не сбиваться с намеченного плана:

«У нас с матерью следующая точка зрения: мы устраиваемся в Елабуге как ни в чём не бывало, находим жильё <...> , стараемся устроиться, ищем работу. <...> В конце концов, может быть, что всё настолько хорошо устроится в Елабуге, что нам не захочется уезжать в Чистополь. Но мать говорит, что если она получит обещанную телеграмму, она уедет в Чистополь. Надо сказать, что она принимает во внимание тот факт, что если произойдет слишком быстрое немецкое наступление, в случае необходимости будут эвакуировать быстрее и в лучших условиях писателей из Чистополя, чем из Елабуги, потому что их больше, они богаче, и Чистополь — центр эвакуированных в Татарию писателей. <...> Она вчера написала письмо Асееву, которое дамы ему передадут. <...> я в этом отдаюсь в руки матери, так как она “производитель средств”; она прекрасно поймёт, что она должна делать. <...> Начнём там устраиваться, как будто никто ничего нам не говорил о нашем возможном отъезде в Чистополь. И действительно, поступать иначе было бы неосторожно» (Там же).

Но очень скоро тон дневниковых записей катастрофически меняется.

«Всё в воздухе, ничего не известно. <...> eventualite (возможность) отъезда в Чистополь вносит элементик бреда. Все находят работу и комнату. <...> Опять у нас исключительное положение. Опять бред. А может, в Елабуге лучше, и в Чистополе работы нельзя найти? Так для чего же мы собираемся туда ехать?» (1941, 19 августа).

И далее прорывается не свойственное его характеру признание:

«Морально я страшно ослаб и чувствую себя растерянным: что делать?»

Прежде самые тяжёлые записи Мура кончались заверениями, что он не теряет бодрости духа, что сила воли ему не изменит, что он верит в лучшие времена. Но в Елабуге он, как и Марина Ивановна, находится на грани отчаяния.

«Моё пребывание в Елабуге кажется мне нереальным, настоящим кошмаром» (1941, 30 августа).

Эти слова он написал в последний вечер жизни матери... Но этого он не знал.

Как ни сопротивлялся Мур этому состоянию, его, как и Марину Ивановну, с самого начала жизни в Елабуге охватывает тревога и болезненная нервозность. Тяжёлое впечатление произвела Елабуга на обоих.

«Город скорее похож на паршивую деревню. Очень старый, хотя и районный центр. Местных газет нет. Когда дождь — грязь». (1941, 18 августа).

Почти в каждой следующей записи повторяются похожие слова:

«Положение наше продолжает оставаться беспросветным. Ответную телеграмму из Чистополя всё еще не получили и, как мне кажется, совсем теперь не получим. <...> Сегодня мать была в горсовете, и работы для неё не предвидится; единственная пока возможность — быть переводчицей с немецкого в НКВД, но мать этого места не хочет. Никому в Елабуге не нужен французский язык. Возможно, что я бы мог устроиться на работу в какой-нибудь библиотеке или канцелярии, но так как я человек новый, то мне бы очень мало платили, и эта плата на наше пропитание была бы недостаточна. <...> Все скулят, что плохо, что не думали, что Елабуга такой плёвый город <...>. Дураки — я например, всё в этом отношении предвидел <...> Мне жалко мать, но еще больше жалко себя самого» (1941, 20 августа).

В довоенных записях эмоциональные ударения звучали совсем по-иному: мне всё равно, но жалко мать. Мур действительно честен перед собой, и это вызывает доверие, он никогда не приукрашивает

себя: теперь, как и прежде, он пишет то, что действительно чувствует.

Снова трудно договориться с матерью — согласия между ними нет. О Казани Марина Ивановна больше не хочет слышать.

«Я думаю, мать могла бы устроиться и найти работу в Казани, но она дрожит от возможных бомбардировок города из-за возможного продвижения вперед немцев» (1941, 20 августа).

Марина Ивановна решила поехать в Чистополь, не дожидаясь телеграммы, одна, на разведку. Мур поддерживает это решение, но с одной оговоркой:

«Она там всё разузнает насчёт прописки, работы, комнаты. Если же ей не удастся там устроиться, то пусть она постарается как-нибудь устроить меня туда учиться (в интернат, как-нибудь). Мне в Елабуге совершенно нечего делать». (1941, 22 августа).

Это — один из самых страшных поворотов в настроениях и мыслях Мура. Ни слова о матери — а с ней что будет? Возможно, он просто не додумывает, но для Марины Ивановны в тех страшных обстоятельствах, в её тяжелейшем состоянии это могло стать одним из важных сигналов, толкающих к страшному решению. Мур скорее всего не верил в такую возможность.

«Сегодня к 2 ч. дня мать уехала в Чистополь на пароходе. <...> Я рад, что мать поехала в Чистополь. Всё-таки это означает какой-то шаг, какую-то попытку. Жить так, как мы живём сейчас, без работы и перспектив — невозможно. Если в Чистополе ничего не выйдет, то по крайней мере сможем сказать, что мы там попытались, и не думать больше о нём. Я матери дал такой наказ: в случае, если ей там не удастся устроиться — нет работы, не прописывают, то пусть постарается устроить хоть меня: пионервожатым в лагере ли, или что другое, но основное для меня — учиться в Чистополе. В конце концов, попытка не пытка. Увидим, каких она добьётся результатов. Настроение у неё — отвратительное, самое пессимистическое. Предлагают ей место воспитательницы; но какого чорта она

будет воспитывать? Она ни шиша в этом не понимает. Настроение у неё —самоубийственное: «деньги тают, работы нет». Оттого-то и поездка в Чистополь, быть может, как-то разрядит это настроение...» (1941, 24 августа).

В этой записи ощутимо явное внутреннее противоречие: с одной стороны, Мур надеется, что поездка в Чистополь «разрядит настроение» матери (но ведь это было бы возможно, только если бы в Чистополе нашлась работа для неё), а с другой — говорит о своём отдельном устройстве там. Видимо, он до конца не понимал, каким холодом и ужасом прозвучат для неё эти слова — она не может остаться одна, без сына, потерять ещё и его. Впрочем, и он, какие бы решительные фразы ни произносил, в самой глубине души ещё не готов к этому. Ожидая возвращения Марины Ивановны из Чистополя, Мур, как ни странно это прозвучит применительно к тем дням, ощущает себя как школьник, ненадолго отпущенный на каникулы.

«Читаю Бернарда Шоу — прекрасно. От дождя быстро темнеет. Приходится рано ложиться спать — из-за недостатка освещения. Веду растительную, бездельную жизнь: хорошо ем, читаю, ни шиша не делаю. Иногда неплохо так пожить. Очень скоро этот период пройдёт — как только мать вернётся из Чистополя, очевидно...» (1941, 25 августа).

Он не представляет себе жизни в отрыве от матери — он ещё ни одного дня без неё не жил. С волнением ждёт Мур её возвращения, и связано это волнение не только с нетерпеливым ожиданием новостей...

«Не нравятся мне эти дожди. <...> Боюсь за мать — как она будет возвращаться по такой грязи». (1941, 25 августа).

Эти слова написаны за шесть дней до страшного конца...

29 августа 1941 года Марина Ивановна вернулась и рассказала свои сумбурные впечатления о Чистополе. Мур записал:

«... прописать обещают. Комнату нужно искать. Работы — для матери предполагается в колхозе вместе с женой и сёстрами Асеева, а потом, если выйдет, — судомойкой в открываемой писателем столовой. Для меня — ученик токаря. После долгих разговоров, очень тяжёлых сцен и пр., мы наконец решили рискнуть — и ехать. Матери там говорили: “Здесь вы не пропадёте”. Здесь — работы нет. Там же много людей, и пропорционально можно ожидать больше помощи. Сегодня рыскал по городу в поисках работы. Был в универмаге, в банке, в институте, на почте — нигде никаких мест. Быть кассиром на заводе — к чорту. Там хоть буду токарем. Туда должны приехать три завода. Там есть писательская молодёжь, с которой я познакомлюсь, там есть <...> Асеевы, которые помогут, там откроют столовую и какую — нибудь работу уж выдумают для матери» (1941, 29 августа).

Мур настроился ехать в Чистополь и поглощён практическими заботами, при этом звучит именно — «мы».

«Итак, мы решили ехать завтра. С нами едет один старик, который достанет — постарается достать — завтра подводу, чтобы отвезти вещи на пристань. Самое трудное — найти подводу здесь и комнату там. Но нужно рискнуть. Асеевы так советовали...» (Там же).

Как далёк Мур от каких бы то ни было трагических предчувствий! Если он и упоминает, что решение принято ими после долгих разговоров и очень тяжёлых сцен, то говорится об этом как о давно привычном быте отношений «трудного сына с трудной матерью» (по удачному выражению Марии Белкиной). Однако следующий день приносит Муру новые неожиданные переживания: Марина Ивановна вновь изменила вчерашнее решение.

«Вчера к вечеру мать ещё решила ехать на завтра в Чистополь. Но потом к ней пришли Н. П. Саконская и некая Ржановская, которые ей посоветовали не уезжать. Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огородном совхозе в 2 км отсюда — там платят 6 р. в день плюс хлеб, кажется.

Мать ухватилась за эту перспективу, тем более, что, по её словам, комнаты в Чистополе можно найти только на окраинах, на отвратительных, грязных, далеких от центра улицах» (1941, 30 августа).

«Главное — всё время меняющиеся решения матери, это ужасно».

Так писал он перед их отъездом из Москвы, когда так же чуть ли не ежеминутно менялись решения Марины Ивановны. Муру даже воспоминание о том отъезде мучительно, и потому:

«Она пробует добиться от меня решающего слова, но я отказываюсь это решающее слово произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из Москвы, я махнул рукой на всё и предоставил полностью матери право veto и т. д. Пусть разбирается сама...» (Там же).

Может быть, отказ произнести решающее слово — самая роковая ошибка Мура. Слишком поздно он поймёт, что происходило с его матерью в те дни. Он напишет об этом Самуилу Гуревичу из Ташкента. Он не был готов стать сильнее матери, проявить великодушие, простить ошибку, которую мать сама признала. Он не захотел взять на себя хоть часть её груза. В очередной раз Мур решил «встать на позиции эгоизма».

«Она хочет, чтобы я работал тоже в совхозе; тогда, если платят 6 р. в день, вместе мы будем зарабатывать 360 р. в месяц. Но я хочу схитрить. По правде сказать, грязная работа в совхозе — особенно под дождём, летом это ещё ничего — мне не улыбается. В случае если эта работа в совхозе наладится, я хочу убедить мать, чтобы я смог ходить в школу. Пусть ей будет трудно, но я считаю, что это невозможно — нет. Предпочитаю учиться, чем копать в земле с огурцами. Занятия начинаются послезавтра. Вообще-то говоря, всё это — вилами на воде. Пусть мать поподробнее узнает об этом совхозе, и тогда примем меры. Какая бы ни была школа, но ходить в неё мне бы очень хотелось. Если это физически возможно, то что ж... В конце концов, мать поступила против меня, увезя меня из Москвы. Она трубит о своей любви ко мне, которая ее poussé

толкнула на это. Пусть докажет на деле, насколько она понимает, что мне больше всего нужно. Во всех романах и историях, во всех автобиографиях родители из кожи вон лезли, чтобы обеспечить образование своих *rejetons* (отпрысков). Пусть и мать так делает. Остаёмся здесь? Хорошо, но тогда я ухвачусь за школу. Сомневаюсь, чтобы там мне было плохо. <...> Самые ужасные, самые худшие дни моей жизни я переживаю именно здесь, в этой глуши, куда меня затянула мамина глупость и несообразительность, безволие. <...> Мать совершенно не знает, чего хотеть. Я, несмотря на “мрачные окраины”, склонен ехать в Чистополь, потому что там много народа, но я там не был, не могу судить, матери — видней. Нет, всё-таки мне кажется, что, объективно рассуждая, мне прямая польза ухватиться за эту школу обеими руками и крепко держаться за неё. А вдруг с совхозом выгорит? Тогда я останусь с носом. Нужно было бы поскорее всё это выяснить, а то если я буду учиться в школе, то нужно в эту школу пойти, узнать насчёт платежа, купить учебники <...>. И всё-таки я надеюсь добиться школы. Стоит ли этого добиваться? По-моему, стоит» (1941, 30 августа).

Это — последняя запись Мура, сделанная при жизни Марины Ивановны. Но он этого не знает. Он готовится добиваться у матери своего права ходить в школу. Он продолжает жить общей с ней жизнью, пусть с тяжёлыми разговорами, ссорами, усилившимся взаимным непониманием. Это всё равно их общая жизнь. Она не исключает жалости к матери, общих волнений за арестованных Сергея и Алё, о которых они теперь совсем ничего не знают. Их ещё объединяет память о Париже и Москве. 31 августа 1941 года эта жизнь кончилась.

Многие исследователи пишут о том, что Марина Цветаева не была уверена в своей способности что-то сделать для сына и считала, что другие позаботятся о нём только в том случае, если её не будет на свете. Она действительно много раз говорила это разным людям.

«Я должна уйти, чтобы не мешать Муру. Я стою у него на дороге. Он должен жить».

Об этом Татьяна Сикорская, приплывшая в Елабугу на одном пароходе с ними, написала Ариадне Эфрон в конце 1940-х годов, добавив, что в последние дни «Марина Ивановна не раз повторяла эти слова». Но почему-то слова «не мешать Муру» истолковывали так: не мешать эмигрантским клеймом, но ведь на Муре, да и на ней самой было ещё одно клеймо — членов семьи «врагов народа».

И ведь не об этом написала Марина Цветаева в прощальной записке:

«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь, — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».

Год назад она писала: «... меня нет... не знаю, буду ли я когда-нибудь». Теперь: «... это уже не я... Дальше было бы хуже».

Она — настоящая — не лишала бы сына свободы. Она почувствовала, что не сможет с ним по-другому, но понимала, что так нельзя. Нельзя, потому что сын уже вырос.

Был ли бы возможен такой трагический конец, если бы Муру в 1941 году было 7 или 10 лет? Все другие причины при этом оставались бы те же, но разве все они не были бы перевешены чувством кровной необходимости ребенку? Теперь такого чувства у неё не было, но можно ли обвинять в этом Мура? На самом деле мать была необходима ему гораздо больше, чем он сам, как каждый подросток, тогда понимал...

Думается, что до самого последнего дня (до того, как всё свершилось) он всё-таки не верил в её слова (как слишком часто бывает в жизни...), не чувствовал, до какой степени она внутренне уже близка к решению. И, не воспринимая их буквально, понимал лишь как выражение «отвратительного, самого пессимистического настроения». В моменты острых проявлений такого настроения матери Мур раздражался — он не умел утешать, успокаивать,

уговаривать. Его характер и всегда был мало приспособлен к такому, а тут ещё он весь непримиримо кипел, не в силах простить насильственный отрыв от Москвы.

Известно, что после свершившегося Мур много раз повторил — и написал в письмах разным людям: «Марина Ивановна правильно сделала». Такое отталкивает почти всех.

Но М. И. Белкина пришла к выводу, что Мур лишь повторял внушённые ему матерью мотивы самоубийства. Так, в его письме к Елизавете Яковлевне Эфрон звучит:

«Она многократно мне говорила о своём намерении покончить с собой как о лучшем решении, которое она смогла бы принять. Я её вполне понимаю и оправдываю. Действительно, как она пишет мне в посмертном письме, «дальше было бы хуже». Дальше для неё был бы суррогат жизни, влечение своего существования».

Есть вещи, за которые сына Марины Цветаевой — как и её саму — нельзя судить, подходя с традиционными мерками. Очень важно попытаться понять, как восприняла бы эти слова сына она сама.

«Воздух, которым я дышу — воздух трагедии (курс. мой. — Л. К.) <...>. У меня сейчас определённое чувство кануна — или конца. (Что может быть — то же!) Погодите отвечать, здесь ответов не нужно, ответ будет потом, когда я, взорвав все мосты, попрошу у Вас силы взорвать последний. <...> хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, т. е. в час, когда я скажу: “Мне надо умереть”, из всей чистоты Вашего десятилетия сказать: “Да”. Ведь я не для жизни. <...> Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободренный человек, а Вы все в броне» (А. Бахраху. 1923, 10 сентября).

Так писала она много лет назад молодому критику Александру Бахраху. Много раз говорила Марина Цветаева в письмах, что больше всего на свете нуждается именно в понимании — больше, чем в любви без понимания.

И вот её сын пишет: «Я её вполне понимаю и оправдываю». Поразительно здесь слово «оправдываю». Оправдывает — перед кем? Значит, предполагает, что могут прозвучать какие-то обвинения? Множество обвинений, как известно, прозвучало (и до сих пор звучит) как раз в адрес Мура. Но он-то защищает здесь не себя, а мать!

Что-то странное видится в этих настойчивых повторениях слов «понимаю», «оправдываю» и даже совсем трудно постижимое — «полностью одобряю» — в письме Дмитрию Сеземану, написанному буквально через несколько дней после свершившегося. Письмо это дошло до адресата лишь десятилетия спустя.

«Всё, что я могу тебе сказать по этому поводу, — это то, что она правильно поступила: у неё были достаточные основания, и это было лучшее решение, и я её целиком и полностью одобряю».

А в письме к Елизавете Яковлевне Эфрон, тоже написанном почти сразу после трагедии в Елабуге, Мур, как перед следователем, педантично и чётко перечисляет эти основания: «Причина самоубийства — очень тяжёлое нервное состояние, безвыходность положения, невозможность работать по специальности; кроме того, М. И. очень тяжело переносила условия жизни в Елабуге — грязь, уродство, глупость».

Тон этого перечисления — подчеркнуто нейтральный, без эмоций. Сколько обвинений в холодности и чёрствости души навлек на Мура этот тон! Но полтора года спустя в Ташкенте он пишет:

«Самое тяжёлое — одинокие слёзы, а все вокруг удивляются — какой ты чёрствый и непроницаемый...».

Мур не хотел, чтобы его жалели. Он не мог в силу своей природы раскрывать перед кем бы то ни было то, что переживал в глубине души. Говоря о фактах и анализируя их, он намеренно жёстко отсекал свои чувства, особенно в первое время после трагедии.

Не об этом ли слова в начале письма к другу:

«Я пишу тебе, чтобы сообщить, что моя мать покончила с собой <...> 31 августа. У меня нет желания задерживаться на этой теме. Что сделано — то сделано».

Слова эти вовсе не такие холодные и бездушные, как может показаться. Мур с юных лет стремился управлять своими чувствами. Он не любил застревать на тяжёлых, надрывающих душу воспоминаниях. Это вовсе не означает, что душа его не была надорвана. Так он призывал Дмитрия Сеземана «жить реальной жизнью» и перестать тосковать о Париже, по которому и сам остро тосковал. Так позднее, уже в письмах из Ташкента в лагерь, призывал Алю перестать погружаться в воспоминания о невозвратном.

«Хорошо, что получила фотокарточки мамы и мою с тобой. Ещё бы, конечно помню, как мы стояли на вышке, под синим небом, у пляжа! И помню подъём, который вёл в гостиницу, потом на дачи, и можно было пройти берегом; помню также и бесконечный гул цикад, и как они, слепые, хлопались о прохожих. И наши прогулки помню, через горы. <...> Впрочем, слишком впадать в слюнявые воспоминания не следует. Ох, если бы ты знала, как мне напортили эти самые воспоминания! Не знаю ничего более разъедающего и обезволивающего, чем они. Всё развивается, и нельзя останавливаться на одной точке — это нелепо и наивно. Забывать тоже не следует; золотая середина в вопросе о воспоминаниях очень важна...» (1942, 4 декабря).

Так писал он Але в ответ на её воспоминания о его детстве и её ранней юности во Франции.

«Но нет. Вспоминать об этом поистине трагическом времени в Болшеве не стоит», — также обрывает он себя, начав было вспоминать в дневнике последнее лето с отцом.

В первое время после трагического ухода матери из жизни Мур наложил запрет на эту тему, никого не подпуская к себе так близко, чтобы позволить затрагивать её. Тут действовал природный инстинкт самосохранения.

Его отцу выпало в том же возрасте, в каком Мур был в 1941 году, пережить самоубийство матери и любимого младшего брата. Душевное здоровье Сергея Эфрона было надолго (если не навсегда) подорвано этим ужасом. Он никогда не про-

изнёс бы таких слов: «у меня нет желания задерживаться на этой теме» — иная эпоха, иные нравы, иной, гораздо более мягкий, чем у Мура, характер. Но он понял бы запрет сына касаться этой боли. И Макс Волошин, пригласивший тогда Сергея Эфрона в Коктебель, и старшие сёстры Сергея, и Марина Цветаева, сразу начавшая заботиться о нём и тревожиться за его здоровье, хотели именно увести, отвлечь его от этой темы, от болезненной сосредоточенности на ней.

Рядом с Муром не было никого. Старшая сестра давно была в сталинском лагере. Мур вынужден был сам себе говорить в присутствии его стилию жёсткой манере необходимые слова, чтобы выжить, чтобы как-то жить дальше. Такое самовнушение требуется человеку именно тогда, когда ему приходится бороться с собой. Мур ещё много раз, до самого конца своей короткой жизни, будет возвращаться «к этой теме».

Но пока он загоняет её в самую глубину души. И пишет в дневнике преимущественно о внешних своих проблемах — очень не простых: месяц пробыл в интернате в Чистополе, затем — отъезд в Москву, невозможность остаться там из-за запрета прописки, эвакуация в Ташкент, учёба в школе, мелкие заработки, голод, одиночество...

Это в нём хорошо понимала Аля:

«Боль свою он несёт глубоко в себе, не даёт ей подниматься на поверхность, не желает делиться ею ни с кем, знаю это по себе. Одним словом — внешне, — желание казаться интересным, взрослым, подсознательно — боль» (А. Цветаевой. Без даты, примерно вторая половина 1940-х).

Позднее Мур писал о трагедии тем немногим, кому доверял. Потрясает и заставляет пристальнее задуматься ещё одно: Мур, испытав много тяжёлого, пишет, что тогда он совсем не понимал мать и понял её по-настоящему только сейчас. Оставшись один, Мур понял даже то, что больше всего раздражало его в поведении Марины Ивановны последних дней: как трудно бывает

принять верное решение и как возникает состояние, при котором решения беспрестанно меняются. Так и он, вернувшись после Елабуги и Чистополя в Москву, решил было эвакуироваться в Ташкент.

«Вчера, зайдя к Кочеткову, узнал, что весь Союз писателей эвакуируется в Ташкент, и решил на свой страх и риск эвакуироваться с ним <...>. Что я буду делать в Ташкенте, как жить? Неизвестно, но ехать надо; раз все уезжают, глупо оставаться. Скорее здесь разбомбят, чем у Рязани. Кроме того, я сильно надеюсь установить в Средней Азии контакт с Митькой. <...> Итак, еду. Очень надеюсь, что вновь встречу с Митькой. Кроме того, Ср. Азия — интересная штука. <...> Этот дневник продолжу, очевидно, уже в поезде» (1941, 14 октября).

И в тот же день вечером он пишет: «Или я — сумасшедший, или — хуже, трус и безвольный человек, но я сегодня утром решил не уезжать. Никаких объективных причин для этого нет. Есть причины только таящиеся в самой глубине моей души. Я не могу ехать. Одно слово «эвакуация», слова «эшелон», «вокзал» наводят на меня непреодолимый ужас и отвращение. Сегодня попытаюсь взять 150 р. обратно. Муля уже знает о том, что я собирался ехать, но не знает, что я переменял своё решение. Эвакуация для меня проклята смертью М. И. Я не могу уезжать. Пусть все уезжают — я останусь».

И в конце концов Мур всё же уехал.

В одном из самых значительных писем — Мур назвал его «итоговым» — есть такие слова: «Вся ужасная моя трагедия заключается в том, что в эти ответственные, решающие дни моей жизни я был совершенно и окончательно одинок. <...> Около меня не нашлось ни одного человека <...>, и вокруг меня был тот же человеческий хаос, что и вокруг Марины Ивановны в месяцы отъезда из Москвы и жизни в Татарии».

И ещё: «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, её предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла

голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал её и злился на неё за такое внезапное превращение... Но как я её понимаю теперь! Теперь я могу легко проследить возникновение и развитие внутренней мотивировки каждого её слова, каждого поступка, включая самоубийство. Она тоже не видела будущего и тяготилась настоящим, и пойми, пойми, как давило её прошлое, как гудело оно, как говорило! Я уверен, что всё последнее время существования М. И. было полно картинками и видениями этого прошлого; разлад всё усиливался; она понимала, что прошлое затоптано и его не вернуть, а веры в будущее, которая облегчила бы ей жизнь и оправдала испытания и несчастья, у неё не было». (С. Гуревичу. 1943, 8 января).

Бывает так: человек убеждён, что он что-то или кого-то хорошо понимал, но со временем осознаёт, насколько слабым или неполным было его понимание. Здесь, однако, не тот случай: Мур не просто не понимал, но, как сам честно признаётся, — злился, обвинял, возмущался и негодовал на нервность и растерянную беспомощность матери, на её «давление». Конечно, самоубийство матери его потрясло, и многие бурлящие эмоции, что переполняли его в то время, отрезало, унесло после её гибели. Остались потрясение и растерянность. Но было ли тогда, когда он написал в первом после смерти матери письме — «Я её вполне понимаю и оправдываю», — действительное понимание? В других письмах Мур не расшифровывает эти слова, но считает своим долгом их написать. Не было ли всё это настойчивым исполнением очень субъективно понятого долга перед памятью матери? Может быть, в глубине души Мур считал, что мать всё-таки бросила его «в море одиночества», и спешил уверить всех, как бы предотвращая обвинения, что он всё понял и не обвиняет? В письме к Але в лагерь есть фраза:

«Марина Ивановна всегда оставляла за собой право на такой исход...».

Почти через год после смерти матери в письме к тёте (той самой Лиле, многолетняя переписка с которой так много зна-

чила для его отца) прорвалась беззащитная жалоба: «Исключительно тяжело одному — а ведь я совсем один. Всё-таки я слишком рано был брошен в море одиночества...» (Е. Эфрон. 1942, 7 августа).

Кем брошен? Может быть, Мур считал, что, не давая прорваться этой жалобе, он вёл себя достойно, мужественно, бережно к памяти матери? Может быть, и она сочла бы так.

В письмах повзрослевшего Мура — всё более глубокое и горестное осмысление трагедии матери и общей трагедии семьи:

«Я думал о том, что с моим отъездом нашу семью окончательно раскассировали, окончательно с ней расправились, и меня, роковым образом, постигло то, чего я так боялся, ненавидел и старался избежать: злая, чуждая, оскаленная “низовка” — низовка тяжелого труда, дикости, грубости, низовка страшной отдалённости от всего того, что я любил и чем жил. Прощай, музыка, прощай, литература, прощай, образование <...>. Итак, круг завершён — Серёжа сослан неизвестно куда, Марина Ивановна покончила жизнь самоубийством, Аля осуждена на 8 лет, я призван на трудовой фронт. Неумолимая машина рока добралась и до меня. И это не *fatum* произведений Чайковского — величавый, тревожный, ищущий и взывающий, а Петрушка с дубиной, бессмысленный и злой, это мотив Прокофьева...» (С. Гуревичу. 1943, 8 января).

«Во всех твоих письмах сквозит неподдельная горечь по поводу утраты семьи, дома <...>. У меня в этом отношении совершенно такое же чувство, что и у тебя. Но лишь теперь я понял, какое колоссальное положительное значение имела в моей жизни семья. Вплоть до самой смерти мамы я враждебно относился к семье, к понятию семьи. Не имея опыта жизни бессемейной, я видел лишь отрицательные стороны семейной жизни, по ним судил и осуждал. Мне казалось, что семья тормозила моё развитие и восхождение, а на деле она была не тормозом, а двигателем. И теперь я тщетно жалею, скорблю о доме, уюте, близких и вижу, как тяжело я ошибался. Но уж поздно» (Але. 1943, январь).

Верность памяти матери больше не скрывается за холодной нарочитостью тона, особенно в письмах Але в лагерь:

«Я никогда ещё не был так одинок. Отсутствие М. И. ощущается крайне...» (1942, 17 августа); «Насчёт маминых рукописей <...> не беспокойся: они в Москве, в надёжном месте и в сохранности. <...> Я ощущаю тебя совсем близко, как будто ты не так уж далеко географически. И меня, и тебя жизнь бросила кувырком, дабы испытать нас; с тобой это произошло после отъезда из Болшево, со мной — после смерти мамы. Оттого, именно вследствие этой аналогии судеб, я так стал близок к тебе — близок потому, что одиночество меня, как и тебя, вдруг заволокло. Мы бесспорно встретимся — для меня это ясно так же, как и для тебя. Насчёт книги о маме я уже думал давно, и мы напишем её вдвоём <...> мне страшно недостает мамы и папы и тебя — и даже Мули, и даже Мити» (1942, 7 сентября);

«Ты спрашиваешь, осталось ли на память что-нибудь из маминых любимых вещиц. Конечно, осталось! Я настолько любил маму, что, верь мне, никаких прав не превзошёл в отношении обращения с её наследством» (1942, 4 декабря).

В конце 1942 года Мур подводит грустные итоги, пытается загадывать на будущее.

«1943-й г., помимо его важнейших военно — международных грядущих решающих событий, важен для меня очень и очень: в 1943-м г. я окончу (надеюсь закончить) 10-й кл., и встанет вопрос об армии, университете, о том, где буду жить — в Ташкенте или в Москве. Это будет для меня переломный год — как 1941-й, когда умерла мама. 1942-й г. был для меня не богат внешними событиями: окончил 9-й кл., жил в Ташкенте, поступил в 10-й кл., был в колхозе, старался не заболеть и не голодать. Внутренне — мучило одиночество. Вот и вся недолга» (Там же).

И — пронзительная тоска по немногим оставшимся близким.

«Дорогая Алечка! Получил твоё коротенькое поздравительное письмо; письмо с рисунками также получил; прибыло ли письмо с фотокарточкой? Я всем сердцем с тобой во все дни

твоего стоического существования; знай, что я всегда и во всём тебе сочувствую, всегда о тебе думаю и никогда тебя не забываю. И когда мне бывает тяжело на душе и проклятый пессимизм заволакивает все надежды на будущее, то я себе говорю, что раз ты нашла в себе достаточно сил, чтобы превозмочь свои собственные мрачные настроения, то было бы недостойным для меня отдаться течению, опустить руки, опуститься...» (1942, 22 ноября).

«... Только что получил твое письмо от 1/ХІІ-42, вместе с поздравительной открыткой. Спасибо, Алечка! Хорошо, что ты меня не забываешь, и я думаю, что мы больше поняли и узнали друг друга за последнее время, чем за всю нашу предыдущую жизнь. Мы вместе будем идти вперёд...» (1942, 20 декабря).

«Дорогая Алечка! <...> Новый Год <...> встретил один; встретил хорошо: без ложной торжественности, без шумихи. <...> С одной стороны, было немного досадно, что во всём Ташкенте не нашлось ни одного человека, который бы меня пригласил на встречу Нового Года, <...> с другой — в сущности, мне по-настоящему приятно было бы встретить Новый Год только с тобой, папой и Мулей» (1943, 1 января).

Эти строки неожиданно (или закономерно?..) напоминают слова из давнего письма Марины Цветаевой. Она была тогда на берегу океана, куда выехала с Муром.

«... у меня здесь никого нет, ни души — для беседы, как у Мура — никого — для игры. <...> Никто (а много — знакомых <...>) — за 2 недели нас ни разу не позвал к себе — хотя бы на террасу, не говоря о том, что — не зашёл. <...> С 9 ч. вечера, уложив Мура, томлюсь. <...> Сажу в кухне, открыв дверь на лестницу <...> слушаю чужие голоса: кто-то идёт на море, кто-то — в гости, — Бог с ними, конечно, — и не моё это «море», и не мои это «гости», и м. б. я бы первая от всего этого веселья отстранилась: слишком уж много женского визгу и мужского хохоту! — но всё-таки, каждый вечер сидеть на кухне, без ни — души...» (А. Тесковой. 1935, 12 июля).

В таких переживаниях Мур явно гораздо ближе к Марине Ивановне, чем к отцу и сестре: Сергей Яковлевич и Аля были открытее и общительнее, так одиноки они никогда не были. Мур хорошо знал об этом коренном различии.

«Здесь ведётся интенсивная клубная работа, но <...> сам характер этой работы очень чужд мне <...>. Для работы в художественной самодеятельности мне не хватает оптимизма, лёгкости, бодрости, подвижности. Я «расцветаю» только в определённых условиях, а в прочих условиях я очень замкнут, не в пример, например, Але...», — писал он Елизавете Яковлевне Эфрон в апреле 1944 года — уже из армии, незадолго до первого своего боя.

А в переписке с самой Алей (немного раньше) возник любопытный спор о разных способах восприятия мира.

«Ты пишешь: «и насмешливая зоркость мешает простому и тёплому подходу к человеку». Но если эта «зоркость» органично, глубоко присуща всему моему существу? Неужели ломать себя прикажешь? И для чего? Чтобы было всё проще? Я считаю, что ломать себя нельзя и не надо: что надо, то произведёт сама жизнь. Аналогию же с Каем нельзя признать вполне удачной: ведь Каю в глаз попал осколок волшебного стекла, и он всё видел в искажённом отражении. Мне же ничего в глаз, ни в какую другую область или часть тела или духа не попадало; я просто вижу. Вот и всё» (1942, 7 октября).

И далее Мур ещё подробнее пишет о своём возмущении всяческой упрощённостью, преобладающей во многом его окружающем:

«Я всегда возмущаюсь, когда вместо настоящего существования, со всей сложностью постигаемых — непостижимых! — явлений, мне подсовывают эрзац, суррогат. Всё готово, всё понятно, всё ясно. Нет, ничего не готово, ничего не понятно и ничего не ясно. (Курс. мой. — Л. К.) Дважды два — четыре? Хорошо. Согласен. Но — только в арифметике. А в жизни дважды два четыре никогда не было, нет и не будет. И это очень хорошо и утешительно» (Там же).

Теперь во многих письмах и в некоторых дневниковых записях Мура Марина Цветаева узнала бы особенно много (больше, чем прежде) близкого себе. Главное — раннее твёрдое знание, чему в жизни он хочет посвятить себя, умение углублённо и терпеливо работать (редкое для его возраста) и — погружение в свой мир.

«7 ч. 45 вечера. До чего приятно писать. Пока я пишу эти строчки, у меня впечатление, что я исполняю вроде ритуала, пишу своё духовное завещание, фиксирую мои последние моральные пожелания. Надо признаться — моё настоящее положение откровенно шаткое и неустойчивое. Моё благополучие, мой любимый покой, который позволяет мне в данный момент писать, и читать, и записывать, — всё это держится на волоске, который может оборваться с минуты на минуту. <...> Прошлое пустеет, а оно тоже держится на волоске моей памяти» (1941, 14 октября).

«Писать, чувствовать, мыслить, пока ещё есть время, о несравненное наслаждение! Ещё, ещё один час, ещё один выигранный день <...>. Более чем когда-либо я намерен сохранить себя, свои книги, писания, вещи. Это будет трудно. Но — да здравствует надежда! <...> я счастлив, пока я могу писать и пока знаю, что могу жить» (1941, 15 октября).

«Теперь я читаю «Творцов», потом возьмусь за Дю-Гара, и будет очень любопытно сопоставить творчество этих двух крупнейших современных французских романистов. Вообще я собираю сведения, все, какие только могу, по литературе Франции конца XIX-го и XX-го вв. и всячески пополняю мой багаж знаний по этому вопросу. Я мечтаю когда-нибудь написать историю французской литературы конца XIX-го и первой половины XX-го века; во всяком случае я намерен стать самым первым специалистом по этой части, намерен, так сказать, взять монополию на современную французскую литературу, открыть читателю «новых» авторов — т. е. доселе ему неизвестных, «снизить» одних, и наоборот, отдать другим их место по рангу. Замысел честолюбивый и выполнимый только через довольно большой промежуток времени. Но я не тороплюсь — всё придет в свой

черёд, а пока надо читать и читать. <...> Сколько книг хочется прочесть и перечесть! Неоспоримое достоинство Москвы для меня состоит в том, что там возможна, благодаря Центральной Библиотеке Иностранных языков и читальному залу, систематическая работа в деле всё более и более широкого познания необходимого количества авторов — а здесь это невозможно. Насколько приятнее и важнее было бы прочесть тех же Ромэна и Дю-Гара в оригинале! Но и то хорошо, что хоть это я достал...» (Але. 1942, 13 декабря).

«Если бы ты знала, как я мечтаю о Читальном Зале на Столешниковом пер. в Москве! Всё свободное время я проводил бы там, собирая материал, пополняя пробелы, систематизируя свои знания. Сколько ещё надо прочесть!...<...>Я уверен, и твёрдо уверен в том, что буду писателем, но для этого надо неутомимо повышать свои знания, свой культурный уровень, изучать историю. Если обстоятельства — время — это позволят, то я в Москве серьёзно примусь за дело». (Але. 1943, 12 февраля).

«Я занялся интересным делом: переводом на русский язык книги Валери «Взгляды на Современный Мир». Я сразу взялся за самое трудное, ибо язык Валери и в оригинале труден. Делаю это я для практики перевода, собственного удовольствия и для того, чтобы как-то почтить эту исключительно умную и тонкую книгу и её замечательного автора». (Але. 1943, 25 марта).

«Достоевский же, как какой-то чародей, завлёл меня в свой магический круг и не выпускал из него, несмотря на то, что читал-то я первый том его произведений; особое впечатление произвёл на меня «Двойник» — своим языком и особым колоритом мрачности и бреда; нечто вроде синтеза Гоголя и Гофмана. Необыкновенный писатель! *И о нём надо будет сказать когда-нибудь совсем иное, чем говорилось и говорится*». (Але. 1942, 13 декабря; курс. мой. — Л. К.).

«С большим увлечением занимаюсь сейчас переводом Валери. <...> я лишь теперь понял, что, вероятно, моей основной профессией будет профессия переводчика. Я это дело люблю и уважаю, оно меня будет кормить, а параллельно с этим я буду писать своё.

<...> Наивные мечты, верно? А вдруг они осуществляются?! Такое сейчас времячко, что даже вот так может всё повернуть, что мечта возьмёт — да и осуществится, чорт бы её подрал! Да и мечты-то у меня, на первое время, — вполне разумные. Их предел... о их предел, увы, самый труднодостигаемый, быть может, — никогда! Этот предел — спокойствие. Этот предел — уединение, возможность работать одному, чтобы никто не смел мешать и лезть со всякой белибердой» (Але.1943, 28 марта).

Знал ли Мур, что именно об этом долгие годы мечтала его мать, что письма Марины Цветаевой переполнены горькими жалобами на неосуществимость этой «труднодостигаемой» мечты?

«О Боже, сколько надо прочесть и перечесть, перевести, исследовать, подвергнуть критике, пересмотреть и низвергнуть, восстановить! И как всё это трудно осуществимо! В сущности, оттого я и стремлюсь в Москву, что там много книг, мне необходимых. Теперь я уже не могу откладывать: надо собирать материал, познавать максимум и не останавливаться в самоуспокоении...» (Там же).

Мур был мобилизован 1 марта 1944 года. Он проходил ускоренную военную подготовку в запасном полку в подмосковном Алабино. Оттуда шли последние письма, из которых видно, что в труднейших условиях он оставался верен себе.

«Вы бы содрогнулись, если бы слышали, как меня обзывают. «На дне»... И здесь я — иностранец, но в Москве ко мне благожелательно относились, а здесь — я какое-то чужеродное тело. Чучело гороховое. Я не жалуясь; это глупо и бесполезно. Я уверен в том, что в дальнейшем я вновь буду на своём месте, буду писать и жить достойно, что мне не удавалось до сих пор. У меня такое ощущение, что я всё время в грязи. Конечно, твержу Маллармэ, причем боюсь, что он пропадёт <...> Целую крепко. Ваш Мур.» (Е. Эфрон. 1944, март).

«... Часто посылают на чистку дорог, за дровами; последнее — мой бич; я очень плохо пилю, и все ругаются по этому поводу, а как болят плечи под тяжестью толстых брёвен! Однажды мы из бани тащили огромную корягу, так я просто не знаю, как я выдержал; помню только, что я энергично думал почему-то о Флобере (!) и шёл в каком-то обмороке...» (Ей же. 1944, конец марта).

«Моё начальство: командир роты, командир взвода, парторг, старшина роты, пом. старшины роты, командир отделения, дежурный по роте, и это не считая батальонного и полкового начальства. <...> Суп — «баланда», мясо и хлеб — «бацильное» (!), очки — «рогачи» и т. п. 99% роты — направленные из тюрем и лагерей уголовники, которым армия, фронт заменили приговор. Много больных, стариков, много страшных рож, каких можно увидеть лишь в паноптикуме. <...> Все ненавидят интеллигентов и мстят<...>. Старшина роты — что-то невообразимое; это хамство в кубе, злое, ликующее, торжествующее и безграничное хамство; просто удивительно. <...> Очень боюсь, что кто-нибудь украдёт мешок, а с ним и Маллармэ пропадет — самое ценное...» (Там же).

Судьба распорядилась так, что все последние письма Мура адресованы той самой Лиле, старшей сестре его отца, которой Сергей Яковлевич написал столько доверительных, полных тоски по России писем.

«Дорогие Лиля и Зина! Пишу всё из той же деревни Ушаково <...>. Вдоволь начитываюсь, пропитываюсь Маллармэ; когда-нибудь я буду первый специалист по Маллармэ, напишу о нём книгу, и это не мечты, потому что именно это является для меня реальной действительностью, тем миром, где я буду занимать первое место. Сейчас же я занимаю одно из последних <...>. Вероятно, скоро поедем на юг. Я написал вступление к исследованию о Маллармэ; я всё глубже его понимаю и знаю наизусть чуть ли не всё его творчество; я задумал написать работу о современной французской литературе, основываясь на произведениях 25 писателей, и эссе о трёх поэтах...» (1944, конец апреля).

«Всё так же жажду в Библиотеку Иностранной Литературы, всё так же мечтаю многое прочесть и перечесть; всё это будет, будет обязательно, иначе всё было бы бессмысленно...» (1944, 5 мая).

И — в тот же день: «... примерно дня через два (максимум) я окончательно уеду отсюда на фронт: приспели сроки отправки. <...> Будет, таким образом, новый поворотный пункт в моей пестрейшей биографии. <...> это письмо вполне может оказаться последним перед началом — неизвестно когда долженствующим наступить — уже другой серии писем ...»

В июне 1944 года Мур пишет Елизавете Яковлевне: «Писать своё хочется ужасно, но нет времени, нет бумаги... Успеется...» (1944, 12 июня).

А через три дня — снова: «Пишу Вам после бурно проведённой ночи, вернее — бурно начавшегося рассвета: впервые мне пришлось познакомиться со шрапнелью, которой нас задумали активно угощать. Знакомство было не из приятных, поверьте! Но ничего — к счастью, это было не слишком близкое — и не личное! — знакомство. Пришлось также переходить речку вброд; все перешли прямо в ботинках и обмотках; я же не мог на это решиться и триумфально прошествовал с ботинками в руке. Ночью орудовал лопатой, кстати сказать, весьма неважно, что обусловило кое-какие замечания о том, что я-де наверное «москвич». <...> Играет штабной патефон. Как далека музыка от того, что мы переживаем! Это — совсем иной мир, мир концертных залов, книг и картин, мир, из которого я ушёл и в который я вернусь когда-нибудь...» (1944, 15 июня).

«Бой был пока один (позавчера); постепенно вхожу в боевые будни: кстати, мёртвых я видел в первый раз в жизни: до сих пор я отказывался смотреть на покойников, включая и М. И» (1944, 30 июня).

Эти слова дали повод некоторым исследователям утверждать, что Мур не был на похоронах матери. Его дневник полностью опровергает это недостоверное утверждение: он писал о трудных хлопотах, о том, как добивался в милиции, чтобы ему отдали под-

линники последних записок Марины Ивановны, о том, как долго ждали подводу, чтобы везти гроб на кладбище... «Отказывался смотреть» — сказано в буквальном, до жути конкретном смысле — хоронил, но не взглянул — хотел помнить живой. А теперь он столкнулся со смертью вплотную:

«Она страшна и безобразна; опасность — повсюду, но каждый надеется, что его не убьёт...» (Там же).

В июле 1944 года Мур прислал открытку с изображением бойца с винтовкой и лозунгами: «Бью врага без промаха», «Смерть немецким захватчикам!»), на обороте написал:

«Дорогие Лиля и Зина! Довольно давно Вам не писал; это объясняется тем, что в последнее время мы только и делаем, что движемся, движемся, движемся, почти безостановочно идём на запад: за два дня мы прошли свыше 130 км (пешком)! И на привалах лишь спишь, чтобы смочь идти дальше. Теперь вот уже некоторое время, как я веду жизнь простого солдата, разделяя все её тяготы и трудности. История повторяется: и Ж. Ромэн, и Дюамель, и Селин тоже были простыми солдатами, и это меня подбодряет! Мы теперь идём по территории, находящейся за пределами нашей старой границы; немцы поспешно отступают, бомбят наступающие части, но безуспешно, т. к. движение вперёд продолжается. Население относится радушно; народ симпатичный, вежливый; разорение их не особенно коснулось, т. к. немцев здесь было довольно мало, а крестьяне — народ хитрый и многое припрятали, а скот держали в лесах. Итак, пока мы не догнали бегущих немцев; всё же надо предполагать, что они где-нибудь да сосредоточатся, и тогда разгорятся бои. Пейзаж здесь замечательный, и воздух совсем иной, но всего этого не замечаешь из-за быстроты марша и тяжести поклажи. Жалко, что я не был в Москве на юбилеях Римского-Корсакова и Чехова!

Пишите! Привет. Преданный Вам Мур».

«История повторяется...», — пишет Мур. Он соотносит свои солдатские мытарства: безостановочное движение — 130 км.

пешком за два дня! — запредельную усталость и многое другое, — с испытанным его любимыми писателями.

Такой ход мысли и круг ассоциаций всегда были естественными для него, но знающие всю горькую историю семьи Марины Цветаевой и Сергея Эфрона не могут, думается, при чтении этих слов их сына — «история повторяется» — не вспомнить и более близкое ему (из истории семьи): поход добровольческой армии, от начала до конца пройденный его отцом. В чудом сохранившихся письмах Сергея Эфрона Макс Волошину повествуется об очень похожих испытаниях... Но эта тема, видимо, с какого-то времени стала в семье запретной.

Это последние дошедшие до родных слова Мура. Видимо, он был смертельно ранен в бою в середине июля, долго считался пропавшим без вести. «Похоронка» так и не пришла...

Какая эпитафия может быть достойной? Георгий Эфрон отдал жизнь за страну, в которую ехал с романтическими надеждами и которая так безжалостно, так страшно разбила их, за страну, где в мирное время была погублена его семья. Он сам сказал об этом. Он так надеялся вернуться в свой любимый мир, где он сможет читать, писать, думать, написать книгу о Малларме, большое исследование о французских поэтах, знакомить Россию с французской культурой, переводить, сказать своё слово о Достоевском...

Дневник его и письма показывают, что всё это он смог бы. Георгий хотел вместе с сестрой Ариадной написать книгу о матери. Он так верил, что всё это сбудется! «Иначе всё бессмысленно», — писал он. И — не сбылось.

Из всей семьи осталась в живых одна Аля. Она ещё вернётся, ещё скажет своё слово, продолжит историю семьи...

Любые слова тут кажутся кощунственными.

А эпитафию своему сыну много лет назад написала, не зная этого (и так и не узнав — хоть в этом судьба её помиловала), сама Марина Цветаева.

...И если в сердечной пустыне,
Пустынной до края очей,
Чего-нибудь жалко — так сына, —
Волчонка — ещё поволчей.

Так был заранее оплакан матерью Георгий Эфрон — сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, погибший в бою летом 1944 года 19 лет от роду.

Мать и дочь

«... От Москвы начинается мое чувство родины и, описав огромный круг по всему Советскому Союзу, возвращается к ней же. Так у меня было и с мамой, жизнь моя началась любовью к ней, тем и кончится — от чувства детского, наполовину праздничного, наполовину зависимого (от неё же) до чувства сознательного, почти что, после всего пережитого, на равных правах (с нею же)...» (Б. Пастернаку. 1950, 10 октября).

Так писала Ариадна Эфрон из Туруханской пожизненной ссылки.

Воспетые во многих стихах Марины Цветаевой отношения её с маленькой дочкой были в самом деле необыкновенными — об этом осталось множество свидетельств.

«Я не могу не сказать, что две эти поэтические души, мать и дочь, более похожие на двух сестёр, являли из себя самое трогательное видение полной отрешённости от действительности и вольной жизни, среди грёз, — при таких условиях, при которых другие только стонут, болеют и умирают. Душевная сила любви к любви и любви к красоте как бы освобождала две эти человеческие птицы от боли и тоски. Голод, холод, полная отброшенность — и вечное щебетанье, и всегда бодрая походка, и улыбочное лицо. Это были две подвижницы и, глядя на них, я не раз вновь ощущал в себе силу, которая вот уже погасла совсем». (Константин Бальмонт. «Марина Цветаева». 1921).

Об этой своей способности — оживлять теряющих жизненные силы людей — Марина Цветаева с болью вспоминала, как об утраченной, в трагическом 1940 году: «Я чужими тяжестями (взваленными) играла, как атлет гириями. От меня шла — свобода <...> На мне люди оживали как янтарь. Сами начинали играть» (В. Меркурьевой. 1940, 31 августа).

Многие в те годы запомнили редкое родство двух «сказочных душ» и, как Константин Бальмонт, чувствовали в атмосфере их дома в Борисоглебском, в их мире некое волшебство.

Не знаю, где ты́ и где я́.

Те ж песни и те же заботы.

Такие с тобою друзья!
Такие с тобою сироты!
И так хорошо нам вдвоём:
Бездомным, бессонным и сирым...
Две птицы: чуть встали — поём.
Две странницы: кормимся миром.

24 августа 1918

Об этом редком родстве свидетельствуют и цветаевские записные книжки тех лет. большое место занимают в них детские стихи Али.

«17 декабря 1919 г.
Ветви сплелись,
Корни сплелись, —
Лес Любви!»

Эти строчки восхитили К. Бальмонта — он сравнивал их с мудрыми японскими трёхстишиями.

О детских стихах Али Марина Ивановна с гордостью писала и через много лет, когда знакомила заочную корреспондентку со своей семьёй: «У меня есть её 5-летние (собственноручные) записи, рисунки и стихи того времени (6-летние стихи в моей книжке «Психея»), которые многие считают за мои, хотя совсем не похожи» (Р. Ломоносовой. 1929, 12 сентября).

Эта часто возникающая путаница забавляла и удивляла Марину Ивановну: когда она озаглавила раздел в намечающейся своей книге — «Стихи моей дочери», редакторы подумали, что это ЕЁ стихи, маленькой дочери посвящённые. Иногда, впрочем, они с Алей писали «вместе», что и обозначено в цветаевской записной книжке.

Простите Любви, — она нищая!

(«далее — я», помечено Мариной Ивановной, то есть первая строчка — Алина).

У ней башмаки не чищены, —
И вовсе без башмаков.

Стояла вчерась на паперти,
Молилася Божьей Матери, —
Ей в дар башмачок сняла.

Другой — на углу, у булочной,
Сняла ребятишкам уличным:
Где милый — узнать — прошёл.

Босая теперь, как ангелы!
Не знает, что ей сафьянные
В раю башмачки стоят!..

Не сердись, страна Россия!..
Ангелы всегда босые...

(«2-я строчка — лучшая — Алина» — пометка Марины Цветаевой).

«Вспоминая свою мучительную жизнь в Москве, я вспомнил также целый ряд её чарующих стихотворений и изумительных стихотвореньиц её семилетней девочки Али. Эти строки должны быть напечатаны, и, несомненно, они найдут отклик во всех, кто чувствует поэзию <...>. Да пошлёт ей Судьба те лучезарные силы и те победительные напевы, которые составляют душевную сущность Марины Цветаевой и этого божественного дитяти, Али, в шесть и семь лет узнавшей, что мудрость умеет расцветать золотыми цветами» (К. Бальмонт. «Марина Цветаева»).

«Но жизнь души — Алиной и моей — вырастет из моих стихов — пьес — её тетрадок», — такими словами заканчивается одна из цветаевских московских записей 1919—1920 годов под общим заголовком «Чердачное». Запись эта подробно фиксирует очень тяжёлый день — с пилкой и рубкой дров, стиркой, мытьём посуды в ледяной воде, с голодом и долгими хождениями за крохами еды для детей («муки нет, хлеба нет») — один из многих дней той зимы. Часть этих тетрадок, из которых «вырастает жизнь души», написана в буквальном смысле слова «вместе», но и остальное звучит

настолько на одной волне, что можно представить, сколько радости дарило Марине Цветаевой, так часто страдающей от непонимания (и вовсе не только о непонимании стихов здесь речь) — такое полное фантастическое понимание её ребёнком. Их переполняло в то время взаимное восхищение друг другом.

«Марина! Неужели ты все эти стихи написала? Мне даже не верится — так прекрасно!»;

«Безумная влюблённость Али в «Волшебный фонарь». Любимые — до исступления — стихи «Рождественская Дама». «Боже мой! До чего Аля в своей любви ко мне похожа на Серёжу! — Потрясающе!»

...Ангел — ничего — всё! — знающий,
Плоть — былинкою довольная,
Ты отца напоминаешь мне —
Тоже Ангела и Воина...

18 июля 1919

«Аля:

— О Марина, как мне жалко, что у Вас нет ни хлеба, ни гильз, ни времени!

— О Аля, это такой пустяк!

— О Марина, Вы — это не пустяк!»

Аля росла в сознании, что у неё необыкновенная мать. Место Марины Цветаевой в мире она осознавала отродясь.

« — Аля, за что ты меня так любишь?

— Потому что Вы поэт, потому что Вы великая!»

Многие их беседы шли тогда почти на равных, без тени взрослого снисхождения к ребёнку. И Марина Ивановна гордилась высоким уровнем многих неожиданных мыслей, пронзительных угадываний, талантливых фантазий, тонким чувством слова и горячностью других чувств Али.

«Аля:

— Марина! Что такое — аристократ?

— Я тебе сначала объясню, как другие это слово употребляют, а потом — как я. Для других — аристократ — человек высокого рождения...

Аля, быстро:

— А для Вас — высокого духа».

«Объясняю ей понятие и воплощение:

— Любовь — понятие, Амур — воплощение. Понятие — общее, безграничное, воплощение — острый, вверх! — всё в одной точке. — Понимаешь?

— О Марина, я поняла!

— Тогда скажи мне пример!

— Я боюсь, что это будет неверно. Оба слишком воздушны.

— Ну, ничего, ничего, говори. Если неверно, я скажу.

— Музыка — понятие. Голос — воплощение.

(Пауза)

— И ещё: Доблесть — понятие, Подвиг — воплощение.

— Марина, как странно! — Подвиг — понятие, Герой — воплощение».

«Марина! С каждым ударом колокола отлетает секунда моего детства».

«Аля:

— Марина! Что такое — бездна?

Я:

— Без дна.

Аля:

— Значит, небо — единственная бездна, потому что только оно одно и есть — без дна».

«Аля:

— Марина! У Вас даже ночь — солнечная, а у Ахматовой — и день лунный».

«Аля — кому-то, в ответ на вопрос, кто её любимый поэт: — Моя мать — и Пушкин!»

Есть, разумеется, в этих записях (как и в записях о детстве Мура) островки юмора.

«Аля, слушая «Пара гнедых»:

— Марина! Стыдно генералу засыпать на груди у молодой блудницы. Лучше бы сражался в бою».

Особое место в этих тетрадках занимают необыкновенные сны маленькой Али.

«Аля, 13-го марта 1919 г.

— И снится мне, будто весь пол в моей комнате совсем круглый, выпуклый. Я точно предчувствовала, что придёт ко мне кто-то Великий. Я привела свою комнату в довольно хороший вид, и в эту минуту послышался стук в дверь, и дверь сама открылась. Вошёл Спаситель. Я молчала. Он сел на стул и грустно смотрел на меня. Я стояла и не хотела садиться и закрыла лицо руками. Моя комната, как только вошёл Спаситель, наполнилась коралловыми крестами, перламутровыми мечами и распятиями. — Сон не прерывается, но я вижу, как Христа ведут на распятие в Терновом Венце <...> Тогда я пошла в свою комнату и достала коралловый крест и перламутровый меч. Я пошла за Ним. Он исчез. Но враги Его ещё шли, ища его. И я перед собой в окне увидела реку».

Взрослая Ариадна Сергеевна говорила, что хорошо помнит этот детский сон, очень напугавший и потрясший её. Говорила, что в этой записи он передан не совсем точно. Тем не менее некоторым «разумным взрослым» трудно было поверить, что ребёнку действительно может сниться такое, и подобные рассказы о необыкновенных снах вызывали порой грубоватые и не лишённые остроумия насмешки (тем более что рассказы эти были частыми). Случилось такое и в семье известного писателя Бориса Зайцева. Летом 1921 года Аля жила с его дочкой Наташей, своей ровесницей, у его матери в их имении Притыкино. Крестьяне, помнящие доброе отношение к ним

семьи Зайцевых, дали матери писателя возможность жить и дальше в своём доме и даже какое-то время защищали от властей. Вскоре это стало опасным, но в то лето ещё было возможным, и Алю взяли подкормить — в деревне было всё же не так голодно.

Дочь писателя, Наталья Борисовна Зайцева-Сологуб, много лет спустя вспоминала в беседе с Вероникой Лосской:

«... в 1921 году мы взяли Алю к себе на лето, в наше бывшее имение. Она была удивительная — настоящий вундеркинд! Она всё время говорила стихами. Я была ошеломлена. По утрам она рассказывала, какие ей снились удивительные сны. Тогда папа ей сказал, что в деревне людям снятся поля и коровы, затем ей тоже стали сниться поля и коровы».

Наталья Борисовна деликатно говорит — «стали сниться», как бы не подвергая этот факт сомнению. В воспоминаниях её отца звучит иная интонация: на следующее же утро (!) после насмешливых слов его матери о том, что они люди простые и им в деревне снятся другие сны (в ответ на рассказ Али о явлении ей во сне радуги и Марины в золотой короне), Аля за завтраком рассказала, что в эту ночь ей приснились корова и коровьи лепёшки на дороге, и его мать с удовлетворением отметила, что ребёнок, вчера, видимо, заболевший — переевший или недоевший каши — выздоравливает. Но возможно и другое толкование: Аля сказала взрослым то, что они хотели услышать.

На необыкновенность маленькой дочери Марины Цветаевой разные люди реагировали очень по-разному: одних (как Бальмонта) она восхищала, других — изумляла. Так, с немного опасливым изумлением, неся на исходе Пасхальной ночи на руках засыпающую Алю, воспринял её странные слова молодой актёр Третьей Вахтанговской студии Владимир Алексеев (ему посвящены многие страницы цветаевских записных книжек 1918—1920 годов, позднее — страницы «Повести о Сонечке»).

«Как не привычный к детям, несёт её неловко — не верхом, на спине, и не сидя, на одной руке, а именно несёт — на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо.

— Алечка, тебе удобно? —

Бла — женно! Я в первый раз в жизни так еду — лёжа, точно царица Савская на носилках!

(Володя, не ожидавший такого, молчит). (Мне: — Она у Вас всегда такая? Я: — Отродясь)».

Людей обострённо впечатлительных тонкая талантливость и недетская мудрость Али поражали и даже пугали — суеверным страхом за неё:

«Одна очень старая дама, которая в отдалённые времена встречалась с Мариной Ивановной, уверяла меня, что Аля в детстве была «ясновидящая» и могла вдруг сказать человеку, что ждёт его, или что с ним было накануне, и жутковато становилось от общения с этим маленьким, удивительным существом, которое смотрело такими проникновенными, огромными глазами и говорило так взросло и о взрослом...» (Мария Белкина. «Скрещение судеб»).

Потрясён был и Евгений Львович Ланн. Прочитав присланные ему Мариной Ивановной в письме стихи Али, он писал:

«Вчитался и в стихи Али. Страшнее их — только По, а может быть и нет. Я чувствую достаточно мелко — и то понял и взяло! Искренно боялся за Александру Владимировну (жену — Л. К.), ибо после их чтения была подлинно “не в себе”, пришлось даже просить её к ночи чтение прекратить. Берегите Алю, Марина». (Из записной книжки Марины Цветаевой).

Насколько сильнее было бы его потрясение, если бы он прочитал удивительную запись о себе в Алиной тетрадке!

«У Марины был знакомый — Е. Л. Ланн: высокий, худой, военные гетры и панталоны полковника. Орлиный нос — орлиный подбородок, длинная тонкая шея, бешеные волосы, откинутае со лба, громовой голос, когда читает стихи. Вместо Бог с Вами говорил: Аполлон с Вами! — и говорил капризным голосом. Это колкое слово очень к нему подходит. Не обращал внимания и не сердился на

наш быт — сидел на высоком кожаном диване, откидывая волосы и закидывая руки. Стянутая походка, узкая, стянутая узким женским ремешком талия, лиловая куртка и любование маминым лиловым бархатным кисетом из-под махорки. Судорожно-спокойный и доводящий до иступления своей спокойностью. Голос, когда не читает стихи, разбитый — и этим разбивающий. Обращение с Мариной — под оболочкой. Стараются говорить мягко, под голосом — молния. Стихи человека, который на отвесной скале — и — сейчас!!! — упадёт. Вид мученика, который с дерзостью принимает свои мучения <...>. Мученик — и мучитель. — Больной орёл...» Это переписано из тетрадки Али в цветаевскую записную книжку № 8 — «Аля про Ланна: (Записано 23-го (русского) января 1921 г.)».

Такие поразительные для девятилетней девочки слова подтверждают сказанное взрослой Ариадной Сергеевной годы спустя — о том, что она тогда понимала сложные отношения взрослых. Даже если она в детстве и слышала что-то похожее, всё же, чтобы записать такое, надо понимать, о чём речь.

Марина Ивановна сохранила все уникальные записи маленькой Али, она мечтала опубликовать их. В 1923 году она писала Роману Гулю:

«Книга моя будет называться «Земные Приметы», и это (весна 1917 г. — осень 1919 г.) будет Первый том. <...> Второй том (1917—1919 г.) — это *Алины записи*, вначале записанные мной, потом уже от её руки: вроде дневника. Такой книги ещё нет в мире. Это её письма ко мне, описание советского быта (улицы, рынка, детского сада, очередей, деревни и т. д. и т. д.), сны, отзывы о книгах, о людях, — точная и полная жизнь души шестилетнего ребёнка. Можно было бы воспроизвести факсимиле почерка. (Все её тетрадки — налицо)» (Р. Гулю. 1923, 27 мая).

Этот замысел, как и замысел издания отдельной книжкой стихов маленькой Али, к глубокому огорчению Марины Цветаевой, не осуществился — видимо, слишком непривычной для издателей была такая идея.

Сохранила Марина Ивановна и детские письма Али разным адресатам (она переписывала их в тетрадь). Маленькая Аля тонко чувствовала людей и горячо любила тех немногих, кому всё нравилось в их с Мариной доме и жизни. В её письмах сохранились поразительные психологические портреты гостей их дома в Борисоглебском в те трудные годы. С обаятельным, по-детски наивным и не по возрасту мудрым юмором описаны в них характеры, забавные и трогательные эпизоды, иногда у неё получаются почти готовые сюжеты.

«Наш гость — странный: ничего не ест, никогда не сердится. Это молодой поэт Э. Л. Миндлин»; «Это письмо Вам передаст Э. Л. Миндлин. Он был нам хорошим другом, помогал во всём. Это было особенно трогательно, потому что он сам совершенно беспомощен и такой же медленный, как я. Завидую ему: он увидит Вас и море», — писала Аля в Коктебель своей крёстной — матери Макса Волошина.

И ещё о нём: «... Приходит к нам человек с мягким и грустным лицом в голубой бумазейной куртке и в татарской шапочке — из Крыма. Асин знакомый. Рассказывает Марине обо всём и, кажется, читает стихи. Фамилия его была Миндлин, голос тихий и неуверенный. Глаза испуганные. Он очень был удивлён Москвой, мечтал напечатать книжку. <...> Борис заболел малярией (Борис Бессарабов — прототип героя поэмы Марины Цветаевой «Егорушка», большевик, о нём много рассказано в цветаевских письмах Е. Ланну — *Л. К.*), и его забрала к себе Ася. А у ней в то время жил Э. Л. Миндлин. Мы поменялись. Ася получила Бориса, а мы — Эмилия Львовича. Он начал жить у нас. Он был страшно бестолков. Когда Марина просила его вымыть кастрюльку, то он просто вытирал её наружную копоть. Скоро Борис вернулся в своё прежнее логово. Я помню одно большое событие из жизни Э. Л. Это его пиджак. Он как-то вздумал продать его на рынке за 200 или 250 т. Часа через два он вернулся... но увы... с пиджаком. С тех пор он стал каждый день ходить на рынок и всё убавлял и убавлял цену. По ночам Б. и Э. Л. разговаривали и мне мешали спать. Борис учился у Э. Л. писать стихи и написал три стиха. Борис всё время писал заявления, а

Э. Л. переписывал свою “Звезду Земную”. Он извёл почти все наши чернила, а Борис Марину — чтением и: “как лучше?”. Я помню, как Борис устроил Э. Л. службу на Разгуляе, и Э. Л. ходил только в два места — на Разгуляй и к Львову-Рогачевскому. И когда он принимал уходную осанку, то я всегда спрашивала утром: “Вы на Разгуляй?” или вечером: “Вы к Льв. Рог.?” Его любимое место было у печки. У него всегда всё выкипало и пригорало. Главное его несчастье было брюки. Он каждую минуту их штопал, лоскутьев не хватало. Из-за них он в гостях сидел в пальто, хотя бы там была жара...

Ещё немного о ночах, “которые даны в отдых”. Как только Э. Л. пошевеливался в постели, бодрствующий Борис начинал задурять того стихами. Один стих был про бронированный век, другой про красный октябрь. Э. Л. всегда ночью кричал и думал, что тонет. Это время обыкновенно выбирал Борис для чтения стихов. Миндлин, испуганный мнимой бурей, опровергал стихи. Утром он выслушивал их заново и должен был вежливо хвалить...

Наши гости скоро уехали. Сперва уехал Борис на извозчике с чемоданом и непродавшимся Репиным. После его отъезда мы пошли на рынок за грибами усладить отъезд Миндлина. Мы его хотели проводить. Скоро настал этот день. В четверг 5-го мы вышли из дома. Э. Л. нёс свою корзинку, я палку. Мы проводили Мин. до Лубянской площади. Подошли к углу, и Марина купила Мин. два кармана яблок и отдала ему последние 20 тыс. Мы поцеловались и поцеловались ещё раз и ещё раз. Мы его перекрестили, и он пошёл. Пошли и мы».

Чем-то эти гости очень напоминают диккенсовских чудачков, которых Але ещё только предстояло узнать и полюбить: через несколько лет, когда они с Мариной встретятся наконец с «их Серёжей», долгими зимними вечерами в Чехии он будет читать им Диккенса.

Взгляд Али, укрупняя комическое в ситуациях, которые другой ребёнок мог бы увидеть совсем иначе или вообще не увидеть, преобразует людей. Эти выписки из своего детского дневника взрослая Аля в 1966 году послала писателю Э. Л. Миндлину, оставившему свои воспоминания о Марине Цветаевой, о тех днях в доме в Борисоглебском.

В будущем Ариадна Эфрон на высочайшем уровне продолжит цветаевскую традицию воскрешения ушедших дорогих людей, сохранения их в памяти людей других времён во всей живой неповторимости. Но письма и дневниковые записи маленькой Али уже обнаруживают, что пристальное вглядывание в людей и увлечённое запечатление их было присуще ей с самых ранних лет.

По Алиным записям видно, как горячо сопереживала она всему, что волновало Марину Цветаеву. Вместе, на одной волне, дружили они с актёрами Третьей Вахтанговской студии, особенно с Сонечкой Голлидэй. Вместе были на вечере Блока, в последний раз приехавшего в Москву в 1920 году. Восьмилетняя Аля передала ему тогда стихи матери.

В некоторых записях маленькая Аля говорит всё же более детскими словами, но и тогда смысл происходящего она очень тонко улавливает — так, как далеко не каждому взрослому под силу.

Она создала поразительный, единственный в своём роде портрет Марины Цветаевой, слушающей Александра Блока:

«У моей Марины, сидящей в скромном углу, было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. <...> И вообще в её лице не было радости, но был восторг» (Из дневниковой записи. 1920, 15 мая).

Способностью маленькой Али к таким наблюдениям Марина Цветаева всегда гордилась и восхищалась: «Отмечание тончайшего. В сложнейшем — дома».

В самом деле, умение различать такие, на поверхностный взгляд похожие эмоции, как радость и восторг, способность так тонко почувствовать состояние матери — увидеть, что за всё покрывающим восторгом радости не было (была острая тревога за поэта...) — это достойно большого писателя. Такие слова очень органично прозвучали бы в каком-нибудь заплёбывающемся монологе героя Достоевского. Воспоминание о вечере Блока надолго стало значительной частью общего мира матери и дочери.

Большое место в этом мире занимала тогда и Анна Ахматова. Ещё в 1916 году Марина Цветаева создала цикл стихов, ей посвящённых.

...Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами — то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.

В певучем граде моём купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий...
И я дарю тебе свой колокольный град,
— Ахматова! — и сердце свое в придачу.

19 июня 1916

* * *

...Ах, я счастлива! Никогда заря
Не сгорала чище.
Ах, я счастлива, что, тебя даря,
Удаляюсь — нищей,
Что тебя, чей голос — о глубь, о мгла! —
Мне дыханье сузил,
Я впервые именем назвала
Царскосельской Музы.

22 июня 1916

* * *

...Что делала в тумане дней?
Ждала и пела...
Так много вздоха было в ней,
Так мало — тела.
Не человечески мила
Её дремота.
От ангела и от орла
В ней было что-то...

23 июня 1916

Письма Марины Цветаевой к Анне Ахматовой звучали на той же волне, что и её стихи, — восторженно, нежно и торжественно высоко.

«Москва, 26-го русского апреля 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна! Так много нужно сказать — и так мало времени! Спасибо за очередное счастье в моей жизни — “Подорожник”. Не расстаюсь, и Аля не расстается. <...> Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высоко от Вас! — Если были бы журналы, какую бы я статью о Вас написала! — Журналы — статью — смеюсь! — Небесный пожар! Вы мой самый любимый поэт <...>. Целую Вас нежно, моя страстнейшая мечта — поехать в Петербург. Пишите о своих ближайших судьбах, — где будете летом, и всё. Ваши оба письмеца ко мне и к Але — всегда со мной. МЦ.»

И письмо Али Анне Андреевне — на той же волне.

«Москва, 17-го русского марта 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна! Читаю Ваши стихи “Чётки” и “Белую Стаю”. Моя любимая вещь — тот длинный стих о царевиче. Это так же прекрасно, как Андерсеновская русалочка, так же запоминается и ранит — навек. И этот крик: Белая птица — больно! Помните, как маленькая русалочка танцевала на ножах? Есть что-то, хотя и другое. Эта белая птица — во всех Ваших стихах, над всеми Вашими стихами. И я знаю, какие у неё глаза. Ваши стихи такие короткие, а из каждого могла бы выйти целая огромная книга <...>.

Мы с Мариной живём в трущобе. Потолочное окно, камин, над которым висит ободранная лиса, и по всем углам трубы (куски). — Все, кто приходит, ужасаются, а нам весело. Принц не может прийти в хорошую квартиру, а в трущобу — может. <...>

Марина всё время пишет, я тоже пишу, но меньше. Пишу дневник и стихи <...>.

Из Марининых стихов к Вам знаю, что у Вас есть сын Лев. Люблю это имя за доброту и торжественность. Я знаю, что он рыжий.

Сколько ему лет? Мне теперь восемь. Я нигде не учусь, потому что везде без ять и чесотка.

ВОЗНЕСЕНИЕ

И встал и вознёсся,
И ангелы пели,
И нищие пели.
А голуби вслед за тобою летели.
А старая мать,
Раскрывши ладони:
— Давно ли свой первый
Шажочек ступнул!

Это один из моих последних стихов. Пришлите нам письмо, лицо и стихи. Кланяюсь Вам и Льву.

Ваша Аля.

Деревянная иконка от меня, а маленькая, весёлая — от Марины».

Говоря о том, что она знает, что у Анны Ахматовой есть сын Лев, «из Марининых стихов», маленькая Аля имела в виду написанные в июне 1916 года стихи, начинающиеся словами:

Имя ребёнка — Лев,
Матери — Анна.
В имени его — гнев.
В материнском — тишь.
Волосом он рыж.
— Голова тюльпана! —
Что ж, осанна маленькому царю. (...)
Рыжий львёныш
С глазами зелёными
Страшное наследье тебе нести! ...

(Они родились в один год и очень близко по времени — сын Анны Ахматовой и дочь Марины Цветаевой: Лев Гумилёв — 1 октября 1912 года, Ариадна Эфрон — 5 (18) сентября того же

1912 года. И какое «страшное наследье» предстояло — «в будущем, верно, лихом...» — нести обоим детям великих поэтов, даже им, с их редким даром трагического предвидения, даже в эти уже достаточно тяжёлые годы ещё трудно было вообразить...)

К письму Али есть приписка Марины Ивановны: «Аля каждый вечер молится: — Пошли, Господи, царствия небесного Андерсену и Пушкину, и царствия земного — Анне Ахматовой».

Анна Андреевна, вообще редко откликавшаяся на письма, на этот раз быстро ответила. Может быть, её подвигло на ответ именно письмо Али. Закончила она своё короткое письмецо обещанием: «Книга моих последних стихов выходит на днях, я пришлю её Вам и Вашей чудесной Але».

Поистине — «Не знаю, где ты́ и где я...».

Вместе с Мариной Аля остро переживала тогда отъезды друзей, вслед которым они писали лирические письма, и расставания с близкими людьми, а расставания в те годы были очень частыми.

На Дон, в Белую Армию уезжает Владимир Алексеев: «— Теперь посидим перед дорогой. Садимся в ряд, на узкий диван красного дерева. Аля вслух молится: — Дай, Господи, Володе счастливо доехать и найти на Юге то, что ищет. И потом вернуться в Москву — на белом коне. И чтобы мы ещё были живы, и чтобы наш дом ещё стоял.

Аминь.

Крестимся, встаём, сходим по узкой мезонинной лестнице в вечную тьму коридора». («Повесть о Сонечке»).

И далее в «Повести о Сонечке» приводится письмо Али вслед отъезжающему.

«Милый Володя!

Желаю, чтобы в вагоне не было душно, чтобы вас там кормили, хорошо обращались, никто к вам не приставал бы, дали бы вам открытое окно. Хочу, чтобы вся дорога была так хороша и восторженна, как раньше. Вы уезжаете, наш последний настоящий друг. Володя! Я сейчас подняла голову и была готова заплакать. Я очень

грущу. Вы последний по-настоящему любили нас, были так нежны с нами, так хорошо слушали стихи. У Вас есть Маринина детская книга. Вы её будете читать и вспоминать, как читала Вам — я. Скоро опять кто-нибудь поедет в Киев, и мы опять Вам напишем письма. Володя. Мне кажется неправдой, что скоро Вас не будет. О Господи! Эти вагоны не подожгут, потому что все пассажиры невинные. Постарайтесь быть незаметным и придумайте себе хорошую болезнь. Может случиться ужасно...».

Письмо в повести оборвано на полуслове, и Марина Ивановна объясняет причину этого: «Эти напутственные Алины ужасы — не уцелели, потому что тут же послышался Володин прощальный стук, и письма её себе в тетрадку я допереписать не успела. Думаю, что следовало описание водворения Володи на киевском вокзале из сумасшедшего вагона — в фургон, как самого опасного из сумасшедших».

Значит, в жизни письмо было дописано, и Владимир Алексеев читал его в вагоне. Оно пропало, когда он погиб.

Неповторимая атмосфера писем маленькой Али, в которых — и жар души, и поразительное соединение естественной детской наивности с ранней мудростью, не могла не восхищать Марину Цветаеву.

Особенно часто (с 1920 года до их отъезда из России в 1922 году) писала Аля в Коктебель, который до этого долго был отрезан от них Гражданской войной. Она писала крёстной Елене Оттобальдовне Волошиной и самому Максусу.

«Москва, 6 (русского) сентября 1921 г.

Дорогая моя Пра!

Вчера был день моего рождения, мне исполнилось 9 лет. День, к сожалению, был дождливый, — не пришлось в Серёжину честь сходить в Зоологический ко льву («Лев» — домашнее прозвище Сергея Эфрона. — *Л. К.*). Если бы лев знал, как рвусь к нему, я уверена — он бы сам пришёл. У меня было много гостей, все с подарками. Я чувствовала себя какой-то дикой царицей, которой все

приносят дань. <...> Марина же мне передала подарки С. М. Волконского, — Макс его, наверное, знает. <...> Марина всегда говорила: “Я только двух таких знаю: С. М. Волконский и Пра”.

— Пра! Ведь Вы тоже орёл! Через Вас я немножко сродни Шамиллю! Моя дорогая Пра, я Вас нежно и торжественно люблю, — с гордостью. <...> Здесь давно ходят слухи о Максимом приезде. Очень хотелось бы его увидеть, но ещё больше — Вас. Я конечно, не верю в Вашу старость. Разве орлы стареют?

Целую и обнимаю Вас всею крепостью губ и рук. Губ и рук — что! — Сердца!

Ваш крестник и внук Аля.»

«14/27 ноября 1920 года.

...День за днём идут как двойники. Знаешь, что Марина будет рубить чужие шкафы и корзины, я буду убирать комнату. Живём теперь в бывшей столовой, похожей на тюрьму. <...> Но мы утешаемся стихами, чтением и хорошей погодой, а главное — мечтой о Крыме, куда мы так давно и так напрасно рвёмся. Милая Пра, я очень хорошо Вас помню: как Вы залезали в море, одетая, и как вечером сидели на скамеечке перед морем. Ещё помню стену, увешанную кружками и сковородками. Помню ежа, которого Вы обкормили молоком, и он сдох. (А в Наркомпросе написано на стене: “Не сдадимся — победим!” — Не сдадимся через з). — Помню Макса, но не всего — одну голову с волосами, помню ещё Аладдина, — огненную его шерсть и всю быстроту...».

«17/30 августа 1921 г.

Дорогая Пра!

Получила Ваше письмо. Очень счастлива им. В слова в Вашем письме, что Вы изменились и что я не узнала бы Вас, — не верю. Вы из породы неизменяющихся. Марина тоже в восторге от письма. <...> Спасибо за известие-воспоминание о Льве. (Сергей Эфрон заезжал в Коктебель в эти трудные годы. — Л. К.). Помню смутно те Ваши края “за морями, за горами”, всех вас и море, беловатые прозрачные камешки. Да! Получили от Льва письмо. Где — не пишет.

Напишите, пожалуйста, воспоминания подробней. Это — наше с Мариной насущное. Читаю Отечественную Историю: бедствия и потом восстановление высью небесной выси земной. Марина живёт как птица: мало времени петь и много поёт. Она совсем не занята ни выступлениями, ни печатанием, только писанием. Ей всё равно, знают её или нет. Мы с ней кочевали по всему дому. Сначала в папиной комнате, в кухне, в своей. Марина с грустью говорит: “Кочевники дома”. Теперь изнутри запираемся на замок от кошек, собак, людей. <...> Недавно нашла Вашего Щелкуна, Вами выкрашенного, с ружьём, в остроконечной шапке. Мои любимые книги: сказки Андерсена и самый, самый первый мир: каменный век с идолами и топорами. <...>. Всюду рассказываю, что Вас воспитывал Шамиль. Не знала я, когда меня крестили, что у меня будет такая крёстная.

Целую Вас и Макса.

Ваша Аля».

«Москва, 8-го (русского) ноября 1921

Моя дорогая Пра!

От Вас так давно нет писем. За Вас я молюсь богу храбрых, не знаю, есть ли такой. (Не бог войны!). Мы с Мариной читаем мифологию, мой любимец — Фазтон, хотевший править отцовской колесницей и зажёгший моря и реки! А Орфей похож на Блока: жалобный, камни трогающий. Мне очень грустно, когда я думаю о Вашем ревущем море, нужно, чтобы что-нибудь его заглушало, а то так одиноко. Скоро, когда наберём денег, снимемся с Андрюшей и пришлём Вам фотографию. Я его выше на полголовы, потому что Ваша крестница! Никто в Москве точно не знает, что существует Крым, и когда Марина с Асей начали поднимать эту бурю, то все знакомые книгоиздательства откликнулись».

Аля имеет в виду поход «её Марины» с одним знакомым к Луначарскому — после письма Макса о голодающих Крыма. Марина Ивановна подробно описала эту историю в письме к Максиму Волошину. Аля с шести лет была посвящена во все взрослые дела и за-

боты Марины Ивановны и её друзей. О том походе к Луначарскому она упоминает и в другом письме — самому Максусу.

«Москва, 7-го (русского) ноября 1921 г.

Мой дорогой Макс!

Я очень жалею о Вашей болезни, я Вас всегда помню таким весёлым, гривастым Миродержцем. О Вас нужно молиться Зевсу, — да? (Молюсь сразу всем богам — кроме самых новых! Им будут молиться потом). Спасибо за Георгия — Серёжу: взгляд как у Марины в стихах, вслед копыю. А под копьём его собственная цветущая молодость. Первый мой взгляд, когда просыпаюсь, всегда ввысь: на Серёжу. Скрещаемся. (Речь о портрете Сергея Эфрона, сделанном в Коктебеле и присланном им Максом Волошиным. — Л. К.). Марина Вас так любит, что даже без голоса говорила с Луначарским — и всё сказала. Всё обещал.

Целую Вас с благодарностью.

Портрет Серёжи — наша самая драгоценность.

Ваша Аля».

К письму Али, подписанному «Ваш крестник и внук», приложено письмо Марины Ивановны.

«Москва, 10 русского сентября 1921 г.

Дорогая моя Пра!

Аля спит и видит Вас во сне. Ваше письмо перечитывает без конца и каждому ребёнку в пустыре, в котором она гуляет, в случае ссоры победоносно бросает в лицо: “Ты хотя меня и бьёшь, а зато у меня крёстная мать, которую воспитывал Шамиль!” — “Какой Шамиль?” — “А такой: кавказский царь, на самой высокой горе жил. — Орёл!”. Как мне бесконечно жаль, дорогая Пра, что Вы сейчас не с нами! Вы бы уже одним видом своим поддерживали в Алегерийский дух, который я вдуваю в неё всей силой вдоха и души <...>. Серёжа жив, далёко.

Целую Вас нежно, люблю.

Марина».

Об этом «вдувании» геройского духа писала сама Аля в детстве и во взрослых воспоминаниях.

«Подвиг.

Я записывала что-то в этой тетрадке и вдруг услышала голос Марины: “Аля, Аля, иди скорей сюда!” Я иду к ней и вижу — на кухонной тряпке лежит мокрый червяк. А я больше всего боюсь червяков. Она сказала: “Аля, если ты меня любишь, ты должна поднять этого червя”. Я говорю: “Я же Вас люблю душой”. А Марина говорит: “Докажи это на деле!” Я сижу перед червём на корточках и всё время думаю: взять ли его или нет. И вдруг вижу, что у него есть мокрый селёдочный хвост. Говорю: “Марина, можно я его возьму за селёдочный хвост?” А она отвечает: “Бери его, где хочешь! Если ты его подымеешь, ты будешь героиня, и потом я скажу тебе одну вещь”. Сначала я ничем не ободрилась, но потом взяла его за хвост и приподняла, а Марина говорила: “Вот молодец, молодец, клади его сюда на стол, вот так. Клади его сюда, только не на меня!” (Потому что Марина тоже очень боится червяков.) Я кладу его на стол и говорю: “Теперь Вы правда поверили, что я Вас люблю?”- “Да, теперь я это знаю. Аля, ведь это был не червяк, а внутренность от пайковой селёдки. Это было испытание”. Я обиделась и говорю: “Марина, я Вам тоже скажу правду. Чтоб не взять червя, я готова была сказать, что я Вас ненавижу”». (1919, май).

Публикуя эти свои детские записи, Ариадна Сергеевна так прокомментировала и дополнила их: «В случае с «червяком» повинны были Шиллер и Жуковский, создавшие балладу «Кубок». “Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой/в ту бездну прыгнёт с высоты?” — декламировала я, расхаживая взад-вперёд по нашей кухне и оттягивая неизбежный час занятий. Читательский восторг переполнял меня, я ощущала себя сопричастной событиям поэмы — да что там сопричастной! — тем самым “пажом молодым” ощущала я себя, который “уж в бездне пропал”... — Какие замечательные стихи, Марина! Какие героические! А царевна, которая

заступилась за пажа, похожа на Вас! Если бы этот царь, который бросил этот кубок в пучину морскую, был бы Вашим отцом...” — “То он оказался бы твоим дедом!” — заметила Марина. “Нет, не надо дедом! Если бы он просто был Вашим отцом, а я тем самым пажом, то я бы тоже... тоже...” — “Не думаю, чтобы ты смогла”, — серьёзно ответила Марина, с оценивающей нежностью оглядывая всю мою тогдашнюю малость и хилость, с макушки до кончиков стоптанных башмаков, в которых я к шести с половиной годам ещё не научилась толком разбираться — какой на какую ногу натягивать. “Во-первых, ты боишься воды... а потом, если бы только вода! Там ведь ещё и гады морские, и чудовища! Помнишь?” (Ещё бы не помнить: “ползёт стоногое грозно из мглы, и хочет схватить, и разинулся рот...” Сто склизлых ног! Ужас и отвращение!) “Всё равно бы прыгнула!” — с прежней пылкостью в голосе, но уже с холодком сомнения в груди продолжала настаивать я. “Видишь ли, будь я той царевной — или тем царём, я не разрешила бы тебе и вообще кому бы то ни было прыгать в пучину по прихоти. Любовь не прыжками доказывается, а каждым прожитым днём — и как он прожит, и каждым сделанным делом — как оно сделано. Садись-ка ты лучше за стол и пиши свою страницу!” И я села за стол, не догадываясь, что «подвиг» мой — не за горами, ибо Марина признавала декларации, лишь подтверждённые действием.»

О том же — в стихах Марины Цветаевой 1919 года.

Упадёшь — перстом не двину.

Я люблю тебя как сына.

Всей мечтой своей довлея,

Не щадя и не жалея.

Я учу: губам полезно

Раскалённое железо,

Бархатных ковров полезней —

Гвозди — молодым ступням.

А ещё в ночи беззвездной
Под ногой — полезны — бездны!

Первенец мой крутолобий!
Вместо всей моей учёбы -
Материнская утроба
Лучше — для тебя была б.

Октябрь 1919

Когда через шесть лет у Марины Цветаевой родился долгожданный сын, она вовсе не была с ним столь сурова, наоборот, всегда убеждённо помнила, что «мальчиков надо баловать», так как им, может быть, на войну идти...

Но если бы знала Марина Цветаева, если бы могла знать, что ждёт её дочь «в будущем, верно, лихом...» — как жалела, как берегла бы она, пока это ещё было возможно, свою Алю!

А пока что... «Алей я в детстве гордилась, даже чванилась...» — вспоминала Марина Цветаева позднее. Это подтверждают и её записи, сделанные прямо тогда.

«Аля. Такого существа не было — и не будет. Были трёхлетние гении в Музыкае — в Живописи — в Поэзии — и т. д. и т. д. — но не было 3-хлетнего гения — в Душе!»

Маленькая Аля удивительно тонко понимала и умела с недетской мудростью объяснить чувства и отношения окружающих её взрослых.

«... я притихала в углу, чтобы не услали спать, и смотрела на них с полнейшим пониманием <...> Приобщённая обстоятельствами к миру взрослых, я быстро научилась распознавать их, незаметная им...» (Ариадна Эфрон. «Страницы Былого»).

Запись об одном из таких распознаваний сохранилась в тетрадке семилетней Али — она включена Мариной Цветаевой в «Повесть о Сонечке»:

«У нас была актриса Сонечка Голлидэй. Мы сидели в кухне. Было темно. Она сказала мне:

— Знаешь, Алечка, мне Юра написал записочку: “Милая девочка Сонечка! Я очень рад, что Вы меня не любите. Я очень гадкий человек. Меня не нужно любить. Не любите меня”. А я подумала, что он это нарочно пишет, чтобы его больше любили. А не презирали. Но я ей ничего не сказала. У Сонечки Голлидэй маленькое розовое лицо и тёмные глаза. Она маленького роста, и у неё тонкие руки. Я всё время думала о нём и думала: “Он зовет эту женщину, чтобы она его любила. Он нарочно пишет ей эти записочки. Если бы он думал, что он, правда, гадкий человек, он бы этого не писал”».

«Приобщённая обстоятельствами к миру взрослых», Аля, в отличие от Мура, к детству и особенно к отрочеству которого тоже применимы эти слова, жила в этом мире не как он — умным, но холодно отстранённым свидетелем, а активно сопереживающей участницей.

В 1920 году она писала Евгению Ланну:

«Милый Евгений Львович, Сегодня канун Нового Года. Думаю, что Вы будете встречать его один. Новый год — ведь это тоже смерть — Старого. У нас ёлка, большая, тощая — трущобница. Останки прежних украшений. Наверху большая папина белая звезда. Я лежала в постеле (нарочно пишу на конце «е» (от народно-го «постеля») — малярия — и чувствовала себя девочкой из старинной детской книжки: ёлка — болезнь — молодая мать. После Вашего отъезда мы живём хорошей жизнью: мама пишет, я пишу <...>. Помню, как Вы лежали на большом диване в своей бархатной куртке и как, устав, заламывали руки. <...> Вспоминаю ещё Вашу печёную картошку, которая горела. И тот рокот, которым Вы читали (громогласили) Роланда. <...> Марина просит передать Вам, что конец Роланда — лучшие стихи о поле битвы и на поле битвы. Кончаю. Что пожелать Вам на Новый Год, — у Вас уже всё есть — раз у Вас была любовь Марины. Целую Вас, поклон Вашей жене. Аля».

И здесь — как про Володю Алексеева, как про отношения Сонечки с Юрой З. — восьмилетняя Аля всё поняла. И над многим задумалась...

Не случайно Марина Цветаева услышала тогда остро волнующий дочку вопрос:

«Аля: — Марина! Чего бы Вы больше хотели: письма от Ланна или самого Ланна?

Я: — Конечно — письма!

Аля: — Какой странный ответ! — Ну, а теперь: письма от папы или самого папу?

Я: О! — Папу!

Аля: — Я так и знала.

Я: — Оттого, что это — Любовь, а то — Романтизм».

Аля поняла и приняла это объяснение. Сколько счастья приносило молодой матери такое редкое понимание и душевная поддержка ребёнка!

Об Але, какой она была в детстве, Марина Ивановна с гордостью писала и через много лет: «Дочь <...> чудная девочка, не Wunder-Kind, а wunder-bares Kind (не чудо-ребёнок, а чудесный ребёнок), проделавшая со мной всю советскую (1917—1922 гг.) эпопею» (Р. Ломоносовой. 1929, 12 сентября).

Это было самое счастливое время их отношений, когда, по словам взрослой Ариадны Сергеевны, её любовь к матери была «чувством детским, наполовину праздничным».

Но и тогда не всё было безоблачно. Безоблачной гармонии в жизни Марины Цветаевой вообще никогда не было.

Были мы — помни об этом
В будущем, верно, лихом,
Я — твоим первым поэтом,
Ты — моим лучшим стихом!

Какая же высокая планка задана была маленькой Але этими строками с самых первых её лет! Во многом, очень во многом она выдерживала этот уровень, но иногда, особенно попадая в круг де-

тей, естественно отступала от тех, по выражению взрослой Ариадны Сергеевны, «высот Джомолунгмы», в разреженном воздухе которых постоянно жила душа её матери. И тогда душу Марины Цветаевой охватывало разочарование.

«Куда пропадает Алина прекрасная душа, когда она бежит по двору с палкой, крича: Ва — ва — ва — ва!»; «Когда Аля с детьми, она глупа, бездарна, бездушна, и я страдаю, чувствую отвращение, чуждость, никак не могу любить»; «Люблю (выношу) зверя в ребёнке, в прыжках, движениях, криках, но когда этот зверь переходит в область слова (что уже нелепо, ибо зверь бессловесен) — получается глупость, идиотизм, отвращение». Это звучит (пока только в записной книжке) в самые первые годы жизни Али, но и позднее мотив этот не исчезает, скорее наоборот.

«11-го июня 1920 г. — русского.

...Аля весь день с Миррой (дочкой Бальмонта. — Л. К.) и Марой (Скрябиной. — Л. К.), — с каждым днём всё ребячливее, невоспитаннее, уличнее, — толкается, дразнится, играет в лоскутки, — всё как все дети. Очень хорошо для её здоровья — да. — Что я могу сказать об Але? — Может быть, я её плохо знаю. Со мной она — одна, с другими — другая».

Сила цветаевских разочарований, как известно, всегда бывала равна силе её прежних очарований (и то, и другое почти всегда было безмерным). Она и сама понимала, что по отношению к ребёнку такое несправедливо, но справиться с собой могла далеко не всегда.

Летом 1921 года, когда Аля жила в деревне в семье писателя Бориса Зайцева, Марина Цветаева писала:

«Я уже почти месяц как без Али <...>. Я не скучаю по Але, — я знаю, что ей хорошо, у меня разумное и справедливое сердце, — такое же, как у других, когда не любят. Пишет редко: предоставленная себе, становится ребёнком, т. е. существом забывчивым и бегущим боли (а я ведь — боль в её жизни, боль её жизни). Пишу редко: не хочу омрачать, каждое моё письмо будет стоить ей нескольких фунтов веса <...>. Начинаю думать — совершенно серьёзно — что я Але вредна. Мне, никогда не бывшей ребёнком и

поэтому навсегда им оставшейся, мне всегда ребёнок — существо забывчивое и бегущее боли — чужд. Всё моё воспитание — вопль о герое. Але с другими лучше: они были детьми, потом всё позабыли, отбыли повинность, и на слово поверили, что у детей “другие законы”. Поэтому Аля с другими смеётся, а со мной плачет, с другими толстеет, а со мной худеет. Если бы я могла на год оставить её у Зайцевых, я бы это сделала, — только знать, что здорова! Без меня она, конечно, не будет писать никаких стихов, не подойдёт к тетрадке, потому что стихи — я, тетрадка — боль» (Е. Ланну. 1921, 16 июня).

Уже тогда болезненно переживала молодая Марина Цветаева даже короткие отвлечения Али от их общего мира, но в то время душа её ещё не была так надорвана жизнью, как позднее, и она ещё старалась, насколько возможно, оберегать дочку от этого неотъемлемого своего свойства. Кроме того, тогда главным было другое. Самое сокровенное, что соединяло мать и дочь в те годы, — молитвы за жизнь воюющего где-то далеко от них отца, постоянная — над всем и сквозь всё — тоска по нему, сны о нём и пронзительная, из последних сил, вера во встречу.

А потом, когда летом 1921 года пришло его первое после долгих лет разлуки письмо, — сразу возникло неразрывно объединяющее мать и дочь стремление поскорее уехать к нему из неприкаянной жизни и вместе начать новую жизнь.

Сергей Эфрон проникновенно писал им: «Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите!» Марина Цветаева после этого — в своей записной книжке — окрылённо: «С сегодняшнего дня — жизнь. Впервые живу».

Завершив письмо заклинающими словами жене: «Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля — последнее и самое дорогое, что у меня есть. Храни Вас Бог. Ваш С.», — Сергей Эфрон добавил трогательную приписку для дочки: «Родная моя девочка! Я получил письмо от И. Г. (Ильи Григорьевича Эренбурга. — Л. К.), он пишет, что видел тебя, и передал мне те слова, что ты просила сказать мне от твоего имени. Спасибо, радость моя, — вся любовь и все мысли

мои с тобой и с мамой. Я верю — мы скоро увидимся и снова заживём вместе, с тем, чтобы больше никогда не расставаться... Благоговяю и целую тебя крепко. Твой папа».

Чтобы понять, что значило для Али тогда это письмо отца, надо знать, что и как писала ему она.

«10-е июля 1919 г.

Милый папа! Мы делали, что могли, для того, чтобы попасть к Вам (в Коктебель. — *Л. К.*). Я молилась, просила Бога, чтобы Он сделал так, чтобы Вы не грустили об нас. Марина призывала татар со двора, продавала им наши вещи, как они хотели. Время шло быстро. Марина очень скоро всё продавала и дёшево, потому что скорей хотела уехать к Вам. Мы ходили на Смоленский рынок с моими пальто <...>. Всё скоро было готово. Марина сдала квартиру ужасным людям. Они тоже продавали. Все наши вещи мы свалили в детскую. Потом я начала писать стихи. Там есть стихи Белому Всаднику, который въезжает в Москву. Марина пишет пьесы. У неё есть пьеса Лозэн. Иногда я записываю наши гулянья. Теперь пишу в Вашей серой тетрадке, которую Вы подарили Марине. — Серёженька. — Вы мне очень часто снились. Один раз мне снилось, что я Вам нарвала незабудок; другой раз Вы мне подарили книгу, потом Ваш голос в передней, ещё один раз я не спала, как послышалось, что Вы разговариваете с Мариной. Вдруг неожиданно послышалось: Феодосия взята Белыми. Я сначала ничего не поняла. Я только с радостью думала о встрече, о чудном пути. А потом оказалось, что из-за этого нельзя ехать. Я часто волновалась, внутренне плакала. Сердце билось от любви и страха за Вас. Каждый вечер я молилась, чтобы Господь не наливал своей прохладной воды в моё огненное горе. Я не показывала, что у меня было на душе, даже Марине. Я ясно помню Ваши чудные глаза, Ваши чудные блестящие глаза. <...> Серёженька! — Я посвящаю моё сердце Марине и Вам...»

Это письмо Али, как и записи их разговоров, сохранилось в цветаевской записной книжке.

Анна Ахматова написала: «Когда человек умирает,/изменяются его портреты,/По-иному глаза глядят,/И губы улыбаются иной улыбкой...». Можно сказать, что и строки давних писем изменяются так: когда умирают написавшие их люди, они становятся объёмнее, в них неожиданно проявляются новые смыслы. Годы спустя, после тяжелейших испытаний, Ариадна Эфрон в самом деле посвятила «всю себя» памяти гениальной матери, сердце — памяти родителей...

Марина подробно писала нашедшемуся Сергею о том, какой стала Аля.

«Але 8 л. Невысокая, узкоплечая, худая. Вы — но в светлом. Похожа на мальчика. — Психея. — Господи, как нужна Ваша родственная порода! Вы во многом бы её поняли лучше, точнее меня. Смесь лорда Фаунтлероя и маленького Домби — похожа на Глеба (брат С. Эфрона, умерший в детстве. — Л. К.) — мечтательность наследника и единственного сына. Кротка до безвольности — с этим упорно и неудачно борюсь — людей любит мало, слишком зорко видит, — зорче меня! А так как настоящих мало — мало и любит. Пламенно любит природу, стихи, зверей, героев, всё невинное и вечное. — Поражает всех, сама к мнению других равнодушна. — Её не захвалишь! — Пишет странные и прекрасные стихи. Вас помнит и любит страстно, все Ваши повадки и привычки, — и как Вы читали книгу про дюйм, и потихоньку от меня курили, и качали её на качалке под завывание: Бу-уря! — и <...> как топили камин, и как зажигали ёлку — всё помнит. Серёженька! — ради неё — надо, чтобы Вы были живы».

Вместе переживали Марина Ивановна и Аля все трудности приготовлений к отъезду, вместе мечтали о встрече и грустили от предстоящей разлуки с Россией — тогда ещё продолжалось их вдохновенное и лирическое «мы».

Марина Цветаева нигде не описала свой отъезд из России. Важные подробности их последнего дня на родине, их дороги в Берлин

и начала заграничной жизни дошли до нас благодаря уникальной памяти и таланту Али. Этому пасмурному дню московской запоздалой весны 1922 года посвящена отдельная глава воспоминаний Ариадны Сергеевны «Последний день в Москве».

В ней талантливо запечатлены неповторимые приметы времени, драматизм прощания с Москвой, радость предчувствия встречи с «их Серёжей», предотъездное волнение, страх опоздать.

«Во дворе ждал извозчик — лошадь была в яблоках и поэтому выглядела нарядной, что меня обрадовало. Разместили в ногах багаж, уселись сами. <...> Когда проезжали белую церковку Бориса и Глеба, Марина сказала: “Перекрестись, Аля!” — и перекрестилась сама. Так и крестилась всю дорогу на каждую церковь, прощаясь с Москвой. На Кудринской площади заметили время: четыре часа. “Аля! Не опоздаем?” — “Нет, Марина!” Молчим, смотрим по сторонам, на такие привычные, а нынче неузнаваемые, утекающие, как во сне, улицы, улочки, переулки, бледно и ровно освещённые однообразной пасмурностью дня, на редких прохожих, на встречные повозки, на всё, что — вот оно, рукой подать! и уже позади. Третья Мещанская. “Аля, опаздываем!” — “Что Вы, Марина!” Наконец Виндавский (теперь Рижский) вокзал<...>. Носильщик подхватывает наш скромный багаж; подходим к коменданту, который, проверив Маринины документы, выдаёт пропуск. Наша платформа — многолюдна и как-то немногословна; ни шума, ни давки, хотя поезд уже подан. Возле вагона, среди кучки провожающих — не нас! — знакомое лицо милой молодой барышни, секретарши Наркоминдела, помогавшей Марине во всех предотъездных формальностях и премудростях. Она улыбается нам, протискивается с нами, вслед за носильщиком, в купе, очень тесное и очень полированное, где уже сидят две женщины, возле одной из них, скромно одетой, гладко причесанной, — костыли; вижу, что у неё ампутирована нога... Выходим на перрон. “А кто эта дама с костылями?” — спрашиваю я у секретарши. “Дама? Дама эта работает в ЧК. Ногу она потеряла на гражданской войне, а теперь отправляется на лечение за границу, там ей и ногу искусственную сделают, совсем как настоящую. Мужчине

без ноги трудно, а женщине и совсем невозможно...”. Тут появляется сияющий Чабров, в руках у него продолговатый, красиво завернутый пакет, который он протягивает мне: “Это вам на дорогу, развернёшь, когда поезд тронется!” Взрослые разговаривают, я лазаю в вагон и из вагона, раздираемая тревогой — не уехать бы без мамы! или — не остаться бы, зазевавшись, на платформе тоже без мамы... Первый звонок. Впрочем, это только так называется — звонок! — а на самом деле кто-то, мне невидимый, ударил в роковой колокол, и звук этот, отрывающий уезжающих от остающихся, на мгновение цепенящий, как огромный ледяной поток, заставляет всех очнуться от дрянности, длимости расставания, провозглашая его разлукой. Последние поцелуи, объятия, напутствия, быстро утихомиривающаяся последняя суэта у вагонных ступенек, и вот уже на перроне — только провожающие, а мы топчемся в узком коридорчике, в несколько рук дёргаем оконные ремни, чтобы еще раз, выглянув наружу, что-то сказать, что-то услышать, что-то *успеть*. Третий звонок. Поезд трогается. Разворачиваю чабровский пакет — там коробка конфет с изображённой на ней брюнеткой в нэповском стиле. Со словами “как трогательно” Марина у меня эту коробку выхватывает, прежде чем успеваю сунуть туда нос. “Отвезём папе!” Так мы и уехали из Москвы: быстро, неприметно, словно вдруг сойдя на нет».

В июне 1922 года Марина Цветаева и Аля приехали в Берлин, где прожили до отъезда в Чехию два месяца. Здесь, вдали от России, отношения матери и дочери почти сразу изменились.

В воспоминаниях Ариадны Сергеевны о двух месяцах жизни в Берлине поражает одна неожиданная психологическая подробность: в первые же недели после приезда туда Марина Ивановна, вопреки всем традициям их общего с Алей мира, «водворила её в детство». Она испугалась слишком взрослых наблюдений и комментариев в дневнике Али. Например, таких:

«Геликон (прозвище А. В. Вишняка, одного из редакторов издательства «Геликон». — Л. К.) всегда разрываем на две части — бытом и душой. Быт — это та гирька, которая держит его на

земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться — души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, сон, уют, а этого как раз душа и не даёт. Когда Марина заходит в его контору, она — как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя, не опускаясь к нему. В Марининой дружбе нет баюканья и вталкивания в люльку. Она выталкивает из люльки даже ребёнка, с которым говорит, причем божественно уверена, что баюкает его — а от таких баюканий может и не поздоровиться. Марина с Геликоном говорит, как Титан, и она ему непонятна, как жителю Востока — Северный полюс, и так же заманчива. От её слов он чувствует, что посреди его бытовых и тяжёлых дел есть просвет и что-то не повседневное. Я видала, что он к Марине тянется, как к солнцу, всем своим помятым стебельком. А между тем солнце далеко, потому что всё Маринино существо — это сдержанность и сжатые зубы, а сам он гибкий и мягкий, как росток горошка».

Мимолётному сюжету с А. В. Вишняком посвящены цветаевские «Флорентийские ночи».

«Должна сказать, — продолжает взрослая Ариадна Сергеевна, — что, прочтя в моем дневничке эту — и еще некоторые — характеристики «взрослых», Марина призадумалась, найдя их, для девочки неполных десяти лет, чересчур пронизательными и к тому же фамильярными, без надлежащего соблюдения дистанции между младшим возрастом и старшим; призадумавшись же — немедленно водворила меня в детство, поручив заботам весьма необаятельной гувернантки, пасшей четырехлетнего сына Геликона, Женю. И стали мы с Женей пастись целыми днями в берлинских скверах и парках, а тетради мои покорно запестрели зарисовками Геликона-младшего, мальчика как мальчика».

Странно выглядит эта история. Марина Ивановна уже читала записи Али о Евгении Ланне, о Сергее Михайловиче Волконском,

о вечере Блока. После всех их бесед, после её собственных восторженных слов о поразительном умении маленькой Али разбираться «в тончайшем», разве оказалась такой уж новой и неожиданной её пронизательность? Эта запись — действительно не по-детски психологически тонкая и мудрая, но она не так уж отличается от многих других Алиных писем и записей в тетрадку. В Москве всё это вовсе не заставляло Марину Цветаеву призадуматься. Может быть, причина её неожиданного смущения — в осознании необходимости что-то изменить именно теперь, когда они воссоединились с отцом Али? Одно дело — их с Алей московское «сиротство вдвоём», и совсем другое — теперь: когда «их Серёжа» наконец совсем скоро будет рядом, вновь объяснять маленькой дочке различия между настоящей любовью и «романтизмом» — в самом деле гораздо сложнее...

Вскоре, однако, естественные уходы Али в свой возраст, в который сама же Марина Ивановна поначалу «водворила» Алю — в мир ровесников, детских игр, детских книжек и интересов — отнюдь не будут радовать мать. В таких случаях, как это бывало и прежде, Марина Цветаева сразу начинала остро ощущать себя — покинутой, дочку — чужой и горько жаловаться на это в письмах. Позднее этот мотив зазвучит в них очень сильно и будет достигать поистине трагедийного уровня.

При чтении таких жалоб мне невольно вспоминается одно глубокое наблюдение Марии Белкиной: «... мне представляется, — она порой, заглядывая в тупики и мрачные извивы человеческой души, оказывается, быть может, больше Достоевским, чем был бы на её месте сам Достоевский...». Мысль эта в книге М. Белкиной «Скрещение судеб» высказана в связи с одним конкретным цветаевским рассуждением, действительно погружающим читателя «в мрачные извивы человеческой души». Рассказывая в «Доме у Старого Пимена» о тяжёлых отношениях жены Иловайского с дочерьми, Марина Ивановна углублённо и психологически бесстрашно размышляет над неожиданным вопросом: «так ли уж обязана» женщина любить своих детей от нелюбимого мужчины и можно ли осуждать её в случае отсутствия этой

любви? В цветаевском мире вопросы подобного рода возникали не раз, и она всегда старалась честно и бесстрашно на них ответить.

Некоторые записи молодой Марины, даже о маленькой Але, тревожно диссонируют с преобладающей в этих описаниях романтически восторженной тональностью, и их так же жутко читать, как самые страшные страницы романов Достоевского. Вспомним её очерк «Октябрь в вагоне». Когда тревога за жизнь мужа уже отступила, когда, доехав до Москвы и уже зная, что Сергей жив, Марина Цветаева вспоминает своё напряжённое состояние в вагоне и с поистине «достоевской» неудержимостью в самораскрытии пишет:

«Ни разу — о детях (не подумала). Если Серёжи нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без Серёжи».

Жутковато звучит это «согласие» на общую гибель семьи. Катастрофой такую обречённость маленькой дочки Марина Цветаева не ощущает, катастрофой она ощутит совсем другое...

В записях московского периода, где говорится о медлительности маленькой Али в детских играх, требующих подвижности и быстроты, и о том, что дети её оскорбляют и даже бьют, нет той трагической окрашенности, что так ощутима в её жалобах на «чужое» себе в характере Али. Мать очень огорчало, что дочь не любит шумные игры именно из-за своей в них неловкости, а не из-за тяги к уединённости, как это было у самой Марины в детстве.

«Алю дети в бальмонтском саду дразнят <...> и кидают в неё камнями — хорошо одетые приличные дети — мальчики и девочки — от 10-ти до 15-ти лет. И когда я сегодня заступалась за неё — “вы большие — и вы мальчики, т. е. рыцари” — под рёв, визг, фырканье и беснование всего двора — несколько девочек хором: — Рыцари?..- Пффф... Хи-хи-хи... Хо-хо-хо... Эти времена прошли... — Но взгляните, какая она маленькая и худая! — А мы большие и полненькие, и мы с такой выдрой играть не желаем, и

она здесь никому не нравится, и пока она здесь не появилась, никто не кидался камнями... Потом я — Мирре: — Миррочка, вы вот с Алей от детей терпите, а я от взрослых, только тысячу раз хуже. — Не надо плакать. Если бы я от каждой обиды плакала, я бы из слёз не выходила... (Весёлая перспектива для детей! Сначала камнями — в голову, — если не прошибут и выживут — камнями в сердце — а потом камень и на сердце и на голову. — Жизнь)». (Записная книжка. 1920, 14 мая).

В цветаевской поэзии и прозе, особенно эпистолярной, часто звучат с трагическим надрывом похожие мотивы: глобальная жалоба на враждебный мир, всегда обижающий и больно ранящий её. Но в этих конкретных словах не слышно (или почти не слышно) *отдельной* боли за дочку, травимую детьми и даже побиваемую камнями. Невольно вспоминается травля несчастного мальчика Илюшеньки в «Братьях Карамазовых» — полной аналогии, слава Богу, здесь нет, но всё же...

В восприятии Марины Цветаевой преобладают мгновенно рождающиеся в её поэтическом сознании ассоциации («вы от детей терпите, а я от взрослых»), и возникает поразительный вывод: «только в тысячу раз хуже» — то есть ей от взрослых «в тысячу раз хуже», чем маленькой Але — от детей. Но кто может это измерить? Марина Цветаева, так подробно помнящая своё детство, не могла не знать, как остры детские переживания, какой глубокий след на всю жизнь оставляют детские душевные травмы. Живая боль ощущима именно в словах о том, как она «побиваема камнями», падающими «на сердце и на голову». Что касается горького размышления о «весёлой перспективе для детей», оно на фоне предшествующих слов звучит всё же более абстрактно-обобщённо. Думается, что поразительное отсутствие отдельной мысли о будущей судьбе дочери парадоксально связано с ощущением глубочайшей их связанности — неразделимости.

Это подтверждается гораздо более поздними цветаевскими словами из письма Анне Тесковой, написанного в то время, когда Аля заговорила о своём желании жить отдельно:

«Но я-то воображала, что это связь — нерушимая, что и речи быть не может... что никакие силы... и т. д.» (1934, 21 ноября).

Почему-то Марине Цветаевой не приходило в голову, что ту их уникальную внутреннюю связь она сама если не разорвала, то очень ослабила после рождения Мура.

«Аля растёт, пустеет и простеет. Ей десять с половиной лет, ростом мне выше плеча. Целует тебя и Пра» (М. Волошину. 1923, 10 мая).

В другой раз — чуть смягчённое юмором: «Аля огромная, вид 12-летней (10 лет), упрощается с каждым днём. С. М. Волконский говорит о ней: Аля начала с *vieillesse qui sait* (старости, которая знает) и неуклонно шествует к *qui peut* (молодости, которая может.). — Что ж! У каждого своя дорога. — Боюсь только, что к 20-ти годам она всё ещё будет играть в куклы. (Которых ненавидела, ненавижу и буду ненавидеть!) Умственное развитие её, впрочем, блестяще, но живёт она даже не детским, а младенческим!» (М. Цетлиной. 1923, 8 июня).

Промелькнул мотив опрощения Али и в одном письме Сергея Эфрона. У него, правда, это звучит совсем по-иному, без всякого трагического надрыва, скорее как весёлая констатация факта: «Аля с каждым днём всё более и более опрощается. Как снег от западного солнца растаяла её необыкновенность» (Е. Эфрон. 1923, май).

Марина Цветаева, разумеется, гораздо тяжелее переносила утрату необыкновенности своей дочери.

В 1923—1924 учебном году Аля жила далеко от родителей — в интернате в Моравской Тшебове. Она ничего не знала тогда о вошедшем в их жизнь трагическом сюжете — о любви Марины к Константину Родзевичу. Аля знала лишь о внешней стороне их жизни: что Марина Ивановна и Сергей Яковлевич попытались найти возможность жить в Праге, что это оказалось сложно. В одном из писем Марины Цветаевой об этом сказано так: «Прага такой

треклятый город, что в нём уже Достоевский не мог найти комнату. Цены непомерные, хозяйки лютые» (М. Цетлиной. 1923, 11 августа).

Они с трудом продержались год. Ариадна Эфрон вспоминала:

«... И вновь наша семья перебралась за город, и возобновилось наше кочевье по знакомым деревням — Иловищам, Мокропсам, Вшенорам. Как всегда, Марина много работала, но больше, чем всегда, — по контрасту с Прагой, — уставала и раздражалась от быта и вечных его нескладниц и несуразностей; тосковала о твёрдой почве под ногами — после недавнего асфальта особенно тяготила грязь, в которую под дождями превращались деревенские тропки и дорожки. Один из отдалённых уголков очередной деревни, в который мы забрались, так и был прозван знакомыми: “эфроновские грязи”. <...> Как думается теперь, эмигрантское деревенское житьё-бытьё ещё хранило в себе черты тогда недавнего для многих дачного дореволюционного обихода. Ходили друг к другу в гости: званые или — как снег на голову; справляли бесконечные именины; устраивали неторопливые совместные прогулки, пикники; любительские спектакли, вечеринки, детские праздники и литературные чтения...» («Страницы былого»).

Так жили взрослые.

Ариадна Сергеевна очень тепло вспоминает радость рождественских праздников: их ещё маленькая (до рождения Мура) семья начинала дружно готовиться к этим дням задолго до их прихода, своими руками делая ёлочные игрушки, и это были такие уютные вечера... Вспоминает она и долгие летние прогулки по чешским лесам и долинам, красота этих мест на всю жизнь запечатлелась в её памяти. Всё это было, но было и другое. Вот отрывок из дневника десятилетней Али:

«День таков: встаём часов в восемь, Марина готовит завтрак, а я убираю все постели, два стола, оба подоконника и подметаю пол хозяйским веником. Потом иду за молоком, выношу помои и приношу воду из близкого колодца. После завтрака мою посуду, а Марина ставит варить обед и садится писать. Я тоже пишу свои четыре странички. После обеда иду гулять, иногда Марина берёт меня с собой на прогулку. Вечером читаю и рисую, рано ложусь спать».

И эта жизнь её продолжалась очень долго: начавшись в первый год жизни семьи в чешских пригородах, затем прервавшись на один год её обучения в гимназии и после этого года продолжившись. Не случайно, думается, свои дневниковые записи тех лет Ариадна Сергеевна с юмором назвала «протокольными» — о внутренней жизни её в них нет ни слова, поэтому остаётся много вопросов, ответы на которые можно лишь предполагать. Сравнивала ли двенадцатилетняя Аля свою жизнь в родительском доме, куда вернулась после года отсутствия, с жизнью в интернате, в окружении ровесников? Скучала ли по ним? Жалела ли о том, что её забрали оттуда? Или, наоборот, радовалась этому — хотя бы как избавлению от переэкзаменовки по арифметике?

Это особый сюжет её жизни — один год (всего один!) пребывания в интернате вдалеке от родителей. Всего один год традиционного образа жизни 11—12-летней девочки: учёба в гимназии, жизнь среди ровесников. Марина Ивановна и Сергей Яковлевич относились к этому очень по-разному.

«В конце августа 1923-го родители отвезли меня в Моравску Тшебову, маленький, пограничный с Германией городок, где находилась русская гимназия-интернат для беженцев. Серёжа подготовил меня по арифметике, к которой я была идиотически неспособна, Марина попыталась подогнать грамматические основы под беглое моё писанье и чтение взахлёб; ещё я выучила латинский алфавит и длинную молитву «Верую» — короткие знала и до того. Марине не хотелось меня отпускать: по старинке она считала, что девочкам образование ни к чему, и — боялась разлуки. И на разлуке, и на образовании настоял отец. Кроме того, в гимназии работали в качестве воспитателей недавние однополчане отца, супруги Богенгардты. <...> У них остановились Марина и Серёжа на недолгое время моих приёмных экзаменов — потом родители расстались со мною до Рождества...»

И Аля окунулась в новые впечатления.

«... Судьбы детей, «заключённых» в продолговатые белые баракы интернатского городка и отгороженных от окружающего глухой

кирпичной стеной, были однообразно причудливы и бесконечно печальны. После отбоя в дортуарах девочки рассказывали о себе, о близких, которых многие уже потеряли. При свете ночника возникали неведомые мне русские города и городишки, дома, квартиры, именья, семьи — потом ухабистые пути бегства, крошечные трущобы сказочного Константинополя и его притоны, в которых “танцевала” или “пела” мама — или старшая сестра...

После подъёма все были дети как дети; учились, играли, плакали, шалили, дразнились, мирились. И когда однажды в тшебовское захолустье прибыл, в поисках наших “сенсационных” автобиографий, корреспондент какой-то французской газеты, многие из младших не сумели их написать, настолько «неинтересным» казалось им пережитое. Ну а некоторые начали просто фантазировать на заданный сюжет. Так, один милый мой маленький товарищ начал своё жизнеописание словами: «Когда я родился, мне было пять лет», а закончил фразой: «Там меня съел лев, там меня и похоронили».

Директора звали Адрианом Петровичем; его именины отмечались торжественно и благолепно. <...> Я <...> нарисовала какие-то ужасные — со страха испортить бумагу — фиоритуры и написала поздравление в стихах. Хоть и сочинялось оно от лица первого класса, начало его получилось несколько «личным»: «Как это слышать мне отрадно!/Вы — Адриан, я — Ариадна!». Забыла, что следовало за этой чушью, а жаль, наверное, было забавно...

Директор прослезился, рывком приподнял меня так, что я пересчитала носом пуговицы его жилета, прижал к груди и воскликнул: “Не знаю, как пишет мать, но дочь — прямо Пушкин!” Долго и незаслуженно дразнили меня после этого Пушкиным ...»

В письме Марины Ивановны к матери Богенгардта, породственному опекавшей впервые надолго уехавшую из дома Алю, вновь звучат те же мотивы, что в её давнем письме Е. Ланну: «Моя дорогая Антонина Константиновна <...>. Я убеждена, что Але в Тшебове хорошо, она так долго не была ребёнком, так мало умела просто — радоваться в детстве, а теперь сразу: и подруги, и правильное расписание дня, и игры, и учение. Продолжая жить со

мной, она выросла бы несчастной, я сама никогда не была настоящим ребёнком, поэтому плохо понимаю детей: чужих — боюсь, со своих (своего) чрезмерно взыскиваю. «Врачу, исцелися сам», это (в смысле воспитания) ни к кому так не относится, как ко мне». (1923, 2 ноября).

Но исцелиться не удалось, и вновь очень болезненно переживает мать естественное несоответствие подрастающей живой девочки с вымечтанным образом дочери. В каком-то смысле можно сказать, что Марину Цветаеву слишком «избаловало» то редкое совпадение мечты и реальности, что воплотилось в маленькой Але.

Поразительное ощущение возникает при сравнении двух цветаяевских писем, примерно в одно время написанных: процитированного письма к матери Богенгардта и письма к Александру Бахраху, молодому критику, переписка с которым завязалась после его чуткого отклика на её стихи. В письме к Антонине Константиновне, благодаря её за внимание и заботу об Але, Марина Ивановна говорит о том, что «Але в Тшебове хорошо». И у адресатки письма, скорее всего, не возникало сомнения в том, что Марина Ивановна рада этому. Но в письме к А. Бахраху звучит совсем иная мелодия. О новом состоянии одиннадцатилетней Али в нём говорится именно как о печальном, если не трагическом факте её (Марины Ивановны) жизни:

«Аля уже принята, сразу вжилась, счастлива, её глаза единодушно объявлены звёздами, и она, на вопрос детей (пятисот!), кто и откуда, сразу ответила: «Звезда — и с небес!» Она очень красива и очень свободна, ни секунды смущения, сама непосредственность, её будут любить, потому что она ни в ком не нуждается. Я всю жизнь напролёт любила сама, и ещё больше ненавидела, и с рождения хотела умереть, это было трудное детство и мрачное отрочество, я в Але ничего не узнаю, но знаю одно: она будет счастлива. Я никогда этого (для себя) не хотела. И вот — десять лет жизни как рукой снято. Это — почти что катастрофа. Меня это расставание делает моложе, десятилетний опыт снят, я вновь начинаю свою

жизнь, без ответственности за другого, чувство ненужности делает меня пустой и лёгкой...» (А. Бахраху.1923, 9 сентября).

(Годы спустя очень похоже прозвучит в тяжёлом размышлении о проблеме отъезда в СССР «предсказание» Марины Ивановны: «Мур там будет счастлив»...).

Меня очень поразило, даже потрясло это письмо. Когда дочку побивали камнями и могли быть основания для самых печальных предчувствий её будущего, слово «катастрофа» в цветаевских записях не звучало, а когда дочке стало хорошо, когда она легко и свободно почувствовала себя в новой обстановке, с новыми подругами, когда матери поверилось, что все будут любить её, — это «почти что катастрофа»? До такой степени нестерпимой была для неё мысль об отходе дочери, что через год Марина Цветаева всё-таки забрала её из гимназии (это явно было её решение), и больше Аля никогда не училась в обычной школе.

Ариадна Сергеевна, правда, говорит в своих воспоминаниях о других причинах этого решения, обрисовывая ситуацию со свойственным ей юмором:

«На летние каникулы 1924 года я приехала — из Моравской Тшебовы — самостоятельно, посаженная в поезд Богенгардтами и встреченная на пражском вокзале папой. Привезла с собой зубную щётку, тощий и поглупевший дневник, переэкзаменовку по арифметике и (наследственное!) затемнение в лёгком. Последнее окончательно утвердило Марину в убеждении, что среднее образование девочкам не на пользу, а некоторым избранным натурам даже и во вред».

Всё так, но Аля, с её врождённой чуткостью, остро ощущала тогда и материнское разочарование в ней:

«Да, она приглядывалась ко мне со стороны, вела счёт моим словам и словечкам с чужих голосов, моим новым повадкам, всем инородностям, развязностям, вульгарностям, беглостям, пустяковостям, облепившим мой кораблик, впервые пущенный в самостоятельное плаванье. Да, я, дитя её души, опора её души, я, подлинностью своей заменявшая ей Серёжу все годы его отсутствия;

я одарённая редчайшим из дарований — способностью любить её так, как ей нужно было быть любимой; я, отроду понимавшая то, чему не была обучена, слышавшая, как трава растёт и как зреют в небе звёзды, угадывавшая материнскую боль у самого её истока; я заполнявшая свои тетради ею <...> — я становилась обыкновенной девочкой».

На этих страницах воспоминаний с тонким пониманием и чувственным проникновением в душу «её Марины» талантливо воссозданы взрослые переживания матери, но ни слова не говорится о состоянии девочки, которая ощущала, что горячо любимая мама отчуждённо приглядывается к ней со стороны. В своей тетради под названием «Таруса» взрослая Ариадна говорит об этой ситуации с гораздо большей горечью:

«В детские годы она властно лепила меня по-своему, создавала меня как-то наперекор моей сущности, а когда я, подрастая, становилась самой собой, а не точным её повторением, была горько во мне разочарована».

И вот мать и дочь снова рядом. Идут последние месяцы перед рождением Мура. Необычное эмоциональное ударение звучит в строках об Але в одной из записей Марины Цветаевой:

«У Али восхитительная деликатность — называть моего будущего сына: «Ваш сын», а не — «мой брат», этим указывая его принадлежность, его — местоположение в жизни, обезоруживая, предвосхищая и предотвращая мою материнскую ревность...».

Прочитывая в своих воспоминаниях эту запись, Ариадна Сергеевна называет её «характерной» и «характерной». Но невольно возникает вопрос: была ли проявлена в ответ материнская деликатность по отношению к подрастающей дочери? Похоже, что Марине Ивановне даже в голову не приходила возможность не её, а *Алиной* ревности к будущему новорожденному. Между тем естественная забота многих матерей о предотвращении *такой* ревности своего первенца, казалось бы, особенно была необходима в случае

неповторимых отношений Марины Цветаевой с её необыкновенной дочкой. Но она была настолько уверена в самоотверженном благородстве Али, способной без всякой ревности к матери, да ещё и деликатно предотвращая материнскую ревность, любить будущего брата, что этой заботы у неё просто не было.

Аля и в самом деле была таким светлым ребёнком — этот свет Ариадна Эфрон пронесла в душе через труднейшую жизнь — что в её письмах о новорождённом звучит только чистая радость.

«Вчера, 1 февраля, в воскресенье, в полдень, родился мой брат Борис. (Марина Цветаева мечтала так назвать сына — в честь Бориса Пастернака. — *Л. К.*). 31 января мы с мамой возвращались пешком почти что из Карлова Тына, где мама лечила зубы. <...> На другое утро в нашей комнате оказалось дикое количество женщин, и меня вытурили. Когда я пришла, у меня уже был брат. Брат мой толстый (тьфу-тьфу, не сглазить), совсем не красный, с большими тёмными глазами. Я удивляюсь, как из такого маленького может вырасти большой! Он счастливый, т. к. родился в воскресенье, в полдень, и будет всю жизнь понимать язык зверей и птиц, и находить клады. Ему подарила А. И. Андреева моисеевскую корзинку. Все за мамой ухаживают. Пока целую всех крепко. Ваша Аля. Я очень рада, что у меня брат, а не сестра, брат как-то надёжнее...» (О. Колбасиной-Черновой. 1925, 2 февраля).

И очень трогательное письмо двенадцатилетней Али — ещё через неделю: «... Мой брат растёт не по дням, а по часам, у него белокурые волосы <...>. Он спит днём, а ночью плачет. Сегодня ему исполнилась одна неделя. (Как это для него много!) <...> Мама уже может садиться и поворачиваться и всё ест...» (Ей же).

Теперь Аля вновь впряжена в ежедневные домашние хлопоты, гораздо более трудные, чем до рождения Мура, и Марина Ивановна пишет о ней с сочувствием:

«... ещё вопрос Али, — ей тоже трудно, хотя она не понимает. Сплошные вёдра и тряпки, — как тут развиваться? Единственное развлечение — собирание хвороста. Я вовсе не за театр и

выставки — успеет! — я за детство, т. е. и за радость: ДОСУГ! Так она ничего не успевает: уборка, лавка, угли, вёдра, еда, учение, хворост, сон. Мне её жаль, п. ч. она исключительно благородна, никогда не ропщет, всегда старается облегчить и радуется малейшему пустяку. Изумительная легкость отказа. Но это не для одиннадцати лет, ибо к двадцати озлобится люто. Детство (умение радоваться) невозвратно...» (О. Колбасиной-Черновой. 1925, 26 января).

Позднее, когда выросшая Аля стала роптать, Марина Ивановна в письмах преуменьшала загруженность Али в детстве и отрочестве, но она сама оставила «документальные» свидетельства очень тяжёлой жизни Али в то время. А насчёт замечания, что Аля в жизни ещё всё успеет, — жизнь обманула. Мур тоже много раз выражал в своём дневнике уверенность, что у него ещё много жизни впереди...

О благородстве Али и о трудной её жизни пишет в это время и Сергей Яковлевич: «Аля — девочка с золотым сердцем. Она самоотверженно привязана к Марине и ко мне. Готова от всего отказаться, от самых дорогих ей вещей, чтобы доставить нам радость, подарить что-нибудь. Прекрасно пишет (совсем необычайно) <...>, страстно любит читать. Книги проглатывает и запоминает до мелочей. Рисует так, что знакомые и друзья только рты разевают, открывая её альбомы. <...> Но ей трудно живётся. Она много помогает по хозяйству, убирает комнаты, ходит в лавочку, чистит картофель и зелень, моет посуду, нянчит мальчика и т. д., и т. п. Тяжесть быта навалилась на неё в том возрасте, когда нужно бы ребёнка освободить от него» (Е. Эфрон. 1925, 21 июля).

Сложное чувство вызывают эти письма. «Я за детство, т. е. и за радость!» А ведь останься Аля учиться в гимназии, её детство могло быть совсем иным. Давно ли Марина Цветаева писала: «Продолжая жить со мной, она выросла бы несчастной». А там, в Моравской Тшебове, Аля научилась просто радоваться. Поразительно, что Марина Ивановна, так часто размышлявшая о возможных

поворотах судьбы в сослагательном наклонении, думая об Але, ни разу не вспомнила об этом, в общем-то насильственно оборванном, варианте её жизненного пути.

В своей книге «Страницы былого» Ариадна Эфрон остановилась на 1925 годе — годе рождения Мура, дальше не пошла. Слишком многое тормозило её перо...

Во Франции Аля, видимо, перестала вести дневник. (Во всяком случае, об этом ничего не известно.) Неизвестны и её письма этого времени, да и были ли они? Её голос с 1925 до 1937 года почти не долетает до нас. Она не писала в те годы письма в Россию, потому что уехала оттуда маленьким ребёнком и там не осталось друзей.

О жизни её во Франции, и о том, какой была Аля в 16, 18, 20 лет и далее, и о трагедии отчуждения между нею и матерью в тот период многое сказано в письмах Марины Ивановны и в воспоминаниях знавших семью людей.

В год переезда семьи из Чехии в Париж Але 13 лет. Она учится дома. Позднее, уже в юности, она училась живописи: сначала — у художницы Натальи Гончаровой, затем — в школе живописи при Лувре. Школьных воспоминаний она была насильственно лишена. Не совсем ясно, почему Сергей Яковлевич, убеждённый в необходимости образования для дочери и один раз сумевший настоять на своём, больше, по всей видимости, к этому вопросу не возвращался. И тяжесть быта так и не была снята с её детских плеч.

Но «обыкновенной девочкой», чего так опасалась Марина Ивановна, Аля не стала. В цветаевских письмах этого времени много говорится о её одарённости.

«Аля нарисовала чудесную вещь: жизнь, по месяцам Нового Года. Январь — ребёнком из камина, февраль — из тучки брызжет дождём, март — сидя на дереве, раскрашивает листву и т. д. Она бесконечно даровита, сплошной Einfall (причуда)». (А. Тесковой. 1929, 1 января).

«Два дара: слово и карандаш (пока не кисть), училась этой зимой (в первый раз в жизни) у Натальи Гончаровой, т. е. та ей давала быть».

И вновь продолжается едва ли не с рождения Али начавшееся сравнение: «Два дара: слово и карандаш (...). И похожа на меня и не похожа. Похожа страстью к слову, жизнью в нём (о, не влияние! *рождение*), непохожа — гармоничностью, даже идилличностью всего существа, (о, не от возраста!), помню свои шестнадцать...» (Р. Ломоносовой. 1929, 12 сентября).

Как неотступно занимает Марину Цветаеву это сложное сходство-несходство! И как «ненасытимо», говоря её языком, анализирует она его:

«Очень красива, выровнялась, не толстая, но крупная — вроде античных женщин. Моей ни одной черты, кроме общей светлости» (А. Тесковой. 1931, 8 октября).

«Моей ни одной черты» — эти слова, в данном случае касающиеся лишь внешности, для не посвящённого в ситуацию человека могли бы прозвучать нейтрально, но в многолетнем контексте столь часто повторяющегося мотива в них вновь ощутима (на этот раз — в подводном течении) болевая нота.

Что же касается «гармоничности, даже идилличности всего существа»... Казалось бы, такое в семнадцатилетней дочери должно только радовать мать. Но из процитированного письма А. Бахраху (об Але в Моравской Тшебове) видно, что реакции Марины Цветаевой в этом случае, как и во многих других, не укладываются в привычные рамки. Всё больше раздражает её внутренняя непохожесть дочери на мать — её способность всем нравиться, приветливость в общении с самыми разными людьми, жизнерадостность. Лёгкость отношений с миром всегда была у Марины Цветаевой под подозрением.

«Недавно, на моем вечере стихов (20 декабря 1935 г. — Л. К.), Бунин у кассы познакомился с Алей, не зная, что моя дочь. — «Милая барышня» — и так побеседовал, прошептал с ней минут 10. В антракте — опять к ней.<...>Всю вторую часть в залу не входил, сидел с ней у кассы. Тут же пригласил её к себе — на завтра —

обедать. <...> Если бы мне большой писатель сказал: — “Милая барышня...”, я бы и в 15 лет ответила: отметила: — Меня зовут — Марина — (и подумав:) — Ивановна.<...>Потому меня не люби- ли...» (А. Тесковой. 1935, 28 декабря).

В данном случае раздражение непохожестью Али усилено нелюбовью Марины Ивановны именно к этому большому пи- сателю — Бунину. Она и не скрывала: «Я его не люблю: хо- лодный, жестокий, самонадеянный барин» (А. Тесковой. 1933, 24 ноября).

Аля тепло подружилась с Буниным и горячо полюбила его про- зу на всю жизнь:

«Бунина читаю — и за голову хватаюсь, и вскакиваю с места, и бегаю по комнате, и потрясаюсь до слёз, и опять хватаюсь за голо- ву, ай-ай-ай, что за чертовский талант! И когда бы ни встречалась, и сколько бы ни перечитывала — то же самое; то же самое, как и хлебом не наестся на всю жизнь, и водой не напиться» (В. Орлову. 1961, 17 ноября).

Навсегда запомнила Ариадна Эфрон прощание с Иваном Алек- сеевичем Буниным перед своим отъездом в СССР.

«С Буниным — живым — я простилась в 1936 г., на Лазурном побережье, в нестерпимо жаркий июльский день, в белом от зноя дворике маленького, похожего на саклю и так же прилепившего- ся к горе домика, купленного на «нобелевские» деньги (И. А. Бу- нин получил Нобелевскую премию в 1933 году. — *Л. К.*), под пальмой — от которой тени было не больше, чем от дюжины ножей. Невысокий, мускулистый, жилистый, сухощавый старик (сколько ему тогда лет было? Не так уж много...) с серебряной, коротко стриженной головой, крупным носом, брезгливой губой, светлыми, острыми глазами — поразительными, добела раска- лёнными! — одетый в холщовую белую рубаху, парусиновые белые штаны, обутый в «эспадрильи» (холщовые туфли на ве- рёвочной подошве) на босу ногу (а оставался щеголеватым и в этой одежке!), говорил мне: “Ну куда ты, дура, едешь? Ну за- чем? Ах, Россия? А ты знаешь Россию? Куда тебя несёт? Дура,

будешь работать на макаронной фабрике... (“почему именно на макаронной, Иван Алексеевич?!”) — на ма-ка-ронной. Да. Потом тебя посадят... (“меня? за что?!”) — а вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить босиком и набьёшь себе верблюжьи пятки!.. (“Я?! верблюжьи?!”)... Да. Знаешь, что надо? Знаешь? Знаешь? Знаешь? Выйти замуж за хорошего — только чтобы не молодой! не сопляк! — человека... и поехать с ним в Венецию, а? В Венецию”. И потом долго и безнадежно говорил про Венецию — я отвечала, а он не слушал, а смотрел сквозь меня, в своё прошлое и в моё будущее; потом встал с каменной скамейки, легко вздохнул, сказал — “ну что ж, Христос с тобой!” и перекрестил, крепко вжимая этот крест в лоб мне, и в грудь, и в плечи. Поцеловал горько и сухо, блеснул глазами, улыбнулся: “Если бы мне — было — столько — лет, сколько тебе, — пешком бы пошёл в Россию, не то что поехал бы — и пропади оно всё пропадом!”» (Там же).

Далее Ариадна Сергеевна с горькой иронией писала о том, до какой степени сбылось это предсказание...

Марина Ивановна, видимо, так никогда и не узнала об этом разговоре. Вряд ли Аля при очень уже напряжённых к тому времени отношениях с матерью стала бы рассказывать ей, что Бунин тоже считает её отъезд ошибкой.

Всё чаще вызывал раздражение матери частый смех Али, её лёгкий, весёлый характер. Об этом Марина Цветаева писала Наталье Гайдукевич:

«Чувствительность к звукам — знаю. <...> Але: — Не пой! Реплика (её) — Да что Вы, мама! И петь нельзя! Разве у нас (протяжно) — тюрьма — а? — Я занимаюсь. — Но даже в тюрьме, кажется, не воспрещается петь? — А у себя на службе? — Но разве у нас дома — служба? — и т. д. — Тихо говорю: — Это — ад». (1934, сентябрь).

Видимо, подобные сцены часто повторялись в те годы. И, как было сказано Мариной Цветаевой по другому поводу (в чём-то сходному), — «как всегда — оба правы».

Можно понять реакцию Марины Ивановны: у неё не было отдельной комнаты, она так остро нуждалась в тишине в часы работы, которые ей приходилось буквально вырывать у жизни. Но и реакция Али, задыхавшейся в такой напряжённой атмосфере и органически нуждавшейся в более свободном жизненном дыхании, — тоже понятна и вызывает сочувствие. Да и постоянное придирчивое материнское вглядывание в неё, пристальное, много лет назад начавшееся сравнение — «не я, не моё» — могло в конце концов вызвать у повзрослевшей Али протест.

Казалось бы, самый естественный выход для взрослой дочери — жить отдельно. Она начала резко отстаивать право на свою жизнь, свою душу, свою свободу. Но Марина Ивановна очень болезненно, со всей цветаевской страстностью и категоричностью, восприняла слова Али о её желании снять комнату — как предательство всего их общего прошлого.

Об этом — одно из самых тяжёлых писем Марины Ивановны. Оно, безусловно, свидетельствует о её болезненно нервном состоянии в тот момент, и читатель одновременно ощущает и её боль, и глубокую несправедливость её позиции. При погружении в это письмо, как мне кажется, невольно спотыкаешься буквально на каждом шагу.

«Дорогая Вера,

Если все мои письма — между нами, то это — совсем между нами, потому что это — мое фиаско, а я не хочу, чтобы меня жалели. Судить будут — всё равно. Отношения мои с Алей, как Вы уже знаете, последние годы верно и прочно портились. Её линия была — бессловесное действие. Всё наперекор и всё молча. <...> непрерывное беганье по знакомым <...>. Каждый вечер уходила — то в гости, то в кинематограф, то — гадать, то на какой-то диспут, всё равно куда, лишь бы — и возвращалась в час. <...> Третьего дня возвращается после свидания с какими-то новыми людьми, ей что-то обещавшими. Проходит в свою комнату, садится писать письмо. Я — ей: — Ну, как? Есть надежда на заработок? Она, из другой комнаты: — Да, нужны будут картинки, и иногда, статейки. 500 франков

в месяц. Но для этого мне придется снять комнату в городе. <...> — Зачем же тебе комната, раз работа как раз на дому? Ведь — только отвозить. — Нет, у меня будет занят весь день, и вообще, дома всегда есть работа (NB! если бы Вы видели запущенность нашего! т. е. степень моей нетребовательности), а это меня будет... отвлекать. Вера, ни слова, ни мысли *обо мне*, ни оборота. “Снять комнату”. Точка. Она никогда не жила одна. <...> Она отлично понимает, что это не переезд в комнату, а уход из дому — *навсегда*: из “комнат” — не возвращаются. И хоть бы слово: — Я хочу попробовать самостоятельную жизнь. Или: — Как вы мне советуете, брать мне это место? (Места, по-моему, никакого, но даже если бы...) Но — ничего. Страна заведомого решения...» (В. Буниной. 1934, 22 ноября).

Далее я приведу ещё несколько цитат из этого длинного письма, но сначала попытаюсь беспристрастно проанализировать сам повод для взрыва страстей. Когда юная Марина Цветаева сообщила отцу о своём решении выйти замуж за восемнадцатилетнего, не окончившего гимназию Сергея Эфрона, Иван Владимирович тоже с горечью отметил «стену заведомого решения»: «Ты даже со мной не посоветовалась. Пришла и — “выхожу замуж!”. — “Но, папа, как же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветовать”». Об этом диалоге сама Марина Цветаева написала в 1911 году Максиму Волошину. Она гордилась своим поведением в том разговоре: «Я вела себя очень хорошо и спокойно».

Марине было тогда 19 лет, Але в 1934 году — 22 года.

«Вера, она любила меня лет до четырнадцати — до ужаса. Я боялась этой любви, ВИДЯ, что умру — умрёт. Она жила только мною».

Но возможно ли, чтобы такое отношение дочери, пусть самой преданной и любящей, продержалось без изменений всю жизнь? И главное — может ли мать, если её волнует судьба дочери, хотеть этого?

Много лет спустя Ариадна Сергеевна размышляла: «Удивительно, что М. Ц., бывшая в непрерывном движении и росте, требовала

от человеческих отношений абсолютной стабильности — на недосягаемой для них высоте. Эти Эвересты чувств (всегда Эвересты по выси, Этны и Везувию по накалу) людям недоступны; можно вскарабкаться лишь раз, и сейчас же обратно, в долину. Воздух её чувств был и раскалён и разрежен, она не понимала, что дышать им нельзя — только раз хлебнуть! Её движение (во всём, в творчестве, да и просто в жизни дней) всегда было восхождением; движения же с вершин (чувств, талантов и т. д.) — вниз, столь свойственного людям, она не понимала; всех обитателей долин ощущала альпинистами. Не понимала человеческого утомления от высот; у людей от неё делалась горная болезнь» (Из Записной книжки. 1969).

Речь в этой записи идёт о других людях и других сюжетах жизни Марины Цветаевой, но ведь и Але — больше, чем кому-либо — приходилось дышать этим «раскалённым и разреженным воздухом»...

«И *после этого*: всего её раннего детства и моей такой же молодости, всего совместного ужаса Советской России, всей чудной Чехии вместе, всего Муриноного детства: медонского сновиденного парка блаженных лет (лето) на море, да всего нашего бедного медонско-кламарского леса, после всей совместной нищеты в её — прелести (грошовых подарков, жалких и чудных ёлок, удачных рынков и т. д.) — без оборота».

Но был ли Медонский парк таким сновиденным для Али, страдающей от многолетней прикованности — обязанности ежедневных прогулок с младшим братом? Если бы Марина Цветаева вспомнила в ту минуту, когда писала эти строки, свои давние, в июне 1917 года написанные стихи, посвящённые маленькой дочери!

Але

А когда — когда-нибудь — как в воду
И тебя потянет — в вечный путь,
Оправдай змеиную породу:
Дом — меня — мои стихи — забудь.

Знай одно: что завтра будешь старой.
Пей вино, правь тройкой, пой у Яра,
Синеокою цыганкой будь.
Знай одно: никто тебе не пара —
И бросайся каждому на грудь.

Ах, горят парижские бульвары!
(Понимаешь — миллионы глаз!)
Ах, гремят мадридские гитары!
(Я о них писала — столько раз!)

Знай одно: (твой взгляд широк от жара,
Паруса надулись — добрый путь!)
Знай одно: что завтра будешь старой,
Остальное, деточка, — забудь.

А в письме Вере Буниной 1934 года (в продолжении): «А еще — ПАРИЖ: улица, берет на бок, комплименты в метро, роковые женщины в фильмах, Lu et Vu (что и зрелище — *франц.*) с прославлением всего советского, т. е. «свободного»... Вера, поймите меня: если бы роман, любовь, но — никакой любви, ей просто хочется весело проводить время: новых знакомств, кинематографов, кафе, — Париж на свободе».

Об этом же Марина Цветаева в те же дни пишет Анне Тесковой:

«... это, прежде всего, уход из дома. Для того и делается. Не переезд в комнату, а в другую жизнь: отдельную, свободную, парижскую, с кафе и кинематографами, <...> в редакции <...> шутки, хохот, новые знакомства. <...> Ей не на работу нужен весь день, а на свободную жизнь — без меня» (1934, 21 ноября).

Как счастлива была юная Марина, когда Макс Волошин подарил ей «Коктебель на свободе»! Коктебель с весёлыми розыгрышами, дальними прогулками, поэтическими вечерами на башне Макса! И были в её Коктебеле, на всю жизнь любимом, где она была счастлива так, как больше никогда в жизни, и шутки, и хохот, и новые знакомства — всё то, о чём годы спустя она писала с таким высокомерным отчуждением.

Возможно, это сравнение показалось бы Марине Цветаевой оскорбительным: «Париж на свободе» — это в её восприятии нечто чужеродное, вульгарное и даже низкопробное, предполагающее снижение уровня. Но ведь и атмосферу Коктебеля, любимую ею и её друзьями, разные люди воспринимали по-разному. Иван Владимирович Цветаев скорее всего был бы шокирован, если бы ему довелось увидеть ту жизнь вблизи. Известно, что Анна Андреевна Ахматова не любила Максимилиана Волошина и его Коктебель, считая многое в сложившемся там укладе безвкусным и не глубоким. И не о том, разумеется, речь, кто был прав — Марина Цветаева или Анна Ахматова — речь о праве человека самому выбирать свою жизнь, свой путь, своих друзей...

Марина Цветаева, однако, зная, разумеется, все эти аргументы в защиту Али, в глубине души не согласна с ними — не признаёт этого права именно **ДЛЯ СВОЕЙ ДОЧЕРИ**, что вызывает в выросшей Але естественный протест. Она ведь тоже помнила памятью своего раннего детства тот Коктебель Марины...

Много лет спустя Ариадна Сергеевна писала: «Вы спрашиваете меня насчёт наших отношений с мамой. Брата, так на неё похожего, она любила больше, относилась к нему мягче, чем ко мне. Но меня любила тоже, иначе, чем сына, и иначе, чем когда я была маленькой. (...) Любила во мне ум, быструю реплику, поэтическое чутьё, щедрость, моё рисованье и писанье. Очень многое во мне просто раздражало её. По отношению ко мне, по мере того как я росла, она делалась всё более деспотичной, её раздражала моя пробивавшаяся (впрочем, весьма умеренно) самостоятельность. В наших неполадках всегда формально была виновата она, а по-настоящему я — злившаяся, неподдававшаяся, *сравнивавшая свою молодость с её*» (А. Цветаевой. 1945, 6 января; курс. мой. — Л. К.). (Нельзя забывать, что о своей «виноватости» писала уже не та Аля, что так рвалась тогда в свою «отдельную» жизнь, на которую безусловно имела право, как каждый «выросший ребёнок», а сломленная страшной смертью матери, тяжело уставшая от жизни женщина...). Это писалось «из лагеря в лагерь».

Вернёмся опять к цветаевскому письму Вере Буниной.

«Теперь — судите. Я в её жизнь больше *не* вмешиваюсь. Раз — без оборота, то и я без оборота. (Не только внешне, но внутри.) Ведь обычными лекарствами необычный случай — не лечат. Наш с ней случай был необычный и м. б. даже — единственный. (У меня есть её тетради.) Да и моё материнство к ней — необычайный случай. И, всё-таки, я сама. Не берите эту необычайность как похвалу, о чуде ведь и народ говорит: Я — чудо; ни добро, ни худо. Ведь если мне скажут: — та́к — все, и та́к — всегда, это мне ничего не объяснит, ибо два семилетия (это — серьезнее, чем “пятилетки”) было не как все и не как всегда. Случай — из ряду вон, а кончается как все. *В этом* — тайна. И — “как все” — дурное большинство, ибо есть хорошее, и в хорошем — так не поступают. Какая жёсткость! Сменить комнату, всё сводить к перевозу вещей. Я, Вера, всю жизнь слыла жёсткой, а не ушла же я от *них* — всю жизнь, хотя, иногда, КАК хотелось! Другой жизни, себя, свободы, себя во весь рост, себя на воле, просто — блаженного утра без всяких обязательств. 1924 г., нет, вру — 1923 г.! Безумная любовь, самая сильная за всю жизнь, — зовёт, рвусь, но, *конечно*, остаюсь: ибо — Серёжа — и Аля, *они*, семья, — как без меня?! — «Не могу быть счастливой на чужих костях» — это было моё последнее слово <...> Но семья в моей жизни была такая заведомость, что просто и на весы никогда не ложилась. А взять Алю и жить с другим — в этом, для меня, было такое *безобразие*, что я бы руки не подала тому, кто бы мне это предложил...».

(Об этом почти теми же словами говорится в уже цитировавшемся письме Анне Тесковой: «М. б., всё это — вполне нормально: выросла, надоело дома — хочется собственной жизни — ей 20 лет: веселья! Но я-то воображала, что это связь — нерушимая, что и речи быть не может... что никакие силы... и т. д. А — какие — там — силы! Просто — надоело мыть посуду, а там — ресторан. Надоели укоры в 1 ч. ночи — а там — свобода! Эта простота-то меня и сражает. Я для неё — мытьё посуды + уборка её собственной комнаты. Она всё забыла. <...> И на Мура не оглянулась. (...) Анна Антоновна, жёсткой всю жизнь слыла и слыву — я. А помните мою «Поэму конца»? (Прага, 1924). Ведь как

меня человек любил, как звал! Но я не могла, помню своё ему последнее слово: — Я не могу жить с язвой. Вы для меня — чистая рана, а разбей я семью — будет язва, и она меня загрызёт») (1934, 21 ноября).

Письмо к Вере Буниной полно такого раскалённого страдания, что может показаться кощунственной попытка объективно оценивать тот верхний его пласт, где идёт рассуждение, подчинённое определённой логике. И всё же... Ведь сама Марина Ивановна, обращаясь к Вере Буниной со словами «Теперь — судите!», ищет не только сочувствия на эмоциональном уровне, но и апеллирует к разуму. Вспомним запись в одной из её Записных книжек: «Стоит мне начать рассказывать человеку о том, что я чувствую, как мгновенно следует реплика: “Но ведь это же рассуждение!” Чёткость моих чувств заставляет людей принимать их за рассуждения».

И вот, обращаясь именно к рассуждениям, требующим диалога, читатель невольно ставит себя на место адресата. Ведь было же — не могло не быть — ответное письмо Веры Буниной. Что она могла сказать Марине Цветаевой в ответ? Безмерно жаль невосполнимой утраты — письма Веры Буниной и Анны Тесковой, бережно хранимые Мариной Цветаевой и оставленные ею при отъезде в одной из частей своего архива, не сохранились. И тогда возникают вопросы...

В письме к Евгению Ланну, где речь шла о сложности её материнского чувства к маленькой дочке, Марина Цветаева утверждала: «У меня разумное и справедливое сердце». Понятия «справедливость», как и «здравый смысл», всегда признавались важными в её системе ценностей. Незадолго до начала войны она писала Але в лагерь, что, слушая радио, рукоплещет редким проявлениям простого здравого смысла, и даже утверждала, что в нём — Поэзия.

Но смогла бы честно стремившаяся всегда «дойти до самой сути» Марина Цветаева, руку на сердце положив, повторить это утверждение, если бы перечитала это своё письмо Вере Буниной, находясь не в таком раскалённом состоянии? В самом деле, справедливо ли сравнивать тот её «не уход» из своего дома — и попытку Али (не состоявшуюся из-за безденежья) переехать в свою комнату? Ведь тогда Марина Ивановна не оставила СВОЙ дом, где она

была (и осталась) женой, хозяйкой и матерью. А её дочь в 22 года хочет уйти в свою жизнь — из дома РОДИТЕЛЬСКОГО. Как можно было не заметить это принципиальное и очевидное различие? (Если помнить об этом различии, особенно странно звучит материнский упрёк Але: «И на Мура не оглянулась». Аля очень много помогала Марине Ивановне с маленьким Муром, очень его любила, но всё-таки он ей «всего лишь» младший брат, и Аля никак не должна была «при живой матери» заменять ему мать...).

Из своего родительского дома, от одинокого отца юные Марина и Ася, которые были тогда значительно моложе Али, ушли именно «без оборота». Марине и в голову тогда не пришло остаться, пусть вместе с Сергеем, в доме в Трёхпрудном, чтобы не оставлять отца. И — что не менее важно для чистоты сравнения — Ивану Владимировичу не пришло в голову осудить выросших дочек. А ведь отец оставался тогда совсем один. И он был гораздо старше, чем Марина Ивановна в 1934 году, и был очень болен. В конце письма она вспоминает отца, его физическое состояние в последние годы, потому что у неё впервые заболело сердце. Но обе эти ситуации почему-то не сравнивает. Зато сравнивает свой и Алин выбор. Она пишет о своём «неможении чужого страдания», о своей жертве «безумной любовью» ради семьи и т. д. — всё это было бы справедливо, если бы речь шла только о Сергее Яковлевиче. Но причём здесь выросшая Аля? Как не корректно это сравнение! Поистине в тот момент Марина Ивановна пребывала в каком-то трагическом ослеплении...

И ещё один поворот этой темы в другом письме Марины Цветаевой — к Наталье Гайдукевич: «Прошлой осенью, когда она во что бы то ни стало решила поступить на место — очень трудное и невыгодное и совсем непонятное — помощницей к зубному врачу — я ей сказала: “Аля, ты знаешь, кто я и что я. Мне нужно два часа утром для писания. У меня никого нет на выручку. Своей службой ты меня обрекаешь на неписание. Думай”». (1934).

Муру в это время было уже 8 лет. С восьмилетней Алей, уже тогда много помогавшей матери по дому в России 1920 года, Марина

Ивановна ни на чью иную выручку не рассчитывала — и писала. Более того: уже тогда Аля утешала и поддерживала её, была ей душевной опорой. Марина Ивановна за долгие годы привыкла к этой постоянной опоре и считала это (может быть, подсознательно) едва ли не пожизненной обязанностью дочери. Мать возмущается её ответом: «А Вы думали — я всю жизнь буду служить у Вас *femme de menage* (домработницей). И — мой ответ: Для *femme de menage* ты слишком плохо служишь. Так служат только дочери ...»

Похоже, Марина Цветаева горда своей хлёсткой, чеканной формулировкой. Явно продолжается её трагическое ослепление, порождённое очень тяжёлым нервным состоянием, — в обычном состоянии строгая логическая последовательность в попытках постигнуть сложную психологическую ситуацию ей не изменяла. Но в данном случае её ответ с явным ощущением правоты режуще обнажает неправоту: ведь он же не о том. Аля говорила не о качестве своего домашнего служения, а о том, что, каково бы оно ни было, оно не может длиться всю её жизнь.

Многого в сказанном тогда взрослой дочерью Марина Цветаева не слышит — не хочет слышать. «Она меня непрерывно судит: я не дала ей среднего образования (дала 6 лет школы живописи), я загубила её детство и юность (каждое утро с 10 ч. до 12 ч. гуляла с маленьким Муром в чудном парке<...>, а потом в медонском лесу, и нерадиво мыла посуду...» (Н. Гайдукевич. 1934).

Ранее уже шла речь о том, что, судя по письмам Сергея Яковлевича, по детскому дневнику Али, по записям самой Марины Цветаевой тех лет, Аля очень рано — и в гораздо большей степени, чем сказано в этом письме! — была «впряжена» в домашние хлопоты, но дело даже не в этом. Вспоминала ли Марина Цветаева, когда писались эти поразительно несправедливые слова, свою юность — Тарусу, Коктебель, поездку летом в Париж в 16 лет?

Аля не ходила в школу, не гуляла после уроков с подругами — гуляла с маленьким братом, а потом возвращалась домой и помогала по хозяйству. И так каждый день. Когда после бегства Сергея

Эфрона из Франции Мур два года не имел возможности посещать школу и занимался дома с учителем, во многих цветаевских письмах звучит сочувствие сыну, который любит быть с товарищами, а сейчас вынужден скучать в одиночестве.

Но ведь Аля была не менее (на самом деле гораздо более!) общительна, чем брат. Почему же жалость к её тяжёлой жизни (во многом «не детской»...), звучавшая в цветаевских письмах чешского периода, совсем не слышна теперь? Слышны лишь обвинения. Как понять это длящееся ослепление?

В 1935 году Марина Цветаева написала Борису Пастернаку осуждающее письмо. Она не понимала, как мог он, будучи в Париже на Конгрессе защиты культуры от фашизма, не захватить после этого к родителям, которые жили в Германии, и, конечно, ждали сына.

«... право, тебя нельзя судить, как человека <...> Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймёт — не жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я в этом, *обратное* тебе: я *на себе* поезд повезу, чтобы повидаться (хотя, может быть, так же этого боюсь и так же мало радуюсь). <...> Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только — форма, контур сути, необходимая граница самозащиты — от *вашей* мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Борис Пастернак. Ибо вы в *последнюю минуту* — отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была *только человек*. Я знаю, что ваш род — выше, и *мой* черёд, Борис, руку на сердце, сказать: — О не вы: это я — пролетарий. — Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А *все* — любили. Это было печение о *своей* душе. <...> С собой (ду — шой) я была только в своих тетрадах и на одиноких дорогах — редких, ибо я всю жизнь — водила ребёнка за руку. <...> Роберт Шуман *забыл*, что у него были дети, число забыл, имена забыл, факт забыл, только спросил о старших девочках: всё ли у них такие чудесные голоса? Но — теперь ваше оправдание — только *такие* создают *такое*. Ваш был и Гёте, не пошедший проститься с Шиллером и

Х лет не поехавший во Франкфурт повидаться с матерью — бережась для Второго Фауста — или ещё чего-то <...>. Я сама выбрала мир нечеловеков — что же мне роптать?.. » (1935, конец октября).

Итак — «Только такие создают такое...». Это итог её размышлений на мучительную тему: можно ли судить жизнь и поступки великих творцов, применяя к ним обычные человеческие мерки? И как ужасается она в своём суровом письме «нечеловеческому» в великих! Ужасается — и противопоставляет себя Борису Пастернаку, Марселю Прусту, Райнеру Рильке, страстно утверждая: «Между вами — нечеловеками — я была только человек». Но как же тогда быть с её трагической слепотой в отношении взрослой дочери? И ещё — с таким её признанием: «Я думаю, Бог создал мир для того, чтобы кто-нибудь его любил. Так я создала Алю». (Записные книжки 1918—1920 гг.).

Можно ли так создавать своего ребёнка? По-божески ли это, по-человечески ли? Это уже тогда звучало тревожным диссонансом в общей волшебной мелодии сказочной (при всей суровости Москвы той поры) жизни с маленькой Алей. И диссонанс этот, искажающий многое, что могло бы и дальше приносить чистую радость, с годами, когда Марина Ивановна всё продолжала лепить дочь «наперекор её сущности» (так сказала Ариадна Сергеевна, через много лет осмысляя эту трагическую историю), мучительно для обеих разросся.

Не поспешила ли Марина Цветаева столь категорично «откреститься» от своего сходства с великими поэтами? Сама Аля много лет спустя считала именно так. «Бывает ли гений справедлив? Бывает ли жизнь справедлива к гению?» (А. Цветаевой. 1946, 28 мая).

Так писала она, убеждая Анастасию Ивановну не обижаться на односторонность образа младшей сестры в цветаевской прозе. Этим словам предшествует углублённое размышление: «Родная моя, не нужно обижаться за маленькую Асю, бывшую в детстве не только плаксой и ябедой. Несправедливость, зачастую жестокость, почти всегда односторонность Марины-прозаика вызвана жестокостью и несправедливостью жизни тех времён по отношению к ней...»

Ариадна Эфрон писала об этом Анастасии Цветаевой — из лагеря в лагерь — обе они в то время были заключёнными. Аля убеждала: гений живёт по своим внутренним законам и не может иначе, поэтому не нужно обижаться... Но всё же и у неё однажды с горечью вырвалось: «Мама любила меня дважды в жизни — в раннем детстве и когда я была в тюрьме». (Эти слова Елена Коркина цитирует в своём послесловии к книге «Марина Цветаева. Письма к дочери. Дневниковые записи»).

Жизнь ещё заставит Марину Цветаеву — очень жестоко заставит! — думать о дочери «отдельно от себя», тревожиться за неё, заботиться о ней, помогать в выпавших на её долю испытаниях. Произойдёт это в таких обстоятельствах, каких никто из них даже представить себе не мог.

Пока что, ещё не зная, какие трагедии ждут всех их впереди, Марина Ивановна переживает «уход» Али с поистине шекспировским накалом трагизма: «... от меня уходит, не любя, моя дочь, которой я отдала двадцать один год своей жизни, т. е. всю свою молодость» (А. Тесковой. 1934, 21 ноября). Кто из них кому отдал свою молодость — вопрос спорный, но один корреспондент Марины Цветаевой оспорил её трагическое «не любя».

Короткая по времени (лето и сентябрь 1936 года), но очень интенсивная по степени духовного напряжения переписка Марины Цветаевой с тяжело больным молодым поэтом Анатолием Штейгером — отдельный сюжет её жизни. С ним Марина Ивановна почти не делилась своими переживаниями (не касающимися их отношений), гораздо больше вникая в *его* состояние и проблемы, но однажды она по касательной, гораздо более сдержанно, в иной тональности, чем в процитированных письмах, упомянула об «уходе» Али и своём отношении к этому:

«... так случилось с Алей — и невозвратно. Она без меня блистательно обошлась — и этим выбрала — и выбыла. И только жалость осталась (на всякий случай) — и помощь (во всяком) — и добрые пожелания» (А. Штейгеру. 1936, 15 сентября).

Анатолий Штейгер ответил — не смог промолчать, не счёл возможным обойти эту болезненную тему: «Вы пишете, что Аля «блистательно» обошлась без Вас. Я Алю знаю. Нет, не блистательно... Думаю, хотя мы с ней об этом никогда не говорили, но кто Вас больше Али любит и понимает?»

Чуткие люди видели это, менее чуткие — воспринимали непростую ситуацию в упрощённо-огрублённом виде. «Дочь Аля, милая, запуганная барышня, тогда лет 18, была добра, скромна и по-своему прелестна. То есть — полная противоположность матери. А Марина Ивановна её держала воистину в чёрном теле, <...> в быту обижала, эксплуатировала дочь, это было заметно и для постороннего наблюдателя» (В. Яновский. «Поля Елисейские». Нью-Йорк, 1983).

Марк Слоним осмыслял всё гораздо глубже и пронизательнее: «Когда Аля была маленькой девочкой и писала стихи, Марина Ивановна была в восторге и гордилась необыкновенной дочерью: похожа на мать, но с годами черты вундеркинда стёрлись, и Аля выросла совершенно нормальной девочкой. «Она просто умная», — говорила Марина Ивановна с явным сожалением. От матери она унаследовала упорство, несомненное чувство поэзии и вспышки иронического юмора, некоторую замкнутость и несколько жёсткий и ревнивый характер. Я помню Алю, когда в 1931 году ей исполнилось восемнадцать лет. Это была взрослая девушка, далеко не избалованная жизнью. <...> Она помогала матери, чем могла, но без большой охоты, втайне её очень любила — несмотря на постоянные ссоры и стычки. Она — естественно — хотела быть самостоятельной, идти своей дорогой — авторитет Марины Ивановны давил её, устремления и интересы Марины Ивановны не совпадали с её собственными, гармонии в их отношениях не было. Под влиянием Сергея Яковлевича, всё более и более тяготевшего к Советскому Союзу, Аля уже с 1933 года стала помышлять о возвращении на родину, и из-за этого возникали новые размолвки с матерью» (Марк Слоним. «О Марине Цветаевой»).

Последние слова в чём-то по-новому освещают происходившее между матерью и дочерью: дело всё же не только в раздражающей мать тяге Али в «Париж на свободе». Аля под влиянием отца стремилась в СССР. Марину Ивановну особенно возмущало то, что она считала всеядностью. Она не понимала, как Аля ухитрялась совмещать свои новые интересы с художественной отзывчивостью к миру, к её миру в частности.

Точность предпочтений теперь становится в глазах Марины Цветаевой особенно обязательной — слишком несовместимы эти миры. Сама она была тогда с головой погружена в прошлое, воскрешая его, в частности в своём «Доме у Старого Пимена». Даже позиция Сергея Яковлевича, как ни горек ей был его выбор, казалась ей понятнее и достойнее. Об этом она ещё раньше, еще до самого горького письма 1935 гола, о котором уже шла речь, писала Вере Буниной:

«Серёжа сейчас этот мир действительно отталкивает, ибо его ещё любит, от него ещё страдает, дочь (скоро 20 лет) слушает почти-тельно и художественно-отзывчиво, но — это не её жизнь, не её век <...> она очень «гармонична», т. е. ничего не предпочитает, всё совмещает: и утреннюю газету, и мой отчаянный прыжок в сон, как-то всё равнозначаще — не я, не моё» (В. Буниной. 1933, 24 августа).

Это раздражение и гнев матери по поводу совмещения Алей чтения утренней газеты и художественно-отзывчивого восприятия ею затонувшего мира, который Марина Цветаева поднимала «со дна Китежа», становятся понятнее, если помнить раздражающие семью споры о советской России. Об увлечении Сергея Эфрона и Али всем происходящим там, о постоянных разговорах на эту тему, о заваленности дома газетами соответствующего направления, о страстном их желании вернуться туда — ещё одно полное отчаяния письмо:

«... Дома мне очень тяжело, даже (другому бы!) нестерпимо — у меня нет Вашего дара окончательного отрешения, я всё ещё вя-ываюсь. Всё чужое. <...> Единственное, что уцелело — сознание

доброкачественности Сергея Яковлевича и жалость, с которой когда-то всё и началось. Об Але в другой раз, а м. б. лучше не надо, ибо это — живой яд. А бедного Мура рвут пополам, и единственное спасение — школа. Ибо наш дом слишком похож на сумасшедший...» (В. Буниной. 1935, 10 января).

Поистине трагическое переплетение ослеплённостей! Может быть, не будь этой слепоты мужа и дочери, непереносимой для оставшейся зоркой Марины Цветаевой, и она не ослепла бы так ко всему, что касалось жизни взрослой Али. Впрочем, и в 1923 году Сергей Эфрон писал Максиму Волошину, что у Марины, при всём её настойчивом желании сохранить их общую жизнь, к нему слепота абсолютная. Марина Ивановна теперь плохо знает и действительно совсем не понимает Алю. Она явно недооценивает твёрдость решения дочери об отъезде:

«Со всех сторон слышу вопросы: правда ли, что Ваша дочь едет в Россию? <...> Правда была бы: — “да, собирается”... Т. е. всё время проводит среди возвращенческой молодёжи, где, ввиду культурного превосходства и приятной наружности, имеет лёгкий успех <...> “собирается”, а не — едет. Ибо — ехать: ехать на работу, а работать — не желает, кроме как языком болтать. Очень удивлена буду, когда и если действительно уедет...» (А. Тесковой. 1935, 28 декабря).

Всё это глубоко несправедливо по отношению к Але, всё было не так.

«... Вы знаете, жизнь моя теперь могла бы очень хорошо устроиться здесь — по линии журнализма. <...> Я не сомневаюсь, что теперь я могла бы здесь отлично работать — у меня много новых левых французских знакомств — но всё это для меня — не то. И собственно теперь я бегу от «хорошей жизни» — и по-моему, это ценнее, чем бежать от безделья и чувства собственной ненужности. Никакая работа, никакие человеческие отношения, никакая возможность будущего здесь — пускай даже блестящего, не остановили бы меня в моём решении. Je ne me fais point d'illusions (У меня нет никаких иллюзий — *франц.*) о моей жизни, о моей работе там,

обо всех больших трудностях, обо всех больших ошибках <...> и так хорошо, что есть страна, которая с величайшими трудностями строится, растёт и созидает, и что эта страна — моя» (В. Лебедеву. 1937, 27 января).

Страшно это читать, зная, как ошибалась Аля, сколько иллюзий у неё было. Но ехала она всё же работать, полная надежд на преодоление трудностей. Это был искренний порыв. Аля уехала на Родину. Атмосфера её проводов на вокзале, оживлённо праздничное настроение дочери поразили Марину Ивановну:

«... получила паспорт, и даже — книжечкой (бывают и листки), и тут же принялась за обмундирование. Ей помогли — все: начиная от Сергея Яковлевича, который на неё истратился до нитки, и кончая моими приятельницами, из которых одна её никогда не видала (мы жили совершенно разными жизнями, и тех людей, с которыми она проводила всё время и даже — жизнь, я впервые увидела на вокзале) — не говоря уже о её друзьях и подругах. У неё вдруг стало *всё*: и шуба, и бельё, и постельное бельё, и часы, и чемоданы, и зажигалки — и всё это *лучшего* качества, и некоторые вещи — в огромном количестве. Несли до последней минуты. Маргарита Николаевна Лебедева (Вы м. б. помните её по Праге, Воля России) с дочерью принесли ей на вокзал новый чемодан, полный вязаного, шелкового белья и т. п. Я в жизни не видала столько новых вещей сразу. Это было настоящее приданое. Видя, что мне *не* угнаться, я скромно подарила ей её давнюю мечту — собственный граммофон, для чего накануне поехала за тридевять земель на Marche aux Pucies (Блошинный рынок, толкучку — *франц.*) <...> весь рынок обойдя и все граммофоны переиспытая, наконец нашла — лучшей, англо — швейцарской марки, на манер чемодана, с чудесным звуком. В вагоне подарила ей последний подарок — серебряный браслет и брошку — камею и ещё — крестик — на всякий случай. Отъезд был *весёлый* — так только едут в свадебное путешествие, да и то не все. Она была вся в новом, очень элегантная (и чужая, но это уже давно — годы...), перебегала от одного к другому, болтала, шутила. <...> Потом *очень* долго не писала <...>. Потом начались и продолжают письма — пустые <...> отписки. Живёт она у сестры

Сергея Яковлевича, больной и лежачей, в крохотной, но отдельной, комнатке, у *моей* сестры (лучшего знатока английского на всю Москву) учиться по-английски. С кем проводит время, как его проводит — неизвестно. Первый заработок, сразу как приехала — 300 рублей, и всяческие перспективы работы по иллюстрации. Ясно одно: *очень* довольна...» (А. Тесковой. 1937, 2 мая).

В том письме Марины Ивановны, где выражалось недоверие к реальной решимости Али уехать в СССР, высказано и другое, не менее несправедливое предположение:

«Впрочем, возможно, что как «парижанка» и дочь своих родителей (нас обоих в России, во всяком случае — в Москве — знают, и с хорошей стороны) — устроится и без работы, т. е. «удачно» выйдет замуж: с прицелом, — помяните моё слово: непременно за имя, а имя там — положение, и т. д. Моей блаженной семнадцатилетней глупости — да и всей жизни — глупости! — она не повторит» (А. Тесковой. 1935, 28 декабря).

Своей «глупостью» Марина Ивановна с горькой иронией называет жизнь чувствами, без рациональных расчётов, в частности — способность выйти замуж за недоучившегося гимназиста и на всю жизнь остаться верной этой доле. Аля почему-то видится ей теперь, непонятно на каком основании, не способной на горячие чувства, на пылкие порывы, чуть ли не холодно-расчётливой. И это ещё более оскорбительно несправедливо, чем предположение о том, что она так никуда и не уедет. (Очень скоро жизнь Али подтвердит это...).

Но Аля уехала... Её поезд пришёл в Москву 18 марта — в день Парижской Коммуны. Уже на вокзале были слышны звуки праздничной музыки, по московским улицам шли колонны демонстрантов. Аля шутила, что это её так торжественно встречают. С первых же дней вид новой Москвы привёл её в восторг.

«Счастливой я была — за всю свою жизнь — только в тот период в Москве, именно в Москве и только в Москве. До этого счастья я не знала, после этого узнала несчастье», — эти слова запомнились

многим людям, в разное время встречавшимся с ней и написавшим воспоминания. Ариадна Сергеевна настойчиво утверждала это и в своих письмах более поздних лет: «Так значит ты в Болшеве. Да, мы все жили там, наша дача была недалеко от станции. Я там была по-настоящему счастлива, и сознавала, что счастлива. Не потом, путём сравнения, поняла, что то было счастье, а так просто — жила, и каждый день был сознательным, вернее — осознанным счастьем. Невероятно !...» (Б. Пастернаку. 1953, 25 февраля).

Речь идёт о Москве 1937—1939 годов. И даже о жизни на той — такой с самого начала страшной для Марины Ивановны — даче в Болшеве.

Люди, знающие первые восторженные отзывы Ариадны Эфрон о Москве 1937 года, могут ошибочно связать эти слова о счастье только с её впечатлениями о Москве тех лет, в стиле советских газет. Она искренне восхищалась полными театральными залами, новой публикой, архитектурой, магазинами... Но и не только этим.

«... Вот уже четыре месяца, как я живу и работаю в Москве. Эти четыре месяца научили меня большему, чем годы, проведённые мной за границами Советского Союза. (...) На моих глазах Москва встречала полярников, шла навстречу детям героической Испании, принимала трудовой первомайский и физкультурный молодёжный парады. На моих глазах Москва наградила участников строительства канала Москва — Волга. На моих глазах Москва справилась с изменой.

Великая Москва, сердце великой страны! <...> Как я счастлива, что я здесь! И как великолепно сознание, что столько пройдено и что всё — впереди! В моих руках мой сегодняшний день, в моих руках — моё завтра и ещё много-много-много, бесконечно много радостных «завтра». Это письмо было напечатано в 1937 году во Франции, в журнале «Наш Союз» (Сергей Эфрон состоял в его редакции).

Трудно поверить, что всё это написано той самой Алей, с детства «слышавшей, как трава растёт», умевшей так мудро думать,

чувствовать и говорить. Особенно страшно звучат одобрительные слова её о «расправе с изменой», но нельзя не помнить, как многие в те страшные годы поверили обвинениям, звучавшим на процессах над «врагами народа», и не сумели распознать цинично лживую суть происходящего. Это случилось и с такими людьми, от которых естественнее было бы ждать большей проницательности (крупными писателями Запада, не говоря уже о советских). Нам — людям другой эпохи — трудно понять то, что сейчас кажется непостижимой наивностью, но права судить слепоту (если она искренняя) людей, живших в страшные времена, у нас нет. Статья Али написана искренне — она и в личных письмах парижским друзьям писала так.

В марте и апреле 1937 года она пишет Наталье и Андрею Сологубам: «... я была на Красной площади, <...> по которой проходят на парижских экранах первомайские парады — Кремль со звёздами — мавзолей Ленина <...> — всё своими глазами, своим сердцем<...>. Магазины, отели, библиотеки, дома, центр города — что-то невероятное»; «... как бы хотелось, чтобы вы почувствовали, что во всей Москве сейчас нет ни одного человека, который не знал бы Пушкина! Что перед мавзолеем Ленина *ежедневно* стоят толпы народа, желающие ещё раз взглянуть на своего вождя...».

Можно представить, до какой степени такое опрошение дочери ранило и ужасало Марину Ивановну. (Впрочем, и она смогла до конца ощутить весь ужас происходящего в Советском Союзе только после возвращения. До этого она осуждала Бориса Пастернака за его страхи на конгрессе в Париже и не верила, что страх может как-то влиять на переписку: когда Лебедевы — парижские друзья — в ответ на возмущение Марины Ивановны тем, что Аля, много добра от них видевшая, после отъезда ни разу им не написала, обоснованно и с пониманием предположили, что её может сдерживать страх — Лебедев был бывшим морским министром в правительстве Керенского и эсером — категорично отрезала: «Страх — вещь презренная». После арестов близких она уже не была так катего-

рична...). То же самое опрошение произошло в середине 1930-х годов и с Сергеем Яковлевичем: в его газетных статьях этого времени невозможно узнать автора «Записок добровольца». Подобное искажение стиля, происходящее, когда сознанием человека овладевает ложная, грубо упрощающая мир идея, будет трагически осмыслять главный герой романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Впоследствии Аля с волнением прочитает этот роман (ещё в рукописи), это случится в Рязани во время короткой «передышки» между двумя арестами. Отбыв до конца восьмилетний срок, Ариадна Эфрон будет освобождена в августе 1947 года, а в 1949-м вновь арестована и отправлена в «бессрочную» ссылку. Она напишет Борису Леонидовичу один из самых своеобразных, глубоких и тонких откликов на роман. Она ещё вернётся к себе настоящей, но это случится не сразу. И — страшной ценой.

Но её счастье в то короткое время — это совсем другая история. Давным-давно, в самом начале своей любви к Сергею Эфрону, Марина Цветаева написала гордо и даже вызывающе:

— Мне говорят — ты странный человек! —
Другим на диво:
Быть, несмотря на наш двадцатый век,
Такой счастливой...

Она тогда не знала, что «настоящий двадцатый век» (Анна Ахматова) ещё и не начинался... Они с Сергеем успели прожить свои лучшие годы до его начала. Их дочь была счастлива в страшное время — в разгар репрессий. Уже были арестованы многие близкие люди и знакомые — Анастасия Цветаева, Осип Мандельштам, Юз Гордон (Аля дружила с ним ещё во Франции, он вернулся в СССР раньше неё), Михаил Фельдштейн (муж Веры Эфрон)...

По словам Ариадны Сергеевны, сказанным много лет спустя, она в те годы «на всё страшное лишь дивилась», переживая, разумеется, за арестованных родных и друзей. Нина Гордон вспоминает, как потрясена была Аля арестом Юза, за которого она (Нина) совсем недавно вышла замуж, как преданно и смело поддерживала её, но при этом она верила, что «ошибки», неизбежные в таком

«великом строительстве», будут исправлены. Она глубоко не вдумывалась в происходящее. Она любила и была любима. Это было для неё тогда важнее всего. Его звали Самуил Гуревич.

Впервые мы узнали его имя из книги Марии Белкиной, которая написала о том, что Аля всё же успела полюбить и быть любимой.

«Какой был он?<...> глаза тёмно-карие, выразительные, правильные черты лица, красиво очерченный рот, белозубая покоряющая улыбка. Он был умён, остроумен, ум — математически точный, юмор — злой.<...> Он работал сначала в правлении Жургаза вместе с Кольцовым. Жургаз объединял 45 изданий: газеты, журналы, издательства. Кольцов был председателем, Муля Гуревич — секретарём. Потом Жургаз расформировали, и Муля перешёл работать в журнал “За рубежом” опять же вместе с Кольцовым. Он блестяще знал языки и английским владел, как родным. Он ребёнком долго жил за границей, в Америке, где работал его отчим. Все, кто знали Мулю, утверждали, что он был компанейским парнем, остряком, незаменимым в застолье и отличным работником. И ещё он был очаровательным ловеласом <...>. Он был женат на Шуре Левинсон, <...> и у них был сын. Шуретта, как звали её друзья, его зверски ревновала. Но все романы его были кратковременными. <...> Так по крайней мере было до приезда Али. Его друзья уверяли, что Алю он действительно любил. <...>

Вся редакция уже знала об их романе, и скрывать было нечего. На её рабочем столе уже стояли цветы <...>. Обедать Аля пойдёт с ним вниз, в ресторанчик, где все его знают, где он будет раскланиваться направо-налево, знакомить её, явно гордясь ею. <...> Они хорошо смотрятся вместе, оба высокие, стройные, молодые, она блондинка, голубоглазая, он брюнет, с тёмными глазами. Они долго будут сидеть за столиком. А потом он поедет её провожать и останется на даче. Или она останется в городе...

Как-то в августе, когда они <...> гуляли ночью, Муля вдруг у самой дачи оставил Алю посреди дороги и пошёл прямо на кусты — из кустов, как ни в чём не бывало, вылез детина и насвистывая, удалился.

— За дачей следят, — сказал Муля. Взволновало ли это Алю? Вряд ли. Она была так счастлива и за этим своим счастьем была

как за бронированной стеной, от которой должны были отскакивать даже пули, и потом она ведь знала, что она так чиста, так безгрешна перед Советской властью...» (Мария Белкина. «Скрещение судеб»).

Сигналы тревоги Аля тогда не воспринимала, не хотела воспринимать. Об этом пишет Ирма Кудрова в своей книге «Вёрсты, дали...»:

«... в один из тех дней, когда Цветаева с сыном на борту парохода приближались к берегам Родины, Борис Леонидович Пастернак зашёл в Жургаз, нашёл там Ариадну Эфрон и предложил ей немного прогуляться. На улице стоял тёплый июнь, они сели на скамейку пустынного бульвара. Разговор, состоявшийся на этой скамейке, надолго врезался в память дочери Цветаевой. <...> Пастернак был в подавленном состоянии и не пытался этого скрыть. Он сказал Ариадне Сергеевне, что только что узнал об аресте Мейерхольда.

— Как всё-таки ужасно, Аля, — сказал он, — прожить целую жизнь и вдруг увидеть, что в твоём доме нет крыши, которая защитила бы тебя от злой стихии...

— Крыша прохудилась, это правда, — отвечала Ариадна Сергеевна убеждённо, — но разве не важнее, что фундамент нашего дома крепкий и добротный?»

Аля жила в своём радостном мире. Людям, не жившим в те времена, такое может показаться едва ли не кощунственным. Поэт Наум Коржавин, прошедший через арест, тюрьму, ссылку, написал:

Гуляли, целовались, жили-были,
А между тем, гнусавя и урча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам...

И никакого осуждения живой жизни не слышится в первой строке стихотворения. Но так мало времени было отпущено судьбой дочери Марины Цветаевой на это счастье... Чёрная машина пришла за Алей 27 августа 1937 года.

Лишь много лет спустя Ариадна Сергеевна Эфрон нашла в себе силы подробно вспомнить то утро:

«... мне уже давно некому сказать: «а помнишь?» — хотя бы это сказать! <...> Сегодня — первый день на тридцать шестой год с того 27 августа, когда я в последний раз видела своих близких; на заре того дня мы расстались навсегда; утро было такое ясное и солнечное — два приятных молодых человека в одинаковых «кустюмах» и с одинаково голубыми жандармскими глазами увозили меня в сугубо гражданского вида «эмке» из Болшева в Москву; все мои стояли на пороге дачи и махали мне; у всех были бледные от бессонной ночи лица. Я была уверена, что вернусь дня через три, не позже, что всё моментально выяснится, а вместе с тем не могла не плакать, видя в заднее окно машины, как маленькая группка людей, теснившаяся на крылечке дачи, неотвратно отплывает назад — поворот машины — и всё. Слезы мои пересохли за 35 лет, <...> та беда терзает меня всухую и — кому повем?» (В. Орлову. 1974, 28 августа).

35 лет... В два раза больше, чем количество лет, прожитых семьёй за границей. В записной книжке Марины Цветаевой запись об аресте Али сделана через год после него.

«(Разворачиваю рану. Живое мясо. Корочке:) 27-го в ночь арест Али. Аля — весёлая, держится браво. Отшучивается... Уходит, не прощаясь. Я: — что же ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается. Комендант (старик с добротой) — Так — лучше. Долгие проводы — лишние слёзы...»

До весны 1941 года Марина Ивановна носит передачи в тюрьму (раз в две недели — Але, в другие две — Сергею Яковлевичу). Весной начали приходиться письма Али из лагеря. До начала войны они успели обменяться несколькими большими письмами. С начала войны переписка с заключёнными была запрещена.

Это — последняя страница истории отношений необыкновенных матери и дочери. И как ни страшно это звучит, если бы речь не шла о таких запредельно трагических обстоятельствах, можно было бы сказать, что их отношения стали гораздо естественнее. Мур пришёл к пониманию масштаба личности и дара своей матери уже после её смерти. Марина Ивановна предвидела это:

«Знаю и то, что, может быть, Мур через тридцать лет (о, раньше...), когда меня давно не будет, — поймёт и меня и мою любовь, — но меня-то — не будет...» (А. Тесковой. 1934, 21 ноября).

Аля «вернулась» к «своей Маринё» в письмах из лагеря в 1941 году. Письма Марины Ивановны были безмерно важны для неё. Всё, что так долго и мучительно разделяло их, ушло. Теперь Марина Цветаева хорошо понимает свою дочь. Она знает, какие слова могут согреть и поддержать Алю, и стремится к этому.

Почти в каждом письме она пишет о том, что Самуил Гуревич собирается и очень хочет приехать к ней, предпринимает усилия, хлопочет. В одном письме даже звучит что-то похожее на извинение — за то, что не может сообщить о планах его приезда ничего определённого. И далее выражается надежда, что о подробностях он напишет сам.

Марина Ивановна всячески старается поддержать дочь практическими заботами — посылками одежды, денег, продуктов.

«Дорогая Аля! У нас есть для тебя чёрное зимнее пальто на двойной шерстяной вате, серые валенки с калошами, моржовые полуботинки — непромокаемые, всё это — совершенно новое, пиши скорей, что ещё нужно — срочно. <...> Муля нам неизменно — предан и во всём помогает, это золотое сердце. Собирается к тебе, сам всё привезёт. Пиши насчёт летнего...» (1941, 5 февраля).

«...М. б. тебе нужна — сухая зелень? («Тебе» выделено потому, что перед этим Марина Ивановна рассказывает, чего по-прежнему, как в раннем детстве, не ест Мур — Л.К.) Можно морковь разводить в кипятке, если негде варить. Ответ: 1) одеяло или шаль 2) нужна ли моя сушка. (...) Муля везет тебе целую гору продовольствия, напиши в точности — что нужней? Чеснок у меня есть, но м. б. ты его не ешь? — Свежий. — Да, тебе нужны миски или тазики? Муля собирается везти медный, а я — сомневаюсь. Ответ! Прилагаю конверт с листочком. Деньги тебе высланы давным — давно, сразу после твоего первого письма Муле. <...> О вещах не беспокойся: всё получишь, и для тебя и для товаров, — у меня свой список, у Мули — свой» (1941, 22 марта).

«Пожалуйста, радуйся башмакам! Они чудные и вечные, можно носить без калош, но есть специальные ботики. Вообще, не унывай, да ты и так — молодец! Мама» (1941, 16 апреля).

Конечно, Марина Ивановна поддерживала Алю и морально, писала, как многим людям она нужна, как радуется её письмам Мур, как волнуется за любимую племянницу Лиля, как озабочены её судьбой друзья, как хочет переписываться с ней Нина Гордон, и главное — как её любит Муля, как волнуется в ожидании её писем, рвётся приехать к ней, как сказал, что в этом вся его жизнь...

Теперь Марина Ивановна с сердечным вниманием и уважением думает и пишет именно о жизни Али (о её друзьях, о её любви) — той жизни, от которой её так страшно отрезало:

«Муля только тобой и жив, после писем повеселел, подписал договор на большую работу, деятельно собирается к тебе. Он был нам неустанным и неизменным помощником — с самой минуты твоего увода. Папе 10-го передачу приняли, ничего не знаю о нём с 10-го октября 1939 г. Тебе пишут Лиля и Нина. Вчера мы у неё были на дне рождения, я подарила ей старинную оловянную чашечку — кофейную, ты их наверное помнишь, и пили вино — за твоё здоровье и возвращение, она вспоминала, как вместе с тобой проводила этот день. Она очень худая и всё время болеет, но молодец и — настоящий человек» (1941, 22 марта).

Теперь мать и дочь связало новое, по-настоящему на равных понимание.

« — Переключка. Ты пишешь, что тебе как-то тяжелее снести радость, чем обратное, со мной — то же: я от *хорошего* — сразу плачу, глаза сами плачут, и чаще всего в общественных местах, — просто от ласковой интонации. Глубокая израненность. Но я — от всего плачу...» (1941, 23 мая).

Марина Ивановна стала гораздо сдержаннее, она позволяет себе поделиться своим состоянием только потому, что возникла

«перекличка» с тем, о чём пишет Аля. Она признала наконец право своей взрослой дочери на собственную жизнь.

Теперь она действительно, едва ли не впервые в их жизни, по-настоящему страдает за дочь и страстно желает, чтобы её жизнь состоялась. Это пришло, по горькой иронии судьбы, трагически поздно, когда возможность прожить *свою* жизнь уже была отнята у Ариадны Эфрон, как у многих и многих...

В последних своих письмах к матери Аля искренне интересуется её работой, её переводами, и Марина Ивановна отвечает:

«Очень тронута, что ты интересуешься моими переводами, их вышло уже порядочно, а ещё больше — выйдет, и всё хвалят, очно и заочно. Кончаю своих Белорусских Евреев — эту книгу переводим втроём, Державин, я и еще один, — потом будут грузины, потом — балты. Мой лучший перевод — Плаваньё — Бодлера, п. ч. подлинник — лучший. Это — моя главная жизнь» (1941, 16 апреля).

Марина Ивановна в самом деле глубоко тронута и очень ценит внимание дочери к её жизни. Делясь с ней в следующих письмах своими переживаниями (и радостями, и огорчениями), связанными с работой над переводами, Марина Ивановна заканчивает один подробный рассказ (о заказе консерватории сделать новые переводы песен Гёте с музыкой Шуберта) — о причинах, побудивших ее отказаться («...знаю, что именно эти вещи Гёте — непереводаемы») — неожиданными словами:

«Прости, что так много о себе, но мне, в общем, не с кем об этом говорить» (1941, 23 мая).

Аля пишет о книгах, которые ей удалось прочитать в камере, и это тоже доверительный и тёплый рассказ.

«Читала и перечитывала, не переводя дыхания, как никогда в жизни. Были и книги в старых изданиях — Брокгауза и Тёзки (т. е. дореволюционные издания акционерного издательского общества Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. — *Л. К.*), в частности перечтла всего Лескова, и новые издания. Как я вспоминала Вас, читая какую-нибудь чудесную книгу, вроде «Волшебной горы» Манна

или «Жизнь Бенвенуто Челлини, написанную им самим». Когда получила однотомник Пушкина, чуть не расплакалась от радости...» (1941, 4 апреля).

Марина Ивановна ещё успела послать Але в лагерь чем-то затронувшие её книги и рассказать о Борисе Пастернаке.

«Борис всю зиму провёл на даче, и не видела его с осени ни разу, он перевёл Гамлета и теперь, кажется, Ромео и Джульетту, и кажется хочет — вообще всего Шекспира. Он совсем не постарел, хотя ему 51 год, — чуть начинает седеть. У него чудный мальчик, необычайной красоты, и это — вся его любовь. Про жену он начинает спрашивать знакомых: — А может быть она — *не* красавица?? Написал и напечатал два чудесных стихотворения про жару и ночь. Там есть такая строка: «Кувшин с водою и цветами» — это он, остыв от работы на огороде. Огород у него — феноменальный: квадратная верста, и всё — огурцы. Я была у него раз на даче, прошлой осенью ...» (1941, 16 мая).

Она сообщает дочери почти в каждом письме последние сведения об отце: передачу приняли — значит, жив. Больше она ничего не знает. Пишет о годовщине их первой встречи с Сергеем Яковлевичем. Последние отголоски их общего мира... И прорывается в этом письме долго сдерживаемое:

«Аля, если бы ты знала, как я скучаю по тебе и папе. Мне очень надоело жить, но хочется дожить до конца мировой войны, чтобы понять: что — к чему...» (1941, 16 мая).

Вторая мировая война шла уже почти два года, а до начала Великой Отечественной оставалось 16 дней. Но они ещё планируют ближайшее будущее, и Марина Ивановна шлёт дочери посылки.

«Дорогая Аля! Только что — твоё большое письмо (...). Всё утро писала тебе ответ — 4 мелких страницы, авось дойдёт — уже опущено. 26-го тебе отправлены были две продовольственных посылки, весом 16 кило обе, там — всё, даже печёночный экстракт. Угостишься, и других угостишь, и посылать будем непрерывно. Муля очень

собирается ехать, но — оказывается — нужно достать разрешение здесь. Этим и занят. Я тоже приеду, но позже» (1941, 16 мая).

Это письмо написано в тот же день, что и только что отправленное — Марина Ивановна не может СРАЗУ не отреагировать на только что пришедшее письмо Али — это теперь всегда волнующее событие их с Муром жизни...

Ещё верится и во встречу с Сергеем — Марина Цветаева, как и Самуил Гуревич, с которым она часто советовалась и многое обсуждала, думает, что Сергея Яковлевича, как Алю, как Юза Гордона, отправят в лагерь или в ссылку.

И — о наступающем лете:

«Летом мы никуда не собираемся: через два месяца мне нужно уплатить вперёд пять тысяч за комнату<...>. Но у нас есть кусочек балкона, на который ход из окна, и я вчера размазала окно, и сейчас сижу с открытым (окно итальянское, открываются боковые створки) и гляжу на вербу в банке, — это мое любимое дерево, самое неприхотливое, и моя уже дала зеленые ростки и белые корешки... Буду летом ездить к ней (Нине Гордон — Л. К.) в Сокольники, она все вспоминает, как вы ездили, и помнит все семейные праздники» (16 мая 1941).

«Конец мая, а серо, холодно, дожди, деревья еле и вяло запушились, но мне так легче: совсем не хочется лета с его роскошью и радостью. Никуда не поедем, будем ездить за́город к Лиле и к одной старушке-переводчице, которая очень нас любит с Муром. У меня от мысли о за́городе — просто содроганье. Пиши о погоде — у вас, как идет весна, есть ли новое в севере. Мне все советуют съездить в Коктебель, ни за что не поеду — никогда — и никто не хочет понять — и расхваливают: красоты природы, веселье жизни...» (1941, 29 мая).

Грустные слова, конечно, особенно последние, и только Але, знающей, что значил для Марины Коктебель, помнящей детской памятью Макса Волошина и его чудесную мать, это до конца понятно...

Есть и другие слова, показывающие, что до начала войны, при всём трагизме ситуации, мысли Марины Цветаевой были о жизни: о приобретении полного собрания сочинений Лескова в обмен на альбом Брейгеля, о посылке Але разных книг:

«Ужасно жаль, что он (Самуил Гуревич — *Л. К.*) тебе моего Барса (Альманах Дружбы Народов) отправил без моей надписи, я так хотела тебе его надписать, п. ч. это мой первый перевод, сразу после Болшева и полусуществования у Лили — как только у меня оказался стол. Вчера Мур купил для тебя Новый Мир и Октябрь, в Н. М. парижские стихи Эренбурга и хороший рассказ еврейского писателя Переца «Эпидемия», и повесть сказительницы Голубковой «Два века в полвека», и большая биография Крамского, вообще — интересный номер — Аля, я перепутала: это — в Октябре, — а стихи Эренбурга — в Новом Мире. Словом, получишь и прочтёшь» (1941, 23 мая).

Аля тоже очень старается, чтобы в письмах к матери её тон звучал бодро, насколько это возможно:

«Дорогая мама, получила от Вас вчера открытку, сегодня открытку, и открытку от Мура. Очень рада, что, тьфу-тьфу не сгладить, наладилась наша переписка. Только из Ваших открыток я узнала, что и где папа, а то за всё это время не имела о нём и от него никаких известий, и не подозревала о его болезни (аресте. — *Л. К.*). Ужасно это меня огорчило. Как жаль, что не дошли до Вас мои московские открытки! Знаете ли Вы, что в Бутырках принимают, 1 раз в месяц, продуктовые и вещевые передачи? Продуктовые — масло и сахар, каждый до 3-х кило. Для подследственных — с разрешения начальника тюрьмы, после решения — просто так. Открытки Ваши читала и перечитывала, и всё так ясно представляла себе. Больше, чем когда-либо, жалела, что не была с Вами. В смысле условий в Москве мне было неплохо — идеальная чистота, бельё, хорошие постели, довольно приличное питание, врачебная помощь и главное — чудесные книги. <...> (Так пишет она о месяцах в тюрьме на Лубянке, где были допросы и пытки. — *Л. К.*). Ехать (в лагерь — *Л. К.*) мне было грустно. Надежда сильнее фактов — я всё

ждала, что, как было обещано, пойду домой. Живу неплохо, только неизвестно, надолго ли на одном месте. Если будет перерыв с письмами — не волнуйтесь, значит поехала дальше» (1941, 4 апреля).

Письма Али к Самуилу Гуревичу звучат гораздо раскованнее, прорывается в них и боль, и жгучая тоска по любимому.

«... А ты знаешь, родной мой, что мне, пожалуй, сейчас было бы легче, если бы я тогда не встретила тебя? Потому что сильнее всего, большее всего я ощущаю разлуку с тобой — всё остальное я ещё могу воспринимать в плане историческом, научно, без всякой досады включая себя в общий ход событий, но вот ты, ты, разлука с тобой, это для меня по-бабьему, по-детски непонятно, необъяснимо и больно. <...> Я стосковалась по тебе, без тебя, или как здесь говорят, за тобой. Ну ладно. Спасибо тебе, родненький, за маму и Мура — мама в своих открытках очень нежно пишет о тебе. <...> Я ужасно сержусь на то, что у меня нет детей и наверное уже не будет, и некого мне будет посылать в школу, над которой ты шефствуешь...» (1941,6 апреля).

Невольно возникают в сознании параллели: Марина Цветаева после долгой разлуки с Сергеем Эфроном в первом же письме обещала ему, что у них будет сын. И это сбылось! Насколько же страшнее Алина разлука с любимым... И так пронзительно пишет она об этом, что вспоминаются строки из цветаевской «Поэмы Конца»: «Расставание — не по-русски, не по-женски, не по-мужски, не по-божески...».

И как режуще противоестественно звучат, особенно рядом с этим обнажённо беззащитным горем разлуки (и не война разлучила), невозможные, казалось бы, в её устах слова:

«... воспринимать в плане историческом, научно, без всякой досады включая себя в общий ход событий». Свой арест — при знании, что не только ни в чём не виновата, но что ехала на родину с огромной любовью к ней и с желанием самоотверженно работать для неё — Аля воспринимает «без всякой досады»?

Несколько строк одного письма её вносят в эту странность угнетающую ясность:

«... На днях мы ездили с коллективом нашего клуба на другую командировку, на строительство большого моста. И эта небольшая поездка дала мне очень много. Когда мы выехали по дороге, которой ещё два года тому назад не было, из города, который ещё недавно не существовал, проехали сквозь тайгу, царствовавшую здесь испокон века, когда за каким-то поворотом возник, весь в огнях, огромный каркас огромного моста через огромную ледяную северную реку, мне стало хорошо и вольно на душе. Мне трудно выразить это словами, но в размахе строительства, и в этих огнях, и в отступающей тайге я ещё сильнее почувствовала Москву, Кремль, волю и ум вождя. И вот поэтому-то мне обидно, родной мой, что все мои силы ушли на никому не нужные беседы (речь идёт о допросах на Лубянке. — *Л. К.*), когда они — силы — такгодились бы здесь, на Севере. И ещё обидно мне на формулировку, с которой даже здесь не подступиться к какой-либо интересной работе. И вообще, если, по неведомым мне причинам, понадобилось посылать меня сюда, то зачем было вдобавок закрывать мне доступ к тому делу, к тем делам, где я была бы действительно полезна? <...> Ты только и думать не смей, родной мой, что я озлобилась или хотя бы обиделась — я не настолько глупа и мелочна, чтобы смешивать общее с частным, то, что произошло со мной — частность, а великое великим и останется, будь я в Москве с тобой или в Княжпогосте без тебя. Но всё же, Мулька мой, хочу быть с тобой, и чем скорее, тем лучше...» (С. Гуревичу. 1941, 1 мая).

Видимо, Аля тогда искренне думала или из последних сил старалась думать: «То, что произошло со мной — частность...». А с другими? С женщинами, с которыми она много месяцев пробыла на Лубянке (и они потом очень тепло вспоминали её, и дружба с некоторыми сохранилась на долгие годы)? Что думала Аля об их судьбах? И потом, в лагере, и ещё потом, в Туруханской ссылке, — сколько людей, сколько трагических историй пройдёт перед её глазами... Душа её была открыта этим людям, и она, конечно, ни минуты не думала, что Дина Канель, с которой она долго пробыла в одной камере на Лубянке, или Тамара Сланская — подруга по лаге-

рю, или Ада Федерольф, которую узнала после второго ареста, — в чём-то виновны.

После второго ареста в письмах Лиле Эфрон, Борису Пастернаку из Туруханской ссылки Аля больше не будет писать так. Какой же смысл вкладывала она (и Самуил Гуревич в письмах к ней) в эти странные слова — «не смешивать общее с частным»? Считала происшедшее с ней трагической ошибкой? Но ведь в тюрьме и потом в лагере ей многое открылось...

Письма Самуила Гуревича к ней тоже оставляют очень противоречивое впечатление: естественные человеческие слова любви, веры в неё, надежды на скорую встречу, и тут же — твёрдокаменные фанатичные заклинания. Ещё веря, видимо, в скорое освобождение Али, он ласково убеждает её не отчаиваться и не терять надежды:

«Малыш мой, почему тебе кажется, что у нас не будет детей? Конечно, будут, первая дочурка будет названа Ариадной, а первый сын Андреем или Андрианом (...) Ты сокрушаешься тем, что вместо счастья принесла мне горе. Это совсем не так. Счастье от тебя началось с нашей встречи, а потом всё разрасталось и стало неисчерпаемым...» (Письма С. Гуревича цитируются по книге М. Белкиной «Скрещение судеб»).

Гуревич пишет, что всё время думает и помнит о ней.

«Первого мая после демонстрации я ходил посидеть на нашу с тобой скамейку на Гоголевском бульваре. Ходил с моим братом и с твоим братом. Потом пошли в Восточный ресторан у Никитских ворот. Разговаривали о тебе и выпили за твоё здоровье...» (1941, 4 мая).

«... Послезавтра будет три года с того дня, как ты согласилась стать моей женой...» (1941, 24 мая).

Он чувствует и понимает незаурядность Али.

«... Аленка, я очень верю в тебя. Я даже немного боюсь твоего ума — необъятности твоей души. Перед этим мне чуть обидно за мою любовь, которая — вот так я чувствую — меньше, чем ты, моя жизнь...».

И — рядом с такими словами — совсем другие: «... будем работать, как истинные советские люди, которые знают, что они могут добиться конечной справедливости и признания их полноценности».

Самое страшное в этих словах — явно подразумеваемое допущение, что с «неполноценными», «не истинными советскими людьми» можно поступать так, что чудовищную несправедливость, которая выпала на долю Али и Сергея Яковлевича, по отношению ко многим другим можно признать справедливостью.

Даже если допустить, что такие вещи писались в какой-то степени с оглядкой на цензуру (письма перлюстрировали, и они оба знали это), всё же нельзя не увидеть, что ничего подобного нет в письмах Али к матери. Слишком хорошо знала она, как чужд Марине Ивановне такой язык и образ мыслей. Знала — и щадила её.

Какое-то время Аля, видимо, продолжала, как это было во Франции, считать себя более «политически зрелой» в сравнении с «наивной», «ничего в этом не понимающей», «социально дикой» матерью. А может быть, уже пришла к мысли, которую открыто, хотя не очень решительно, высказала позже? Из Рязани, где она прожила полтора года между первым и вторым арестами, Ариадна Эфрон писала Николаю Асееву, что сама она, несмотря ни на что, не жалеет о своём приезде в Советскую Россию:

«... я никогда, в самые тяжёлые минуты, дни и годы, не жалела о том, что я оставила её (Францию. — Л. К.). Я у себя дома, пусть в очень тяжёлых условиях — несправедливо тяжёлых! Но я всегда говорю и чувствую «мы», а там с самого детства было «я» и «они»... (Н. Асееву. 1948, 23 июня).

Но не могла же Ариадна Эфрон чувствовать это «мы» по отношению к следователям, мучившим её на допросах! Если речь о тех, с кем вместе страдала в тюрьмах, лагерях и ссылках, — тогда это приближается к ахматовскому: «Я была тогда с моим народом, —/ Там, где мой народ, к несчастью, был». Ариадна Эфрон имеет горькое право на эти слова...

Но Марине Ивановне Аля до самого конца писала в другой тональности: мудро поняв, что «...мама — это совсем другое. Пожалуй, она не должна была бы приезжать». Так написала она в том же

письме 1948 года Николаю Асееву. И ни разу не было в ее письмах матери слов о «великих стройках» или «мудрости вождя», в них звучало именно «совсем другое»:

«Мама, пришлите мне, пожалуйста, Вашу карточку, Мура тепешнего и маленького, и папу. Как мне жаль, что пропали все фотографии и письма, взятые у меня. Особенно жаль карточек. Неужели вещи Вы получили только летом? Я сделала всё зависевшее от меня, чтобы получили Вы их к холодам...» (1941, 4 апреля).

Марина Ивановна успела выполнить её просьбу: «... послала тебе Мура — маленького, в парке, и нас с Муром в 1935 г., на лесенке. Вот ещё две, была бы счастлива, если бы дошли» (1941, 29 мая).

Это были последние долетевшие до Али слова матери. Потом началась война. После этого — только страшные слова прощальной записки: «Передай папе и Але — если увидишь, — что любила их до последней минуты...»

С 22 июня 1941 года Аля надолго была отрезана от близких и ничего не знала. Самуил Гуревич так и не смог тогда к ней выехать, а потом почти на год и переписка оборвалась. Когда связь была восстановлена, смерть Марины Ивановны от Али долго скрывали. Она в каждом письме повторяла тревожные вопросы о причинах молчания матери и Мура, ей отвечали, что Марина Цветаева «совершает литературную поездку по стране». Самуил Гуревич очень боялся за Алю. Сохранилось его письмо к Елизавете Яковлевне Эфрон.

«24 июня 1942 года.

Милая Елизавета Яковлевна!

...С Алей я восстановил письменную связь и на днях получил от неё подтверждение того, что мои письма и деньги снова доходят. Мур тоже изредка пишет мне. Я не вполне убеждён в том, что следует теперь говорить Але о Марине <...> мне хотелось бы оставить Алю в неведении до конца войны. Судя по дошедшим до меня последним Алиным письмам, она только теперь обрела какое-то относительное душевное равновесие. Эти три года отнюдь не укрепили нервную систему Али. А ведь Аля не может не быть человеком

с повышенной болезненной чувствительностью. Это — семейное, да ещё помноженное на невероятное нагромождение несчастий и страданий. Я считал бы, что не надо сейчас подвергать Алю ещё одному душевному удару. Другое дело, когда она вернётся к нам. Тогда она сможет менее тяжело пережить утрату. Извините меня за известное резонёрство. Но надо щадить Алину чувствительность. Уж пусть она лучше думает, что с Мариной случилась иного рода беда, вроде той, что и с Алей, чем дать пищу для догадок обо всей правде <...> до сих пор я писал Але — и моему примеру следует Мур — что Марина совершает литературную поездку по стране (на самом деле Мур не следовал этому примеру — не смог; он долго вообще не писал Але и начал писать только после того, как она всё узнала — Л. К.). Всё это, я знаю, ужасно дико... Но надо щадить душевные силы Алиньки. Горячо жму Вам руку и всегда с любовью и признательностью думаю о Вас. Ваш Муля».

Его любовь ещё долго хранила Алю даже на расстоянии, в долгой разлуке. В конце концов Елизавета Яковлевна не смогла больше скрывать от Али правду. Её письмо не сохранилось. Сохранился ответ Али:

«Дорогие мои Лиля и Зина! Ваше письмо с известием о смерти мамы получила вчера. Спасибо вам, что вы первые прекратили глупую игру в молчанки по поводу мамы. Как жестока иногда бывает жалость!

Очень прошу вас написать мне обстоятельства её смерти — где, когда, от какой болезни, в чьём присутствии. Был ли Мурзик при ней? Или — совсем одна? Теперь: где её *рукописи*, привезённые в 1939 году, и последние работы — главным образом переводы — фотографии, книги, вещи? Необходимо сохранить и восстановить всё, что возможно.

Напишите мне, как и когда видели её в последний раз, что она говорила. Напишите мне, где братишка, как, с кем, в каких условиях живёт. Я знаю, что Мулька ему помогает, но — достаточно ли это? Денег-то я могла бы ему выслать.

Ваше письмо, конечно, убило меня. Я никогда не думала, что мама может умереть. Я никогда не думала, что родители *смертны*.

И всё это время — до мозга костей сознавая тяжесть обстановки, в которой находились и тот и другой, — я надеялась на скорую, радостную встречу с ними, надеялась на то, что они будут вместе, что, после всего пережитого, будут спокойны и счастливы...» (Е. Эфрон и З. Ширкевич. 1942, 13 июля).

Как эти последние слова перекликаются с мечтами самой Марины Цветаевой о жизни с «Серёженькой» после его освобождения в каком-нибудь тихом городе у моря, подальше от Москвы... Об этих мечтах, которыми Марина Ивановна поделилась с ней во время осенней прогулки в Нескучном саду в последний довоенный год, Нина Гордон напишет Але через много лет.

И сразу — в этом же письме, под ударом известия о смерти матери («... первое горе в жизни. Всё остальное — ерунда. Всё — поправимо, кроме смерти»), — главный, так и обозначенный как главный — вопрос: «Напишите мне про мамины рукописи — это сейчас самое главное».

Получив ответ, что рукописи сохранились и находятся у Лили Эфрон (большую часть цветаевского архива привёз в Москву после Елабуги и Чистополя Мур, другое долго хранилось в Москве у надёжных людей, которым Марина Цветаева доверила рукописи перед отплытием в Елабугу), Аля все годы тюрем, лагерей и ссылки мечтала увидеть эти тетради и заняться ими. Она тосковала по материнскому архиву, как по живому человеку... Но она ещё долго была отрезана и от архива матери, и от немногих оставшихся близких.

Однажды Аля чуть не погибла: её отправили в штрафной лагерь — в тайгу, на лесоповал. Перед этим её пытались завербовать — доносить на лагерных подруг.

«Аля располагала людей своей душевностью, интеллектом, своим необычным обаянием. К ней люди тянулись. Но <...> произошла осечка — Аля наотрез отказалась выполнять порученное ей задание. Ей <...> пригрозили — сказали, что сгноят в штрафном лагере, и сгноили бы...» (Мария Белкина. «Скрещение судеб»).

Аля давно уже понимала, что в лагере нет никаких «врагов народа», а есть товарищи по несчастью. Спасение пришло чудом. Мария Белкина после освобождения Ариадны Эфрон слышала эту историю от неё самой и рассказала об этом в своей книге.

Спасла Алю та самая «круговая порука добра», которую так ценила всегда Марина Цветаева. Подруга Али Тамара Сланская написала письмо Самуилу Гуревичу. Оно могло и не дойти...

«Тамара <...> моталась с бригадой художественной самодеятельности и всё надеялась попасть на Ракпас и увидеть Алю. И тут она узнала, что Али давно уже нет; она в одном из самых губельных штрафных лагерей, ей очень плохо, она больна, у неё повышается температура, а её всё равно каждый день выгоняют на работу. На таких маленьких станциях типа Ракпас поезд стоит одну минуту, а в бригаде художественной самодеятельности было двадцать пять человек, и на них полагался один конвоир <...>. На станции назначения все выходили и под охраной конвоира отправлялись на концерт. Сбежать тут было некуда <...>. Тамара вскочила в вагон без конвоира. Попросила у кого-то, кто был в купе, листок бумаги, карандаш и быстро написала Муле письмо — если он хочет, чтобы жена его осталась жить, то пусть срочно добывается перевода её из того лагеря, где она сейчас находится, она там погибнет. Тамара сложила бумажку треугольником, надписала адрес <...> и попросила кого-то из пассажиров, кто показался ей надёжным, опустить письмо в почтовый ящик, и тот опустил <...>. Перевести из одного лагеря в другой, да ещё из штрафного лагеря — для этого нужно было иметь большие связи, и, видимо, у Мули они были. Жизнь Але он спас. Её не только перевели из штрафного лагеря, но и перевели из Коми АССР южнее, где климат был помягче <...>. В мае 1945-го наконец окончилась война. В августе Самуилу Гуревичу удалось приехать в Потьму — к Але в лагерь. Это казалось совершенно невероятным, ибо свидания — если и давались, то только с ближайшими родственниками, а он формально оставался Але никем!» (Мария Белкина. «Скрещение судеб»).

После той встречи Самуил Гуревич почти перестал писать Але, и отношения с ним вошли в другое русло. Мария Белкина выска-

зывает несколько предположений о причинах этого: «Не выдержал испытания встречей? <...> Расстался он с той весёлой, озорной, большеглазой, красивой болшевской Алей, а встретился с лагерной Алей, зеком Алей»; «А может быть, тот, кто ему покровительствовал, кто помог перевести Алю из штрафного лагеря, кто устроил их свидание в Потье, — а это должен был быть очень влиятельный человек, — может быть, он сам подвергся репрессиям, и угроза нависла теперь и над Мулей?»; «А может быть, ему просто дали понять, что его связь с осуждённой по 58-й статье должна быть прекращена?» Всё это так и осталось не известным.

В 1947 году закончился первый срок Ариадны Эфрон. Путь в Москву был закрыт — у неё было «минус 39 городов». Ехать Але было некуда и не к кому. Самуил Гуревич написал ей: «Поезжай к Нинке в Рязань!» Там жил тоже недавно освободившийся ещё парижский её друг Юз Гордон с матерью. Нина, его жена, работала в Москве и приезжала в Рязань по выходным. Юз не посчитался с риском (два бывших заключённых по 58-й статье и высланная из Ленинграда мать — в одной комнате) и сказал: «Пусть едет к нам! Друзей в беде не бросают!»

В Рязани Аля жила до второго ареста. Самуил Гуревич приезжал к ней, встречались они и в Москве, где Але запрещено было появляться. Она шла на риск, приезжала к Лиле Эфрон в Мерзляковский. Но заняться рукописями матери в таких условиях не было возможности. Случалось, что Аля замечала слежку, она звонила Гуревичу, и он бросался на вырубку — увозил её на машине на вокзал. Но всё это было уже не то...

«С бывшим мужем (к сожалению, «бывшим», ибо ничто не вечно под луной, а тем более мужья!) встретились тепло и подружески, но ни о какой совместной жизни думать не приходится, он по работе своей и по партийной линии связан с Москвой, а я — и т. д. Когда встречаюсь с ним — в среднем раз в два месяца, когда бываю в Москве, то это бывает очень мило и немного грустно, но, увы, есть в жизни стенки, которых лбом не прошибёшь». Так писала Ариадна Сергеевна Эфрон одной знакомой по лагерю.

В 1949 году Алю арестовали вновь. Давно уже не было тех иллюзий, какими полны первые её письма после приезда в Советскую Россию, и потому не было такого потрясения, какое она испытала в первый раз.

Поразительна интонация её писем. Аля пишет близким о новом аресте, и в письме к Елизавете Яковлевне (и её близкой подруге Зинаиде Митрофановне), с привычным горестным терпением сравнивая своё положение с судьбами тех, кому ещё тяжелее («ещё меньше повезло»), она умудряется увидеть в своей судьбе что-то хорошее, чем можно утешиться:

«Дорогие мои, думаю о Вас постоянно, счастлива, что хоть повидаться удалось, многих везут сюда из лагерей без пересадки, люди даже не смогли повидать своих. Мне ещё хорошо, я хоть немного отвела душу и подышала родным воздухом» (1949, конец июля — начало августа).

Но ужас прорывался: «Всё бы ничего, если бы не пожизненно, очень уж страшно звучит — бедная моя жизнь!» (Там же).

В письме Борису Пастернаку ужас уходит глубоко в подтекст.

«Всё, как сон, и всё никак не проснусь. <...> Завербовали меня сюда очень быстро (нужны люди со специальным образованием и большим стажем, вроде нас с Асей)...» (1949, 26 августа).

Снова эзопов язык: Анастасию Ивановну Цветаеву тоже повторно арестовали. В другом письме Ариадна Эфрон с горьким юмором называет это «специальное образование» восьмилеткой: первый срок был — 8 лет. Сейчас она сослана в бессрочную ссылку.

Впереди (через несколько лет) было ещё одно страшное известие — о смерти Самуила Гуревича. Его арестовали летом 1950 года. До этого Аля получила от него несколько открыток. Последняя была без подписи, без обратного адреса. Он писал, что никогда и никого не любил так, как её, что она была единственной в его жизни. Он прощался с ней навсегда.

Алина подруга по Туруханской ссылке Ада Федерольф вспоминала: «Из статьи (в «Правде», где имя Гуревича было названо среди других имен «врагов народа»), о нём писали как о шпионе, завер-

бованном американской разведкой. — Л. К.) было ясно, что Муля давно уже арестован и может быть, уже даже и расстрелян <...>. У Али над кроватью всегда висел его портрет, и когда я прочла статью, она сказала мне, кивнув на фотографию, — «это про моего мужа» — таким нарочито спокойным, равнодушным тоном, что у меня мурашки по спине забегали».

Надежде (Дине) Канель Аля писала: «Лиля напрасно боялась, что ты напишешь мне о Мульке, она должна была догадаться, что я человек грамотный и газеты читаю. Таким образом, я всё узнала ещё в феврале прошлого года, и у меня сразу же появилось чувство, что его нет в живых — учитывая все известные, а тем более неизвестные обстоятельства. Ну, а потом у меня появилась надежда, что м. б. он остался жив и выбрался, поэтому-то я и написала тебе, ты бы об этом узнала. <...> Обо всём же, что я пережила, переживаю и буду переживать в связи с этим, распространяться нечего, в таких случаях помогает только религия, а я человек ну совершенно неверующий!» (Д. Канель. 1954, май).

«Я ведь ещё в феврале 1953 г. прочла о нём, но главного не знала, что он уехал ещё в 1950 году, а поэтому думала, что он уехал значительно позже, и надеялась, что таким образом он дожил до разоблачения Берия. Видимо, это не так, и его давно нет в живых. Иначе он был бы реабилитирован в числе самых первых, как Дина. Ах, ещё бы немножечко дотянуть, и остался бы жив человек. Мне только этого нужно было от него — о себе я уж много лет как перестала думать. С каждой человеческой потерей немного умираю сама, и кажется, единственное, что у меня осталось живого, — это способность страдать ещё и ещё» (Е. Эфрон и З. Ширкевич. 1954, 3 июня).

Мария Белкина в своей книге вспоминает потрясший её разговор с Алей. Это случилось в 1956 году после смерти Анатолия Тарасенкова, мужа Белкиной.

«После похорон Аля пришла ко мне. С другими я могла говорить на любую тему, словно бы ничего не произошло, не допуская соболезнований, а с ней почему-то не получалось. Я не знала, о чём

говорить. Знала она. <...> Говорила она тихо, не торопясь, словно бы сама с собой, сама для себя, вспоминая <...> о Бальмонте, о Белом, о Москве двадцатых годов, о том, как в Париже, достигнув совершеннолетия, она могла по французским законам принять любое подданство, и она приняла советское, ни минуты не колеблясь и стремясь только в Москву. <...> Говорила о первых двух годах своей жизни в Москве, о работе в Жургазовском особняке — в том, что против Нарышкинского скверика, — говорила о Муле, о своей любви к нему <...> она всё ещё любит его и не может забыть. Если был бы сын...

И я стала понимать, что рассказ этот о своей жизни, о гибели отца, матери, брата, Мули, о крушении всех надежд, всех чаяний, о том, что не осталось у неё ничего, никого, — она ведёт для меня! И что я не имею права даже на слёзы, ибо ведь были у меня мой муж, мой сын, мой дом! И теперь были и сын, и дом, и мать... Ну, а “о том, что всё обман, что лишь на миг судьбою дан и отчий дом, и милый друг, и круг детей и внуков круг...” — то к этому пора было начинать привыкать.

И разговор был долгим, долгим, и казалось, нам обеим не хотелось, чтобы он кончался. И Аля не раз выносила пепельницу и выбрасывала окурки. И была она удивительно хороша в тот вечер — такая женственная, грустная, с такой душевной открытостью. Никогда я уже больше её такой не видала...»

В середине 1970-х когда умер Юз Гордон и Нина, по ее словам, «ходила с залитой цементом душой», Аля написала ей: «Что делать, что делать! Жизнь — всегда банкротство, ибо она всегда заканчивается или потерей для тебя — близкого, или потерей тебя — для близкого, что одно и то же. Впрочем, это касается лишь нас, однолюб, ни в какой среде не растворимых упрямец!» (Из воспоминаний Нины Гордон).

Как горько сказала однажды Ариадна Сергеевна, все дальнейшие мучительные свои годы (после смерти всех родных) она будет «жить не свою жизнь».

И только в письмах, в воспоминаниях и в немногих фрагментах прозы, которые смогла и успела она написать, дочь Марины Цветаевой оставалась собой.

Истинным спасением стала для неё переписка с Борисом Леонидовичем Пастернаком, чья дружеская поддержка и реальная помощь были главной опорой в её страшной жизни. И стихи его...

Ариадна Эфрон всегда обладала тонкой художественной отзывчивостью на хорошие стихи, но никогда прежде ничьи стихи (даже материнские, при всей её огромной любви к ним) не значили для неё так много, как приходящие в далёкий Туруханский край в конвертах со знакомым с детства «летающим почерком» стихи Бориса Пастернака. Она писала ему об этом.

«В прежней, теперь кажущейся небывалой, жизни было всё — плюс стихи. В теперешней жизни ничего не было. Потом появились твои стихи, и сразу опять всё стало, потому что в них всё, бывшее, будущее, вечное, всё, чем душа жива...» (Б. Пастернаку. 1950, 6 марта); «Стихи твои — прекрасны. Спасибо тебе за них, за то, что ты их пишешь, за то, что ты — ты» (10 апреля 1950).

И ещё: «Я, помню, как-то писала маме о том, что радость теперь только ранит, мгновенно вызывает чувство острой боли, так бывало, когда я получала её письма. И в самом деле, жизнь настолько приучила к толчкам, что только их и ждёшь от неё — причём всегда даром. Вдруг, среди снегов, снегов, снегов, ещё тысячу раз снегов, среди бронированных, как танки, рек, стеклянных от мороза деревьев, перекосившихся, как плохо выпеченные хлеба, избушек, среди всего этого периферийного бреда — два тома твоих переводов, твой крылатый почерк, и сразу пелена спадает с глаз, на сердце разрывается завеса, потрясённый внутренний мирок делается миром, душа выпрямляет хребет. И больно, больно от радости, как бывало больно от маминых писем, как от встречи с тобой, как от встречи с монографией твоего отца в библиотеке рязанского художественного училища <...>. На какой-то промежуток времени — вне времени — жизнь становится сестрою, ну а потом всё сначала (Как, должно быть, взволнован был Борис Пастернак, когда память о его давней книге лирических стихов «Сестра моя — жизнь» прозвучала в письме дочери Марины Цветаевой в *таком* жизненном контексте! — Л. К.) <...> придя домой, донельзя усталая и сонная,

схватила твой перевод “Ромео и Джульетты”. Страшная, страстная, предельно простая и ужасно близкая к жизни вещь. Современно и архаично, как сама жизнь. Какой ты молодец, Борис! Спасибо тебе за Шекспира, за тебя самого. Спасибо тебе за всё, мой родной. Ужасно я бессловесная, а когда словесная, то ужасно косноязычная — надеюсь, что ты и так всё понимаешь, что хотела бы, да не умею сказать...» (Б. Пастернаку. 1949, 20 ноября).

Это началось ещё в Рязани, в период короткой «передышки». Впрочем, как сказала бы сама Аля, — гораздо раньше. Имя Бориса Пастернака было ей родным с детства. Его письма особенно часто приходили к Марине Цветаевой на берег океана в 1926 году. Аля помнила волнение матери, стихи которой так много значили тогда для Бориса Пастернака, и заинтересованное внимание отца и его друзей к поэме «Девятьсот пятый год». Она помнила подневольный приезд больного, растерянного, подавленного Бориса Леонидовича в 1935 году в Париж. Аля, тогда уже взрослая девушка, терпеливо помогала ему пережить эти тяжёлые дни, и на него успокаивающе действовало её понимание и умение «не давить». В отличие от Марины Ивановны, так нетерпимо отнёсшейся к его состоянию, Аля и годы спустя сочувственно понимала тот его кризис.

«Дорогой Борис! <...> Мне очень понятно всё, о чём ты говоришь. Конечно, тогда ты не мог увидеться с родителями, тогда ещё казалось, что главное хорошее — впереди, тогда ещё многое «казалось», а жизнь проходила, и для многих — прошла уже. Как же тяжело чем дальше, тем больше сталкиваться с невозстановимым...» (Б. Пастернаку. 1950, 7 июня).

Так писала она в ответ на полное горестных воспоминаний и угрызений совести письмо Бориса Леонидовича.

Аля осталась совсем одна, её ссылка казалась бессрочной, и Бориса Леонидовича она ощущала как самого близкого человека: пока он есть на свете, для Али не может порваться «связь времён».

Его роман «Доктор Живаго» стал — без всякого преувеличения — большим событием в её жизни. Причин много. И одна из

них, очень важная -именно в том, что Борис Пастернак восстанавливал распавшуюся «связь времён».

Большое (огромное!) письмо Ариадны Эфрон Борису Пастернаку, посвящённое роману «Доктор Живаго», занимает особое место во всей их уникальной переписке. (Оно написано ещё в Рязани). Многое стоит за каждой строкой. Остановлюсь на нём подробнее.

«Как хорошо, что ты сделал то, что мог сделать только ты, — дал им всем уйти безымянными и неопознанными...» (Б. Пастернаку. 1948, 28 ноября).

«Не дал им всем уйти безымянными и неопознанными...». Как близко было всегда это стремление Марине Цветаевой! Именно об этом писала она Вере Буниной в период их общего погружения «на дно одного Китежа» — в память о доме у Старого Пимена, когда почти никого из живших в нём больше не было на свете и Марина Цветаева оживляла их в слове — «чтобы они все недаром жили и чтобы я недаром жила».

Похожее чувство ощутимо в письме Ариадны Сергеевны И. Г. Эренбургу после выхода в 1961 году его книги «Люди. Годы. Жизнь»:

«... Сама книга — событие, Вы об этом знаете. Многие, многие — уже безмолвные, равно как и огромное племя безмолвных, лишь чувствующих — немо — читателей, благодарны Вам — Вы знаете и это. Вы сумели этой книгой сказать “Солнце, остановись!” — и оно остановилось, солнце прошедших дней, ушедших людей. Спасибо Вам, дорогой друг, за всех, за всё — за себя самой тоже» (И. Эренбургу. 1961, 8 ноября).

Но в заботе Али о романе Б. Пастернака, о «просторе и воле» для его героев — ещё больше сокровенно личного.

«Сперва расскажу о том, что помешало мне, или о том, что не совсем понятно мне, или о том, с чем я не вполне согласна. Вспервых — теснота страшная. В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их совершенно необходимой «кубатуры», необходимого пространства и

простора, воздуха! И это не случайность, это не само написалось так (как иногда «оно» пишется само!). Это — умышленная творческая жестокость по отношению, во-первых, к тебе самому, ибо никто из известных мне современников не владеет так, как ты, именно этими самыми пространствами и просторами, именно этим чувством протяжения времени, а во-вторых, — по отношению к героям, которые буквально лбами сшибаются в этой тесноте. Ты с ними обращаешься, как с правонарушителями, нагромождая их на двойные нары<...>. Почему так? Желание сказать главное о главном (“Живое о живом”, как называется одна из маминых вещей), чтобы ничего лишнего, чтобы о сложном — просто? Но вот эта-то “простота” и усложняет всё настолько, что приходится проделывать весь твой путь, но á rebours (наоборот — *франц*), восстанавливая отброшенное тобой. Получается концентрат — судеб, эпох, страстей, вмешиваясь в которые читатель — т. е. в данном случае говорю только от своего имени! — вынужден добавлять ту влагу, которую ты отжал, усложнять то, что ты “упростил”. Получается, что все эти люди — и Лара, и Юрий, и Тоня, и Павел — все, все они живут на другой планете, где время подвластно иным законам, и наши 365 дней равны их одному. Поэтому у них совсем нет времени на пустые разговоры, нет беззаботных, простых дней, того, что французы называют détente (разрядка — *франц*), они не говорят глупостей и не шутят — как у нас на земле. И ни одного смешного происшествия, без которых не бывает юности. Поэтому нет впечатления постепенности их роста и превращений, их подготовленности к этим превращениям».

Ариадна Эфрон заботится о героях романа, как о родных людях.

«Образы Лары, Юры, Павла больно входят в сердце, потому что мы их знали такими, какими они даны тобою, и мы их любили, и мы потеряли их, потому что они умерли, или ушли, или прошли, как проходит болезнь, молодость, жизнь. Как умираем, уходим, проходим мы сами...».

Такая читательница, как Ариадна Эфрон, не могла не почувствовать, что и болевая память Бориса Леонидовича о её родителях

тесно вплетена в ткань романа. Дело, разумеется, не в буквальных аналогиях, не в прямом сходстве характеров и ситуаций, но в строе чувств, а ещё — в том, о чём и как люди думают и говорят, какие мотивы двигают ими и определяют поступки. Выросшая дочка Марины Цветаевой могла вместе с Борисом Пастернаком (как мало кто из его читателей — «вместе»!) вспоминать всё это, весь тот мир.

И всплывали в памяти Али давно забытые в России середины XX века, когда она читала рукопись романа, настроения и разговоры в той родной Борису Леонидовичу и её родителям среде, о которой сказано в его поэтических строчках:

Я говорю про ту среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены — и сойду.

Юрий Живаго говорит Ларе в одну из первых встреч о вышедшем из берегов времени:

«Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с вами живем в эти дни! Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте: со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода! Настоящая, не на словах и в требованиях, а с неба свалившаяся, сверх ожидания. Свобода по нечаянности, по недоразумению. И как все растерянно-огромны! Вы заметили? Как будто каждый подавлен самим собою, своим открывшимся богатством. Да вы гладьте, говорю я. Молчите. Вам не скучно? Я вам утюг сменяю. Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь матушка, не стоит ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то чтоб говорили одни только люди. Сошлись и беседуют звёзды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? “Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования”».

И — спокойный, без всякой экзальтации ответ Лары: « — Про митингующие деревья и звёзды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать. У меня самой бывало».

В рассказе Сергея Эфрона «Тиф», по-особому любимом Мариной Цветаевой, есть похожий взвихренный монолог героя. Этот монолог уже цитировался, но здесь следует напомнить его, потому что он очень «рифмуется» с монологом Юрия Живаго.

«В отдельных жизнях и у народов тоже бывает такое, когда он, человек, или — он, народ, сказать про себя может — началось. Главное началось. До этого не жил, а предчувствовал жизнь. До этого кануны, а теперь — свершения. До этого глаза чуть открытые, щёлкой на мир, а теперь настужь, в упор и прямо в солнце. До этого дорог тысячи и все чужие, а тут для каждого своя. До этого и люди, и вещи — ну как воздух, что постоянно одним давлением неприметно давит, а тут — всё по-новому, словно весь мир первозданным на тебя навалился. До этого все цвета в мире тусклы, а здесь ни одного полутона — словно жизнь как луч солнечный через призму пропустили, и она радугой засверкала. Ну, как в детстве и солнце, и небо, и дождь, и города, и каждый встречный, всё, всё — становится важным, громадным, в глаза лезущим, в сердце вонзающимся <...> Понимаете? Понимаете?»

Само время диктовало вслушивающимся в него людям такой не обыденный язык. Правда, в отличие от Юрия Живаго, герой рассказа Сергея Эфрона в ответ на свой взволнованный вопрос услышал: «Не понимаю и не пойму!» Но и адресаты монологов были слишком разными: в рассказе Сергея Эфрона герой говорил это случайному попутчику, а герой романа Пастернака — любимой женщине, о которой он сказал словами Шекспира: «Мы в книге рока на одной строке».

В этой строке слышится близкая переключка с тем, что прозвучало в одном из самых главных (по значительности сказанного об их отношениях) писем Бориса Пастернака Марине Цветаевой:

«... главное было сказано навсегда. Исходные положения нерушимы. Нас поставило рядом. В том, в чём мы проживём, в чём умрём и чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли». (1926, 30 июля).

«Нас поставило рядом...» Любовь Юрия Живаго и Лары — «поверх барьеров». Своего мужа Лара любит по-другому — не менее сильной, но совсем иной любовью.

«Мы с ним люди настолько же разные, насколько я одинаковая с тобою. Я тогда же сердцем выбрала его. Я решила соединить жизнь с этим чудесным мальчиком, чуть только мы оба выйдем в люди, и мысленно тогда же помолвилась с ним» (курс. мой. — Л. К.).

«Встретила я чудесного мальчика...», — писала Марина Цветаева Наталье Гайдукевич о Сергее Эфроне. И далее — о том, как решила навсегда остаться с ним — «вышла замуж, чтобы заслонить собой смерть», имея в виду глубокую травмированность Сергея Эфрона страшной смертью матери и брата. Правда, Борису Пастернаку она об их истории так не писала, но его внутренний слух был тогда очень настроен на неё, на её мир, и он почувствовал... А кроме всего этого, таков был язык уходящего времени — молодые люди и девушки в 1930-х годах и позднее так уже не говорили. И Юрий Живаго тоже глубоко понимает, о чём говорит Лара...

«Я сказал тебе, что ревность вызывает во мне обыкновенно низший, а не равный. К мужу я тебя не ревную», — так реагирует Юрий Живаго на глубоко взволновавший его рассказ Лары о муже. Он потрясён и восхищён чистотой ее чувства к мужу, об этом они тоже говорят...

В разгаре их эпистолярного романа Борис Пастернак так писал Марине Цветаевой о Сергее Эфроне: «Ася называет его Серёжей, и я подружился с этим именем <...>. Мне кажется, что я его за что-то люблю, потому что мне как-то от него больно...» (1926, 7 июня).

И вот в романе Пастернака доктор Живаго склоняется над молодым белогвардейцем, которого считает убитым, и видит, что на подкладке его шинели «старательно и любящей рукою, — наверное, материнскою, было вышито: Серёжа Ранцевич». И в футлярчике на груди его Юрий находит ту же молитву, что видел у убитого «на другой стороне»... Юрий Живаго вылечил и отпустил этого мальчика.

А другой тихий книжный мальчик — Патуля (Павел) Антипов стал мужем Лары, рванул на фронт Первой мировой, а потом — в водоворот Гражданской войны, где превратился в твердокаменно-фанатика. Сложные душевные побуждения владеют им во всём этом. И среди них — мучительно трудные отношения с женой.

«Вдруг она (Лара) поняла, <...> что Патуля заблуждается насчет её отношения к нему. Он не оценил материнского чувства,

которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской» (курс. мой. — Л. К.).

Дело действительно не в прямых аналогиях, но, честно говоря, читая такое, совсем отбросить их невозможно. Ещё — на фронте Первой мировой:

«... Временами, глядя на него, Галиуллин готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде Антипова, как в глубине окна, кого-то второго, прочно засевшую в нем мысль, или тоску по дочери, или лицо его жены. Антипов казался заколдованным, как в сказке (Курс. мой. — Л. К.).

Марина Цветаева в годы Гражданской войны была мистически убеждена, что она своим постоянным сосредоточением на мысли о воюющем муже вымолила у судьбы его жизнь. А Сергей Эфрон писал Марине: «Все годы нашей разлуки — каждый день, каждый час — Вы были со мной, во мне...». И маленькой Але: «Родная моя девочка! <...> Вся любовь и все мысли мои с тобой и с мамой...».

Взрослой Але и в этой линии романа, как во многих других, «не хватило простора» — мало видна любовь отца к маленькой дочке. «Играет ли он с ней? Смотрит ли на неё спящую?» — спрашивала она автора в том же письме.. Она-то хорошо знала, как ведут себя любящие отцы. Но так обижаться можно только на очень близкого — и когда речь идёт о близком душе.

«... просто люблю его и по-мужски, чудесно, уважаю» (М. Цветаевой. 1926,7 июня), — писал Борис Пастернак об отце Али.

Память о таких «чудесных мальчиках», к роду которых принадлежал Сергей Эфрон, каким любила Марина своего «дорогого и вечного добровольца», живёт в романе Пастернака. Алю не могли не взволновать строки об этих юношах — такими были Владимир Алексеев, друзья Сергея Эфрона — их Аля помнила.

Вот сцена боя, в который Юрий Живаго втянут поневоле:

«Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества и люди более пожилые, мобилизован-

ные из запаса. Но тон задавали первые, молодежь, студенты первокурсники и гимназисты восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы.

Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему бывших школьных товарищей. Может статься, это были их младшие братья?

Других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими.

Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным редким строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев и бравируя опасностью, не прибежали к перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться.

Пули партизан почти поголовно выкашивали их <...>.

Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя.

Всё его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей.

Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятий. <...> жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. <...> И выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы» (курс. мой. — Л. К.).

Когда в Советском Союзе разразился скандал в связи с присуждением Борису Пастернаку Нобелевской премии, эта сцена романа вызвала особенно бурный шквал оскорбительной ругани критиков: само сочувствие Юрия Живаго юношам, находящимся по другую сторону баррикад, считалось не должным и даже крамольным, а уж попытка героя не стрелять в них позволяла прямо причислить автора к врагам советской власти.

Сергей Эфрон был из числа таких мальчиков и юношей, о них он писал в своих «Записках добровольца». Со временем, однако, «чудесный мальчик» (речь в данном случае идёт о герое романа Пастернака — Павле Антипове), продолжая оставаться искренним и самоотверженным, «изменился страшно...». Так писал о себе и Сергей Эфрон сестре Лиле. И о самом больном и мучительном в этом изменении Лара и Юрий в романе, как всегда мгновенно понимая друг друга, разговаривают:

«— Расскажи мне побольше о муже. «Мы в книге рока на одной строке», — как говорит Шекспир.

— Откуда это?

— Из «Ромео и Джульетты».

— Я много говорила тебе о нём в Мелюзее, когда разыскивала его <...> я нашла, что он почти не изменился. То же красивое, честное, решительное лицо, самое честное из всех лиц, виденных мною на свете. Ни тени рисовки, мужественный характер, полное отсутствие позы. Так всегда было и так осталось. *И всё же одну переменку я отметила, и она встревожила меня. Точно что-то отвлечённое вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи. У меня сердце сжалось при этом наблюдении»* (курс мой. — Л. К.).

Много лет тревожила Марину Цветаеву похожая перемена в «её Серёже».

«Сергей Яковлевич совсем ушёл в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет». (А. Тесковой. 1932).

«Встретила я чудесного одинокого мальчика (17 лет) <...> и вот, за эти двадцать лет <...> сложился в другое, часто — неузнаваемое». (Н. Гайдукевич. 1934).

(Эти цветаевские слова цитировались в главе «Марина и Сергей»).

Но и другой мотив, твёрдо прозвучавший в словах Лары: «самое честное из всех лиц, виденных мною на свете...» — всегда был в тех цветаевских письмах о Сергее Эфроне:

«В каких-то основных линиях: духовности, бескорыстности, отрешённости мы сходимся (он — прекрасный человек)...» (Н. Гайдукевич. 1934).

В романе Пастернака звучит ещё и предчувствие страшного будущего, которое ждёт человека, отдавшего себя, по словам Лары, во власть «безжалостных сил»: «Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он себя отдал, сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не пощадят. *Мне показалось, что он отмеченный, и что это перст обречения...*» (курс. мой. — Л. К.).

Когда к героям романа почти вплотную приблизилось «всё страшное», на которое Аля в конце 1930-х годов «лишь дивилась», Юрий Живаго возвращается к теме судьбы таких людей, как Антипов. Он стал Стрельниковым — имя значащее.

«Чем он располагает к себе? Это обречённый. Я думаю, он плохо кончит. <...> Стрельников такой же сумасшедший, как они, но он помешался не на книжке, а на пережитом и выстраданном. Я не знаю его тайны, но уверен, что она у него есть. Его союз с большевиками случаен. Пока он им нужен, его терпят, им по пути. Но по первом миновении надобности его отшвырнут без сожаления прочь и растопчут, как многих военных специалистов до него.

— Вы думаете?

— Обязательно.

— А нет ли для него спасения? В бегстве, например?

— Куда, Лариса Федоровна? Это прежде, при царях водилось.

А теперь попробуйте...»

В начале XX века нашла спасение в бегстве из царской России революционерка Лиза Дурново (Эфрон), мать Сергея Эфрона. Теперь всё по-другому.

Борис Леонидович работал над романом, когда ВСЁ УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ с неисчислимо многими из тех «чудесных мальчиков» и со многими, многими другими. И Ариадна Эфрон, внучка революционерки, дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, читала роман

Пастернака (в первой редакции) в коротком перерыве между арестами.

И вставали перед ней, потрясённой возможностью ТАК вспоминать, давние, казалось бы, безвозвратно унесённые ветром, картины времени, картины собственной жизни...

Иногда ей казалось важным что-то психологически уточнить, исправить неточность (во всяком случае так ею ощущаемую):

«И вот Павел уехал на фронт. И Лара, теряя его, не начинает любить его больше, чем раньше, не оценивает его по-иному, как все мы (и она тоже должна бы!), когда теряем кого-то близкого в середине отношений, не отмершего и не умершего. В таких случаях расстояние и недостижимость страшно сближают людей, а Лара, когда письма от Антипова прекращаются, «вначале не беспокоится». Да возможно ли не беспокоиться вначале? Иной раз бывает, что переизбыток тревог за человека настолько отравляет, перенасыщает душу, что в один прекрасный день возьмёшь да и перестанешь тревожиться, совсем, начисто, раз и навсегда. Но вначале, вначале она, бывшая как простая баба, хватавшая мужа за руки и валявшаяся у него в ногах, должна была сходить с ума от отсутствия писем, как-то успокаивать себя днём «развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах», а ночи — не спать. И чувство её к ребёнку должно было сделаться более смятённым...».

Как не услышать здесь и память об их с Мариной страхе за Сергея в 1918—1922 годах, и воспоминание об особом, позднее никогда не повторившемся отношении Марины к дочке в те давние годы, и собственный взрослый опыт Али, ожидавшей в лагере писем от любимого...

Вот ещё картины из романа, которые не могли не вызвать у взрослой Ариадны Эфрон глубоко личных ассоциаций:

«В комнату вошла девочка лет восьми с двумя мелкозаплетёнными косичками. Узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смея-

лась, она их приподнимала. Она уже за дверью обнаружила, что у матери гость, но показавшись на пороге, сочла нужным изобразить на лице нечаянное удивление, сделала книксен и устремила на доктора немигающий, безбоязненный взгляд рано задумывающегося, одиноко вырастающего ребенка.

— Моя дочь Катенька. Прошу любить и жаловать.

— Вы в Мелюзеев карточки показывали. Как выросла и изменилась!

— Так ты, оказывается, дома? А я думала, — гуляешь. Я и не слышала, как ты вошла.

— Вынимаю из дыры ключ, а там вот такой величины крысина! Я закричала и в сторону! Думала, умру со страху.

Катенька говорила, корча премилые рожицы, тараша плутовские глаза и растягивая кружком ротик, как вытащенная из воды рыбка...».

Внешность Катеньки ничем не напоминает маленькую Алю, у которой с рождения были огромные «эфроновские» глаза — очень красивые. В ярко запоминающемся описании маленькой дочки Лары — «Узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид» — узнала себя другая «выросшая девочка» — Ирина Емельянова, дочь Ольги Ивинской, так озарившей «закат печальный» великого поэта. И в самом деле — при взгляде на детские и даже более поздние, юношеских времён фотографии Ирины Емельяновой это сходство становится очевидным. Но рассказ девочки о «крысине» огромной величины...

Вот живая картина из жизни дома в Борисоглебском в те самые годы:

«... Марина Ивановна, накинув шубу, переписывает книгу Волконского, на постели под одеялами Аля <...>.

— Мама, я крысов боюсь, вон опять за шкафом пробежали, они на кровать ко мне вскочат...

— Глупости, ничего не вскочат...

Это Але виднее, но Марина не может сидеть с ней целый день. Обычно уходит, запирает на ключ, вот и жди в холоду с крысами маму» (Из воспоминаний Бориса Зайцева).

В те давние времена Борис Леонидович Пастернак всего один раз случайно был в их доме в Борисоглебском. Он принёс тогда письмо Ильи Эренбурга с первым известием о том, что Сергей Эфрон жив — такие фантастические переплетения! Дальше порога не пошёл. Но разве в этом дело? Многие российские дети жили тогда так. Хотя что-то в описании Катеньки всё же, видимо, взволновало Ариадну Сергеевну так, как волнует сейчас всех знающих маленькую Алю по массе записей Марины Цветаевой.

А вот интонацию Лары Аля просто не могла не узнать. Лара ведёт Юрия Живаго в дом, где они с Катенькой живут в Юрятине.

«— Пойдёмте, я вас внутренним ходом на парадную выведу. <...> Видите, какая у нас лестница. <...> Видите, камни разошлись. Между кирпичами дыры, отверстия. Вот в эту дыру мы с Катенькой квартирный ключ прячем и кирпичом закладываем, когда уходим. Имейте это в виду. Может быть, как-нибудь наведаетесь, меня не застанете, тогда милости просим, отпирайте, входите, будьте как дома. А я тем временем подойду. Вот он и сейчас тут, ключ. Но мне не нужно, я сзади войду и отворю дверь изнутри. Одно горе — крысы. Тьма тьмушая, отбою нет. По головам скачут. Ветхая постройка, стены расшатанные, везде щели. Где могу, заделываю, воюю с ними. Мало помогает. Может быть, как-нибудь зайдёте, поможете? Вместе забьём полы, плинтусы. А? <...> Дайте руку и покорно следуйте за мной. Тут будут две комнаты, где темно и вещи навалены до потолка. Наткнётесь и ушибётесь.

— Правда, лабиринт какой-то. Я не нашёл бы дороги. Почему это? В квартире ремонт?

— О нет, нисколько. Дело не в этом <...>. Не выпускайте моей руки, а то заблудитесь. Ну, так. Направо. Теперь дебри позади. Вот дверь ко мне. Сейчас станет светлее. Порог. Не оступитесь».

Как всё это похоже на московский дом в Борисоглебском в 1918—1920 году!

«Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но

внешний быт ещё сохранялся, а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Всё было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом...», — так запомнился впервые им увиденный дом Марины Илье Эренбургу («Люди. Годы. Жизнь»).

Не всех, однако, так «пугала» эта картина...

Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!

Взойдите. Гора рукописных бумаг...

— Так — Руку! — Держите направо, —

Здесь лужа от крыши дырявой.

Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук,

Какую мне Фландрию вывел паук...

Ариадна Эфрон нежно любила эти стихи, она с особенным удовольствием цитирует их в своих воспоминаниях. Но если стихи ещё можно заподозрить в поэтическом преувеличении реальности, то вот запись из записной книжки Марины Цветаевой тех времён:

«Снимаю засов <...> — Вячеслав! (Ива́нов — Л.К.) В чёрной широкополой шляпе, седые кудри, сюртук, что-то от бескрылой птицы.

— А вот и я к Вам пришел, Марина Ивановна! К Вам можно? Вы не заняты?

— Я страшно счастлива. (До задыхания! Единственное, что во мне перебарывает смущение, — это восторг.)

— Только у меня очень плохо, такой разгром, всё поломано. Вы не бойтесь, там у меня лучше...

— Это мы здесь будем сидеть?

(Беспомощно и подозрительно озирается: столы, половины диванов, отовсюду ноги и локти стульев и кресел, кувшины, разбитый хрусталь, пыль, темнота...).

— Нне-ет! Мы ко мне пройдем. Слава Богу, что Вы не видите, иначе бы Вы...

— Иначе бы я сказал, что у Вас то же, что у меня. Я ведь тоже ужасно живу, — неуютно, всё поломано, столько людей...

Входим.

— А где Ваша дочь?

— Она с Миррой Бальмонт в д<оме> Соллогуба.

— Во Дворце Искусств?

— Да.

— Как у Вас неуютно: темно, такое маленькое окошечко. Скучно жить?

— Нет, всё — только не это. <...>

— И это всё Ваши вещи?

— Да, обломки, остатки <...> я до последней минуты старалась отстоять, — но не могу же я вечно ходить следом и смотреть: крадут или не крадут? И кроме того, я ничего не вижу...

— Ах, это Вы о сохранении вещей говорите? Нет, — разве можно уберечь!

И при виде такого истинно-философского отношения к жизни, у меня <...> восхищение <...>.

Вы давно разошлись с мужем?

— Скоро три года, — Революция разлучила.

— Т. е.?

— А так...

(Рассказываю.)

— А я думал, что Вы с ним разошлись.

— О нет! — Господи!!! — Вся мечта моя: с ним встретиться! <...>

— Однако, уже 10 часов, Вам пора за Алей».

Какая волнующая близость интонаций, всей атмосферы беседы, даже в ритмах фраз! Таких диалогов выросшая Аля не слышала давным — давно. И сколько ещё было для неё на страницах романа «родного, далёкого...»!

Очень много значило для Ариадны Эфрон, что помог ей погрузиться в то время, когда она ещё «жила свою жизнь», именно Борис Пастернак. Ближе к завершению своего большого письма она говорит своим неповторимым языком и об этом:

«Ещё маленькой я думала: куда же уходит прошлое? Как же это — было и нет, и не будет больше, а было, было ведь, была же другая такая девочка, как я, которая сидела на этой же земле и вопрошала это же небо: а где же то, что было? где та, другая девочка, которая так же была и так же искала вчерашнего дня? И так до сотворения мира. Те же самые земля и небо связывают нас с ними и свяжут нас с будущим, когда мы станем прошлым. Как хорошо, что ты сделал то, что мог сделать только ты, — не дал им всем уйти безымянными и неопознанными, собрал их всех в добрые и умные свои ладони, оживил своим дыханием и трудом».

Может быть, это потрясение от того, что сделал Борис Леонидович своим романом, — она ещё много раз перечитывала его, много думала над ним, поистине, цветаевским языком говоря, «жила» в нём — побудило Ариадну Эфрон не дать уйти неопознанными тем, кого она горячо помнила.

В своих воспоминаниях она с честью продолжила цветаевскую традицию, оживив и воспев многих ушедших. Так, Аля воскресила и приблизила к читателю обаятельно благородного человека, с которым связана добрая память всей семьи, — Валентина Фёдоровича Булгакова. К нему были обращены тёплые доверительные письма Сергея Эфрона, и он оставил незаурядные воспоминания о Марине Цветаевой и Сергее Эфроне. Теперь их дочь подробно рассказала о нём самом, создала тонкий психологический портрет и поведала о волнующем чуде:

«Я <...> упомянула последнего секретаря Льва Толстого и биографа его — Валентина Фёдоровича Булгакова. В те годы он был одним из организаторов и председателем Союза русских писателей в Чехии и вместе с профессором С. В. Завадским (...) и Мариной был избран в состав редакционной коллегии затевавшегося в Праге и ее предместьях альманаха «Ковчег» <...>. Валентин Фёдорович диссонировал с окружавшей его средой не меньше, чем сама Марина, но — иначе, наоборот ей: в эмигрантском ковчеге она была несомненным змием, а он — несомненным голубем, исповедовавшим закон «смиренномудрия, терпения и любви» по Ефрему Сирину и

отчасти по Л. Н. Толстому. И внешность его была “голубиная”, благолепная, и жил он со своей маленькой семьёй в простом глазом видимых благолепии, чистоте и вегетарианстве, в кажущемся душевном благополучии, и всё это вместе взятое вызывало у некоторых из окружающих — навоевавшихся, намаявшихся и маяться продолжавших — ироническую ухмылку наряду с бесспорным уважением. “Толстовство! Вегетарианство! Непротивление злу!” Как говорится, мне бы ваши заботы! И охотно нагружали его заботами своими собственными. Однако некоторая “пастельность” облика Валентина Фёдоровича скрывала душу отнюдь не вегетарианствующую, ум острый, пронизательный, широкоохватный, далеко не догматического склада, что, в частности, и позволило ему сблизиться с моими родителями, понять и полюбить их. Особо стоит упомянуть о его, по тем полувековой давности временам, исключительной восприимчивости к Маринину творчеству “сложного периода”, невнятного огромному большинству её зарубежных современников. Вспоминая о совместной работе над “Ковчегом”, Булгаков пишет: “Сама Марина Ивановна дала для сборника большую “Поэму Конца”. Этой не помогла бы никакая анонимность. Необыкновенно сжатый, своеобразно-чёткий, образный и звучный, чтоб не сказать щёлкающий, стих Марины Цветаевой можно узнать за тысячу верст, даже и без надписи: “се — лев, а не собака”... Нас, редакторов сборника, очень ругали потом за помещение в нём “Поэмы Конца”, но я всё же и тогда был, и теперь (1960 год) остаюсь при мнении, что поэма эта, как и всё, что писала вдохновенная Марина, вещь — замечательная. Но только в данном случае надо иметь уши, чтобы слышать”.

У Валентина Фёдоровича были глаза, чтобы видеть: набросанный им портрет Марины энергичен и точен: “... Глаза были большие, острые и смелые, соколиные... ни кровинки в лице, ни румянца. Так странно и... жалко! Головка посажена на шее гордо, и так же гордо, и быстро, и энергично обращалась — направо, налево. Походка и все движения Марины Ивановны вообще были быстры и решительны... Плачущей и даже только унывающей я её никогда не видал. Подчас она всё же грустила, жаловалась на судьбу, например — на разлуку с Россией, на переобременение хозяйством

и домашними делами, отвлекающими от литературной работы, но жалобы и сетования её, — вообще редкие, — никогда не звучали жалобно и жалко; напротив, всегда гордо, и я бы даже сказал — вызывающе: вызывающе — по отношению к судьбе и к людям. Среди не просто бедной, а буквально нищенской обстановки своей квартиры Марина Ивановна, с её бледным лицом и гордо поднятой головой, передвигалась, как королева: спокойная и уверенная в себе...

В последующие годы, когда большинство эмигрантов перебазировалось в другие страны — в основном во Францию, Валентин Фёдорович, с женой и двумя дочерьми, остался в Чехии. Много сил и труда вложил он там в создание Русского культурно-исторического музея, для которого собирал “доброхотные даяния” — материалы, рукописи, произведения искусства, вывезенные из России или создававшиеся русскими за рубежом. Средств на приобретение этих ценностей никто не отпускал, ибо ценностями они тогда не считались...

От Марины Валентин Фёдорович получил типографские отски и рукописные списки многих её произведений и легкую бамбуковую ручку, которой она писала около десяти лет. Ещё она передала ему, сняв с пальца, любимое своё серебряное кольцо-печатку, когда-то украшенное вырезанным на нем корабликом — столь памятное всем, знавшим Марину, и с ней неразлучное.

Тогда — году в 1936—37, когда Булгаков приезжал в Париж за материалами для своего музея и в последний раз встретился с моими родителями, старинное кольцо состарилось окончательно. Изящный рисунок парусника и надпись, обрамлявшая его, — “тебе моя симпатия” — стёрлись, ободок истончился почти до прозрачности. Много поработала рука, носившая этот перстень!

Булгаковский музей просуществовал недолго. Вскоре гитлеровское нашествие на Чехословакию изменило мирный ход вещей и судьбы членов булгаковской семьи, ставших участниками героического чешского Сопротивления. От непротивления злу к сопротивлению ему пролёг жизненный путь Валентина Фёдоровича и его близких.

“Когда я был освобождён советскими войсками из фашистского концлагеря и добрался до Музея, — рассказывал он мне впоследствии, — советские солдаты грузили на машину остатки разграбленного немцами: переполовиненные папки, кипы растрёпанных книг, связки разрозненных бумаг. То, что хотя бы это отправлялось в Россию и уцелеет, меня несколько утешило; но всё остальное, очевидно пропавшее безвозвратно!..

Что на свете беспомощнее и уязвимее творений ума и рук человеческих! — Вид опустевших комнат, опустошённых шкафов, разбитых витрин был так нестерпимо печален, что я не смог удержаться от слёз — впервые за всё время испытаний. Я стал шарить по полу, перебирать хлам и мусор, обрывки и осколки. И вдруг в углу, за дверью, в пыли — ручка Марины Ивановны! её кольцо! Это было — чудо”.

После войны Булгаковы вернулись в СССР — в Ясную Поляну, где Валентин Фёдорович жил и работал до конца своих дней. Маринину ручку, её кольцо он привёз с собой и долго и верно хранил, как память о ней, о своём музее, о том чуде... Потом, почувствовав груз прожитых и пережитых лет, поняв свою недолговечность на земле, передал эти реликвии мне, разыскав меня через Эренбурга”.

Печально заканчивает Ариадна Эфрон эту потрясающую историю:

«Теперь тот же груз давит и на мои плечи, поэтому ручку, которой были написаны поэмы «Конца» и «Горы», «Крысолов», «Ариадна», «Федра», и кольцо с руки, написавшей не только их, но многое, многое другое, я в свою очередь, передала в ЦГАЛИ, где, в конце концов, обрели надёжное пристанище и вывезенные когда-то в Россию из булгаковского музея рукописные остатки хранившихся там материалов. У вещей, как и у книг, как и у людей! — своя судьба».

...Но особенно глубокую благодарность испытывала Ариадна Сергеевна к В. Ф. Булгакову за то, что он сумел, как никто другой из их окружения в Чехии и во Франции, глубоко почувствовать и оценить своеобразие отношений Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Она написала ему об этом:

«Поэт дал людям не “интимную жизнь” — а всю громадную силу творчества, *всю душу*; но им нужны “ризмы”, и ризы они делят; им важно — грешила ли Гончарова с Дантесом, в каких дозах «обижала» Софья Андреевна Толстого, кому посвящены поэмы “Горы” и “Конца”, и как на это смотрел муж.

Люди не понимают *любви*, хотя нет ничего, о чём они рассуждали бы с большей охотой. И им никогда не понять — сколько бы они ни “изучали” предмет — глубины *любви* в отношениях супругов Толстых, Пушкиных, Эфронов; в отношениях всех на свете супругов; ибо чем больше страданий в любви, тем она выше, чище, настоящей и благородней; тем она *вернее* и *вечнее*; разбиваются *суды* любви, а она остаётся...» (В. Булгакову. 1964, 22 апреля).

Воспоминания Валентина Фёдоровича о её родителях — и глубиной постижения, и естественной деликатностью интонации — внушили ей безусловное доверие, и в каждом слове этого письма чувствуется, что обращается Ариадна Сергеевна к человеку, с которым говорит «на одном языке» — к «последнему из могижан»...

И ещё одно «воскрешение». Только благодаря Ариадне Эфрон воскрешена одна значительная встреча (ни в одном цветаевском письме почему-то нет упоминания об этом ярком человеке). Она случилась в жизни Марины Цветаевой в Париже. Если бы не память и талант Али, всё это ушло бы в забвение, и как непоправимо обделены были бы все мы! Рассказ этот символически назван «Самофракийская победа». Впрочем, название продиктовано и реальным эпизодом — вечным спором Марины Цветаевой, на этот раз с поэтом Аветиком Исаакяном, — о сравнительной ценности разных видов искусств.

«... в тот осенний день 1932 года Исаакян сидел за лебедевским обеденным столом не как новый гость, а как свой человек, и слова, которыми он обменивался с хозяевами, показались мне привычными и о привычном; а может быть, причиной тому была вообще свойственная Исаакяну (по крайней мере на людях) сдержанная непринуждённость. Мне довелось встречать его ещё несколько раз в иной обстановке и в ином окружении, и всегда он

на всё и всех глядел серьезно, свободно и без любопытства, словно уже всё перевидал и переслушал, словно всё ему не впервой и не в новинку. Да так оно, вероятно, и было.

Сдержанна была в тот день и Цветаева — как при каждом новом знакомстве. Иногда такой — держащей на расстоянии — оставалась она и в дальнейшем, навсегда замораживая собеседника; иногда раскрывалась с детской доверчивостью, но никогда — с первого взгляда; да и этим самым первым взглядом ярко- и светло-зелёных глаз — одаривала не сразу. Она сперва к собеседнику прислушивалась; вполборота, опустив глаза, чуть нахмурившись — вникала в голос, впивалась в явный и тайный смысл слов, на слух определяя друга, недруга или равнодушного; задавала вопросы или отвечала на них сжато, холодно и чрезвычайно учтиво: то была обманчивая холодность и опасная учтивость — ненадёжная завеса, из-за которой в любое мгновение мог сверкнуть язычок пламени».

В следующих строках ошутим острый взгляд талантливой художницы. (К сожалению, жизнь не дала Ариадне Эфрон возможности в полной мере проявить этот свой талант).

«Как они были красивы оба — он слушающий и она читающая — и как схожи в завершённости своего образа! Его изумительная крупная голова кавказца с орлиным носом и орлиным, спрятанным в стареющих грузных коричневых веках взором, его смуглая бледность, сила хребта и плеч под мешковатым сутулившимся его пиджаком, крепость ладоней и нервность пальцев — и вековая усталость всего облика; и её, всё ещё мальчишеская, всё ещё высоко занесённая головка с седеющими короткими, лёгкими волосами, с тонким, точным горбоносым профилем, чётким ртом — и её бледность — как при лунном свете, и внезапная распахнутость глаз — о, как она была безоружна и как обезоруживала, глядя в чужие глаза! — и её раз навсегда огрубевшие от быта руки, с бесшумными серебряными кольцами, и египетская её осанка! Оба выглядели старше своих лет, оба были прекрасны».

Воспела Ариадна Эфрон и голос Аветика Исаакяна:

«Потом, по её настойчивой и ласковой просьбе читал он — на родном языке, который мы услышали в первый раз в жизни — читал стоя, из уважения к женщинам и к стихам, — и все присутствовавшие, даже мы с моей подругой Ириной Лебедевой, девчонки, пронять которых в ту пору могло лишь недавно начавшее говорить и петь кино, — обомлели от звучания этого голоса, произносившего невнятные нам, запечатлённые для нас слова, от звучания этих слов, после которых стало оглушающе-тихо, как после взрыва.

— Господи, да вы — настоящий горный поэт! — воскликнула Цветаева.

— Да и вас не назовешь равнинным поэтом! — ответил он».

Борис Пастернак восхищался письмами Али, отмечая её редкую способность очень естественно создавать для читателя «эффект присутствия»: «Твоё письмо глядит на меня живой женщиной», — писал он.

В этом очерке Ариадна Эфрон удивительно приближает читателя к происходящему, помогая увидеть и услышать. И вот — спор.

«Она любила слово-смысл и слово-музыку, любила самую музыку, именно за их способность выражать чувства, и была глубоко равнодушна к искусствам, пытающимся проникнуть в них путем зримого их отображения. Этот путь казался ей вторичным, иллюстративным, ибо зримое уже существовало и внешний мир уже был сотворён — “Венера Милосская — плоть в мраморе. Джоконда — лицо на холсте. Душу же в них вкладываем мы, глядящие, мы, поэты. Причём — каждый свою».

Диалога Ариадна Сергеевна не даёт, не желая придумывать то, чего не помнит; вообще во многих её записях и письмах, начиная с детского дневника и кончая сибирскими эпизодами, есть яркие запоминающиеся диалоги, но только в тех случаях, когда всё было запечатлено по свежим следам. В данном же случае она воспроизводит происшедшее несколько десятилетий назад, начав с признания:

«Конечно, сейчас, столько лет спустя, я не в состоянии воспроизвести этот разговор, вернее — спор, между Исаакием

и Цветаевой и не позволю воображению подменить память». Но суть спора и в какой-то степени его атмосферу её память блестяще сохранила:

«... знаю только, что Исаакян утверждал и отстаивал — впрочем, без всякой горячности, настолько это было для него очевидным, — равнозначность всех способов выражения творчества и равноценность искусств безъязыких искусству слова. Разговаривали в комнате Вл. Ив., выходявшей на улицу. Цветаева стояла у окна и глядела в него — сперва рассеянно, потом, заинтересовавшись, достала из сумки свой старинный лорнет (она была близорука) и, в чём-то удостоверившись, подозвала Исаакяна: “Смотрите!” Из окна, как на ладони, виден был приют глухонемых; на усечённой вершине холма <...> находился утопанный, как загон в зоопарке, приютский двор. По нему носились, скакали, прыгали — беззвучно, как в страшном сне — подростки-мальчишки. Руки их, от плеча до кончиков пальцев, были в непрерывном движении и казались многожды вывихнутыми, вывихнутыми казались и лица, искажаемые отчаянной мимикой — всё было до ужаса преувеличенным и до ужаса неполноценным...

— Вот таким я вижу балет, — невинно сказала Цветаева. — Или, если заставить “их” замереть — скульптуру. Искусства не моего измерения.

Через несколько дней они встретились в Лувре: Исаакян хотел отомстить за “глухонемых”, и Цветаева охотно согласилась, при условии, что месть будет краткой, не на измор. Исаакян поклялся в этом.

Я отправилась вместе с матерью — помочь ей найти главный вход в этот музей-дворец, к которому каждый из французских королей пристраивал своё собственное крыло со своим собственным парадным входом, и запутаться среди всех этих величественных подъездов было немудрено. К тому же мне, в те годы учившейся на курсах при Лувре, не терпелось блеснуть своими (неглубокими и совсем свежими) познаниями в истории искусств.

Но услуги мои не потребовались. Исаакян уже ожидал нас в просторном, по — соборному гулком, по — больничному светлом

вестибюле — совершенно пустынном. <...> Мы пошли, не останавливаясь, вдоль Деноновой галереи, сквозь строй гигантских саркофагов <...> пока весь этот музейный Аид не вынес нас — Исаакян и Цветаева — впереди, как Орфей и Эвридика, — к великолепному мраморному каскаду “Большой лестницы”, ведущей к залам живописи. Лестница эта, увенчанная мозаичным куполом, была чудесна сама по себе, но главным её чудом было то, что вся она, во всей стройности и строгости своего подъёма, во всём праздничном, ярком чередовании света и тени на полированных плоскостях её ступеней служила лишь пьедесталом стоявшей на верхней площадке фигуры. То была статуя Самофракийской победы — к ней-то и подвёл Исаакян Цветаеву — и остановил, положив ей на плечо ладонь, ибо Победа эта была столь огромна, что легко было, осознав лишь её подножие — из каменных блоков сложенный нос корабля -триремы, — обогнуть его, так и не взглянув вверх.

Обезглавленная и безрукая, грубо изувеченная христианским варварством, оббитая и выщербленная прошедшими по ней тысячелетиями, ликующая богиня остановилась на бегу, чтобы протрубить победу, и за триста лет до нашей эры отбушевавший ветер облепил её юное, торжествующее тело складками одежды, влажной и отяжелевшей от брызг прибоя, затрепетал в её широко и сильно раскинутых крыльях, ероша их мраморные перья.

Всё в ней было движение, упругость, устремлённость; всё было живо; всё было цело, цельно и неодолимо в этой фигуре, поднявшей и согнувшей в локте невидимую руку, чтобы, приложив к невидимым устам незримую трубу, возвестить на века вечное торжество человеческого духа, мужества, гения.

— Ну как, Марина Ивановна? — спросил Исаакян.

— Я давно её знаю и люблю, — ответила она, поглаживая шершавую, в мелких оспинках, желтоватую от времени поверхность каменной ткани. — И всё же, «в начале было Слово», — добавила она, помолчав».

Финал неожиданно пронзительно погружает читателя на дно теперь уже её, Ариадны Эфрон, Китежа, тоже затонувшего...

«Были ещё встречи с Исаакяном; он приезжал к нам в Мёдон под Парижем; бывал и у Лебедевых, где раза два встретился с трогательным, больным Бальмонтом и по-братски расцеловался с ним и внимательно и всерьёз слушал его терявшие связность, разбредавшиеся речи. Были ещё встречи — воспоминания и встречи — споры. Но мне было бы трудно, пожалуй, невозможно рассказать о них не только теперь, когда нет в живых никого из них — ни Цветаевой, ни Исаакяна, ни Бальмонта, ни Лебедевых, когда и улочка Данфер-Рошро переменила название и облик...».

Всё это звучит как безмерно печальное: «И все они умерли, умерли, умерли...»

Но в самых последних строках тональность неожиданно меняется, в ней звучит выстраданное торжество победы над смертью:

«... но и в те времена, когда все были живы и всё было по-прежнему, потому что в памяти всё перекрылось тем ослепительным видением: двух поэтов, двух горцев поэзии — осенённых бессмертными крылами Ники Самофракийской».

Как многого мы не узнали бы, не увидели, не услышали, не почувствовали, если бы не было голоса Ариадны Эфрон, поведавшей то, что не смог бы никто другой, даже если бы этот другой знал и помнил те же самые факты!

И как не права была Ариадна Сергеевна, настойчиво доказывая (но не доказав!) Борису Леонидовичу, что она «не писательница»:

«...я не писательница потому, что дико требовательна к себе, до такой степени, что с первых же строк перестаю понимать, “что такое хорошо, что такое плохо”, и в поисках лучшего дохожу до белиберды самой очевидной, в чём неоднократно убеждалась, набредая на какую-нб. старую тетрадь с какими-нб. попытками чего-то. Не писательница я ещё и потому, что, не пройдя необходимого каждому творящему пути — от творчества слабого и подвластного кому-то к творчеству сильному и своему собственному, я не могу позволить себе сейчас, в свои 37 необыкновенных лет, писать слабо, а быть самой собой творчески — не могу, ибо своего собственного (творческого) лица нет. Виденное, слышанное, прожитое, пережи-

тое, воспринятое, понятое ещё не дают в руки способов выражения, да и слава Богу, а то писатели поглотили бы читателей!» (Б. Пастернаку. 1951, 4 апреля).

Была и ещё одна причина этой «дикой требовательности» к себе — в этом письме не названная, но в подтексте, разумеется, ясная им обоим — Ариадна Эфрон не могла позволить себе писать слабо, будучи дочерью Марины Цветаевой. Эта ответственность всегда была в ней безмерно сильна. Можно ли решиться сказать — «чрезмерно»? Это утверждение своей «не талантливости» звучит и в других её письмах другим адресатам, где об этом говорится с юмором — как о само собой разумеющемся факте, не доставляющем ей никаких переживаний. Для неё — на самом деле только в её восприятии! — это и было так, а для неизбывного страдания хватало других причин...

Ответственность же — давила и даже подавляла.

Её младший брат был в этом смысле смелее и независимее. Мур был уверен, что станет писателем. Может быть, это происходило и оттого, что он никогда не жил в мире поэзии Марины Цветаевой так глубоко, как Аля.

Ариадне Сергеевне слишком часто казалось, что она не владеет способами выразить виденное, слышанное, прожитое, но оно рвалось из неё:

«... Домик наш — самый крайний на берегу, под крутым обрывом. Слева есть соседи метров за 300, живут в землянке, справа — никого. Однажды ночью было очень страшно, нас разбудил отчаянный стук, сопровождавшийся отчаянным же матом. Мы не открывали — стук продолжался, потом ночной гость стал ломать дверь, сорвал крючок и ввалился в сени. Я, собрав остатки храбрости, заперла приятельницу в комнате, а сама вышла в сени. Нашла там вдребезги пьяного лейтенанта в мыльной пене и в сметане — когда он ворвался в сени, на него свалилась банка кислого молока, а сам он попал в ведро с мыльной пеной, оставшейся от стирки. На мои негодующие вопросы он ответил, что, по его мнению, он находится в горах на границе, где каждый житель рад приютить

и обогреть озябшего пограничника. Я сказала, что кое-какие границы он, несомненно, перешёл, и предложила ему отвести его в такой дом, где его примут, обогреют и примут с распростёртыми объятиями. Сперва лейтенант слегка упирался, считая наиболее подходящим для отдыха с обогревом именно наш дом, но потом сдался, я взяла его под ручку и с трудом дотащила до... милиции, где сдала очень удивлённому именно моим (у меня скорбная репутация женщины порядочной и одинокой!) появлением дежурному. И правда, одета я была легкомысленно — тапочки на босу ногу, юбка и телогрейка, распахнутая на минимуме белья. И под руку со мной мыльно-сметанный лейтенант. Но такие случаи здесь очень редки, так что, надеюсь, этот лейтенант был первым и последним...» (Б. Пастернаку. 1950, сентябрь).

Юмор Али здесь очень напоминает тот, что переполнял в давнем (1920-х годов) письме Марины Цветаевой Евгению Ланну её рассказ о «трёх посещениях» их дома в Борисоглебском переулке — спекулянта со Смоленского рынка, военного из комиссариата и коммуниста в высоком чине. (Подробнее об этом сюжете идёт речь в моей книге «Безмерность в мире мер. Моя Цветаева» Иерусалим. «Филобиблон» 2012).

Дом Али на севере, как и дом Марины в Борисоглебском переулке (начиная с 1918 года...) был не защищён — открыт всем ветрам и самым неожиданным посетителям. И единственное, что оставалось, чтобы не впасть от пожизненного отсутствия уюта в беспросветное отчаяние — воспринимать подобные неожиданности как некую весёлую экзотику. Молодая Марина Цветаева это умела и научила этому маленькую дочку, что очень чувствуется в письмах Али той поры. Правда, взрослой Але в её многолетнем одиноком «хождении по мукам» это было труднее...

В одном из писем — ещё до того, как смущённая похвалами Бориса Леонидовича Аля начала отрешиваться от них, она была справедливее к себе. Она писала:

«... с удовольствием — если бы жизнь моя была в моих собственных руках, жила и работала очень далеко от Москвы, и имен-

но на севере, еще севернее, чем здесь, — жила и работала бы по настоящему, не так, как сейчас приходится. *Книги писала бы о том, что немногим приходится видеть, хорошо писала бы, честное слово!* (Б. Пастернаку. 1950, 17 апреля, курс. мой — Л.К.)

Мог ли Борис Пастернак сомневаться в этом, читая в этом же самом, казалось бы, полностью погружённом в её печальную обыденность письме — речь идёт о пошатнувшемся здоровье, о вынужденном походе к врачу, об унылой очереди в амбулаторию, где пришлось просидеть 4 часа — такое:

«Какая меня всегда тоска за душу хватает от казённых помещений и присущих им казённых же запахов — милиций, амбулаторий, контор и т.д. (...) А зато как хороши гостиницы, пристани и вокзалы! И какая там иная тоска, живая, с огромными сильными крыльями, вот-вот готовая превратиться в радость, правда? и по силе не уступающая счастью. Тоска приёмных покоев совсем другая, заживо оципанная и бесперспективная (чудесное словечко!) Осенняя муха, а не тоска».

Разная тоска... Так в далёком детстве она отмечала разницу состояний радости — и восторга, могущего охватить душу и без радости... Марина Ивановна с гордостью написала тогда о восьмилетней Але: «Отмечание тончайшего. В сложнейшем — дома».

Ариадне Сергеевне в ссылке довелось увидеть действительно «многое такое, что немногим приходится видеть»: «Крайний Север — непочатый край для писателя, и никто решительно ничего настоящего о нём не написал», — писала она в конце приведённого письма. И Ариадна Эфрон написала о том, что видела, не только в письмах к родным, и немногим друзьям, и Борису Пастернаку...

Как когда-то Марина Цветаева записывала подробности поездки в деревню, сценки на московских улицах, разные встречи и диалоги 1918 — 1922 годов, так теперь Аля пишет другую, уже неведомую Марине Цветаевой Россию.

В этом смысле дети Марины Цветаевой оба достойно продолжили семейную традицию: Мур написал Москву начала войны и октябрьских дней 1941 года, эвакуационный Ташкент, дорогу туда (поезд военных лет); Аля — Туруханский край.

В прозе Ариадны Эфрон часто ощутим взгляд талантливой художницы — и в пейзажах, и — особенно — в портретах самых разных людей. Она умела писать их — таких далёких от мира, где она родилась и выросла. Приведу отрывки из её талантливой прозы, где возникают люди маленькой деревни (в Сибири такие поселения называют станок) — с горьким названием «Мироедиха».

«Никто не знает, сколько ей лет. Да и сама она потеряла счёт годам. Так худа, что кажется бестелесной, одежда висит, как на согнутой, искривлённой ветке. Из складок лица, бесформенного, похожего на плохо отжатую тряпку, глядят два так глубоко запрятанных, что кажутся забытыми, туманно-голубых глаза с чуть мерцающими зрачками. Зовут её баба Лёля, а по-настоящему Елена Ефимовна.

Она, как рассказывают мне, старше не только всех, живущих здесь, но даже и всех строений. Это тем более страшно, что часть построек сгнили и завалились, два же огромных почерневших амбара над самым обрывом, подпёртых чёрными брёвнами, стоят, как на костылях, и кажется, тоже вот-вот рухнут. А она все живёт.

“Своей семьи у неё нет, — говорят мне и, усмехаясь, добавляют: — Девушка она. А вообще-то все мы, весь станок, ей родня. Она ведь Гавриленкова, дочь того самого, кто здесь первый построился. Да вы сходите к ней, поговорите, она говорить сильно любит, да не с кем, наши-то никто не слушает”. <...>

— Что тут было, милая! — говорит баба Лёля, легко наклоняясь ко мне. Лёгкость её движений поражает, кажется, что при каждом наклоне и повороте она непременно должна скрипеть, как заржавленная. — Евдоким у нас в те поры комсомольцем заделался (она произносит “комшомольцем”), на колокольню залез и колокола отвязывает. Их было у нас ни много ни мало, а всего одиннадцать. Два больших и три меньших. Ох, и колокола были — малиновый звон! Отец наш, Ефим Петрович, сам выбирал на Енисейском заводе. Большие-то, как Евдоким снял их, забрали и на барже увезли. Прямо при всём народе.

— Ну, а народ что?

— Народ-то? Он, народ, ничего, ничего народ-то. Два больших и три большееньких увезли, значит, а малые — бабы разобрали. Коровам на шею весить. Как заплутает корова в тайге, так, значит, по звону и слышать. Ну и звон же был, малиновый звон...

Баба Лёля, вспоминая, качает головой, повязанной чистым белым платочком в красную крапинку. Вдруг вскакивает совсем молодому, хватая меня горячей, цепкой ручкой за плечо...

— Вот, вот он, гляди, вот идёт, комсомолец-то, вот он, колокола, колокола-то снимал который!..

За зелёными волнистыми стёклами окон — сперва за одним, потом за вторым и за третьим — проплывает, как в аквариуме, пожилой, приземистый, немного хромой человек. Голова у него совсем белая, а борода — совсем рыжая. Меня познакомили с ним вчера, это Евдоким Ильич Попов, заместитель председателя колхоза, лучший животновод района. Давно уж он прошёл, а бабка всё ещё шипит, как политая водой головёшка:

— Комшомолец... комшомолец... колокола шнимал... <...>

А в Мироедиху мы приехали втроём — Фая, довольно миловидная и очень церемонная молоденькая официантка из столовой аэропорта, Вильма, высокая, с малиновым румянцем во всю щёку и топорно-правильными чертами лица молчаливая эстонка, бухгалтер рыбзавода, и я.

Ехали мы сюда на десять дней, помогать колхозу убирать картошку, а застряли на целый месяц.

“По нашей собственной дурости, — уверяет Фая, — через то, что мы чересчур себя показываем. Плохо работали бы, так нас быстро бы спровадили, как прошлый год райсоюзовских. А мы наравне с колхозниками и даже лучше стараемся, вот они нас и держат, и держат. Главное, по своей воле никак не уйдёшь, посуху через тайгу дороги нет, а лодки колхоз не даёт”.

Мы, не разгибаясь, идём соседними грядками, выбираем из размокшей земли картофель и переговариваемся.

“А куда тебе, Фая, торопиться? — говорю я очень убедительным тоном, поддразнивая её. — Ты молодая, у тебя всё впереди, так какая тебе разница — десять дней или месяц?”

“Ах, А. С., это как раз в вашем возрасте возможно дожидаться, потому как, извините пожалуйста, вы пожилые, а мне никак нельзя. Поверите ли, как самолёт с Красноярска пролетает, так у меня душа обрывается, и я сейчас же думаю, что это обязательно Павлик. Он летает на Л-1828, но мне отсюда никак не видать, какие у самолётов номера, потому что тут они высоту набирают тысячу двести, а это больше километра”.

“А в качестве кого твой Павел летает?”

“Как вы говорите?”

“Я спрашиваю — кем Павлик летает?”

“А-а! Павлик летает бортмехаником. Он такой вообще интересный, и вы должны его помнить — он в портовском оркестре на баритоне играет и немного весноватый, и ещё, когда выпивает, то обязательно лезет в драку. Такой чудной! — добавляет Фая, пожимаясь. — Его всегда-то на комсомольских собраниях пробирают!”

“Не помню, Фая, честное слово, не помню. Ведь они все выпивают, все лезут в драку, и всех их прорабатывают”.

“Да нет, помните, А. С.! Он такой очень высокий, просто исключительно высокий, и притом здоровый из себя. Всегда одет аккуратноенько. Посмотрел бы он на меня теперь!”

<...>

Она очень огорчена этой задержкой, это видно, огорчена, взволнована.

“Потому что, А. С., девчонки такие бессовестные, сами ребятам на шею вешаются, особенно портовским, а Павлик очень отзывчивый, и мне исключительно трудно его в руках держать. А вы говорите, десять дней или месяц — какая разница! Тут, А. С., не то что день — час дорог!” (...)

Вечером нас приглашают в колхозную контору — подписываться под Стокгольмским воззванием. Мы очень устали, нам не хочется двигаться, но не идти невозможно.

Контора помещается всё в том же неисчерпаемом купеческом доме, и в обычные дни из всех комнат эта — самая неприветливая. <...> Вдоль стен — колченогие скамейки и табуреты, на залитом

чернилами и изрезанном досужими ножами столе графин без пробки, наполненный енисейской водой цвета чайной розы.

Но сегодня всё принаряжено, стол застелен кумачом, на котором ещё проступают плохо отстиранные слова «твердыня дружбы и славы», скамейки расставлены, как в театре, а главное — вымыт до блеска обычно зашарканный пол.

Принаряжены и люди, не так обстоятельно, как по большим праздникам, но всё же цветастые платки и шали извлечены на свет божий, и поэтому в комнате помимо табачного дыма и керосинового угара носится странный и старинный запах потревоженных бабкиных сундуков.

За столом мы видим учительницу Варвару Максимовну, Евдокима — заместителя председателя колхоза и между ними пытаемся различить представителя райкома партии, скрытого большим букетом бумажных роз, принесённым Натальей Афиногеновной для украшения помещения.

Наконец Евдоким объявляет собрание открытым, и все долго и с удовольствием аплодируют. Потом поднимается представитель райкома, одёргивает тужурку, опирается руками о стол и начинает: «Товарищи!»

Это инструктор отдела агитации и пропаганды Колесников, человек с обманчиво-сказочной наружностью старого пасечника, сухой, ограниченный и весь какой-то скудный. Я его хорошо знаю, он контролирует всю работу Дома культуры, в частности мою.

Невнятно и скучно он произносит вступительные слова, потом привычно окунается в газету и плывёт по её течению, и также непонятно, скучно и необычайно долго мямлит её вслух.

Я представляю себе долгий путь, проделанный этим человеком по Енисею на райкомовской моторке, всякие там суточные, подъёмные и командировочные, сопутствующие ему, думаю о том, что вся жизнь его в том и состоит, чтобы ездить с места на место, зимой и летом, и читать вслух уже всеми прочитанные газеты или размноженные на машинке не им написанные доклады.

На лице его, снизу освещённом лампой, лежат чёрные, как сажа, непривычно расположенные тени, и от этого оно кажется странной карнавальной личиной с густыми усами вместо бровей. <...>

Рядом со мной сидит, не шелохнувшись, прямая и вся высохшая Урания, до бровей закутанная в коричневую шаль. На тёмной руке её с искривлёнными пальцами поблескивает обручальное кольцо.

У Урании во время войны без вести пропал муж, она осталась с пятью девочками. Вон в углу тётя Паша, доярка, у которой погибли муж, брат и сын, и её сестра, тётя Поля, муж которой вернулся без обеих ног и помер здесь, в деревне, года три тому назад.

Под окном сидят, обнявшись и покачиваясь, две красивые быстроглазые сёстры — Даня и Ариша, отец которых не вернулся из германского концлагеря, и до 16 лет они росли в Игарском детском доме. Они перешёптываются, поглядывая на клюющего носом рядного Миньку-моториста, и тихо смеются в кулак.

Спрятавшись за печку, кормит ребенка растрёпанная, неприбранная пожилая женщина, Настя Попова, телятница. Вот и она осталась в войну без мужа, с двумя малышами, и не так давно вдруг связалась с парнем, вдвое себя моложе, сыном председателя, за что корит её вся деревня, а председателя жена поедом ест.

Да буквально на кого ни глянь, каждый и каждая пострадали от войны, многие непоправимо.

Во имя их и от имени их написано Стокгольмское воззвание, но об этом не знают и не думают ни они сами, ни Колесников, для них это просто пропащий вечер, а он отбывает повинность, за которую деньги получает.

— Кто желает выступить?

— Я желаю, — срывается с места Попова, запахивает на груди кофту и потом размахивает свободной рукой. — Я желаю сказать, что по закону вот мне положено за телёнка семь трудодней, а как Весёлая отелилась, так трудодни мои Маруське записали, знаю, чьи это дела, будто в её дежурство, а что Маруська против меня зло имеет, каждый знает, а я...

— Не по существу выступаешь, Настасья, тут тебе не производственное совещание, — прерывает её Евдоким.

— Кто имеет слово по существу Стокгольмского воззвания, кто желает выступить?

Колесников уже не стоит, а сидит за столом, и опять вместо его лица — букет бумажных роз.

— Кто желающий сказать, ещё раз предупреждаю!

— А танцы будут?

— Чего говорить, всё ясно!

— Почему кино не везут? — несётся из задних рядов.

— ...Желающих нет? Итак, прошу, товарищи, подходить расписываться!»

1952 (дата обозначена первыми публикаторами примерно).

Как талантливо Ариадна Эфрон создаёт здесь удивительный «эффект присутствия» — даже для самого далёкого от этих жизненных реалий читателя! «Тоскливое место Мироедиха, и это чувствуют все, *только тоску называют скукой*». (курс. мой — Л. К.) — Ещё одна разновидность тоски — иная, чем в больничной очереди, но и на «гостиничную» или «вокзальную» тоску не похожая...

И сколько в её «Мироедихе» запоминающихся портретов — и психологических, и ярко живописных, данных глазами талантливой художницы.

«Фая распрямляется и тыльной стороной вымазанной руки с оттопыренным мизинчиком сгоняет со лба продуманно небрежные локончики. Причёска у неё такая: две коротенькие негустые косички очень распушены, уложены кокошником и держатся двумя пластмассовыми бантиками, которыми Фая гордится и дорожит: таких в Туруханске нет, это ей Павлик из Красноярска привёз. (Тот самый лётчик, которого Фая так боится надолго оставлять «без присмотра», потому что «девчонки такие бессовестные, сами ребятам на шею вешаются!» — Л. К.) Одета она в зелёную байковую курточку и бывшую шёлковую юбку, из-под которой выглядывают сатиновые, сборчатые, как у грузчика, шаровары».

«Моторист Минька — первый парень на деревне, а летом и единственный, потому что все мужчины, за исключением глубоких стариков (...) на рыбалке и на покосе. Минька — красавец и щёголь,

запросто, не в праздник, носит зелёный свитер с оленями и пилотские штаны с карманами на коленях, курит дорогие папиросы и ругается так витиевато, что даже знатоки теряются. (...) А вообще-то моторист он хороший, даже талантливый, и преодолевает Енисей при любой погоде».

В этих описаниях изредка ещё прорывается голос прежней Али — молодой, остроумной, живо и весело рассказывающей о разных юмористических ситуациях, любящей рассмешить...

Отдельно о себе Ариадна Сергеевна здесь почти не говорит. Можно только догадываться, что чувствует она, слыша, что ей — «пожилой женщине» (в 1952 году ей исполнилось 40 лет) — больше торопиться некуда.

Но о том, как воспринимают её «простые люди», она невольно проговаривается.

И как много скрыто в косноязычных словах несчастной рыжей Шурки: «Ты — понимаешь...». Эту способность понимать важное для них чувствовали в Але и её ученики — студенты Рязанского художественного училища, всю жизнь с волнением помнившие её. Они даже не побоялись добиваться свидания с ней в тюрьме после второго ареста. А сама Ариадна Сергеевна, ещё до ареста, но когда её снимали с преподавательской работы, с огорчением писала:

«Не можешь себе представить, как мне жаль. <...> все меня любили, и очень хорошо было среди молодёжи, и много я им давала. Правда. За эти годы я стала много понимать и стала добрая, особенно к отчаянным. <...> А теперь, когда я всех знаю по именам и по жизням, и когда каждый идёт ко мне за помощью, за советом, затем, чтобы заступилась или уладила, я должна уйти». (Б. Пастернаку. 1948, 14 августа).

Помнили Алю и подруги тюремных, лагерных, ссыльных лет. Однажды посылка Бориса Леонидовича буквально спасла жизнь её подруге в Туруханском крае. Шошана Фишер рассказала об этом в своей мемуарной книге «Всюду жизнь», изданной в Израиле. К ней, тяжело больной, отказывавшейся от всякой еды, исхудавшей, стоявшей уже на краю гибели, пришла Аля и спросила, чего ей сейчас

больше всего хочется. Шошана ответила: «Сушёной рыбы и овощей». Она, конечно, не верила, что её желание может исполниться. Но вечером Аля принесла ей вкусный суп именно из этих продуктов — она недавно получила посылку от Бориса Пастернака! С этого дня Шошана начала поправляться.

И сколько тепла, понимания, сочувствия трудным судьбам в «Мироедихе»! Но в советской литературе тех лет такой Мироедихе, какую написала Аля, места не было: самое мягкое, что могло бы последовать при попытке опубликовать такое — обвинение в очернительстве. Если поэзия Марины Цветаевой отвергалась по причине якобы «тотальной оторванности от жизни», то проза Ариадны Эфрон была бы отвергнута по причине прямо противоположной...

И как далеко всё это от содержания и стиля первых после возвращения на родину писем Али, восторженно воспевавших «великую страну», и её писем из лагеря, вопреки всему славящих «волю и ум вождя» и великие достижения социализма! Теперь она видит не «то, что хочет видеть», а то, что есть на самом деле. И как узнаваемы приметы времени: тип инструктора отдела агитации и пропаганды, скука и полная оторванность подобных собраний от живой жизни, реальные заботы согнанных на них людей...

Правда, если бы именно на этом собрании вдруг дали слово Ариадне Эфрон (абсолютно фантастическое допущение!), она нашла бы такие слова, что вызвали бы отклик в душах людей. Но она — ссыльная, бесправная, а «истинно советский» человек, официально уважаемый и признанный, — тот самый безграмотный инструктор, контролирующий её работу в Доме культуры...

Были ещё устные рассказы Али, и они еще очевиднее свидетельствуют, что с иллюзиями прежних лет она рассталась бесповоротно.

«А каким рассказчиком Аля была! — вспоминает Мария Белкина. — Вскоре по Москве, из дома в дом, стали кочевать её рассказы, передаваемые из уст в уста, и потом возвращались к ней бумерангом, обрастая уже фольклором.

Это были рассказы об “Иоське Талине” и Афоне, местном жителе Туруханска, одногодке Сталина, меднолицем, раскосом, совсем

тёмном и добром человеке, который, когда не был пьян, приходил к Але колоть дрова. <...>

“А Сталина ты знал?” — “Иоську-то Талина, а то как же — знал. Плохой человек был. Его здесь все не любили. Раз осетра поймал и от головы до ног один стрескал” <...>

Аля спрашивала Меланью:

— Ты Иоську знала?

— А как же! Никудышный человек был. Раз шёл из Туруханска в Мироедиху и в прорубь пал. Бегаёт по порядку, стучится в избы. Его спрашивают: “Кто?”- “Иоська Талин! Пустите!” — “Иди, иди, — отвечают,— отседова!”

И это в Сибири-то, — замечает Аля, — где никогда не отказывают в ночлеге и ещё обязательно покормят. “Очень плохой был! — говорила Меланья.

— Он крепкий чёрт был, а ссыльный иной — в чём душа только держится, а он заспорит с кем из них, и как не по ему, так — в морду! В морду даст! Об политике спорили...”

А то приехал раз оперуполномоченный, — рассказывает Аля, — проверить: все ли мы, ссыльные, на месте, не сбежал ли кто. Остановился он у Меланьи. Она поставила самовар, а он разложил на столе: хлеб, масло, рыбку. И я тут же за столом сижу <...>.

— Угощайся, бабушка, — опер снял фуражку, разговор заводит.

— Бабушка, ты, говорят, Сталина видела?

— Ага.

— Как же ты его видела?

— Да вот как тебя вижу.

— Ну, ну, расскажи — какой он?

— Да что ж... На лицо рябой. Росту среднего...

— Ну ладно, бабушка, об этом не надо. Это — потом. Ты вот, говорят, провожала его, лепёшки на дорогу пекла?

— Ага.

— Ну, расскажи, как было-то.

— Да вот, пришёл он, значит, и говорит: “Меланья, позови Наташку”. А Наташка самая распоследняя баба была. Гулевая. Никому не отказывала. Никудышная баба была. Я — пошла. “Зо-

вут”, — говорю. “А кто зовёт?” — спрашивает. “Да Иоська Та-лин”. — “Чего-о! — кричит. — Ты пойд и скажи этой скупой грузинской морде, что я с ним спать не желаю. Брезгую я спать с этой грузинской мордой!..” И грудью на меня идёт...

— Ну ладно, бабушка. Это — потом. Потом!

Опер фуражечку свою цапнул, снедь на столе оставил — пусть пропадает! — и фр-р-р из избы. А мы, ссыльные, — говорит Аля, — не шелохнёмся, молчим. Только слышим: моторка — тук-тук-тук. Уехал.

— Чего это с ним? — спрашивает нас удивлённо Меланья. Местные в «политике» не разбирались, тёмные были, неграмотные. Знали: раньше, до революции, сюда за политику ссылали и теперь ссылают. А кто да за что — разве ж поймёшь!»

Что-то абсурдистское, напоминающее рассказы Хармса, есть в этих историях. Может быть, освобождающее сознание рассказчицы и слушателей от многолетнего кошмара ...

И всё же не получается — при всём комизме — весело вспомнить при этом некогда знаменитое изречение: «человечество смеясь прощается со своим прошлым». Не получается...

«В нотариальной конторе пожилая машинистка, снимая копии (документов о реабилитации), сказала мне: “16 лет! Какое безобразие! Как хорошо, что это кончилось! Желаю Вам много, много счастья...”. Я была ошеломлена и тронута, а старый-престарый сухарь — нотариус, заверяя копии, сказал: “Надо десять копий снять, а не две, и разослать тем, кто вас посадил!”». Это рассказывала Ариадна Эфрон Марии Белкиной.

Сквозь боль одиночества, сквозь всю запредельную усталость этих страшных лет больше всего мучила Алю одна неотступная забота:

«Только одна к Вам просьба — никогда и ни для кого, кто бы он ни был, не расставайтесь с маминими подлинниками, ни с книгами её, изданными при жизни», — заклинала она Елизавету Яковлевну Эфрон (свою любимую «тётю Лилю») в 1953 году, когда сама ещё не знала, суждено ли ей когда-нибудь выбраться из Туруханска.

Эта просьба была выполнена: на дне сундука в маленькой тесной комнатке, где жила Елизавета Яковлевна с подругой, долгие и отнюдь не безопасные годы хранилась — и сохранилась! — самая большая часть архива Марины Цветаевой (точнее, той части его, что после долгого тщательного отбора «возможного» была привезена ею на родину). Есть в этой сохранности что-то от Чуда...

Вернувшись наконец в Москву, Аля ночами напролёт сидела в той комнатке, где перебивались Марина Ивановна и Мур, когда им совсем уж некуда было деваться, где позднее Мур, «брошенный в море одиночества», жил последние свои месяцы (после Ташкента, до призыва в армию, где погиб в одном из первых боёв)... «И все они умерли, умерли, умерли».

Всё это было «в воздухе» комнаты, всё это остро ощущала — не могла не ощущать! — дочь Марины Цветаевой... Аля долго была там одна — тем летом Елизавета Яковлевна с подругой жили на даче. Она открыла сундук и смогла, наконец, всё это увидеть, прикоснуться, взять в руки:

«...ночью сижу с маминими рукописями. Вместо того чтобы хладнокровно разбираться в них, только и делаю что читаю и плачу и хватаюсь за голову (...). Из этого сундучка, окованного железом, как из ящика Пандоры, встаёт вся та жизнь, которую я в себе держала тоже как в ящике и не давала ей ходу. Выйдя из сундука, мамина жизнь туда не возвращается больше, над этим не закроешь крышку...» (Л. Бать, 1956)

«Встаёт вся та жизнь...». В те дни Ариадна Сергеевна впервые узнала о «Повести о Сонечке». Она очень помнила «воздух» той жизни.

«...помню ту, давнюю, пору. И Вашу *impétuosité* (порывистость, пылкость, стремительность — *франц.*), и гибкую статуйность Юры Завадского, и душу Володи Алексева... И многих, и многое, и ту, сейчас просто не мыслящуюся, Москву. Я так была мала, что и булыжники, и звёзды были одинаково *близко*. Господи, какое же у меня было *счастливое* детство, и как мама научила меня *видеть*...» (П. Антокольскому 24 ноября 1962)

«А ведь последняя мамина проза — о Вас, о вас о всех, тех, юных, — мамина “Повесть о Сонечке”. Знаете?» — взволнованно писала она постаревшему герою Повести («Павлику А.»), ставшему известным поэтом — Павлу Григорьевичу Антокольскому. — Удивительная вещь — жизнь! Удивительно смыкаются круги — возвращается ветер на круги своя — и *безвозвратное* ещё раз берёт тебя за руку — и за душу» (6 января 1963)

Она наконец позволила себе раскованно вспоминать, и в душе стали оживать те давние картины, лица, голоса...

«Детское восприятие, без корректив заключённое во взрослой памяти», — так написала она П. Антокольскому о том, как своеобразно живут в её памяти герои и сюжеты «Повести о Сонечке». Так хотелось ей дожить до публикации этой вещи, и главное — помочь матери, столько для этого сделавшей, не дать «им всем уйти безымянными и неопознанными». (Так писала она Борису Пастернаку о героях его «Доктора Живаго»).

Речь, конечно, не только о милых душе её героях, так связанных с памятью о её детстве и молодости Марины...

«Когда я думаю об огромном количестве всего написанного ею и потерянного нами, мне страшно делается. (...) Целая жизнь труда, труд всей жизни. И ещё многое можно было бы разыскать и восстановить, и сделать это могла бы только я, единственная оставшаяся в живых, единственный живой свидетель её жизни и творчества, день за днём, час за часом, на протяжении огромного количества лет. (...) Я никогда не смогу сделать этого, я разлучена с её рукописями, я лишена возможности разыскать и восстановить недостающее. Я ничего не сделала для неё живой, и для мёртвой не могу», — так писала она Борису Пастернаку из Туруханской «бессрочной» ссылки. (1950, 8 мая)

Но она ошибалась. Она смогла. Смогла одолеть ТАКОЕ и СТОЛЬКО, что мало кому из живущих в гораздо более щадящих условиях это оказалось бы под силу — чего стоили одни только бесконечные цензурные препятствия, когда приходилось воевать за каждую строчку. Позднее, после первой растерянности и подавленности «необъятностью» увиденного, пришло чёткое мужественное

решение: «Всё, что касается её литературного наследия, я сделаю. И смогу сделать только я». (курс. мой — Л. К.)

Постепенно находились помощники (в историю цветаяведения вошла многолетняя самоотверженная помощь тогда совсем молодой Анны Саякянц, позднее ставшей известной исследовательницей цветаевского творчества и судьбы), но, разумеется, так, как Аля, никто другой этого сделать не смог бы.

Но теперь её мучил другой страх — не успеть. И Ариадна Эфрон, тяжело больная после всего пережитого, все оставшиеся ей годы посвятила памяти матери: проделала огромную работу комментатора, составила первые цветаевские сборники, мгновенно разошедшиеся и так памятные всем навсегда полюбившим её стихи с тех лет. (Они вышли в 1961 и в 1965 годах). Благодаря подвижническому труду Ариадны Сергеевны поэзия Марины Цветаевой была возвращена России гораздо раньше, чем это случилось бы без её усилий.

Но всё это не принесло покоя дочери Марины...

«Всё это сильнее меня — и живее меня, живущей. Перечитывая то, другое, хватаюсь за голову... Вот мы и встретились с нею вновь. И я, живая, нема в этой встрече. Говорит только она...», — так писала она Лидии Бать в уже цитировавшемся письме 1956 года.

Звук трагедии слышен в этих словах. Ещё пронзительнее звучит он в сказанном Ариадной Эфрон совсем незадолго до смерти — весной 1975 года.

«Никого в жизни я так не любила, как маму, — ни отца, ни брата, ни мужа, а детей у меня не было. Я любила маму всегда, но было время, в молодости, когда я хотела эту любовь совместить со всякими там мальчиками, с девочками, с кино и с прочим, а мама презирала мою неразборчивую разносторонность. Тогда мама была мне не под силу, и нужно было столько пережить и перестрадать, чтобы дорасти до понимания собственной матери». «Дорасти...». Это означает, видимо, приход к ничем не замутнённому осознанию масштаба личности и гениальности Марины Цветаевой.

Итак, подводя итоги своих трудных воспоминаний, до конца не дописанных, но, конечно же, мучительно теснившихся в голове и

душе её все последние годы, взрослая дочь признала справедливыми все те требования Марины Ивановны, против которых так бунтовала в юности, главное — против требования, по сути дела, отказа от *своей* жизни ради служения гениальной матери и её творчеству. Но можно ли признать эти её слова действительной «последней точкой» в трагическом сюжете отношений необыкновенных матери и дочери?

Нельзя, думается, забывать, что сказано это тяжело больной, безмерно уставшей после 18 лет лагерей и ссылок немолодой женщиной, потерявшей всех близких — мужа (единственного мужчину, которого она любила в жизни), младшего брата, рождению которого так радовалась когда-то («Брат — это как-то надёжнее», — писала она тогда, радуясь, что родился именно брат, а не сестра) и очень любимого ею отца, пережившей ужас самоубийства матери и все свои последние годы погружённой в написанное ею.

Всей душой поглощённая тем, что стало для неё теперь единственно важным в жизни, с постоянной болью ощущая «пепел Клааса», который стучит в сердце, Ариадна Сергеевна была так внутренне отрезана от своей молодости, что могла быть просто не в силах эмоционально помнить *ту* себя, естественно рвущуюся в «Париж на свободе» — на весенние бульвары, в кино, к своим друзьям тех лет... И разве можем мы, пусть даже «вслед за ней», оспаривать её право на всё это?

Внутренняя усталость всё тяжелее накапливалась. Это особенно заметно, если сравнить эти страшные последние слова её с тем, что ответила она (ещё «из лагеря в лагерь») Анастасии Цветаевой, написавшей ей что-то резко осуждающее Мура за отношение к матери:

«Я его ни в чём не осуждаю, так же как и себя не осуждаю за то, что делала и чего не делала в ранней молодости. На то она и молодость...». Это писалось в тяжёлое время (во второй половине 40-х годов), но Аля всё-таки была тогда значительно моложе, и насколько больше душевного здоровья в этом её письме...

И думается, что если бы она и прежде — всё время — ощущала такой несправедливо мучительный груз вины, взваленной на себя,

какой звучит в тех страшных словах, она не нашла бы в себе сил преодолеть ту давящую «немоту», о которой писала Лидии Бать. Но — преодолела. Недаром была дочерью Цветаевой...

Может быть, под впечатлением «расковавшей» её «Повести о Сонечке», так ярко напомнившей многое из её раннего детства — многое такое, что долгие годы *запрещала* себе вспоминать — Ариадна Эфрон ЗАПИСАЛА многое из того, что помнила — чтобы не пропало, не ушло навсегда. И, как Марина Цветаева оставила нам навеки живым давно исчезнувший с лица земли дом своего детства в Трёхпрудном переулке, так Ариадна Эфрон по-своему воспела ту «трущобу» — дом *своего* детства, где, вопреки всему, она была счастлива. Воспела она и их бедные дома в чешских пригородах, и поистине «воскресила» своих молодых родителей...

«Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни, к вам, в вас умираю. Чем больше вы — здесь, тем больше я — там. (...) Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живою кровью. Но я дальше пошла Одиссея, я пою их своею», — так сказала Марина Цветаева, заканчивая свою «Повесть о Сонечке» и грустно прощаясь с её героями.

Настал грустный черёд и её Але сказать похожее...

«Чем старше становлюсь, тем больше приближаюсь к своим старикам, сливаюсь с ними душой, живу ими больше, куда больше, чем собою — или чем текущим днём. Дни так и чувствуются текущими, а папа с мамой — незыблемы внутри души...» (Е. Эфрон. 1972, июль)

И ещё: «Теперь я стала (календарно) намного старше их, и понимаю я их больше как своих детей, чем как родителей...Трудно это объяснить, но Вы и так поймёте» (ей же).

Post Scriptum.

В последних горестных письмах Марины Цветаевой звучит трагический мотив потрясшего её предательства родного города — Москва её «не вмещает»:

«Я ведь не на одноимённую мне станцию метро и не на памятную доску (на доме, который снесён) претендую — на письменный стол белого дерева, под которым пол, над которым потолок и вокруг которого 4 стены» (В. Меркурьевой, 1940, сент.).

Но и в этой скромной просьбе ей отказано, и это выглядит особенно противоестественно на фоне всего, что дала городу (и России! и миру!) она и её семья: «...мой отец поставил Музей Изящных Искусств — один на всю страну — он основатель и собиратель, *его* труд — 14-ти лет (...). Не говоря уже о том, что в бывшем Румянцевском Музее *три* наши библиотеки: деда: Александра Даниловича Мейна, матери: Марии Александровны Цветаевой, и отца: Ивана Владимировича Цветаева. Мы — Москву задарили...» (В. Меркурьевой, 1940, 31-го августа), и в другом письме: «Я ничем не посрамила линию своего отца. Он 30 лет управлял Музеем, в библиотеке которого — все мои книги. Преемственность — налицо». (Ей же, 1940, 14 сентября).

... В последние свои годы в Париже Марина Цветаева не раз тревожно задумывалась о будущей судьбе своего архива. Однажды она написала человеку, которому хотела тогда доверить его:

«Аля? (Дочь.) У неё будет своя жизнь, да и рукописи мои, нужно думать, один уже вид моих синих огромных, беспощадных каких-то тетрадей, ей за жизнь — успеет надоесть! Ведь, как родилась — всегда тетрадь, и я всегда над ней (...).

Мур? (Сын.) Ему сейчас девять лет, и он активист, а не архивист» (Ю. Иваску. 1934, май)

Но всё оказалось не так. После ужаса её ухода из жизни шестнадцатилетний Мур сберёг всё, что брала она с собой в эвакуацию, и привёз обратно в Москву, куда так трудно было добираться в ту страшную осень 1941 года. Привёз — и интуитивно почувствовал, что самое надёжное место для укрытия — комната Елизаветы Яковлевны, так что и Муру все мы обязаны радостью знакомства со многим из цветаевского наследия, без его чувства ответственности могущем бы бесследно исчезнуть.

А Аля...Как часто ошибалась Марина Ивановна, предсказывая в письмах её будущую жизнь и поступки, ошиблась она и в этом письме. Не ошибалась — в стихах:

Все куклы мира, все лошадки
Ты без раздумия отдашь
За листик из моей тетрадки
И карандаш.

Так предрекала она ещё двухлетней дочке (в 1914 году). И поистине «в стихах всё сбывается». (Так было сказано Мариной Цветаевой много лет спустя). И в самом деле — сбылось.

«Аля и я.

Я: — Ах, Аля, как я боюсь, что ты всё это забудешь!

— О Марина! Я буду помнить каждую пылинку воспомина-
ния!» (Из цветаевской московской тетради).

Сбылось и это. Этот диалог мог бы стать пронзительным эпиграфом к Воспоминаниям Ариадны Эфрон. Она в самом деле ничего не забыла и на всю жизнь сохранила так восхищавшее её молодую мать «отмечание тончайшего». Всё («каждая пылинка воспомина-
ния») сохранилось в глубинных слоях её души и воссоздалось на страницах Воспоминаний дочери, ставших таким бесценным подарком для всех, кому дорога поэзия Цветаевой.

«Мы Москву задарили...». Эти слова, сказанные Мариной Цветаевой о «дарах» её отца, матери и деда, с полным основанием можно отнести к «дарам» Москве, России и миру — её детей: её архив, благодаря им сохранённый; первые — такие важные! — публикации её стихов и прозы, ставшие возможными только благодаря самоотверженным трудам и борьбе её дочери; Воспоминания Дочери...

Особое место среди этих даров занимает Дневник Мура — он ещё долго будет служить бесценным источником для историков, изучающих быт и нравы москвичей конца 30-х годов, настроения начала войны в столице и в маленьких городах, атмосферу эвакуации — всё, что так долго скрывалось в официально написанной Истории.

Дети Марины Цветаевой так же «ничем не посрамили» её линию, как сама она — линию своего отца.

Её Аля «ничем не посрамила» и стихи, о ней написанные:

Были мы — помни об этом
В будущем, верно, лихом
Я — твоим первым поэтом,
Ты — моим лучшим стихом!

О «вышвыривающей» её Москве Марина Цветаева однажды написала гневные слова: «И кто она такая, чтобы передо мной гордиться?» Слова эти невольно вспоминаются мне, когда приходится слышать упрёки, бездумно бросаемые вслед её детям (Муру — в холодности, Але — в молодой дерзости) — талантливым детям великого поэта, чьи жизни были так страшно загублены.

И всё же, вопреки всему ужасу истории России XX века и Жизни вообще, они — Марина, Сергей, Мур и Аля — написали свой Роман, и в этом — пусть безмерно горькая, но всё-таки настоящая Победа незаурядных людей над страшным Временем.

Оглавление

От редактора	7
Вступление	9
Марина и Сергей	15
Мать и сын	230
Мать и дочь	348
Post Scriptum.....	480

Лина Львовна Кертман

Воздух трагедии

Главы ненаписанного романа

Редактор *Н. Гашева*
Корректурa *авторская*
Верстка *П. Заславской*
Дизайн обложки *Е.Шваревой*



Изд. лицензия ЛР № 065684 от 19.02.98
Подписано в печать 04.08.2014. Формат 84 x 108 ¹/₃₂
Гарнитура Times New Roman. Печ. л. 15,625
Заказ 2-07.

Отпечатано издательством «Геликон плюс»
Санкт-Петербург, ВО., 1-я линия, дом 28
<http://www.heliconplus.ru>



Марина и Сергей. Москва, осень 1911 г.



Сергей Эфрон. 1915 г., санитарный поезд



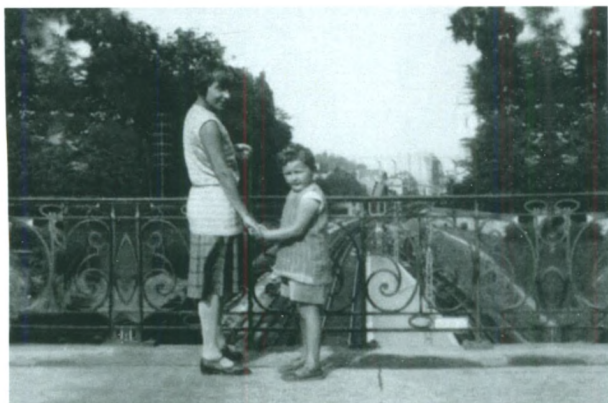
Сергей Эфрон, Марина Цветаева с Муром и Аля.
Чехия, 1925 г.



Марина и Аля.
Москва, 1915 г.



Марина и Аля.
Чехия, лето 1924 г.



Марина и Мур.
Франция, конец 20-х годов



Марина и Мур.
Франция, первая половина 30-х годов



Мур. Франция, 30-е годы



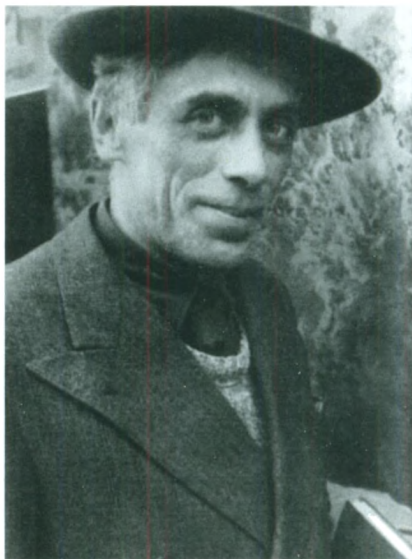
**Ариадна Эфрон
в разные годы**



Сергей Эфрон.
Франция, начало 30-х годов



Сергей Эфрон и Аля.
Франция, начало 30-х годов



Сергей Эфрон. *Франция, 30-е годы*



«Марина стирает бельё» (А. Тарковский).
Франция, 30-е годы



Марина и Мур. Франция, начало 30-х годов



Вера Николаевна Бунина



Анна Тескова



Валентин Булгаков



Марк Слоним



Алексей Владимирович
Эйсер



Борис Пастернак



Константин Родзевич в разные годы



Последняя фотография Цветаевой.
Москва, июнь 1941 года.
Сидят Алексей Кручёных и Мур.
Стоят Марина Цветаева и Лидия Либединская



Елабуга



Георгий Эфрон.
Осень 1941 года, Чистополь

Дурман! Прости меня.
ко дальше было до хуфе.
Я ты фело-больна, это
уже не я. Люблю тебя
безумно. пойми, что я больше
не могла жить.
Передай папе и Ане - если
увидишь - что любила их до послед
ней минуты в дороге, что попы
в путе

Прощальная записка
Марины Цветаевой



Крест на кладбище в Елабуге.
Надпись Анастасии Цветаевой



Камень в Тарусе. Надпись «Здесь хотела бы лежать
Марина Цветаева». Так завещала Марина Цветаева
в своём очерке «Хлыстовки»



Анастасия Цветаева.
Москва, 2001 год



Автор этой книги, как и Марина Цветаева, — профессорская дочь. Ее отец был историком, а мать — филологом. Лина Кертман родилась в Киеве, но в пору борьбы с «безродными космополитами» семья вынуждена была уехать на Урал. В городе Перми она окончила школу, университет и стала филологом.

После разных поворотов судьбы Лина Кертман поселилась в Израиле, в Хайфе, и продолжила свое многолетнее погружение в цветаевский мир. Она — участник ряда международных конференций, посвященных творчеству Марины Цветаевой, автор книг «*Душа, родившаяся где-то...*» Марина Цветаева и Кристина, дочь Лавранса» (М., 2000) и «*Безмерность в мире мер*» Моя Марина Цветаева» (Иерусалим, 2012) и многих статей о Цветаевой.

Как и Марина Цветаева, Лина Кертман с детства живет в книгах. Любовь к литературе, блестящая память, высокий эмоциональный настрой души помогают ей делать настоящие филологические открытия.

